



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

A 470862

DUPL

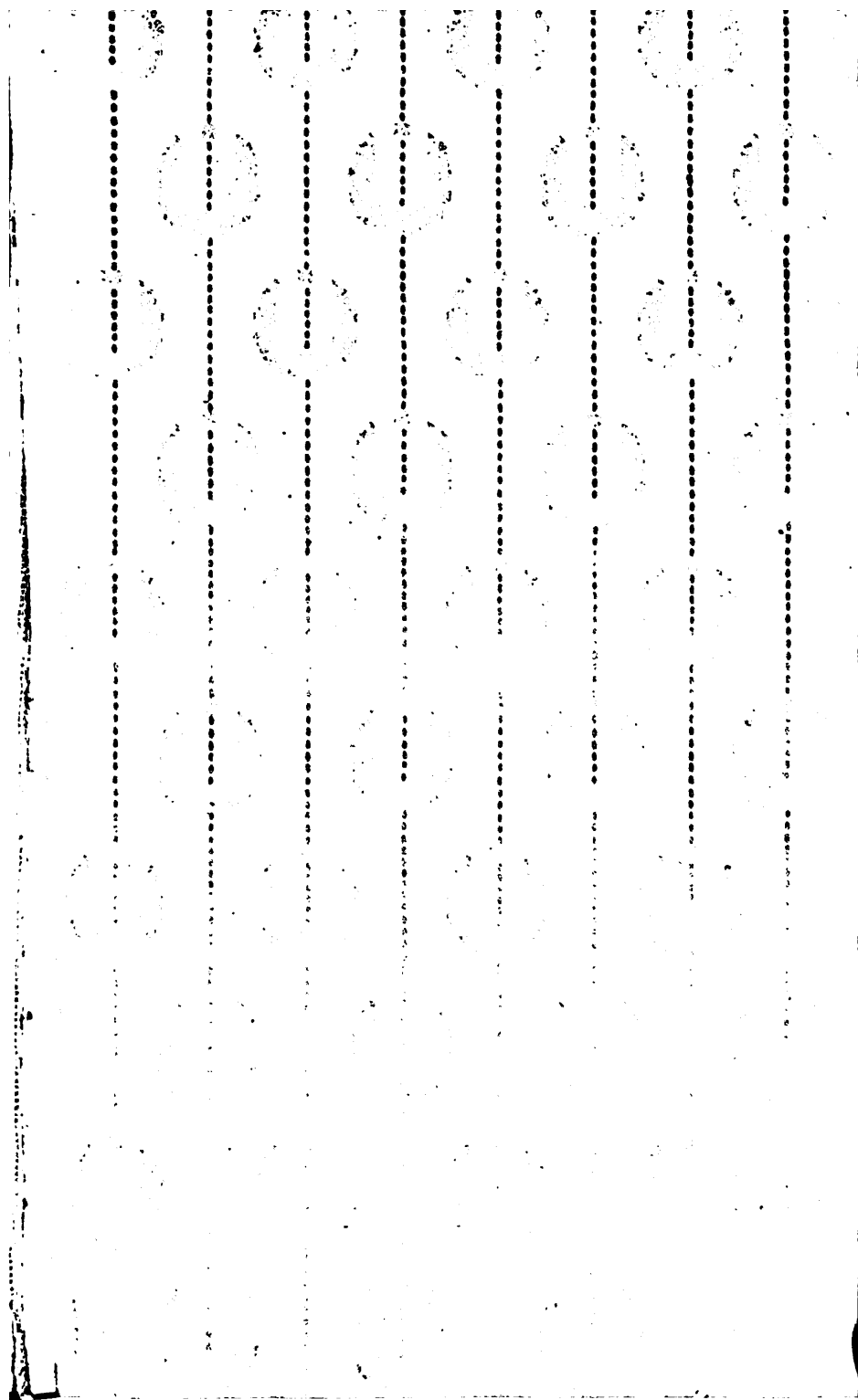


ВОСПОМНЕНИЯ
Т. П. ПАССЕКЪ
(ИЗЪ ДАВНИХЪ ЛѢТЪ)



Издана въ С.-Петербургѣ







Татяна Петровна Лассекъ.
1810—1889.

ВОСПОМИНАНІЯ Т. П. ПАСЕКЪ.

Passek, Tatiana Petrovna

ВОСПОМИНАНІЯ

Т. П. ПАССЕКЪ

„ИЗЪ ДАЛЬНИХЪ ЛѢТЪ“.



ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.



ТОМЪ I.



С. ПЕТЕРБУРГЪ.
Издание А. Ф. МАРКСА.
1905.

3 м/с

891.78
P2870
A3
19Q5
v.1



Арх. зав. А. Ф. ШАРНСА, Измайл. пр., № 29.



105a-272802

ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВНУКУ МОЕМУ

Сергѣю Владиміровичу Лассекъ.

Другъ мой Сережа!

Приближаясь къ концу своей жизни, встрѣтила тебя вступающаго въ жизнь. Свѣтлый взоръ твой, твоя невинная улыбка воскресили въ душѣ моей давно забытую радость, и я, съ чувствомъ счастья и благодарности къ небу, кладу у твоей младенческой колыбели мои воспоминанія „Изъ дальнихъ лѣтъ“.

М. Лассекъ.





Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ.
Изъ журнала «Русская Старина».

ГЛАВА I.

177...—1810.

Въ Новосельѣ.

Дѣла давно минувшихъ дней.

Изъ родословной фамиліи Яковлевыхъ видно, что родъ этотъ произошелъ отъ прусскаго короля Вейдевута, четвертый сынъ котораго, владѣтель Судовіи, Самогитіи и прочихъ, со множествомъ своихъ подданныхъ, выѣхалъ въ Россію къ великому князю Александру Ярославичу Невскому, гдѣ, при крещеніи, дано было ему имя Іоаннъ, а сыну его Андрей, по просторѣчию прозванному Кобыла. Отъ Андрея Іоанновича произошли: Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметевы, Колычевы, Яковлевы и многія другія знатнѣйшія фамиліи.

Отъ праправнука Андрея Іоанновича, Якова Захаревича, находившагося при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ бояриномъ, намѣстникомъ въ Новгородѣ и главнымъ полковымъ воеводою, произошли Яковлевы. Они служили русскому престолу въ боярахъ, окольных, воеводами и жалованы были разными знаками монаршихъ милостей.

Потомокъ этого рода — Алексѣй Александровичъ Яковлевъ былъ женатъ на княжнѣ Натальѣ Борисовнѣ Мещерской и имѣлъ отъ нея четырехъ сыновей и трехъ дочерей. Скончавшись вскорѣ

одинъ послѣ другого, они оставили дѣтей своихъ подъ опекою родной сестры ихъ матери—княжны Анны Борисовны Мещерской, которая вполне посвятила себя сиротамъ-племянникамъ. Она завѣдовала ихъ имѣніями, дала имъ образованіе съ помощью французскихъ гувернеровъ, соотвѣтственно духу того времени, и опредѣлила племянниковъ на службу: старшаго, Петра Алексѣевича, въ лейбъ-гвардіи гусарскій полкъ, трехъ меньшихъ: Александра, Льва и Ивана въ лейбъ-гвардіи измайловскій. Старшую племянницу, Марью Алексѣевну, выдала замужъ за князя Ѳедора Сергѣевича Хованскаго, меньшая, Елисавета Алексѣевна, съ замѣчательнымъ умомъ и красотою, по собственному выбору вышла за Павла Ивановича Голохвастова, челоуѣка пожилого, очень богатаго, извѣстнаго честностію; средняя, Екатерина Алексѣевна, скончалась дѣвухой еще въ молодости.

По достиженіи совершеннолѣтія всѣхъ дѣтей Алексѣя Александровича, имѣнія между ними были раздѣлены. Княжна Анна Борисовна имѣла свое независимое состояніе: имѣніе и домъ въ Москвѣ, на Малой Бронной. Въ этомъ домѣ она дожила до глубокой старости, окруженная любовью, уваженіемъ и вниманіемъ, вполне ею заслуженными, не только своихъ племянниковъ, племянницъ и ихъ дѣтей, но и многочисленныхъ родственниковъ, которыхъ она была живою связью; племянники и племянницы, до конца ея столѣтней жизни, относились къ ней съ дѣтской покорностію и нерѣдко прибѣгали къ ея совѣтамъ.

Петръ Алексѣевичъ, отецъ моей матери, былъ чрезвычайно хорошъ собою; всѣ черты его прекраснаго лица выражали умъ и само достоинство. Онъ остался послѣ родителей уже юношей и помогаль теткѣ въ устройствѣ дѣлъ и состоянія своихъ братьевъ и сестеръ, вслѣдствіе чего они, говоря о немъ, всегда называли его «братомъ-благодѣтелемъ». Оставивши военную службу, онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ въ своемъ имѣніи, потомъ снова поступилъ на гражданскую службу и сдѣланъ былъ начальникомъ провіантскаго депо на югѣ Россіи.

Александръ Алексѣевичъ, довольно красивый блондинъ, умный, честолюбивый, съ пылкими страстями, изъ

измайловскаго полка перешелъ въ какое-то посольство, откуда, возвратясь, сдѣланъ былъ оберъ-прокуроромъ сивода, на этой службѣ открывалъ много злоупотребленій и постоянно ссорился съ высшими духовными лицами. За неприятность, выпедшую у него съ кѣмъ-то на обѣдѣ у генералъ-губернатора, отставленъ былъ отъ службы съ запрещеніемъ вѣзжать въ Петербургъ. Онъ выѣхалъ въ свое тамбовское имѣніе, гдѣ, говорили, за преслѣдованіе женщинъ крестьяне едва не убили его; тогда онъ переселился въ Москву, въ собственный домъ на Тверскомъ бульварѣ, и, несмотря на свою даровитую натуру и большую начитанность, провелъ остальную жизнь въ праздности и процессахъ.

Левъ Алексѣевичъ не обладалъ ни красотою, ни даровитостію двухъ старшихъ братьевъ своихъ, зато у него была теплая душа и человѣческое сердце. Капитаномъ измайловскаго полка онъ былъ отправленъ въ Лондонъ при миссіи, потомъ посланникомъ въ Штуттгардъ, оттуда въ Кассель. Послѣ вѣнскаго конгресса произведенъ былъ въ камергеры, сдѣланъ сенаторомъ, попечителемъ Маріинской больницы, Александровскаго института и членомъ опекунскаго совѣта. Вся жизнь его прошла на службѣ честно, въ мірѣ баловъ и торжественныхъ представленій.

Младшій изъ братьевъ, Иванъ Алексѣевичъ, остался послѣ родителей ребенкомъ. Наружность его показывала большой, но ѣдкій умъ, холодную душу и стойкій характеръ. Воспитанный французомъ-губернеромъ, какъ сказывали, родственникомъ Вольтера, онъ говорилъ правильнѣе по-французски, нежели по-русски, и не дочиталъ до конца ни одной русской книги. Услыхавши, что императоръ Александръ читалъ исторію Карамзина, самъ попробовалъ-было прочесть ее, но съ первыхъ же страницъ закрылъ и не открывалъ больше никогда. Изъ русскихъ литераторовъ онъ уважалъ только Державина и Крылова: перваго за то, что написалъ стихи на смерть ихъ дяди, князя Мещерскаго; втораго за участіе вмѣстѣ съ нимъ въ дуэли Николая Николаевича Бахметьева, на которой онъ былъ секундантомъ.

Шестнадцати лѣтъ онъ вступилъ въ измайловскій полкъ; оригинальнымъ, сильнымъ умомъ обратилъ на себя вниманіе великаго князя Константина Павловича

и приобрѣлъ его расположеніе до того, что великій князь нерѣдко заѣзжалъ за нимъ на его квартиру и увозилъ его съ собою раздѣлять свои удовольствія, которыя онъ одушевлялъ остроуміемъ и любезностью. До конца дней своихъ Иванъ Алексѣвичъ сохранилъ къ цесаревичу глубокую преданность и благоговѣйное воспоминаніе какъ о немъ, такъ и о первой супругѣ его, великой княгинѣ Аннѣ Теодоровнѣ. Иванъ Алексѣвичъ служилъ недолго, онъ вышелъ въ отставку капитаномъ гвардіи; въ началѣ нынѣшняго столѣтія уѣхалъ за границу, путешествовалъ изъ страны въ страну и только въ 1811 году возвратился въ Россію.

Когда Петръ Алексѣвичъ находился въ Петербургѣ, то довольно часто бывалъ въ домѣ голландскаго посланника фонъ-Сухтелена, тамъ онъ видалъ молоденькую швейцарку, компаньонку дочерей посланника, стройную, высокую блондинку Шарлоту Христину Папстъ *); онъ влюбился въ нее и увезъ ее въ свое имѣніе—Тверской губерніи, Корчевскаго уѣзда, село Новоселье, гдѣ обѣщалъ, по пріѣздѣ въ имѣніе, обвѣнчаться съ нею, и, конечно, не обвѣнчался; но, опасаясь, чтобы она не оставила его, уничтожилъ ея видъ на жительство и другія бывшія у нея бумаги, вслѣдствіе чего она провела всю жизнь въ Россіи безъ всякаго вида, сперва на поручительство Петра Алексѣвича, потомъ своихъ зятевъ. За ней оставили имя Христины, а по Петру Алексѣвичу называли «Петровной»; такъ она и прозывалась до конца своей печальной жизни. Не зная другого языка, кромѣ французскаго и англійскаго, въ деревнѣ она могла объясняться только чрезъ посредство Петра Алексѣвича, да француза-садовника Прово и его жены Елисаветы Ивановны.

Село Новоселье, съ лѣснымъ имѣніемъ Уходовыхъ, досталось Петру Алексѣвичу по раздѣлу съ братьями. Впослѣдствіи онъ прикупилъ находившееся вблизи Новоселья сельцо Шумново, въ которомъ было, кажется, около 300 душъ.

Пріѣхавши въ Новоселье, Петръ Алексѣвичъ и Христина Петровна помѣстились въ небольшомъ флигелѣ,

*) Моя бабушка по матери.

гдѣ проживалъ съ семействомъ управляющій изъ его крѣпостныхъ, Григорій Андреяновичъ Соколовъ, пользовавшійся довѣріемъ и уваженіемъ не только своего помѣщика, но и его подданныхъ. Барскаго дома въ селѣ еще не было. Немедленно приступили къ его постройкѣ. Домъ скоро былъ срубленъ и отдѣланъ, онъ и теперь еще стоитъ въ томъ же видѣ *). По обоимъ концамъ длинной залы, въ четыре окна, съ стеклянной дверью посрединѣ, выходившей на террасу во дворъ, расположены были гостиныя съ итальянскими окнами, обращенными на цвѣтники, полные розановъ и множества другихъ душистыхъ цвѣтовъ. По одну сторону гостиныхъ шли диванныя, по другую—спальныя и комнаты для прислуги. Съ противоположной стороны залы находилась другая широкая, крытая терраса съ колоннами, обращенная къ саду; передъ ней былъ овальный прудъ, окруженный подстриженной акаціей, въ акаціи мѣстами бѣлѣли на тумбахъ гипсовыя статуи. Въ мезонинѣ находилась бібліотека и комнаты гувернеровъ и компаньоновъ.

Къ двумъ флигелямъ, стоявшимъ по концамъ полукруглаго двора, обнесеннаго высокой рѣшеткой, съ рѣшетчатыми воротами, вели отъ дома крытыя галлерей, обсаженныя по рѣшеткамъ акаціей. Отъ воротъ до моста съ фонарями, перекинутаго черезъ рѣчку, впадающую въ Волгу, шла въ четыре ряда широкая березовая аллея, а отъ моста до села и такъ вплоть до Корчевы, на разстояніи двухъ или трехъ верстъ.

Съ трехъ сторонъ дома Прово разбилъ изъ лѣса паркъ; отъ пруда лучеобразно прорѣзали просѣки и засадили ихъ липовыми аллеями. Аллеи эти прерывались то осьмиугольными, то квадратными площадками, по угламъ которыхъ, такъ же какъ и по разнымъ мѣстамъ сада, стояли на пьедесталахъ гипсовыя статуи мифологическихъ боговъ или бюсты великихъ людей. По обѣимъ сторонамъ пруда расчищены были рощи изъ сосенъ и березъ. Среди одной изъ этихъ рощъ выстроены

*) Когда глава эта была уже написана, я узнала, что барскій домъ въ Новоселѣ сломанъ, а паркъ проданъ на срубъ клинскому купцу Воронкову и уже вырубленъ. •

былъ англійскій домикъ въ четыре комнаты. Въ первой васъ встрѣчалъ стоящій на пьедесталѣ бѣлый мраморный амуръ, съ прижатымъ къ губамъ пальчикомъ. Изъ нея отворялась дверь въ довольно обширную комнату, стѣны и полъ которой, такъ же какъ и широкіе турецкіе диваны, обтянуты были зеленымъ сукномъ. Тутъ стояло небольшое фортепиано, библіотека избранныхъ книгъ, а на внутренней стѣнѣ, надъ диваномъ, висѣла въ золотой рамѣ копія лежащей Тиціановой Венеры въ человѣчeskій ростъ. Картина эта всегда была задернута зеленымъ флеромъ. Въ слѣдующихъ комнатахъ стоялъ бильярдъ и была чайная. Въ паркѣ встрѣчались то бѣсъѣдка, то пустынька, оклеенная мохомъ, съ каменной или дерновой скамейкой; то гротъ, храмъ, ручеекъ, канавка съ перекинутымъ черезъ нее мостикомъ. По разнымъ мѣстамъ парка разставлены были скамейки, окрашенные въ зеленую краску. Паркъ прилегалъ къ бору, отъ котораго отдѣляла его широкая, всегда полная воды, канава, осыпанная по окраинамъ грушами крупнѣйшихъ незабудокъ, кукушкиныхъ слезокъ и ландышей. Въ сторонѣ парка, противоположной бору, находились оранжереи: одні съ цвѣтами, другія съ персиками и абрикосами, грунтовые сараи съ шпанскими вишнями, грушами, яблоками, бергамотами, въ парникахъ дозрѣвали дыни и арбузы, въ теплицахъ ананасы. По сторонамъ дорожки, ведущей къ оранжереямъ, тянулись куртины малины, смородины, крыжовника и гряды клубники. За оранжереями шелъ огородъ съ разными овощами и душистыми травами, съ флигелемъ, гдѣ помѣщался Прово, и жилищами садовниковъ.

Кромѣ многочисленной комнатной и дворовой прислуги, у Петра Алексѣевича былъ свой оркестръ музыки и хоръ пѣвчихъ, который каждое воскресенье пѣлъ на клиросѣ въ каменной новосельской церкви, выстроенной Петромъ Алексѣевичемъ во имя апостоловъ Петра и Павла.

Въ Новосельѣ у Петра Алексѣевича и Христіны Петровны родился сынъ Николай, затѣмъ дочь Наталья, съ прелестными темно-кариими глазами отца и съ его типической красотой,—это была моя мать; спустя два года явилась на свѣтъ другая дочь, Елисавета, блондинка,

какъ ея мать, съ породистыми чертами лица отца и съ выраженіемъ такого достоинства, что дядя и тетки называли ее бурбонскою принцессой.

Несмотря на то, что Петръ Алексѣевичъ любилъ мать дѣтей своихъ и, кажется, еще больше самихъ дѣтей, это не мѣшало ему обращать вниманіе и на красивыхъ крестьянокъ. Такъ, отъ одной изъ новосельскихъ крестьянокъ родилась у него дочь—Лиза, вылитая въ него. Онъ держалъ ее на деревнѣ въ улучшенномъ крестьянскомъ быту, собирався дать ей вольную, съ двумя тысячами рублей приданого, да такъ и просбирался до смерти, и она осталась въ крестьянскомъ крѣпостномъ состояніи.

Семейство свое Петръ Алексѣевичъ окружалъ роскошью и ничего не щадилъ для образованія, удобства и удовольствія своихъ дѣтей. При нихъ находились няньки, мамки, гувернеръ, гувернантка, учителя. При Христинѣ Петровнѣ постоянно жили компаньонки. Ближе всѣхъ къ ней была разумная, кроткая жена одного чиновника изъ Корчевы—Аграфена Ивановна Горчакова, съ двумя дочерьми, крестницами Петра Алексѣевича, ровесницами и подругами моей матери и тетки. Отъ нихъ и отъ тетки моей я много слышала объ этой ушедшей въ даль жизни. Онъ не разъ рассказывали мнѣ, какіе праздники задавалъ Петръ Алексѣевичъ своимъ крестьянамъ и сосѣдямъ-помѣщикамъ. Какъ на широкомъ барскомъ дворѣ собирались хороводы, раздавались пѣсни, игралъ пастушескій рожокъ и шла веселая пляска, угощенье, и раздавались подарки. Для сосѣдей-помѣщиковъ, случалось и прѣзжихъ изъ столицъ, устраивались празднества съ иллюминаціями, фейерверкомъ, оркестромъ музыки и хоромъ пѣвчихъ въ саду. Въ англійскомъ домикѣ подавали десертъ и чай; въ залѣ, освѣщенной восковыми свѣчами, горѣвшими въ трехъ люстрахъ съ хрустальными подвѣсками, готовился ужинъ съ богатымъ серебромъ, саксонскимъ фарфоромъ, граненнымъ хрусталемъ, вазами съ фруктами и букетами цвѣтовъ.

Еще до восшествія на престолъ императора Павла, Петръ Алексѣевичъ, желая доставить дѣтямъ своимъ правильное общественное положеніе, объявилъ брать-

ямъ, что намѣренъ дѣтей усыновить, со всѣми наслѣдственными правами *). Для этого законные наслѣдники должны были подписать актъ, которымъ они признають за незаконнорожденными дѣтьми какъ фамилію, такъ и всѣ законныя права ихъ отца. Находившіеся налицо два брата актъ подписали, третій, отсутствовавшій, изъяснилъ согласіе письмомъ.

Дѣти Петра Алексѣевича носили фамилію Яковлевыхъ. Сынъ его, Николай Петровичъ, кончивши ученіе, уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ на службу въ канцелярію Государя Императора, служилъ успѣшно и былъ принятъ въ лучшее петербургское общество. Меньшая дочь, Елисавета Петровна, до своего замужества, съ одиннадцати лѣтъ, каждую зиму проводила въ Москвѣ, въ домѣ княгини Марьи Алексѣевны Хованской, гдѣ, вмѣстѣ съ двумя дочерьми княгини, училась подъ руководствомъ жившей у нея гувернантки, француженки Анны Ивановны Матте. Мать мою, Наталію Петровну, обладавшую рѣдкою красотою, отецъ намѣренъ былъ ввести въ высшій петербургскій кругъ, завершивши блестящимъ образомъ ея воспитаніе. Вслѣдствіе этого плана онъ просилъ Анну Никитишну Нарышкину, съ которой былъ въ дружескихъ отношеніяхъ, принять подъ свое покровительство его Наташу, когда ей исполнится пятнадцать лѣтъ. Анна Никитишна, говорили мнѣ, дала слово исполнить его желаніе и довѣренность оправдать.

Плану этому не суждено было осуществиться.

Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Новоселья, въ небольшомъ помѣстьѣ Рѣчицахъ, жила небогатая, кривая по-

*) За отсутствіемъ одного изъ братьевъ Петра Алексѣевича, актъ этотъ былъ подписанъ двумя находившимися налицо братьями. Когда третій возвратился, Петръ Алексѣевичъ находился уже въ Кременчугѣ начальникомъ провіантскаго депо; по сдѣланнымъ на него двумъ доносамъ, онъ десять лѣтъ оставался подъ судомъ пслѣдствіемъ, выѣздъ изъ Кременчуга ему былъ воспрещенъ, и только въ 1812 году, оправданный по одному изъ доносовъ, онъ получилъ разрѣшеніе ѣхать въ свое имѣніе. Обѣ дочери его были уже замужемъ, сынъ въ 13-мъ году скоропостижно кончилъ жизнь.

По кончинѣ Ивана Алексѣевича, Александръ Ивановичъ Г—нъ, при мнѣ разбирая его бюро, между прочими бумагами нашелъ этотъ въ половину подписанный актъ, подавъ его мнѣ и съ огорченіемъ выразился самымъ тяжелымъ образомъ о людяхъ, столь близкихъ ему. Вмѣстѣ съ этимъ актомъ онъ нашелъ еще бумаги и письма, глубоко тронувшія его.

мѣщица Катерина Ивановна Хвостова, пожилая и лукавая. При ней находилась компаньонка Варенька, дѣвушка лѣтъ тридцати пяти, и малолѣтній внучекъ Митя. Что это была за помѣщица, можно видѣть изъ ея отношеній къ этому внуку.

Когда ребенку, сидѣвшему на рукахъ своей рябой няньки Аксиньи, приходило желаніе поцарапать ей лицо и онъ ревѣлъ, если та ему не давалась, то барыня выходила изъ себя и, гнѣваясь, кричала: «Велика бѣда, что ребенокъ деретъ твою рябую харю». Ребенокъ дралъ харю, а нянька, не смѣя ни жаловаться, ни сопротивляться, говорила, въ угоду госпожѣ: «Подерите, ба-тошка, подерите на здоровье».

Эта-то помѣщица, по близкому сосѣдству, а больше по желанію бывать въ роскошномъ Новосельѣ, познакомилась съ смиренной иностранкой Христиной Петровой, несмотря на неловкое общественное положеніе послѣдней и ея плохое знаніе русскаго языка. Познакомившись, стала наѣзжать къ ней со всѣмъ своимъ причетомъ, проводила тамъ цѣлые дни, гуляла въ саду, объѣдалась фруктами, дѣлала изъ цвѣтовъ букеты и увозила домой тѣхъ и другихъ цѣлыя корзины. Христина Петровна добродушно дѣлилась, чѣмъ могла. Въ заведенномъ ею хозяйствѣ всего было въ изобиліи и даже въ продолжительное отсутствіе Петра Алексѣевича, при помощи Григорія Андреяновича, всѣ отрасли хозяйства поддерживались и велись въ самомъ стройномъ порядкѣ.

Временами, къ Катеринѣ Ивановнѣ пріѣзжала гостить ея родная сестра, кашинская помѣщица Татьяна Ивановна Кучина *), гордая, избалованная жизнью. Она пользовалась большимъ почетомъ въ своемъ уѣздѣ, какъ по уму, такъ и по довольно роскошному образу жизни, по нѣкотораго рода образованности и важности, съ которой себя держала. Вездѣ она занимала первое мѣсто, разговоромъ съ ней дорожили самые умные люди ея круга, сужденія ея считались авторитетомъ.

Татьяна Ивановна жила постоянно съ своимъ мужемъ, Ивановъ Ивановичемъ, въ его родовомъ имѣніи, сельцѣ Шаблыкинѣ, гдѣ Иванъ Ивановичъ, дослужившись въ

*) Бабушка моя по отцу.

военной службѣ до чина полковника, выйдя въ отставку, поселился и весь отдался деревенскому хозяйству. Татьяна Ивановна считала мужа своего простакомъ, мало обращала на него вниманія, такъ же какъ и на дѣтей своихъ, которыхъ у нея было три сына и три дочери; но Иванъ Ивановичъ, при видимой смирренности, имѣлъ характеръ стойкій и твердо держался усвоенныхъ себѣ правилъ; вслѣдствіе этихъ правилъ онъ строго наблюдалъ за тѣмъ, чтобы дѣти его были въ полномъ повиновеніи у него и у матери, съ уваженіемъ относились къ родственникамъ и вообще къ старшимъ. Питая къ государю глубокое чувство благоговѣнія и вѣрности, внушалъ его и дѣтямъ своимъ, и разъ, подъ вліяніемъ этого чувства, жестоко наказалъ старшаго сына своего Александра за дѣтскую шалость, понятую имъ какъ дерзость. Будучи ребенкомъ лѣтъ десяти, Александръ, играя въ залѣ желѣзнымъ аршиномъ, остановился противъ поясного портрета Петра Великаго; вдругъ ему показалось, что Петръ Великій смотритъ на него сердито, онъ сталъ грозить ему аршиномъ и, разгорячась, такъ сильно хватилъ аршиномъ по портрету, что прорвалъ полотно. Въ эту минуту въ залу вошелъ отецъ и вскрикнулъ: «Ахъ ты негодяй! на государя-то своего поднялъ руку!» Съ этимъ словомъ вырвалъ у него аршинъ и жестоко отколотилъ имъ сына. Я видѣла этотъ портретъ съ заплатой и слышала о ней рассказъ.

Однажды этотъ же Александръ Ивановичъ, будучи конно-артиллерійскимъ офицеромъ и уже имѣя одинъ или два знака отличія, пріѣхалъ въ отпускъ къ родителямъ. Посѣщая знакомыхъ, онъ бралъ экипажъ и лошадей своего отца, который ихъ берегъ пуще глаза. Отъ быстрой ѣзды онъ нерѣдко возвращался на лошадахъ взмыленныхъ и усталыхъ. Отецъ замѣчалъ ему это и просилъ лошадей беречь. Разъ, въ праздничный день, Александръ Ивановичъ отправился въ село Веденское къ сосѣдямъ Травинымъ, гдѣ ухаживалъ за одною изъ дочерей помѣщиковъ этого села. Засидѣвшись за полночь, онъ во весь духъ помчался домой, предполагая отца найти въ постели, но отецъ встрѣтилъ его на дворѣ. Взглянувши на измученныхъ лошадей, онъ покачалъ головою, молча отправился въ свою

комнату и по пути наломалъ березовый вѣнникъ. Когда молодой человѣкъ вошелъ къ нему въ комнату, онъ заперъ за нимъ дверь и сказалъ: «Я много разъ просилъ тебя беречь моихъ лошадей, но ты не считалъ нужнымъ обратить на это вниманія, ну, такъ я, какъ отецъ, считаю нужнымъ научить тебя уважать слова родителей, — снимай кресты и мундиръ». Изумленный сынъ сталъ извиняться и просилъ объяснить странное требованіе. Когда же отецъ безъ объясненій повторилъ свое требованіе, онъ снялъ кресты и мундиръ; тогда старикъ сказалъ: «Пока на тебѣ жалованные царемъ кресты и мундиръ, я уважаю въ тебѣ слугу царскаго, когда же ты ихъ снялъ, то вижу только своего сына и нахожу долгомъ проучить розгами за неуваженіе къ словамъ отца».

— Помилуйте, батюшка, — завопилъ молодой человѣкъ:—вѣдь это ни на что не похоже—сѣчь, какъ ребенка. Я виноватъ и прошу васъ простить меня.

— Ну, братъ, — возразилъ старикъ:—если не считаешь долгомъ исполнить волю мою, — ты мнѣ не сынъ, а тебѣ не отецъ. Кто не чтитъ родителей, тотъ не будетъ чтить ни Бога, ни царя и не будетъ признавать никакого нравственнаго долга. Теперь какъ знаешь: или я тебя высѣку, или мы навсегда чужіе другъ другу.

Александръ Ивановичъ зналъ настойчивый нравъ отца, туда, сюда повертѣлся, ни на что нейдетъ старикъ — раздѣлся да и легъ на полъ. Рукой, дрожащей отъ волненія, отецъ стегнулъ его вѣникомъ и поднялъ, — сынъ опустился передъ нимъ на колѣни, по лицу старика катились слезы, онъ горячо обнялъ сына и благословилъ его.

Благословеніе отца не прошло даромъ.

Въ настоящее время странно и грустно представить себѣ, что отецъ сѣчетъ взрослого сына, но въ тотъ періодъ времени уваженіе къ родителямъ стояло въ своемъ зенитѣ. Еще страннѣе и грустнѣе, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, поразилъ меня разговоръ съ однимъ очень неглупымъ молодымъ человѣкомъ. Слушая его жалобы, какъ онъ нуждается, я спросила, отчего это, когда родители его имѣютъ хорошее состояніе.

— Я съ отцомъ въ ссорѣ, онъ ничего мнѣ не даетъ,

да я и брать-то отъ него ничего не хочу,—сказалъ молодой человѣкъ.

— Какъ же вы не стараетесь прекратить такія ненормальныя отношенія,—замѣтила я:—за что это у васъ разладъ?

— Годъ тому назадъ я былъ у отца въ деревнѣ; разъ за ужиномъ мы съ нимъ горячо поспорили, отецъ позволилъ себѣ рѣзко выразиться; я вспыхнулъ и бросился на него съ ножомъ.

Я невольно отодвинулась отъ него, съ чувствомъ ужаса, и у меня вырвалось восклицаніе: «возможно ли! на отца съ ножомъ!»

— Что-жъ,—возразилъ онъ спокойно:—не терпѣтъ же, когда онъ несетъ вздоръ, да еще и дерзости говорить! Права наши равны. Между нами все кончено.

Я вспомнила, что въ Москвѣ онъ живетъ въ домѣ отца, отдававшемся въ наймы, и сказала: «стало-быть, вы нанимаете квартиру въ домѣ вашихъ родителей? Мнѣ говорили, у васъ очень хорошее помѣщеніе».

— И не думалъ, домъ-то пустой. Помѣстился—и все тутъ.

— Да вѣдь вы сказали, что между вами все кончено.

— Конечно, кончено, такъ что-жъ, домъ никто не нанимаетъ, а мнѣ нанимать квартиру не на что.

Ну, оно и логично.

Спустя нѣсколько лѣтъ я слышала, что этотъ молодой человѣкъ провелъ жизнь въ ошибкахъ, не легко лежащихъ на душу, истекавшихъ изъ его нравственныхъ основъ, и рано кончилъ жизнь. А были въ немъ задатки и хорошаго.

Иванъ Ивановичъ прожилъ сто девять лѣтъ; послѣднія пять или шесть лѣтъ былъ слѣпъ и почти не оставлялъ своей комнаты, гдѣ передъ иконами съ неугасимой лампадкой проводилъ цѣлыя часы въ молитвѣ, или сидя у окна, передъ столикомъ, въ большихъ вольтеровскихъ креслахъ, слушалъ житія святыхъ отцовъ, біблію, проповѣди, которые читалъ ему его старый камердинеръ, вооруживши глаза большими очками въ мѣдной оправѣ. Конецъ Ивана Ивановича походилъ на тихо догорѣвшую лампадку; онъ спросилъ себѣ чашку чая, и пока служившая ему его крестница ходила въ другую комнату за чаемъ, онъ прилежъ отдохнуть на постель.

Минуть черезъ пять крестница съ чаемъ возвратилась и нашла его успокоившимся навѣтъ. На устахъ его была тихая улыбка, правая рука сложена на крестное знаменіе.

Въ послѣдніе годы жизни Ивана Ивановича, жена его, для большаго удобства, переселилась съ средней дочерью, Катериной, въ свое сельцо Наквасино, отстоявшее въ верстѣ отъ Шаблыкина, и принимала тамъ частыя посѣщенія своихъ многочисленныхъ знакомыхъ.

Съ Иваномъ Ивановичемъ остался меньшей сынъ его, Дмитрій Ивановичъ. Онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы ради спокойствія своего престарѣлаго отца, принялъ на себя всѣ заботы по хозяйству, берегъ и покоемъ старика, любилъ и уважалъ мать свою, несмотря на ея крутой, взыскательный характеръ, и каждый день навѣщалъ ее въ Наквасинѣ.

Старшіе сыновья Ивана Ивановича, Александръ и Петръ, воспитывались въ Петербургѣ, въ кадетскомъ корпусѣ, и по окончаніи курса вступили въ военную службу.

Александръ Ивановичъ, тотъ, котораго отецъ выскѣзъ и благословилъ, высокій, стройный, мужественный блондинъ, съ смѣлыми синими глазами, поступилъ въ конную артиллерію, вмѣстѣ съ Алексѣемъ Петровичемъ Ермоловымъ, который часто бывалъ въ домѣ его матери, гдѣ принять былъ самымъ радушнымъ образомъ. Александръ Ивановичъ такъ дружески сошелся съ Ермоловымъ, что въ полку они жили на одной квартирѣ, въ походахъ спали на одной постели, до старости оставались друзьями, и оба были замѣчательны своимъ геройскимъ духомъ. Военная карьера Александра Ивановича прервалась почти при началѣ. Подъ Аустерлицемъ, батарея, которой онъ командовалъ, была оставлена на полѣ битвы для прикрытія отступленія нашихъ войскъ, и вся легла на мѣстѣ. Александръ Ивановичъ, тяжело раненый, палъ послѣднимъ подлѣ своей пушки. Голова и ладонь правой руки его были разрублены, въ лѣвомъ боку легкая рана штыкомъ: бурка предохранила отъ тяжелой. Лѣвая рука выше локтя была прострѣлена пулей, въ ногѣ пуля оставалась всю его жизнь, почему-то ее нельзя было вынуть. Когда послѣ

битвы наступила ночь, на полѣ сраженія явились мародеры; подойдя къ Александру Ивановичу, лежавшему безъ чувствъ между убитыми, они обобрали у него золото и потянули изъ-за мундира часы, тогда—онъ очнулся и застоналъ. Одинъ изъ мародеровъ предложилъ приколотъ его. Раненый это услышалъ, почувствовалъ пробудившуюся любовь къ жизни и сталъ просить, чтобы его не убивали, а доставили въ лагерь князя Яшвеля, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ. Мародеры начали совѣтоваться между собою, эта минута, между жизнью и смертью, говорилъ Александръ Ивановичъ, была ужасна. Потолковавши, они его подняли, взвалили на случившуюся на полѣ лошадь, привязали къ ней и вывели ее на дорогу къ лагерю. По счастью, лошадь была изъ того полка, къ которому принадлежалъ и Александръ Ивановичъ; она привезла его, безчувственнаго, прямо туда, гдѣ находился его полкъ. Тамъ его тотчасъ узнали и донесли князю Яшвелю. Князь приказалъ немедленно перенести его въ лазаретъ; въ немъ нашли признаки жизни, сдѣлали перевязки, и какъ только стало возможно, перевезли въ ближайшій нѣмецкій городокъ, тамъ помѣстили въ хорошемъ семействѣ, гдѣ за нимъ такъ ухаживали, что мало-по-малу онъ сталъ поправляться; но вслѣдствіе раны въ головѣ потерялъ память, долго не могъ вспомнить многихъ словъ въ разговорѣ, грамотѣ забылъ совершенно, и долженъ былъ снова учиться читать и писать. Въ награду за аустерлицкую битву онъ получилъ Георгія 3-й степени, а за участіе въ другихъ битвахъ—золотую шпагу за храбрость, Владимира съ бантомъ и pour le mérite.

Продолжать военную службу Александръ Ивановичъ не могъ; изъ артиллеріи его перевели начальникомъ драгуновъ въ Москву (въ настоящее время эти драгуны замѣнены жандармами), гдѣ онъ и помѣстился въ Крутицкихъ казармахъ. Спустя нѣсколько времени онъ женился на богатой дѣвушкѣ—Прасковьѣ Николаевнѣ Бибиковой, оставилъ службу и уѣхалъ съ женой въ ихъ тульское имѣнье, сельцо Чертовое, тамъ весь отдался сельскому хозяйству и садоводству. Пріятнымъ умомъ, благородствомъ и радушіемъ приобрѣлъ расположеніе и уваженіе всѣхъ своихъ сосѣдей и знакомыхъ, нѣкоторые изъ нихъ и до сихъ поръ еще съ любовью

вспоминають о немъ. Кромѣ хозяйства, онъ пристрастился къ охотѣ съ собаками... Охота напоминала ему войну. Я помню, какъ онъ, будучи уже лѣтъ пятидесяти, въ военной фуражкѣ, накинувъ на одно плечо бурку, верхомъ на отличной лошади, какъ бы влитой въ нее, молодцомъ отправлялся въ отъѣзжее поле, въ сопровожденіи многочисленныхъ псарей, одѣтыхъ въ охотничьи чекмени, съ перекинутыми черезъ плечи рогами и съ собаками на сворахъ.

Александръ Ивановичъ кончилъ жизнь почти ста лѣтъ, сохранивши умственные и физическія силы. Последнее время онъ не могъ много ходить и большую часть времени сидѣлъ въ своемъ большомъ креслѣ, которое повертывалось на винту. Однимъ утромъ, сидя на своемъ креслѣ, онъ повертывался на немъ, насвистывая маршъ, и сталъ дремать, сонъ клонилъ его все больше и больше, онъ закрылъ глаза и уснулъ навсегда.

Второй сынъ Ивана Ивановича, Петръ Ивановичъ, былъ мой отецъ. Онъ воспитывался въ кадетскомъ корпусѣ вмѣстѣ съ братомъ Александромъ, чрезвычайно любилъ его и былъ любимъ имъ равномерно, но пошелъ по пути совершенно противоположному его пути. По выпускѣ изъ корпуса, онъ поступилъ въ какой-то пѣхотный полкъ, изъ котораго поспѣшилъ выйти въ отставку, чтобы не дослужиться до военного времени. Добродушный, безпечный, робкій, съ привлекательной наружностью и живымъ, игривымъ умомъ, онъ цѣлью жизни своей поставилъ пріятно проводить время, нравиться женщинамъ и составить себѣ большое состояніе игрою въ карты. Искусствомъ проводить пріятно время онъ владѣлъ въ совершенствѣ. Женщинамъ нравился и измѣнялъ имъ безпрестанно, въ карты игралъ счастливо, но, несмотря на счастье, богатство его было постоянно въ приливѣ и отливѣ. Цѣну деньгамъ онъ придавалъ настолько, насколько онѣ доставляли ему возможность удовлетворять желанія и прихоти, и никогда не дорожилъ ими.

Выйдя въ отставку, Петръ Ивановичъ явился въ деревню къ матери, гдѣ вскорѣ вмѣстѣ съ нею поѣхалъ къ теткѣ въ Рѣчицы. Тамъ онъ увидалъ четырнадцатилѣтнюю Наталью Петровну Яковлеву и страстно влю-

бился въ нее. Тотчасъ у всего семейства родился планъ женить его на Наташѣ, которая, сверхъ рѣдкой красоты, считалась еще и одной изъ богатыхъ неvěстъ того края.

Несмотря на свою барскую спѣсь, Татьяна Ивановна отправилась съ визитомъ къ Христинѣ Петровнѣ вмѣстѣ съ сестрою и сыномъ, и была съ нею любезна и внимательна. Взаимныя посѣщенія стали повторяться все чаще и чаще, и короткость отношеній возрастала. Когда Татьяна Ивановна уѣхала въ Наквасино, Петръ Ивановичъ остался въ Рѣчицахъ и почти каждый день сталъ бывать въ Новосельѣ, гдѣ все больше и больше приобрѣталъ общее расположеніе и одушевлялъ весь домъ веселымъ характеромъ и живостью ума. Наконецъ, онъ сдѣлалъ предложеніе полуробенку Наташѣ.

Немедленно написали объ этомъ къ ея отцу.

Петръ Алексѣевичъ прислалъ рѣшительный отказъ и строгое приказаніе прекратить всякое сообщеніе съ семействомъ молодого человѣка, а его самого въ домѣ не принимать,—этимъ все и покончить.

Но этимъ все не кончилось.

Отецъ мой въ Новоселье ѣздить пересталъ, зато поѣхалъ въ Клинь къ пріятелю своему, клинскому исправнику Пустобоярову, рассказалъ ему про свою любовь, неудачу, отчаяніе и просилъ помочь увести Наташу. Пустобояровъ не только что принялъ во всемъ участіе, но пришелъ въ восторгъ отъ предстоявшаго скандала, и тотчасъ же принялся за дѣло. Когда готово было все необходимое для бракосочетанія, разставили лихія тройки лошадей по станціямъ отъ Клина до Рѣчицъ, куда и самъ отецъ мой отправился. Въ Рѣчицахъ онъ предсталъ теткѣ съ пистолетомъ въ рукѣ и поклялся, что убьетъ себя и ее, если она не согласится и не дастъ вѣрнаго слова употребить всевозможныя мѣры, чтобы вызвать къ себѣ Христину Петровну съ дочерьми.

Тетка прикинулась перепуганной до смерти и, какъ бы противъ воли, вошла въ заговоръ съ племянникомъ; къ заговору присоединили и компаньонку.

На другой день отправлена была записка въ Новоселье, съ убѣдительною просьбой навѣстить отчаянно заболѣвшую сосѣдку.

Ничего не подозрѣвая, Христина Петровна, несмотря

на строгое запрещеніе, собралась въ тотъ же день послѣ обѣда посѣтить заболѣвшую сосѣдку. Вмѣстѣ съ приглашеніемъ Христіны Петровны отецъ мой послалъ записку моей матери, въ которой умолялъ ее согласиться на побѣгъ. Ей подали записку въ саду въ то время, какъ раздался призывный звонокъ къ обѣду. Поторопившись идти на зовъ, она сунула записку въ кустарникъ, не прочитавши, и побѣжала въ комнаты, а послѣ обѣда, собираясь въ гости, позабыла о ней.

Катерину Ивановну онѣ нашли въ постели, еле переводящую духъ. Христіна Петровна, сердечно жалѣя ее, давала совѣты, предлагала услуги, варенья, фрукты и, наконецъ, совсѣмъ увлеклась бесѣдою съ больной.

День былъ жаркій, на небѣ собирались тучи, въ комнатахъ становилось душно. Компаньонка пригласила мать мою пройти по саду, и, разговаривая, незамѣтно подвела къ рѣшеткѣ, отдѣлявшей садъ отъ поля. У калитки стояла тройка съ телѣгой и ямщикомъ, а подлѣ нея мой отецъ.

Увидавши ихъ, онѣ бросился въ калитку и упалъ къ ногамъ моей матери, умоляя немедленно ѣхать. Ничего не зная и не ожидая, она была до того поражена и испугана, что лишилась чувствъ. Отецъ мой, не теряя времени, поднялъ ее на руки, внесъ въ телѣгу, сѣлъ подлѣ нея, и тройка исчезла. Темныя тучи надвигались все больше и больше, молніи вспыхивали и гасли, глухіе раскаты грома перешли въ удары и хлынулъ проливной дождь. Мать моя была въ легкомъ кисейномъ платьѣ, отецъ прикрылъ ее своимъ плащомъ, но дождь промочилъ и плащъ и платье; это привело ее въ себя, и она опомнилась. Съ ужасомъ увидала она, что съ нею дѣлалось; ни мольбы, ни ласки не могли ее успокоить. Она заливалась слезами и просилась домой. Несмотря на ея просьбы и слезы, лошадей мѣняли на каждой станціи, свѣжая тройка летѣла во весь духъ; къ вечеру они явились въ Клинь. Церковь была освѣщена, священникъ, свидѣтели, Пустобояровъ въ качествѣ посаженнаго отца—были готовы.

Ихъ обвѣнчали.

Мать моя—полуребенокъ, была не въ состояніи сообразить вдругъ всего, что съ нею совершилось и какъ

она изъ своего тихаго Новоселья очутилась въ средѣ удалыхъ помѣщиковъ.

Женихъ, горящія свѣчи, вѣнцы, кольца, пѣніе—все казалось ей дивнымъ, гнетущимъ сномъ. Она въ изумленіи и страхѣ машинально покорилась совершившемуся событію. Положеніе свое она сознала только въ квартирѣ мужа.

Пока они неслись на перемѣнныхъ тройкахъ, въ Рѣчицахъ шла мирная бесѣда. Христина Петровна, заговорившись съ мнимо-больною, не замѣтила, какъ приблизилась гроза. Когда раздались удары грома и полилъ дождь, она хватилась Наташи, встревожилась и послала за нею въ садъ. Долго не было отвѣта, наконецъ доложили, что въ саду Натальи Петровны нигдѣ не нашли; вслѣдъ затѣмъ въ комнату вбѣжала компаньонка въ разстроенномъ видѣ и объявила, что Наталью Петровну увезъ Петръ Ивановичъ. Христина Петровна ахнула и не могла подняться съ мѣста. Когда ее привели въ себя, она, несмотря на разъярившуюся бурю, уѣхала съ меньшей дочерью домой, гдѣ отъ огорченія и страха едва не утопилась въ пруду. Ее успѣли спасти.

Въ Новосельѣ весь домъ пришелъ въ страшное волненье, когда узнали о пропажѣ барышни. Григорій Андреяновичъ въ отчаяніи говорилъ, что если она не отыщется, то ему останется только лишить себя жизни. Онъ разослалъ нѣсколько подводъ по разнымъ путямъ отыскивать слѣды увезенной, самъ же, какъ бы по вдохновенію, поскакалъ по московской дорогѣ. Въ Клину онъ узналъ, что Петръ Ивановичъ и Наталья Петровна находятся тутъ же и уже обвиняемы. Рано утромъ старикъ явился къ нимъ на квартиру и просилъ доложить о себѣ. Отецъ мой вышелъ къ нему вмѣстѣ съ молодою женой. Григорій Андреяновичъ залился слезами и сказалъ: я погибъ. Отецъ и мать моя старались успокоить его, написали съ нимъ письмо къ матери, просили ее простить ихъ и сообщали, что ѣдутъ въ Москву, гдѣ будутъ просить родныхъ ходатайствовать за нихъ у Петра Алексѣевича.

На слѣдующій день молодые уѣхали въ Москву; тамъ, послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ попытокъ, они были при-

няты родными отца Натальи Петровны. Красота, отроческій возрастъ, невинность моей матери изумили и тронули всѣхъ, а ея ласковый и искренній характеръ возбуждали всеобщее къ ней расположеніе, которое и не измѣнялось до конца ея кратковременной жизни. Изъ Москвы отецъ мой ѣздилъ къ Петру Алексѣвичу съ письмами отъ его родныхъ, полными горячаго заступничества за виновныхъ.

Петръ Алексѣвичъ, послѣ многочисленныхъ отказовъ, принялъ зятя и простилъ его, увидавши въ немъ порядочнаго человѣка. Узнавши поближе, хорошо расположился къ нему, совѣтовалъ поступить на службу и общалъ свою опеку.

Мать моя до возвращенія мужа оставалась у княжны Анны Борисовны, но большую часть времени проводила въ домѣ княгини Марьи Алексѣвны, гдѣ были близкія ей по возрасту и по характеру двѣ дочери княгини. Она особенно дружески сблизилась со старшей, княжной Катериной—милой, симпатичной, исполненной жизни, игривости и добродушія. Меньшая, княжна Наталья, была сдержаннѣй и эгоистичнѣй. Отецъ ихъ, князь Федоръ Сергѣевичъ, небольшой ростомъ, олицетворенная доброта и простодушіе, до того былъ тихъ и кротокъ, что существованіе его едва было замѣтно въ домѣ. Его страсть, его занятіе составляли птицы. Онъ держалъ въ своемъ кабинетѣ канареекъ, соловьевъ, скворцовъ, училъ ихъ разнымъ напѣвамъ подъ органикъ и дудочку, или самъ насвистывалъ имъ аріи. Кромѣ птицъ его интересовали старинныя вещи. Каждое утро, въ своей крылатой пролеточкѣ, ѣздилъ онъ по магазинамъ древностей.

Княгиня представила мою мать роднымъ и знакомымъ, какъ свою племянницу, и вмѣстѣ съ дочерьми своими вывезла ее въ благородное собраніе; она не разъ рассказывала мнѣ, какъ въ собраніи красота моей матери обратила на себя всеобщее вниманіе, до того, что около нихъ образовывались круги, и какъ она была авантюжна въ легкомъ бѣломъ платьѣ, просто причесанная, съ брильянтовой ниткою на шеѣ. Единственный недостатокъ въ наружности моей матери былъ недостатокъ

роста, но, вѣроятно, въ тотъ еще отроческій возрастъ это ей не вредило.

Когда отецъ мой возвратился, они уѣхали въ Новоселье и жили тамъ до тѣхъ поръ, какъ выстроили себѣ домъ въ Корчевѣ или, лучше сказать, флигель изъ семи комнатъ. Передъ этимъ флигелемъ насадили березовыя аллеи, черемуху, рябину, кусты шиповника и малины, а за аллеями разбили огородъ. Просторный дворъ застроили надворными принадлежностями; когда все было готово и хозяйство съ помощью бабушки Христины Петровны заведено, родители мои переселились къ себѣ, но, несмотря на это, по большей части оставались въ Новосельѣ. Въ Корчевѣ у нихъ родился сынъ Алексѣй, крестнымъ отцомъ котораго былъ пріятель и сосѣдь моихъ родителей Дмитрій Матвѣевичъ Рудаковъ. Спустя два года послѣ Алеши родилась въ Новосельѣ я, 25-го іюля 1810 года. Меня назвали Татьяной въ честь матери моего отца, которая въ это время гостила въ Новосельѣ и была моей восприемницей. Крестнымъ отцомъ записанъ былъ Петръ Алексѣевичъ, за отсутствіемъ его у купели стоялъ братъ Дмитрія Матвѣевича, Михаилъ Матвѣевичъ Рудаковъ. Меня крестили въ новосельской церкви. Въ прекрасное лѣтнее утро, рассказывали мнѣ, по березовой аллеѣ отъ барскаго дома до церкви, кормилица Марья, выбранная изъ новосельскихъ крестьянокъ, несла меня на голубой шелковой подушкѣ, подъ кисейнымъ покрываломъ на розовой шелковой подкладкѣ, обшитой широкими кружевами. Рядомъ съ кормилицей шла старушка-няня, малороссіянка, присланная для меня Петромъ Алексѣевичемъ изъ Кременчуга. Она несла парадную корзинку съ батистовой рубашечкой, дѣтскимъ чепчикомъ, все въ кружевахъ и розовыхъ лентахъ, съ пеленками и дорогими ризками, тутъ же блестялъ золотой крестъ на золотой цѣпочкѣ, присланный крестнымъ отцомъ изъ Кременчуга, и крестъ на розовой ленточкѣ подставного кума. За нимъ торжественно выступала нарядная кума рядомъ съ кумомъ. Шествіе завершалось многочисленной свитой служителей. Такъ пышно выступала я въ жизнь,—не такъ привелось проводить ее. Отецъ-крестный прислалъ мнѣ изъ Кременчуга кусокъ батиста на рубашечки и тонкаго голландскаго полотна на пеленки, да штуку шелковой

розовой матеріи на одѣяльца и капотецъ. Мнѣ привелось ими пользоваться, когда я была уже подросткомъ. Дядя Николай Петровичъ выслалъ мнѣ изъ Петербурга серебряную вызолоченную внутри суповую чашечку, такую же серебряную кастрюльку на кашу и золотую ложечку. Первые годы моего младенчества проходили въ Новосельѣ, подъ попеченіемъ бабушки. Временами мать моя брала меня съ кормилицей на нѣсколько дней къ себѣ въ Корчеву и по большей части возвращала бабушкѣ больною. По молодости и неподготовкѣ къ материнскимъ обязанностямъ, она вредила мнѣ своей любовью и неопытностью. Заигравшись со мною, укладывала не въ-время спать, раздраживши до слезъ, кормила сладостями, чтобы успокоить; когда я тянулась къ лужѣ, блестящей на солнцѣ, снимала съ меня рубашечку, сажала въ лужу и любовалась, какъ я плещу по водѣ ручонками. Сверхъ того, она думала, что такое купанье укрѣпитъ мое здоровье, но здоровье мое отъ этихъ ваннъ не укрѣплялось, а разстраивалось. Однажды я едва не умерла, простудившись въ лужѣ.

Братъ мой, любимецъ бабушки, росъ тоже въ Новосельѣ. Тамъ случилось съ нимъ большое несчастье. Разъ въ диванной комнатѣ горничныя дѣвушки распарывали перочиннымъ ножичкомъ диванъ, братъ мой это видѣлъ. Когда работавшія ушли обѣдать, онъ вошелъ въ диванную, взялъ оставленный ножичекъ и запустилъ его подъ бечебочку, которой сшить былъ диванъ. Ножичекъ сорвался, врѣзался ему въ глазъ и разсѣкъ часть зрачка. Глазъ спасли, но зрѣніе спасти было нельзя. Онъ этимъ глазомъ почти ничего не видѣлъ и немного косилъ своими прекрасными черными глазами.

Несмотря на десятилѣтнее отсутствіе Петра Алексѣевича изъ Новоселья, несмотря на то, что обѣ дочери его были, какъ говорится, устроены, изъ всѣхъ его писемъ къ нимъ видно, что онъ ихъ любилъ и не переставалъ ихъ любить и о нихъ заботиться.

Изъ двухъ прилагаемыхъ писемъ его къ меньшей дочери, писанныхъ еще до ея замужества, видно, что онъ былъ чѣмъ-то недоволенъ своими родными въ отношеніи къ ней. На конвертѣ перваго письма надписано рукою Петра Алексѣевича:

Елизаветѣ Петровнѣ Яковлевой.

Въ Новоселье.

Генваря 14 (годъ не обозначенъ).

«Любезная Лизанька! жаль мне, что тѣбя таскаютъ изъ стороны въ сторону, какъ будто тебѣ нѣтъ нигдѣ и пристанища. Вотъ что происходитъ съ теми детьми, у которыхъ отцы въ отдаленности.

«Съ теперешняго времени, никогда безъ особеннаго отъ меня позволенія никуда не ездѣ, и письмо сіе всегда у сѣбя храни, а у меня есть копія. Крепко держись Бога, добродетели и меня, и остерегайся отъ сетей злонамеренныхъ, ты невинна и неопытна, немудрено тебя и обмануть. Размысли сама съ собой, кто доброхотственнее и дальновиднѣе подастъ тебѣ совѣтъ, въ сравненіи моего, и кто тебѣ болѣе моего можетъ здѣлать щастія. Потерпи, Богъ милостивъ, можетъ быть скоро разрешится и моя судьба, тогда ты познаешь въ какомъ градусе мой къ тебѣ доброжеланіе и готовность содѣлать твоё благополучіе. *Votre mère m'écrit que vous me direz personnellement les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas être à Moscou. Ecrivez moi sincèrement tout comme à votre bon père et vrai ami. Adieu, ma chère.*

Петръ Яковлевъ».

II-е письмо.

«Ma chère Lisette!

Je suis persuadé que vous ne ferez pas un pas de Novocelie sans ma permission. Observez strictement mes ordres et soyez persuadée, que tous mes conseils sont pour votre bonheur. Adieu, je vous embrasse tous de tout mon coeur.

Votre père P. J a c o w l e f f.»

23-го мая.

«Любезная Лизанька!

О полученіи лентъ я тебя уведомлялъ, а румянъ мне не надобно. Фазну Егоровну *) поблагодари за приписаніе; я думалъ, что ко мнѣ Анна Натаровна Кузенова

*) Фазна Егоровна Зиновьева родственница княжны Анны Борисовны Мещерской и ея другъ, которая почти каждую зиму прѣзжала къ ней въ Москву съ своей дочерью, дѣвушкой Степанидой Николаевной.

написала по-грузински, такъ нынче хорошо Фаэна Егоровна пишетъ, которую я однакожь люблю и почитаю, а тебѣ пожелаю здоровья и счастья, совѣтаю въ полной мѣрѣ чувствовать милостивое къ тебѣ расположеніе тетушки, ты знаешь, сколь я ее уважаю и сколь душевно къ ней приверженъ, слѣдуй моему примеру. Adieu, ma chère — enfant.»

Я удержала въ письмахъ Петра Алексѣевича его ореографію. Какъ онъ, такъ и его братья, всю жизнь свою писали правильнѣе по-французски, нежели по-русски.

Вскорѣ по моемъ рожденіи, тетушка Лизавета Петровна вышла замужъ за молодого медика Карла Карловича Смаллана, ревельскаго уроженца. Онъ былъ хорошъ собой, образованъ, кончилъ курсъ въ геттингенскомъ университетѣ, путешествовалъ—и имѣлъ порядочное состояніе. Петръ Алексѣевичъ безъ затрудненія далъ на этотъ бракъ свое согласіе и выслалъ изъ Кременчуга порядочную сумму на приданое дочери. Вотъ одно изъ его писемъ по этому случаю.

«Любезная Лизанька!

Послалъ я къ тебе 7 аршинъ шифону, и на 2 платья розоваго англійскаго атласу, и то и другое стоитъ 100 рублей, отъ Соколова ты получишь 100. Послалъ я къ тѣтушке для доставленія къ тебѣ лучшаго голанскаго полотна кусокъ которой я заплатилъ 275 рублей, скатерть и 12 салфетокъ 75 рублей, отъ Петра Ивановича ты получишь по продаже перстня, или назначу изъ Москвы 1000—1500 рублей. Изъ 1000 рублей ты можешь здѣлать употребленіе сообразно съ обстоятельствами, относительно твоей судьбы, но покупай всё что нужно по совѣту матери. C'est à dir ce qu'il faut pour votre garderobe, linge et lit. Однимъ словомъ всё что ты почитаешь за необходимое. Я знаю, что ты бережлива и съ расчётомъ.

Отецъ твой П. Яковлевъ.

14 февраля
1811 года. Кременчугъ.»

Чтобы быть ближе къ роднымъ своей жены, Карлъ Карловичъ занялъ скромное мѣсто уѣзднаго врача въ Корчевѣ. Вблизи дома моихъ родителей купилъ большое мѣсто, на которомъ выстроилъ себѣ домъ съ при-

надлежностями. Изъ слѣдующаго письма видно, что Петръ Алексѣевичъ помогаль имъ устраиваться и былъ хорошо расположенъ къ Карлу Карловичу.

«1811 года, 25 іюля. Кременчугъ.

Любезныя друзья Карлъ Карловичъ и Лизанька! Въ уваженіе просьбы вашей, съ удовольствіемъ выполняю слѣдующее:

1) Велите здѣлать рѣшетку передъ окошками вашего дома, каковую именемъ моимъ прикажите Соколову кончить поскорѣя, раздѣля работу по кварталамъ.

2) Отдаю навсегда Ключаревой *) ту дѣвку, которую я прежде ей отдалъ на время.

3) А на мѣсто оной, позволяю вамъ выбрать другую дѣвку хорошую и добраго поведенія изъ села, и изъ обоихъ деревень и отдайте ее въ ученіе, нѣмцѣ, поваренному мастерству.

4) Черезъ три дня придется Лизанькѣ на платѣ хорошей матеріи.

5) За оказанное ко мнѣ усердіе, тобою, любезный другъ Карлъ Карловичъ, покажу и мое къ вамъ доброжелательство т.-е.: за вѣрную и усердную мою службу назначено мнѣ получать по ордену Святыя Анны 2-го класса пенсіонъ, который навсегда отдаю тебѣ, любезный другъ Карлъ Карловичъ съ Лизанькой, и съ сего времени будетъ принадлежать уже вамъ, и вы его всегда получать будете, сколько по закону постановлено, по моей довѣренности къ г-ну министру финансовъ. Впрочемъ остаюсь къ вамъ навсегда искреннимъ доброжелателемъ. Прилагаемую купчую крѣпость вручи своему мужу, на тѣхъ людей, коихъ я вамъ отдалъ въ вѣчное владеніе, Впрочемъ остаюсь съ прежнимъ и всегдашнимъ моимъ къ вамъ доброжеланіемъ П. Яковлевъ**).

Карлъ Карловичъ, разъ устроившись въ Корчевѣ, такъ и остался въ ней навсегда. Онъ любилъ независимость,—здѣсь ничто не стѣсняло его. Средства позво-

*) Меньшая дочь Горчакова, вышедшая замужъ за чиновника Ключарева.

**) По болѣе правильной ореографіи и по рукѣ видно, что письмо это и письмо насчетъ лентъ писаны подъ диктовку Петра Алексѣевича конторщикомъ его Константиномъ Толочановымъ.

ляли вести образъ жизни по вкусу. Въ кабинетѣ дяди была избранная библіотека, по предмету его занятій, и постоянно пополнялась вновь выходившими сочиненіями, Сверхъ того, онъ получалъ лучшіе журналы и газеты того времени, какъ русскіе, такъ и иностранные, и выписывалъ новыя произведенія литературы. Передъ окнами ихъ дома разведенъ былъ большой цвѣтникъ съ множествомъ великолѣпныхъ цвѣтовъ. Обширный, изысканный огородъ окружали тѣнистыя аллеи и пересѣкали куртины и гряды ягодъ, теплички и парники. Въ непродолжительное время дядя пріобрѣлъ общее уваженіе честностію, безкорыстіемъ, дѣйствительнымъ знаніемъ своего предмета, не только въ своемъ уѣздѣ и губерніи, но и въ отдаленныхъ мѣстахъ. Довѣріе къ нему было безгранично, практика обширная. Лѣтомъ больные пріѣзжали къ нему въ Корчеву точно на воды, и большей частью выздоравливали. Впослѣдствіи дядя весь отдался гомеопатіи и былъ въ перепискѣ съ Ганеманомъ. Онъ ожидалъ отъ гомеопатіи дивныхъ результатовъ, чуть ли не вѣчной юности. До шестидесяти лѣтъ онъ былъ свѣжъ и здоровъ, какъ сорокалѣтній; казалось, ему предстоитъ еще долгая жизнь, но вышло иначе. Онъ кончилъ жизнь съ небольшимъ 60 лѣтъ въ жестокихъ страданіяхъ отъ развившагося на лицѣ рака.

Дѣтей у тетушки Лизаветы Петровны не было, привязанность ея и дяди сосредотачивалась на мнѣ. По кончинѣ ихъ, большую часть своего состоянія они оставили мнѣ и моимъ дѣтямъ.

Петръ Алексѣевичъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ жилъ въ Херсонѣ, а больше въ Кременчугѣ, не видаясь съ своимъ семействомъ, гдѣ, по своему общественному положенію, уму и обстановкѣ, пользовался почетомъ, несмотря на то, что находился подъ судомъ и слѣдствіемъ по сдѣланному на него двумъ доносамъ: одинъ—какимъ-то Ковалевскимъ, убѣжавшимъ съ каторги, другой—Раичемъ. Въ 1804 г. Петръ Алексѣевичъ, будучи устраненъ отъ должности, много разъ просился въ отставку или хотя въ отпускъ, черезъ Оболеннова и Куракина, но получилъ отказъ, и принужденъ былъ жить безъ всякаго дѣла въ Кременчугѣ, противъ своего желанія.

Въ 1812-мъ году онъ былъ совершенно оправданъ по

доносу Ковалевского, и, получивъ разрѣшеніе оставить Кременчугъ, немедленно собрался выѣхать въ Новоселье. Въ Кременчугъ Петръ Алексѣевичъ привязался къ женѣ одного изъ своихъ чиновниковъ—Катеринѣ Валерьяновнѣ Ульской. Говорили, онъ купилъ ее у Ульского, а его отправилъ куда-то въ командировку, изъ которой тотъ и не возвращался никогда. Жена его съ своимъ сыномъ Христофоромъ Ульскимъ жила въ Кременчугѣ постоянно при Петрѣ Алексѣевичѣ; старикъ привыкъ къ ней до того, что когда собрался ѣхать въ Новоселье и она рѣшительно отказалась за нимъ слѣдовать иначе, какъ въ качествѣ жены, то онъ, больной и разстроенный, послѣ долгаго колебанія и отказовъ, наканунѣ своего выѣзда обвинчался съ нею въ 12 часовъ ночи *).

Съ дороги, черезъ Григорья Андреяновича, дано было знать моей бабушкѣ, чтобы она изъ Новоселья выѣхала въ Шумново. Неожиданная вѣсть о женитьбѣ Петра Алексѣевича и приказъ Христинѣ Петровнѣ оставить Новоселье поразила всѣхъ. Бабушка не вдругъ поняла, въ чемъ дѣло, когда же поняла, то такъ растерялась, что безъ слезъ, безъ разспросовъ, поспѣшно начала собираться къ выѣзду; странно улыбалась, разговаривала сама съ собою, перекладывала съ мѣста на мѣсто свои вещи, безцѣльно ходила туда и сюда, приказывая скорѣе закладывать лошадей, и, ничего не взявши, выѣхала въ Шумново въ томъ, въ чемъ засталъ ее приказъ Петра Алексѣевича удалиться изъ дома, въ которомъ она прожила около тридцати лѣтъ.

Съ этого времени Христина Петровна почти утратила память и сдѣлалась поразительно разсѣянна. Повидимому, прошедшее какъ-то туманно представлялось ей, мѣшалось съ настоящимъ, и нерѣдко видала, какъ она разговаривала сама съ собою, какъ бы съ видимыми ею предметами и людьми.

Пріѣхавши въ Новоселье, Петръ Алексѣевичъ тотчасъ послалъ за дочерьми, встрѣтилъ ихъ въ сильномъ волненіи, рыдая обнялъ и увелъ въ свой кабинетъ, куда

*) Этотъ поздній часъ бракосочетанія, въ процессѣ братьевъ Петра Алексѣевича съ Катериной Валерьяновной, служилъ однимъ изъ пунктовъ къ опроверженію этого брака.

позвалъ и Катерину Валерьяновну. При ней просилъ дѣтей простить ему его женитьбу и заставилъ жену дать клятву, что она станетъ смотрѣть на дѣтей его, какъ бы на своихъ собственныхъ, и все, что получить послѣ него, то, по смерти своей, передать имъ. Говорилъ, что Новоселье оставить сыну, Шумново и Уходово—дочерямъ, съ тѣмъ, чтобы всѣ они выплатили Катеринѣ Валерьяновнѣ извѣстную сумму деньгами.

Все время, чтѣ Петръ Алексѣевичъ провелъ въ Новосельѣ, онъ почти не отпускалъ отъ себя дочерей своихъ. Изъ прилагаемой записки видно, что и Катерина Валерьяновна, въ угоду мужу, показывала къ нимъ вниманіе, которое скорѣе оскорбляло, нежели радовало ихъ.

«Любезная Елизавета Петровна!

Препоручилъ мнѣ Петръ Алексѣевичъ доставить вамъ прилагаемую записочку, которую отдайте вашему сожителю.

Съ удовольствіемъ васъ увѣдомляю, что папенька вашъ, съ нынѣшнею почтою, сильнымъ образомъ писалъ о чинѣ Карла Карловича къ министру полиціи. Желаю, чтобы съ успѣхомъ просьба была выполнена.

Впрочемъ остаюсь вами доброжелательствующая

Екатерина Яковлева»

Судъ надъ Петромъ Алексѣевичемъ, по доносу Раича, продолжался еще и по приѣздѣ его въ Новоселье, и только въ началѣ 1813 года именнымъ указомъ изъ арміи сообщено было ему черезъ военнаго министра, что государь, разсмотрѣвъ его дѣло по доносамъ Раича, нашелъ его совершенно невиннымъ.

Вслѣдъ за этимъ въ Новоселье пришло изъ Петербурга извѣстіе, что Николай Петровичъ скоростѣжно кончилъ жизнь. Кончина сына такъ поразила Петра Алексѣевича, что тутъ же апоплексическій ударъ лишилъ его правой руки, ноги и языка.

Камердинеръ Николая Петровича, приѣхавшій съ его оставшимися вещами въ Новоселье, сообщилъ подробности о его кончинѣ.

Въ день своей кончины, говорилъ онъ, Николай Петровичъ, совершенно здоровый, поѣхалъ на службу, оттуда, по приглашенію Александра Алексѣевича, брата

его отца, завернулъ на нѣсколько минутъ къ нему, почувствовалъ себя нехорошо и поспѣшилъ домой. Какъ только онъ вошелъ въ комнату, съ нимъ сдѣлались жестокія боли съ конвульсіями. Камердинеръ бросился за медикомъ; когда медикъ пріѣхалъ, было уже поздно.

Ко мнѣ перешелъ черный силуэтъ дяди моего Николая Петровича Яковлева, сдѣланный на овальномъ стеклѣ въ золоченомъ полѣ, окаймленномъ вѣнкомъ изъ плюща. Лицо молодое, открытое, съ типическими чертами фамиліи Яковлевыхъ.



ГЛАВА II.

Младенчество.

813—1814.

И передъ ней воспоминанья
Такъ ясно начали.....
Вставать изъ тускаго молчанья,
Что образы иныхъ временъ
Совсѣмъ воскресли, какъ живые;
Всѣ люди близкіе, родные,
И каждый стулъ, окно нль дверь,
Все живо, вотъ какъ бы теперь;
И, видя прежніе предметы,
Она сама передъ собой
Опять является такой,
Какой была въ инныя лѣта.

.....ъ.

Онъ передъ моими глазами
развивался изъ своей младенче-
ской хризолиты къ жизни пол-
ной.

Не приведи Богъ никому переживать то, что привелось переживать мнѣ въ 1860 годахъ. Душевные страданія, въ которыхъ утекаетъ жизнь, длились годы, и завершились утратой, страшной утратой—далеко отъ меня. Мнѣ давали понять несчастье намеками, взглядами, подготовительными телеграммами—не догадыва-

лась. Чтобы понять возможность совершившагося, мнѣ надобно было увидать, надобно было дотронуться, и я дотронулась до гроба. Какъ я не умерла у гроба, — не знаю; не помню даже, плакала ли. Знаю только, что я годы умирала, годы плакала. И теперь, уже у близкаго свиданія съ утраченными,—порой плачу жгучими слезами — слезами осиротѣлой матери. Здоровье мое таяло; оставшимся у меня становилась бесполезна. Я не умирала и не жила. Меня уговаривали ѣхать въ деревню, не хотѣлось оставлять Москвы; въ окно одной изъ комнатъ нашего дома виднѣлся немного Симоновъ монастырь; каждое утро я входила въ эту комнату посмотреть на то мѣсто, гдѣ они, поздороваться съ ними. Меня уговорили ѣхать.

Была весна. Мы наняли барскую усадьбу въ небольшой подмосковной деревнѣ. Быть-можетъ, думала я, здѣсь отдохну, успокоюсь—не отдыхалось, я чувствовала нестерпимую усталъ и не знала, куда себя дѣвать. Праздное горе истомляло меня.

Разъ въ половинѣ лѣта, оставшись одна, прилегла я въ гостиной на диванѣ. Вокругъ меня не было ни звука, ни движенія, только изъ дальней пустоши доносилась пѣсня и какъ бы удваивала тишину. Полуденное солнце, пробираясь сквозь занавѣсы, опущенныя на раскрытыя окна и двери балкона, наполняло комнату мирнымъ полусвѣтомъ. Гармонія и глубокое спокойствіе цѣлаго отзывались благотворно въ больной душѣ моей, — я отдыхала и задумалась о быломъ. Образы, ушедшіе въ вѣчность, возникали передъ моимъ внутреннимъ взоромъ, и такъ радостно обступали меня, что мнѣ жаль стало расстаться съ ними, захотѣлось удержать эти духовныя видѣнья, — это возможно, думала я, они не сны, они жизнь,—моя жизнь, я облеку ихъ въ живое слово, и помимо себя они останутся со мною, спасутъ меня, воскресшая жизнь «изъ дальнихъ лѣтъ»—и стала писать воспоминанія.

Картины протекшей жизни послѣдовательно выдвигались однѣ за другими и съ каждымъ днемъ становились яснѣй и отчетливѣй; вмѣстѣ съ ними, какъ будто, оживала и я. Порой срывалась тихая улыбка, порой катилась горькая слеза.

Какъ бы сквозь утренній туманъ показалась дѣтская

комната, раздѣленная на двѣ половины колоннами; за колоннами двѣ маленькія кровати. Солнце закатывается, лучи его широкой полосой падаютъ сквозь итальянское окно на полъ, тѣни всѣхъ предметовъ вытягиваются. Зайчикъ радужнымъ кружкомъ мелькаетъ по стѣнѣ, старушка-няня вертитъ въ рукѣ хрустальную граненую подвѣску, упавшую съ люстры, радуется, какъ я ловлю зайчика и дивлюсь, что онъ вбѣгаетъ изъ поднаджавшей его ручонки.

Изъ-за дѣтской выдвигаются терраса, прудъ, паркъ, аллея липъ, на террасѣ прелестная молодая женщина—это мать моя, я играю подлѣ нея на полу, она беретъ меня на колѣни, расчесываетъ мои длинные, бѣлокурые волосы и собирается ихъ стричь, я плачу, меня сѣкутъ прутомъ.

Въ сторонѣ отъ пруда, въ сосновой рощѣ, блеснуль огонекъ; на сложенныхъ въ клѣтку кирпичикахъ двѣ старушки-няни пекутъ на огонькѣ сыроѣшки; подлѣ нихъ, на подушкѣ, сидитъ мой братъ, изъ маленькой повозочки выглядываю я. Деревья шумятъ, кричатъ иволги, кукуетъ кукушка, и все куда-то тонетъ, тонетъ—и замѣняется широкимъ дворомъ, поросшимъ высокой травой и цвѣтами. Я играю на дворѣ съ какими-то ребятами и валяюсь среди лиловыхъ колокольчиковъ, дремы и букашекъ.

Цѣлые ряды едва уловимыхъ представленій видоизмѣняются, яснѣютъ, кроются, таютъ какъ облака, снова появляются и опять тонутъ въ глубокую ночь. Но вотъ на дальнемъ горизонтѣ занимается утро, оно освѣщаетъ узенькую дѣтскую комнатку и маленькую кровать, подлѣ бѣлой кисейной занавѣской спитъ трехлѣтняя дѣвочка; дѣвочка эта — я, меня будитъ громкій, оживленный разговоръ въ комнатѣ рядомъ съ дѣтской и ребячeskій голосъ. Въ одной рубашонкѣ, босикомъ, я встаю съ постели, растворяю дверь и остаиваюсь на порогѣ. У большого стола стоитъ моя мать, а подлѣ нея незнакомая молодая дама, онѣ держатъ за ручки стоящаго на столѣ ребенка и надѣваютъ на него мой теплый левантиновый капотецъ, стального цвѣта. Огорченная этимъ зрѣлищемъ, я громко реву и обращаю на себя общее вниманіе. Ребенокъ этотъ былъ А—ръ И—чь Г—ъ, извѣстный въ литературѣ подъ псевдони-

момъ И—а. Незнакомая дама его мать—Луиза Ивановна Гаагъ. Вѣроятно, страхъ лишиться капотца до того отчетливо запечатлѣлъ этотъ случай въ моей памяти, что мнѣ кажется, я и теперь все это вижу.

Впослѣдствіи, изъ разсказовъ близкихъ мнѣ людей, я узнала много мелкихъ событій изъ моей дѣтской жизни, они пополнили мою память, и еще больше узнала крупныхъ случаевъ изъ жизни окружавшихъ меня лицъ.

Мнѣ помнится, или скорѣй я это слышала, какъ мать моя, увидавши меня въ горькихъ слезахъ, взяла меня на руки и уговаривала не плакать, а я, указывая на ребенка, спокойно усѣвшася въ моемъ капотцѣ на столѣ, ревѣла пуще прежняго. Думая меня тронуть и разжалобить, мнѣ говорили, что это дитя мнѣ родня, зовутъ его Сашей, что ему отдали мой капотецъ потому, что у него все отняли французы и ему нечего надѣть,—поэтому я должна съ радостью отдать ему не только что капотецъ, но подѣлиться платицами и рубашечками, а жадничать стыдно. Но сколько ни стыдили меня, сколько ни старались возбудить во мнѣ добродѣтельные чувства и склонить къ дружбѣ съ Сашей—я ничего не стыдилась, ничѣмъ не трогалась и продолжала ревѣть.

Когда я нѣсколько утихла, мать Саши приласкала меня и посадила подлѣ него на столъ, чтобы мы поцѣловались и познакомились. Надувши губы, я его поцѣловала, затѣмъ оттолкнула такъ, что онъ чуть не слетѣлъ со стола; за этотъ подвигъ другимъ толчкомъ меня со стола согнали.

Луиза Ивановна и Саша, за нѣсколько дней передъ этимъ, пріѣхали въ Новоселье съ Иваномъ Алексѣвичемъ Яковлевымъ, десятилѣтнимъ сыномъ его, Егоромъ Ивановичемъ, и прислугой. Мать моя была у нихъ накануне, а вечеромъ, когда мы уже спали, привезли къ намъ въ Корчеву Сашу съ его матерью, чтобы устроить ихъ гардеробъ, и они у насъ ночевали.

Мать Саши, Генріета-Вильгельмина-Луиза Гаагъ, была красивая брюнетка, добросердечная до безконечности. Она родилась въ Штуттгардѣ отъ небогатыхъ родителей. Жизнь ея въ родительскомъ домѣ была несчастлива, поэтому она часто проводила по нѣскольку дней въ

одномъ богатомъ семействѣ, гдѣ видала русскаго посланника Льва Алексѣевича Яковлева и брата его, Ивана Алексѣевича. Оба они, слыша о печальной жизни хорошенькой пятнадцатилѣтней Генріеты, относились къ ней съ участіемъ и, шутя, предлагали перейти къ нимъ въ посольство. Однажды, обиженная и огорченная, она ушла изъ родительскаго дома, явилась въ русское посольство и просила скрыть ее. Ее тамъ оставили и дали должность по утрамъ наливать кофе посланнику и его брату. Иванъ Алексѣевичъ въ скоромъ времени уѣхалъ, кажется, въ Италію. Возвратясь, онъ нашелъ Генріету беременной. Левъ Алексѣевичъ состоялъ тогда посланникомъ въ Касселѣ, при королѣ Жеромѣ. Это было въ исходѣ 1811 года.

Готовилась отечественная война. Иванъ Алексѣевичъ собирался въ Россію и хотѣлъ Генріету передать ея роднымъ, но она пришла въ такое отчаяніе, что онъ рѣшился взять ее съ собой. Проѣздъ въ это время былъ не безопасенъ не только для женщины, но и для мужчины. Генріету переодѣли въ мужское платье и обрѣзали ей волосы.

Въ Москвѣ они остановились на Тверскомъ бульварѣ, въ домѣ Александра Алексѣевича Яковлева. 1812 года, 25-го марта, въ бель-этажѣ этого дома у Генріеты родился сынъ; его назвали Александромъ, по крестному отцу Александру Алексѣевичу, а по Ивану Алексѣевичу—Ивановичемъ, усыновившему его какъ воспитанника. Фамилію ему дали Г—нъ, подразумѣвая, что онъ дитя сердца и желая этимъ ознаменовать свою любовь къ новорожденному.

Саша родился слабымъ, тщедушнымъ. Къ нему взяли въ кормилицы изъ подмосковной деревни молодую, здоровую крестьянку Дарью. Въ подмогу кормилицѣ приставили няню, Вѣру Артамонову, пожилую дѣвушку, высокую, худощавую, съ наивно-добродушнымъ выраженіемъ лица.

Чтобы прислугѣ легче было называть Генріету, изъ всѣхъ именъ ея выбрали, какъ наименѣ трудное и болѣе знакомое, имя Луизы, а по Ивану Алексѣевичу называли Ивановой.

Сашу отъ колыбели, по безмѣрной любви къ нему

Ивана Алексѣвича, какъ онъ, такъ и всѣ къ нему близкіе называли «Шушкой».

По отъѣздѣ Ивана Алексѣвича въ чужіе края, въ подмосковномъ селѣ Покровскомъ родился у него сынъ Георгій, гдѣ и оставался, кажется, до трехъ или четырехлѣтняго возраста. Одна знакомая княгини Марьи Алексѣвны, проѣзжая Покровское, видѣла этого ребенка въ самомъ жалкомъ положеніи; по пріѣздѣ въ Москву, она рассказала все княгинѣ и прибавила, что мальчикъ какъ двѣ капли воды похожъ на ея брата. Княгиня была тронута положеніемъ заброшеннаго малютки, приказала привезти его въ Москву и оставила у себя. Въ семействѣ княгини всѣ съ участіемъ и любовью относились къ бѣдному ребенку, ласкали, берегли и называли «Егоринькой».

По портрету, снятому съ него на слоновой кости известнымъ въ то время миниатюрнымъ портретистомъ Ла-Першемъ, видно, что это былъ бѣлокурый, миловидный мальчикъ, напоминавшій своего отца, несмотря на то, что выраженіе лица его было иное. Онъ съ портрета, до сихъ поръ сохранившагося, добродушно улыбается.

Когда Иванъ Алексѣвичъ пріѣхалъ въ Москву, княгиня представила ему девятилѣтняго сына; отецъ, посмотрѣвши на него, положилъ ему на плечо руку, холодно поцѣловалъ, и, обратясь къ сестрѣ на французскомъ языкѣ, выразилъ неудовольствіе за то, что она, не спрося его, взяла къ себѣ на воспитаніе его дитя. Повидимому, онъ съ перваго взгляда почувствовалъ къ сыну нерасположеніе, которое и продолжалось всю его жизнь; оно выражалось ничѣмъ незаслуженными притѣсненіями, доходившими до оскорбленій самыхъ глупыхъ.

Россія была въ волненіи. Наполеонъ съ соединенными силами приближался къ Москвѣ. Многіе изъ жителей Москвы, въ томъ числѣ княгиня съ семействомъ и княжной Анной Борисовной, стали изъ нея выбираться. Егориньку, еще не оправившагося послѣ сдѣланной ему операціи, княгиня оставила съ отцомъ въ Москвѣ и при немъ его няню, пожилую дѣвушку Наталью Константиновну, которую за ея оригинальность всѣ звали «Костенькой», княгиня же, по тогдашнему обычаю го-

сподѣ называть прислугу полуименемъ, звала ее просто «Костькой».

Съ этого времени Егоръ Ивановичъ остался при отцѣ своимъ совѣмъ. И сколько горя пришлось ему вынести!

Елисавета Алексѣевна Голохвастова также выѣхала изъ Москвы съ двумя сыновьями, Дмитріемъ и Николаемъ Павловичами и дочерью Натальей Павловной. Мужъ ея, Павелъ Ивановичъ, остался въ Москвѣ, чтобы ѣхать съ Иваномъ Алексѣвичемъ. Родные совѣтовали имъ не медлить. Иванъ Алексѣвичъ, предвидя опасность, уговаривалъ Павла Ивановича поторопиться сборами; но тотъ, толкуя да перетолковывая, собираясь да откладывая, наконецъ, совѣмъ раздумалъ оставлять столицу. Видя это, Иванъ Алексѣвичъ рѣшилъ 1-го сентября выѣхать безъ него. Какъ только онъ объявилъ свое намѣреніе Павлу Ивановичу, тотъ и раздумалъ оставаться, только попросилъ обождать его до слѣдующаго дня, чтобы ему совѣмъ уложиться.

2-го сентября, въ десятомъ часу утра, оставилъ Москву Александръ Алексѣвичъ и совѣтовалъ брату не медлить. Проводивши брата, Иванъ Алексѣвичъ приказалъ готовить экипажи и укладываться, между тѣмъ пошелъ поторопить Павла Ивановича. Къ удивленію его, Павелъ Ивановичъ объявилъ, что передумалъ и находить безопаснѣе оставаться на мѣстѣ, тѣмъ больше, что получилъ извѣстіе, которымъ сообщаютъ ему, что на дорогѣ, по которой имъ надобно ѣхать, показались казаки и бѣглые солдаты. Мало того, что всѣ убѣжденія остались напрасны, онъ совѣтовалъ и Ивану Алексѣвичу не оставлять Москвы, а перебраться въ домъ княжны Анны Борисовны, чтобы быть поближе къ нему, такъ какъ дворъ ея прилегалъ къ саду Голохвастовыхъ *).

Возвратясь къ себѣ, Иванъ Алексѣвичъ приказалъ закладывать лошадей, а самъ со своими сѣлъ обѣдать. Во время обѣда онъ спросилъ воды, ему сказали, что

*) Все, что говорится въ моихъ воспоминаніяхъ о пребываніи Ивана Алексѣвича Яковлева и его семейства въ Москвѣ, во время занятія ея непріателемъ, слышала я въ его семействѣ, для большаго же точности записала со словъ его сына Егора Ивановича Герцена, бывшаго въ то время уже по десятому году и присутствовавшаго при всѣхъ упоминаемыхъ мною событіяхъ.

дворникъ давно уѣхалъ за водой и неизвѣстно, почему его до сихъ поръ нѣтъ. Спусти нѣсколько минутъ, камердинеръ Ивана Алексѣевича доложилъ не своимъ голосомъ, что дворникъ возвратился безъ бочки и безъ лошадей, которыхъ у него отняли французы. Всѣ встали изъ-за стола, подойдя къ окну, увидали французскихъ драгуновъ въ каскахъ съ конскими хвостами, идущихъ по бульвару и скачущихъ верхомъ на лошадяхъ по улицѣ. Иванъ Алексѣевичъ приказалъ экипажамъ переѣхать во дворъ княжны Анны Борисовны и всѣмъ туда перебраться, а самъ пошелъ развѣдать, что дѣлается на улицахъ Москвы. Домъ Голохвастовыхъ они нашли разграбленнымъ, а Павла Ивановича въ саду; онъ сидѣлъ на скамейкѣ, подлѣ него сложены были его вещи. Они помѣстились съ нимъ рядомъ, но не успѣли еще образумиться, какъ въ садъ ворвалось нѣсколько польскихъ улановъ, которые ограбили ихъ до-чиста, даже пеленки съ ребенка снимали, отыскивая золота и брильянтовъ. Одинъ пьяный солдатъ потянулъ у Павла Ивановича изъ кармана часы; Павелъ Ивановичъ не давалъ, говорилъ, что эти часы прислалъ ему на память изъ Лондона братъ Левъ Алексѣевичъ и онъ дорожить ими. Уланъ, раздраженный сопротивленіемъ, ударилъ его тесакомъ по лицу, разсѣкъ носъ, часы отнялъ, да тутъ же въ саду легъ и заснулъ. Подоспѣвшій французскій офицеръ остановилъ дальнѣйшій грабежъ.

Уланы ушли изъ сада, — всѣ успокоились немного, кормилица завернула ребенка въ бывшій на ней овчинный тулупъ и подпоясалась полотенцемъ, чтобы онъ не выпалъ. Когда Иванъ Алексѣевичъ возвратился, они помѣстились въ домѣ княжны Анны Борисовны; спустя немного времени, во дворъ вошелъ французскій солдатъ и сталъ отнимать у кучера одну изъ лошадей; сынъ управляющаго княгини Платонъ заспорилъ съ нимъ и не давалъ лошади; Иванъ Алексѣевичъ растворилъ окно и крикнулъ на Платона, чтобы онъ не спорилъ; Платонъ не уступалъ, французъ замахнулся на него саблей — прислуга Яковлевыхъ была вооружена. Ко всеобщему ужасу ссора кончилась трагически: Платонъ убилъ французъ; тѣло бросили въ колодезь и забросали камнями.

Заставы въ Москвѣ были закрыты, выѣздъ изъ нея запрещенъ.

Домъ Голохвастовыхъ загорѣлся и въ ихъ глазахъ превратился въ развалины. Они вышли изъ дома княжны, чтобы опять перебраться въ домъ Александра Алексѣевича. По обѣимъ сторонамъ бульвара дома пылали. Они перешли на площадь Страстного монастыря и сѣли тамъ на сложенные бревна. Полупьяный французскій солдатъ, увидавши на бревнахъ многочисленную компанію, подошелъ къ нимъ со штофомъ водки и сталъ ихъ потчевать. Примѣтивши на Иванѣ Алексѣевичѣ шляпу, снялъ ее съ него, а вмѣстѣ съ нею и парикъ и надѣлъ на себя, потомъ стащилъ и сапоги. Въ это время проходилъ по площади французскій офицеръ со взводомъ солдатъ и заставилъ возвратить отнятыя вещи. Спустя нѣсколько минутъ мимо нихъ провозили ихъ экипажи со всѣми уложенными въ нихъ пожитками, увезенными непріателемъ. Отдохнувши, они пошли на Тверскую площадь, тамъ ходили караульные солдаты и ѣздили верховые. Ребенокъ кричалъ отъ голода, у кормилицы не было молока. Костенька, видя, что солдаты что-то ѣдятъ, отправилась къ нимъ, знаками стала просить у нихъ хлѣба для ребенка и, указывая на него, говорила «манже», а въ утѣшеніе себя по-русски бранила ихъ на чемъ свѣтъ стоитъ. Приемы ея разсмѣшили солдатъ, и они дали ей хлѣба и воды для Саши.

Ночь всѣ провели на площади. Рано утромъ французскій офицеръ увелъ Ивана Алексѣевича и всю мужскую прислугу заливать горѣвшіе дома. Вечеромъ, возвращаясь на Тверскую площадь, Иванъ Алексѣевичъ встрѣтилъ начальника главнаго штаба, полковника Мейнадье; онъ разсказалъ ему о положеніи своего семейства и просилъ дать совѣтъ, какимъ образомъ ему обратиться за французскіе аванпосты. Мейнадье отвѣчалъ, что для этого надобно обратиться къ герцогу Тревизскому—губернатору Москвы—и проводилъ его къ нему. Мортѣ зналъ Ивана Алексѣевича еще въ Парижѣ, онъ сказалъ ему, что безъ особаго разрѣшенія императора Наполеона пропуска никому давать не можетъ, и обѣщалъ передать императору его просьбу.

На площади они заняли домъ князя Одоевскаго. Только-что они тамъ помѣстились, какъ услышали военную музыку и изъ окна увидали Наполеона. Онъ ѣхалъ верхомъ, окруженный блестящей свитой и войскомъ.

Иванъ Алексѣвичъ, желая воспользоваться этимъ случаемъ, вышелъ на площадь, приблизился къ Наполеону и сталъ просить у него пропускъ изъ Москвы себѣ и своему семейству. Наполеонъ спросилъ его фамилію. Узнавши, что онъ Яковлевъ, сказалъ: «Не родня ли онъ тому Яковлеву, который былъ посланникомъ при Вестфальскомъ дворѣ». — «Это мой братъ», — отвѣчалъ Иванъ Алексѣвичъ. Наполеонъ сказалъ, что назначить время, когда ему явиться во дворецъ.

Герцогъ Тревизскій обратилъ вниманіе Наполеона на Ивана Алексѣвича, какъ на русскаго вельможу, способнаго вести переговоры съ русскимъ дворомъ.

9-го сентября Наполеонъ прислалъ за Иваномъ Алексѣвичемъ своего адъютанта Делорнъ-Дидвиля и принялъ его въ Кремлевскомъ дворцѣ въ Тронной залѣ. Иванъ Алексѣвичъ, строгій поклонникъ приличій, какъ замѣтилъ о немъ Сапа, явился передъ императоромъ французомъ въ поношенномъ охотничьемъ полуфракѣ съ бронзовыми пуговицами, въ грязномъ бѣльѣ и нечищенныхъ сапогахъ.

Разговоръ, бывшій между нимъ и Наполеономъ, я не разъ слыжала отъ самого Ивана Алексѣвича съ большими или меньшими подробностями, и при мнѣ онъ передавалъ его Михайловскому-Данилевскому, когда тотъ, начавши писать свою исторію 12-го года, прѣзжалъ къ нему и просилъ сообщить, что знаетъ, о томъ времени и его разговоръ съ Наполеономъ *).

Послѣ обычныхъ фразъ, отрывочныхъ, лаконическихъ словъ, въ которыхъ тогда подразумѣвали глубокій смыслъ, Наполеонъ сталъ жаловаться на пожары, говорить, что не онъ, а русскіе жгутъ Москву, что онъ былъ во всѣхъ столицахъ Европы и не сжегъ ни одной.

Иванъ Алексѣвичъ сказалъ на это, что ему неизвѣстны виновники этого бѣдствія, но слѣды его испыты-

*) Мнѣ была извѣстна и записка, составленная Иваномъ Алексѣвичемъ по поводу нѣкоторыхъ невѣрностей, встрѣченныхъ имъ въ запискахъ барона Фена. Записка эта помѣщена въ «Русскомъ Архивѣ» 1874 года, № 12, стр. 162, въ статьѣ Wahrheit und Dichtung. Изъ помѣщенныхъ въ этой же статьѣ писемъ я позволила себѣ воспользоваться нѣкоторыми подробностями, слышанными мною нѣкогда и забытыми по отдаленности времени.

ваетъ на себѣ, оставшись въ томъ, въ чемъ онъ его видитъ.

— Кто въ Москвѣ губернаторомъ?—спросилъ его Наполеонъ.

Услыхавши, что Растопчинъ, человѣкъ извѣстный своимъ умомъ, разобралъ его, называлъ вандаломъ, сумасшедшимъ, хвалилъ Россію, упрекалъ, зачѣмъ опустошаютъ ее по пройденному имъ пути; хвалилъ нашихъ солдатъ и офицеровъ, но находилъ, что имъ не вынести того, что могутъ вынести французы; осуждалъ Польшу, зачѣмъ она бросилась въ его объятія; увѣрялъ въ своей любви къ миру, толковалъ, что война его не въ Россіи, а въ Англіи. «Если бы мнѣ взять только Лондонъ»,—добавилъ онъ. Потомъ хвастался тѣмъ, что поставилъ караулъ къ Воспитательному дому и къ Успенскому собору; жаловался на императора Александра, говорилъ, что онъ дурно окруженъ, что его мирныя распоряженія неизвѣстны государю, что если онъ желаетъ мира, то ему стѣдуетъ только дать знать, и онъ пошлетъ къ нему Нарбона или Лористона, и миръ будетъ заключенъ.

Иванъ Алексѣвичъ замѣтилъ ему, что предлагать миръ скорѣе дѣло побѣдителя.

— Я сдѣлалъ все, что могъ,—возразилъ Наполеонъ:—посылалъ къ Кутузову, онъ не вступаетъ ни въ какіе переговоры, не доводитъ до свѣдѣнія государя моихъ предложеній. Хотятъ войны, не моя вина, будетъ имъ война! Мои солдаты настоятельно просятъ, чтобы я шелъ въ Петербургъ. Мы и туда пойдемъ, и Петербургу достанется участь Москвы.

Тутъ рѣчь его прервалась. Онъ сталъ нюхать табакъ.

Иванъ Алексѣвичъ, пользуясь передышкой, спросилъ его, гдѣ находится въ настоящее время наша главная армія.

— Ахъ!—отвѣчалъ Наполеонъ:—ваша главная армія пошла по Рязанской дорогѣ (онъ не зналъ еще, что она перешла на Калужскую).

Иванъ Алексѣвичъ сдѣлалъ ему такой же вопросъ относительно Витгенштейна.

— Ахъ!—отвѣчалъ Наполеонъ:—вашъ Витгенштейнъ находится въ сторонѣ къ Петербургу и разбитъ совсѣмъ Сень-Сиромъ.

Желая пустить пыль въ глаза, Наполеонъ говорилъ, что наши бумаги совсѣмъ падаютъ, и мы кончимъ банкротствомъ.

Когда Иванъ Алексѣевичъ напомнилъ ему о своемъ желаніи получить пропускъ для выѣзда изъ Москвы, онъ сказалъ:

— Я пропусковъ не велѣлъ давать никому, зачѣмъ вы ѣдете, чего вы боитесь? Я велѣлъ открыть рынки.

Послѣ всей этой комедіи Наполеонъ сказалъ, что такъ какъ Иванъ Алексѣевичъ просится выйти за французскіе аванпосты, то онъ противъ этого ничего не имѣетъ, но ставитъ условіемъ, чтобы онъ, проводя всѣхъ своихъ въ то мѣсто, которое имъ назначить, самъ отправился бы въ Петербургъ и разсказалъ государю все, что видѣлъ, что государь будетъ очень радъ видѣть всему очевидца-свидѣтеля.

Иванъ Алексѣевичъ замѣтилъ, что онъ не имѣетъ права на такую смѣлость.

Несмотря на отрицательный отвѣтъ, Наполеонъ предложилъ нѣсколько способовъ представиться государю. Это вынудило Ивана Алексѣевича сказать ему, что хотя онъ и находится теперь въ его власти, но, какъ вѣрный подданный государя императора Александра, просить не требовать отъ него того, чего не можетъ и не долженъ обѣщать ему.

На это Наполеонъ возразилъ: «Хорошо, я напишу письмо императору, въ которомъ скажу, что призывалъ васъ и говорилъ съ вами». Онъ передалъ Ивану Алексѣвичу содержаніе письма, сущность котораго состояла въ томъ, что онъ желаетъ мира, и кончилъ тѣмъ, что онъ долженъ это письмо отвезти въ Петербургъ, и, сколько помню, слышала, что взялъ съ него честное слово доставить его государю. Иванъ Алексѣевичъ былъ въ необходимости согласиться.

— Этого довольно,—сказалъ Наполеонъ.

Затѣмъ спросилъ, не имѣетъ ли онъ въ чемъ нужды.

— Въ кровѣ и защитѣ моего семейства, пока я здѣсь,—отвѣчалъ онъ.

— Герцогъ Тревизскій сдѣлаетъ все, что можетъ.

Иванъ Алексѣевичъ откланялся и вышелъ.

Мортъе отвелъ имъ комнаты въ домѣ генераль-губернатора и распорядился, чтобы они не нуждались въ

съѣстныхъ припасахъ. Его метръ д'отель доставилъ имъ даже и вина.

Вскорѣ послѣ этого, рано утромъ, Мортъе прислалъ къ Ивану Алексѣвичу своего адъютанта съ приказаніемъ явиться во дворецъ. Онъ нашелъ Наполеона со всѣмъ одѣтымъ. Императоръ французовъ ходилъ по комнатѣ сердитый, озабоченный, начиная сознавать, что его опаленные лавры скоро замерзнутъ и что тутъ не отдѣлаешься такой штукой, какъ въ Египтѣ. Всѣ окружавшіе его знали, что планъ войны нелѣпъ, но на всѣ замѣчанія онъ отвѣчалъ: «Москва», въ Москвѣ догадался и онъ.

При входѣ Ивана Алексѣвича Наполеонъ взялъ запечатанное письмо, лежавшее на столѣ, и подаль ему, говоря: «Я полагаюсь на ваше слово». На конвертѣ было надписано: „à mon frère l'Empereur Alexandre“. Такъ я слышала изъ разсказа *).

12-го сентября, въ полдень, Иванъ Алексѣвичъ со всѣми своими оставилъ Москву, въ сопровожденіи почти 500 человекъ, изъ крестьянъ, принадлежавшихъ Яковлевымъ, проживавшихъ въ Москвѣ по паспортамъ, и многихъ постороннихъ лицъ, которые, узнавъ о пропускѣ, просили ихъ взять съ собою подъ видомъ прислуги или родственниковъ.

Въ письмѣ Ивана Алексѣвича къ его сестрѣ, Елисаветѣ Алексѣвнѣ Голохвастовой, отъ 24-го октября 1812 г., сказано **):

«..... Мы выѣхали изъ Москвы, доѣхали подъ Клинъ, откуда внезапно я долженъ былъ ѣхать въ Петербургъ, не имѣвъ ни позволенія, ни способа даже и объясниться о причинѣ моего отъѣзда. И такъ я вдругъ принужденъ былъ, почти не простясь, разстаться и на неизвѣстность со всѣмъ тѣмъ, что было безпре-

*) Въ запискѣ, оставленной Иваномъ Алексѣвичемъ, сказано, что Наполеонъ прислалъ ему письмо къ Государю черезъ своего секретаря Делорна и приказалъ проводить его со всѣмъ его семействомъ до французскихъ аванпостовъ.

Пропускъ, данный Ивану Алексѣвичу Наполеономъ, хранился у него; я его видѣла. Онъ былъ подписанъ герцогомъ Тревизскимъ и внизу скрѣпленъ московскимъ оберъ-полицеймейстеромъ Лесенсомъ.

**) «Русскій Архивъ», 1874 годъ, 12 годъ, стр. 1055-я, статья: «Wahrheit und Dichtung».

станнымъ предметомъ неусыпнаго моего, при врагахъ, старанія, что тѣмъ паче для меня было прискорбно и тяжело, что сверхъ всякаго чаянія и возможности, чудеснымъ образомъ, мнѣ удалось свершить свободный и, елико возможно, спокойно нашъ выѣздъ изъ Москвы, изъ рукъ вражьихъ. Въ такомъ-то положеніи они уже безъ меня прибыли въ Новоселье *)).

Такъ какъ ихъ экипажи со всей поклажей взяты были непріателемъ, то имъ, для выѣзда, даны были четырехмѣстная карета **) и линейка. Въ каретѣ ѣхала Луиза Ивановна, кормилица съ ребенкомъ и нездоровый Павелъ Ивановичъ. Въ линейкѣ остальные.

Отрядъ французскихъ улановъ проводилъ ихъ до русскаго арьергарда.

Вокругъ Москвы стояла французская кавалерія въ боевомъ порядкѣ, она пропустила многочисленную толпу выходцевъ. Провожавшіе ихъ уланы, въ виду русскаго войска, раскланялись и пожелали имъ счастливаго пути.

На нашихъ передовыхъ войскахъ Ивана Алексѣевича приняли, какъ лицо подозрительное. Спустя минуту ихъ окружили казаки и повели въ главную квартиру арьергарда. Тутъ начальствовали полковникъ Иловайскій 4-й и Винценгероде. Они ночевали у Иловайскаго. На другой день Иловайскій приказалъ казакамъ проводить Ивана Алексѣевича до деревни Давыдова, гдѣ находился Винценгероде, который тотчасъ же отправилъ его на фельдъегерскихъ въ Петербургъ въ сопровожденіи офицера. Прощаясь съ Иловайскимъ, Иванъ Алексѣевичъ просилъ его о своемъ семействѣ. «Оставаться имъ здѣсь невозможно,—говорилъ Иловайскій:—кромѣ того, что мы не внѣ ружейныхъ выстрѣловъ, можно ждать со дня на день серьезнаго дѣла», но далъ слово, что

*) Изъ этого письма, такъ же какъ изъ слышанныхъ мною разсказовъ, видно, что Иванъ Алексѣевичъ и его семейство изъ Москвы не вышло, какъ это замѣчено въ статьѣ «Русскаго Архива» Wahrheit und Dichtung, а выѣхало. Быть-можетъ, Иванъ Алексѣевичъ и шелъ Москвою пѣшкомъ съ сопровождавшею ихъ толпою, но, конечно, далѣе сѣлъ въ который-нибудь изъ экипажей, иначе какъ бы они могли, выступивши изъ Москвы въ полдень, къ вечеру быть подъ Клиномъ.

**) Карета эта осталась у Ивана Алексѣевича.

поможетъ имъ доѣхать въ Тверскую губернію, въ имѣніе Петра Алексѣевича—Новоселье. На слова Ивана Алексѣевича, что они безъ денегъ, Иловайскій сказалъ: «будьте покойны; даю вамъ слово сдѣлать все, что возможно, чтобы доставить ихъ покойно до назначеннаго мѣста».

По прибытіи Ивана Алексѣевича къ петербургской заставѣ предъявлено было приказаніе везти его прямо къ графу Аракчееву, и въ его домѣ задержать. Графъ принялъ Ивана Алексѣевича очень ласково и сказалъ, что императоръ приказалъ ему взять отъ него письмо Наполеона, въ пріемъ котораго далъ ему расписку. Онъ пробылъ въ Петербургѣ около мѣсяца подъ арестомъ въ домѣ Аракчеева. Къ нему никого не допускали. Одинъ Шишковъ пріѣзжалъ по приказанію государя разспросить о подробностяхъ пожара, вступленіи непріятеля и его свиданіи съ Наполеономъ. Онъ былъ первый изъ очевидцевъ, явившійся въ Петербургъ. Наконецъ, Аракчеевъ объявилъ Ивану Алексѣевичу, что государь велѣлъ его освободить, не ставя ему въ вину, что онъ взялъ пропускъ отъ непріятельскаго начальства, что извиняется крайней необходимостью, въ которой онъ находился. Ему велѣно было ѣхать немедленно, позволили только видѣться и проститься съ братомъ Александромъ Алексѣевичемъ. Въѣздъ въ Петербургъ ему былъ запрещенъ и на будущее время.

За этимъ событіемъ въ жизни Ивана Алексѣевича слѣдовали годы глубокаго покоя въ Москвѣ и разстройства здоровья отъ поѣздки въ осеннее время на фельдъегерскихъ.

Иловайскій сдержалъ слово. По отъѣздѣ Ивана Алексѣевича въ Петербургъ, онъ отправилъ его семейство до ближайшаго городка съ партіей плѣнныхъ, подъ прикрытіемъ казаковъ, въ тѣхъ самыхъ экипажахъ, которые даны имъ были для выѣзда изъ Москвы, снабдилъ ихъ деньгами и вообще сдѣлалъ все, что было возможно въ суетѣ и тревогѣ военнаго времени.

16-го сентября они прибыли въ Новоселье. Петра Алексѣевича тамъ уже не было; опасаясь приближенія непріятеля, онъ выѣхалъ изъ Новоселья въ Весъегонскъ. 18-го числа Павелъ Ивановичъ Голохвастовъ въ Новосельѣ скончался и былъ погребенъ подлѣ новосельской

церкви *). Спустя десять дней по его кончинѣ, Луиза Ивановна со всѣми своими выѣхала въ костромское имѣніе Ивана Алексѣевича, Сельце-Пелье, гдѣ и прожила до весны въ крестьянской избѣ со всѣми неудобствами.

Изъ письма Петра Алексѣевича къ княгинѣ Хованской, писаннаго изъ Кашина, видно, что онъ возвратился въ Новоселье въ исходѣ сентября, гдѣ вскорѣ получилъ извѣстіе о внезапной кончинѣ своего сына, и былъ пораженъ апоплексическимъ ударомъ.

Весной Катерина Валерьяновна перевезла его въ Тверь — лѣчиться.

Вслѣдъ за выѣздомъ Петра Алексѣевича пріѣхалъ въ Новоселье Иванъ Алексѣевичъ, а за нимъ и Левъ Алексѣевичъ. Въ это-то время я и увидала въ первый разъ маленькаго Сашу. Въ первыхъ числахъ іюня Левъ Алексѣевичъ навѣстилъ въ Твери больного брата, затѣмъ уѣхалъ въ Швецію, куда былъ посланъ зачѣмъ-то къ Бернадоту, и возвратился въ Россію уже въ исходѣ лѣта.

Въ іюлѣ Иванъ Алексѣевичъ и Александръ Алексѣевичъ были у больного брата въ Твери. Еще до пріѣзда ихъ Катерина Валерьяновна успѣла устроить духовное завѣщаніе (говорили — фальшивое), которымъ Петръ Алексѣевичъ оставлялъ ей свое благопріобрѣтенное имѣніе — селцо Шумново **).

Въ продолженіе всего лѣта Луиза Ивановна съ дѣтьми оставалась въ Новосельѣ и почти не разставалась съ моей матерью и теткой. То они были у насъ въ Корчевѣ, то мы у нихъ въ Новосельѣ.

Время это представляется мнѣ точно въ туманѣ, сквозь который только мѣстами прорѣзываются довольно отчетливыя представленія, частью же, чтó было тогда, знаю изъ разсказовъ.

Въ памяти у меня осталось, какъ я тревожилась и огорчалась тѣмъ, что вниманіе и заботы всѣхъ обращены были на маленькаго, слабаго здоровьемъ Сашу, а

*) Впослѣдствіи тѣло его было перевезено въ имѣніе Голохвостовыхъ.

**) По смерти Петра Алексѣевича наследники его завели съ его женой процессъ, которымъ опровергали какъ законность духовнаго завѣщанія, такъ и законность ея брака.

меня совѣмъ забывали; чтобы привлечь къ себѣ мать, я начинала къ ней ласкаться и увѣрять, что люблю ее больше, нежели Саша, что Саша глупъ, не умѣетъ ни ходить, ни говорить. Мать брала меня на колѣни, цѣловала и говорила, что Саша не ходитъ и не говоритъ не по глупости, а отъ того, что еще малъ и нездоровъ. «А ты,—добавляла она:—какъ старшая, должна беречь и забавлять его».

Послѣ такихъ разговоровъ, я, видя, какъ Саша переходитъ съ рукъ на руки и мать моя заставляетъ его прыгать на своихъ колѣняхъ подъ пѣсню, какъ танцевала рыба съ ракомъ, а петрушка съ пастернакомъ, или какъ пляшетъ зайчика, я и сама начинала передъ нимъ пѣть и прыгать. Саша, глядя на меня, улыбался и тянулъ ко мнѣ ручонки. Говорили, что Саша былъ ребенокъ серьезный, какъ будто всматривающійся во все, чтò его окружало.

Всего больше я огорчалась, когда тетушка Лизавета Петровна забавляла Сашу. Кроткая и разсудительная, она умно и терпѣливо занималась мною, разсказывала мнѣ сказочки, показывала въ книгахъ картинки, объясняла ихъ и всѣмъ этимъ такъ привязала меня къ себѣ, что я не отходила отъ нея цѣлые часы. Помню, какъ однажды въ сумерки, сидя подлѣ нея на диванѣ, я измѣряла свои чувства къ разнымъ лицамъ видимыми предметами:

— Васъ,—говорила я тетушкѣ:—люблю до неба,—и протягивала ручонки къ небу, — мамѣ до церкви, Сашу до пола.

Мало-по-малу я стала привыкать къ Сашѣ и даже любить его, видя, какъ онъ радовался, когда я подбѣгала къ нему, и обнималъ меня своими худенькими ручонками, когда я играла съ нимъ. Какъ только онъ сталъ переступать, я держала его за ручку вмѣстѣ съ Вѣрой Артамоновной, учила говорить, бѣжала подлѣ его повозочки, когда его катали по новосельскому парку. Гуляя цѣлые дни въ обширномъ паркѣ, мы всегда останавливались отдыхать въ англійскомъ домикѣ—и располагались на широкихъ диванахъ въ зеленой комнатѣ. Забавляя Сашу, а больше себя, я прыгала, каталась по диванамъ и часто, разыгравшись, поднимала такой шумъ, что выводила всѣхъ изъ терпѣнія; чтобы унять

меня, нянька Алёши прибѣгала къ разъ удавшемуся ей средству:

— Вотъ, постойте,—говорила она:—ужо, баба-яга сойдесть со стѣны и съѣсть васъ за то, что не слушаетесь.—Съ этими словами она отдергивала зеленый флеръ, которымъ задернута была Венера. Зная изъ сказокъ, что такое баба-яга, я въ испугѣ спрыгивала съ дивана и инстинктивно ретировалась къ окну, чтобы, въ случаѣ бѣды, изъ окна выпрыгнуть въ рощу и убраться по добру, по здорову; но такъ какъ предметъ, насъ пугающій, въ то же время и притягиваетъ, то, ретируясь къ окну, я не спускала глазъ съ Венеры, засматриваясь на ея красоту, забывала страхъ и потихоньку начинала подходить къ ней, а вскорѣ и совсѣмъ перестала ее бояться.

Одно изъ любимыхъ мѣстъ моихъ въ новосельскомъ паркѣ, какъ въ ребячествѣ, такъ и по возрастѣ, была широкая канава, отдѣлявшая паркъ отъ лѣса. Канава эта всегда была полна воды и осыпана такими великолѣпными незабудками, что когда Сашу везли около этой канавы, то даже и онъ тянулся къ ярко голубѣвшимъ крупнымъ цвѣтамъ. Я бѣжала нарвать ихъ ему, но, иногда наклонившись къ нимъ, вдругъ отдергивала руку,—мнѣ казалось, незабудки смотрятъ на меня своимъ лазоревымъ взоромъ и говорятъ: «не рви насъ, мы живемъ»,—до того онѣ были свѣжи и полны жизни.

Бабушка Христина Петровна жила въ это время въ Шумновѣ, въ утѣшеніе ей оставляли при ней моего брата и только временами привозили его съ нянькой въ Новоселье, гдѣ я съ матушкой оставалась почти безвыѣздно.

Между тѣмъ здоровье Петра Алексѣевича становилось все хуже и хуже. При немъ въ услугахъ постоянно находилась привезенная имъ изъ Кременчуга среднихъ лѣтъ дѣвушка-полька, Марья Ивановна Юдина. Умная, ловкая, она много лѣтъ пользовалась полнымъ довѣріемъ и расположеніемъ Петра Алексѣевича, не отходила отъ него все время его болѣзни, и на рукахъ ея онъ окончилъ жизнь. Эта Марья Ивановна, жившая потомъ у Ивана Алексѣевича при Сашѣ, рассказывала намъ—говорили это и другіе бывшіе при Петрѣ Алексѣевичѣ въ Твери—что однажды, въ присутствіи брать-

евъ и своего духовника, онъ потребовалъ, чтобы жена подала ему его шкатулку, вынула изъ нея актъ, которымъ онъ заявилъ желаніе признать за дѣтьми своими всѣ права законныхъ наслѣдниковъ, и подала ему; по такъ какъ этотъ актъ не имѣлъ законной формы, то, вѣроятно, въ смыслѣ своего намѣренія, онъ, указывая на актъ братьямъ, выразилъ желаніе, чтобы они, будучи послѣ него прямыми наслѣдниками, при немъ, передъ фамильнымъ образомъ Спасителя, дали обѣщаніе исполнить его волю, обозначенную въ актѣ, что они и исполнили.

Не задолго до кончины Петра Алексѣевича, новосельскій поваръ Сафонычъ со страхомъ рассказывалъ, что ему слышатся дивные голоса, поющіе гдѣ-то: «святыи Боже, святыи крѣпкій, святыи безсмертныи помилуй насъ». Подъ вліяніемъ этого разсказа, вскорѣ и другіе стали увѣрять, что слышать въ воздухѣ ангельское пѣніе. Затѣмъ пришло извѣстіе, что владѣлецъ Новоселья скончался и тѣло его везутъ въ село по Волгѣ.

Тѣло покойнаго отправлено было изъ Твери по водѣ въ большой шлюпкѣ, убранной чернымъ сукномъ и флеромъ. Его сопровождали, въ глубокомъ траурѣ, вдова покойнаго, Катерина Валерьяновна, Марья Ивановна Юдина и вся бывшая при немъ прислуга. Приплывая къ Корчевѣ, печальная церемонія остановилась у берега, покрытаго народомъ. На берегу встрѣтилъ тѣло усопшаго священникъ съ крестомъ и причетомъ и обѣ дочери покойнаго, также въ траурѣ. Отслуживши панихиду, процессія поплыла дальше, къ ней присоединились и дочери Петра Алексѣевича. На новосельскомъ берегу встрѣтили тѣло священникъ съ хоромъ пѣвчихъ и до тысячи человекъ народа. Крестьяне и дворяне подняли гробъ и на рукахъ донесли до послѣдняго пристанища. Петра Алексѣевича положили близъ алтара выстроенной имъ церкви.

Бабушкѣ моей былъ присланъ приказъ оставить Шумново, она переѣхала въ Корчеву къ моимъ родителямъ.

Спустя законный срокъ, братья Петра Алексѣевича приняли наслѣдство. Они получили Новоселье съ Уходовымъ и со всѣмъ, что находилось въ новосельскомъ

домѣ. Катеринѣ Валерьяновнѣ слѣдовало Шумново и седьмая часть въ движимомъ и недвижимомъ имуществѣ. Дочерямъ покойнаго наслѣдники дали по три тысячи ассигнаціями, а ихъ матери двѣ тысячи, небольшими процентами съ которыхъ, при помощи дѣтей, она и провела остальную жизнь въ Корчевѣ, съ одной горничной, нанимая двѣ чистенькія, свѣтлыя комнаты у мѣщанки Парфеньевны. Хорошія отношенія между наслѣдниками продолжались недолго: братья покойнаго не поладили съ его вдовой, переселились изъ Новоселья въ Шумново, куда пріѣхалъ и Левъ Алексѣевичъ; они завели съ невѣсткой процессъ, которымъ опровергали не только что законность духовнаго завѣщанія, но и законность ея брака. Процессъ тянулся нѣсколько лѣтъ *).

Когда Александръ и Иванъ Алексѣевичи жили еще въ Новосельѣ, бывшій письмоводитель Петра Алексѣевича, Константинъ Толочановъ, вѣроятно, въ надеждѣ награды, сообщилъ Александру Алексѣвичу, что въ спальнѣ покойнаго, въ его бюро, лежатъ бумаги, въ которыхъ назначены вольныя дворовымъ людямъ и разныя награды, и предложилъ ихъ достать изъ извѣстнаго ему потаеннаго ящика. Такъ какъ дверь въ спальную была запечатана, то ночью, съ помощью Толочанова, Александромъ Алексѣвичемъ вынута было окно, бумаги изъ бюро выбраны и сожжены.

Это говорила вся прислуга Петра Алексѣевича, многіе изъ жителей Корчевы и близкіе люди къ Яковлевымъ.

*) Въ русскомъ архивѣ 1874 года 12-й годъ, въ статьѣ «Wahrheit und Dichtung», стр. 1081 приводится документъ отъ 9 августа 1813 года за № 240, изъ котораго видно, что Катерина Валерьяновна доставшюся ей по духовному завѣщанію деревню Шумново и слѣдующую ей седьмую часть въ движимомъ и недвижимомъ имѣніи промѣняла братьямъ своимъ за 30.000 рублей ассигнаціями; но изъ упомянутаго документа не видно, приведенъ ли онъ былъ въ исполненіе; а что онъ приведенъ не былъ, доказывается тѣмъ, что Катерина Валерьяновна Шумновымъ владѣла, провела въ немъ всю остальную жизнь и въ 1830 годахъ текущаго столѣтія тамъ умерла. Шумново духовнымъ завѣщаніемъ передала дѣвницѣ Марѣ Степановнѣ Барыбиной, а та продала его Варварѣ Дмитріевнѣ Карповой, урожденной Рудаковой, сынъ которой въ настоящее время владѣетъ Шумновымъ. Седьмую часть свою въ имѣніяхъ она получала не только что послѣ мужа, но также и въ имѣніяхъ послѣ двоюроднаго

Иванъ Алексѣвичъ въ этомъ не участвовалъ и даже не зналъ о совершившемся.

Разсказывали, что ужасъ и отчаяніе распространились между прислугой покойнаго, когда узнали, что никакихъ вольныхъ и никакихъ наградъ, о которыхъ они слышали, не существуетъ и они поступаютъ въ раздѣлъ. Вновь закрѣпленные, какъ они считали себя, стали служить молебны и давать обѣты святымъ угодникамъ уже не объ освобожденіи изъ крѣпостного состоянія, а чтобы не достаться на часть Александра Алексѣвича. Съ мужской прислугою онъ былъ жестокъ; молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ запиралъ въ свой гаремъ.

Александръ Алексѣвичу досталось семейство управляющаго Соколова. Онъ оставилъ его при прежней должности, а двухъ дочерей его, Машу и Наташу, увезъ въ Москву, несмотря на слезы дѣвушекъ, горе и мольбы ихъ родителей. Въ Москвѣ онъ помѣстилъ ихъ въ верхнемъ этажѣ своего дома и никого къ нимъ не допускалъ. Онъ нашли случай увѣдомить о себѣ родителей и просили о помощи; старики обратились съ просьбой о заступничествѣ за дочерей къ княгинѣ М. А. Хованской и Е. А. Голохвастовой. Онѣ приняли участіе, уговаривали брата пощадить дѣтей Григорья Андреевича въ память брата и возвратить ихъ отцу. Александръ Алексѣвичъ (какъ я слышала отъ княгини) прикинулся изумленнымъ, увѣрялъ, что на него клевета, что онъ готовъ отпустить обѣихъ дѣвушекъ и отпустить, какъ

брата Яковлевыхъ, Николая Михайловича Яковлева, доставшихся имъ одновременно съ имѣніями Петра Алексѣвича. Седьмую часть свою въ имѣніяхъ Николая Михайловича въ Васильевскомъ и Покровскомъ она отдала мнѣ дарственной записью, которая совершенна была при содѣйствіи покойнаго инженернаго полковника—Николая Николаевича Загоскина. Эту седьмую часть, въ 1836 году, купилъ у меня Иванъ Алексѣвичъ Яковлевъ.

Вѣроятно, Яковлевы и желали войти въ соглашеніе съ Екатериною Валерьяновной, и, конечно, при такихъ условіяхъ, не могли ее уличить въ фальшивости завѣщанія и опровергать законность ея брака, называть удосужливой вдовой Ульской, какъ они ее называли во всѣхъ бумагахъ въ продолженіе процесса; когда же любовная сдѣлка не состоялась—начался процессъ. Катерина Валерьяновна подала жалобу, что на любовную сдѣлку вынуждена была притѣсненіями. Процессъ вели долго. Въ Катеринѣ Валерьяновнѣ принималъ участіе Петръ Хрисанфовичъ Оболяниновъ, и она процессъ выиграла.

только найдеть къ своимъ дѣтямъ няньку, мѣсто которой онѣ занимають. Хвалился, что онѣ живутъ въ довольствѣ и покоѣ, а ему ни на что не надобны. Старшая дурна, какъ смертный грѣхъ (она была попорчена оспой), меньшую же, Наташу, онъ мало и видѣлъ—она отъ него все прячется.

Достигнувши своей цѣли, Машу онъ отправилъ къ ея родителямъ. Она поступила въ монастырь. Наташа, милостивая блондинка, томилась въ гаремѣ до кончины Александра Алексѣевича. Онъ умеръ въ началѣ 1825 года, перепугавшись и простудившись во время наводненія, случившагося 1824 года въ Петербургѣ. Его едва не залило водой въ каретѣ.

Отъ Наташи у него осталась дочь Лиза, которую она, освободившись, увезла къ своимъ родителямъ.

Сверхъ нѣсколькихъ побочныхъ дѣтей, отъ разныхъ матерей, у Александра Алексѣевича былъ совершеннолѣтній сынъ Алексѣй Александровичъ, умный, образованный, ученый, извѣстный подъ названіемъ «Химика», о которомъ Грибоѣдовъ сказалъ въ своей комедіи «Горе отъ ума»:

«Онъ химикъ, онъ ботаникъ,
Князь Ѳедоръ нашъ племянникъ».

Незадолго до своей кончины Александръ Алексѣевичъ, съ разрѣшенія императора Александра Павловича, женился на матери Алексѣя Александровича, Олимпіадѣ Максимовнѣ, этимъ бракомъ привычалъ его со всѣми правами законнаго наслѣдника. Онъ это сдѣлалъ не изъ любви къ сыну или его матери, которыхъ тѣснилъ и оскорблялъ постоянно, а изъ ненависти къ братьямъ, чтобы послѣ него не досталось имъ его имѣніе. По полученіи наслѣдства онъ не переставалъ съ ними ссориться.

Когда отца не стало, молодой наслѣдникъ отправилъ несчастныхъ женщинъ вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми въ свое шаткое имѣніе, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, наложенный его отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и даромъ отдалъ рекрутскія квитанціи, которыхъ отецъ его продавалъ имъ, отдавая дворовыхъ людей въ солдаты.

По завѣщанію отца, Алексѣй Александровичъ всѣмъ дѣтямъ, оставшимся послѣ него, по совершеннолѣтіи

каждаго выдавалъ по 3.000 рублей серебромъ; о воспитаніи же ихъ не заботился, полагають, изъ опасенія, чтобы не нажить себѣ въ нихъ затрудненій или неприятностей.

Одна изъ дочерей Александра Алексѣевича, Наталья Александровна, восьми лѣтъ взята была на воспитаніе княгиней Хованской и вышла замужъ за Александра Ивановича Г—а. Это открыло доступъ и другимъ дѣтямъ къ лучшему положенію. Братъ Наталья Александровны, Петръ Александровичъ Захарьинъ *), по многимъ тщетнымъ просьбамъ опредѣлить его въ ученіе, ушелъ изъ шацкой деревни своего брата къ дядямъ Яковлевымъ въ Москву, гдѣ, при участіи зятя и сестры, готовился въ университетъ. Въ немъ обнаружилась наклонность къ живописи, онъ поступилъ въ академію художествъ и впослѣдствіи сдѣлался извѣстенъ, какъ талантливый фотографъ.

Почти всѣ дѣти Александра Алексѣевича вышли люди способные; взаимно помогая другъ другу, они достигли хорошаго общественнаго положенія.

Въ большомъ наслѣдствѣ, полученномъ Яковлевыми послѣ ихъ двоюроднаго брата Николая Михайловича **), участвовали и графы Девьеръ; это послужило поводомъ къ продолжительному процессу между этими обѣими фамиліями.

Получивши одновременно два большія наслѣдства, меньшіе братья Яковлевы перессорились со старшимъ, но, не взирая на открытый разрывъ, рѣшили, до окончанія двухъ начатыхъ процессовъ, управлять имѣніями сообща. При ссорѣ владѣльцевъ въ тройномъ управленіи шелъ страшный безпорядокъ. Если старшій братъ назначалъ старосту, младшіе его смѣняли; когда одинъ требовалъ подводъ, другой отдавалъ приказъ везти сѣно, третій дровъ, и каждый посылалъ въ имѣнія своихъ повѣренныхъ. При этомъ сплетни, лазутчики, фавориты. Старосты и крестьяне теряли головы, ихъ тормозили во всѣ стороны, обременяли двойными работами, каприз-

*) Нашъ извѣстный уважаемый фотографъ.

**) Послѣ Николая Михайловича Яковлева наслѣдовала его сестра Катерина Михайловна, кончившая жизнь въ одномъ году съ братомъ, въ скоромъ времени послѣ него; имѣнія ихъ перешли къ ихъ двоюроднымъ братьямъ, Яковлевымъ и графамъ Девьеръ.

ными требованіями, оставляя безъ расправы и защиты отъ притѣсненія.

Слѣдствіемъ ссоры между братьями Яковлевыми былъ проигрышъ огромнаго процесса съ графами Девьеръ, въ которомъ они были правы. Сверхъ потери прекраснаго имѣнія, по приговору сената каждый заплатилъ по тридцати тысячъ ассигнаціями проторей и убытковъ.

Процессъ съ невѣсткой Катериной Валерьяновной продолжался еще нѣсколько времени и по окончаніи процесса съ Девьерами, и былъ также проигранъ. Ей выдѣлили седьмую часть во всѣхъ имѣніяхъ и утвердили во владѣніи Шумновымъ, гдѣ она провела остальную жизнь свою и скончалась въ исходѣ 1830-хъ годовъ.

Проживши въ наслѣдственномъ имѣніи послѣ брата, кажется, болѣе года, Иванъ Алексѣевичъ съ своимъ семействомъ уѣхалъ въ Москву.



ГЛАВА III.

Карповна.

1815 — 1816.

На умъ приходятъ часто мнѣ
Мои младенческіе годы,
Село въ вечерней тишинѣ,
Въ саду свѣтащіяся воды
И жизнь въ какомъ-то полуснѣ.

Спустя немного времени по отъѣздѣ Яковлевыхъ изъ Новоселья, отецъ мой купилъ, верстахъ въ шестидесяти отъ Корчевы, небольшую деревушку Карповку и весною повезъ насъ туда.

Не доѣзжая верстъ десяти или двѣнадцати до Карповки, приходилось пробираться по неровной дорогѣ дремучимъ боромъ, гдѣ деревья до того тѣснились другъ къ другу и были такъ высоки, что въ самый ясный полдень тамъ царствовалъ мракъ, и глубокая тишина прерывалась

только голосами птицъ, да отъ времени до времени вѣтеръ пробѣгалъ по вершинамъ березъ и сосенъ, качалъ ихъ и шумѣлъ ими въ вышинѣ. Приближаясь къ Карповкѣ, деревья начинали рѣдѣть, и вдругъ сквозь нихъ, сверкнувши со всѣхъ сторонъ, открывалась узенькая рѣчка или скорѣе ручей, огибавшій долину, по долинѣ деревенька, роща, барская усадьба, вблизи усадьбы широкій прудъ. Берегъ этого пруда, въ затишьѣ, охватывалъ высокій тростникъ, за нимъ стлался подводный лѣсъ перепутанныхъ растений, среди которыхъ водяныя лиліи недвижимо цвѣли надъ своими круглыми листьями, тѣсно лежавшими на сонной водѣ.

Барская усадьба отдѣлялась отъ деревни ивовымъ плетнемъ. Она состояла изъ надворныхъ строеній и довольно большого новаго барскаго дома съ двумя балконами. Домъ этотъ былъ выстроенъ изъ толстыхъ сосновыхъ бревенъ, снаружи обить тесомъ, внутри стѣны оставались бревенчатыми; изъ нихъ мѣстами топились смола, то застывая длинными потоками, то развѣшиваясь свѣтлыми нитями, то стекая съ нихъ янтарными каплями.

Въ комнатахъ было свѣжо и пахло смолой; кромѣ нѣсколькихъ плетеныхъ стульевъ и двухъ-трехъ турецкихъ дивановъ—вся мебель въ домѣ состояла изъ некрашенныхъ скамеекъ съ рѣшетчатыми спинками, столовъ различной величины, шкаповъ и кроватей съ бѣлыми занавѣсками изъ серпянки отъ комаровъ, которыхъ въ Карповкѣ водилась тѣматѣмущая отъ близости воды и лѣса.

Я помню, какъ меня каждый день сажали на одинъ изъ этихъ сосновыхъ столовъ, такой длинный и широкій, что я могла по нему прохаживаться. Онъ стоялъ подлѣ окна, изъ котораго виднѣлась рѣчка и ржаное поле, пересѣченное широкой дорогой, вплоть до темно-зеленой стѣны лѣса. Когда мы пріѣхали, поле это зеленѣло озимью, съ наступленіемъ жаровъ зазолотилось и по немъ какъ бы брызнули синими васильками; передъ уборкой хлѣба оно волновалось моремъ налившихся колосьевъ.

Мало-по-малу столь этотъ сдѣлался моею дѣтскою. Я переселила на него свои игрушки, свою дымчатую кошку—Машку, и, играя ими, цѣлые часы не спускалась

на полѣ. Дворовыя дѣвочки натаскивали мнѣ на столѣ съ рѣчки цвѣтныхъ камешковъ, изъ лѣса — цвѣтовъ, моха, вѣтокъ, изъ которыхъ я строила сады и цвѣтники.

У насъ безпрестанно являлись то зайчикъ, то бѣлка, то ёжъ, то гнѣздышко съ бѣлыми или пестрыми яичками. Все это встрѣчалось съ криками радости, звѣри кормились по чуланамъ, надоѣдали и выпускались на волю, большей же частью бѣлки и зайцы, улучивъ свободную минуту, сами убѣгали въ лѣсъ. Одинъ ёжъ съ своимъ семействомъ прожилъ довольно долго на погребѣцѣ. Вскорѣ явилась около моего окна прикрѣпленная клѣтка съ перепеломъ. Я любила слушать, какъ онъ на вечерней зарѣ перекликался съ товарищами, скрывавшимися во ржи; любила слушать, какъ птички поютъ, какъ роща шумить, сосна скрипитъ подъ вѣтромъ, дятель долбитъ дерево; засматривалась, какъ солнце кроется за рѣчку, какъ заря румянить небо.

Величественныя картины Божьяго міра и простота окружавшей меня жизни отпечатлѣвались въ дѣтской душѣ моей, я не сознавала ихъ, но уже чувствовала и любила.

Вмѣстѣ съ нами перевезена была въ Карповку большая часть и прислуги нашей. У насъ было до шести-десяти человѣкъ дворовыхъ людей. Въ дѣвичьей около десятка горничныхъ дѣвушекъ, не считая дѣвчонокъ, шили, вязали, пряли, плели кружева, большей же частью находились на посылкахъ у кормилицы моего отца, Катерины Петровны или Петровны, какъ ее называли всѣ домашніе. Катерина Петровна завѣдовала у насъ въ домѣ всѣмъ хозяйствомъ. Это была, какъ я стала ее помнить, старушка бодрая, дѣятельная, средняго роста, тучная, съ крупными, важными чертами лица. Одѣвалась она всѣдневно въ темныя ситцевыя юбки съ шушунномъ и глубокими карманами, въ которыхъ при движеніи слышалось бряцанье ключей. Голову она высоко повязывала большимъ бумажнымъ платкомъ, а въ праздники шелковымъ двуличнымъ или съ золотыми травочками. При своихъ хозяйственныхъ распоряженіяхъ она всегда находила надобность послать которую-нибудь изъ горничныхъ съ приказами на кухню, въ амбаръ, на птичій или скотный дворъ, другую отправляла въ

догонку, чтобы та не замедлила, третья бѣжала поторопить обѣихъ.

Первое лѣто, которое мы прожили въ Карповкѣ, было грозное. Почти каждый день перепадалъ дождь съ громомъ и молніей. «Что это гремитъ?—спрашивала я,—что это блеститъ?» «Илья пророкъ ѣздитъ на огненной колесницѣ», отвѣчала мнѣ, крестясь, Катерина Петровна; я удовлетворялась ея отвѣтомъ и ожидала увидать когда-нибудь огненную колесницу, а между тѣмъ, сидя на своемъ столѣ, съ наслажденіемъ смотрѣла, какъ иногда, въ первое утро послѣ дождя, горничныя и дворовыя дѣвушки отправлялись въ лѣсъ за грибами. Запасаясь кто корзинкой, кто лукошкомъ, кто старымъ рѣшетомъ, онѣ суетились у задняго крыльца, громко разговаривая, укладывали въ лукошки хлѣбъ и ржаныя ватрушки, закидывали ихъ себѣ на плечи и, подоткнувши за поясъ подола своихъ набойчатыхъ платьевъ, босикомъ отправлялись въ путь, затянувши пѣсню. Я нетерпѣливо ждала ихъ возвращенія, и едва только, по вечерней зарѣ, доносились до меня ихъ голоса, выбѣгала навстрѣчу и осматривала лукошки; тамъ всегда находила вязочки крупной, спѣлой земляники, розовой сластены, связанной съ костиникой и черникой, букетъ цвѣтовъ или вѣнокъ, сплетенный по дорогѣ. Отъ частыхъ дождей ягодъ и грибовъ былъ такой урожай, что даже мать моя, случалось и отецъ, вмѣстѣ съ нами отправлялись въ боръ за грибами.

До лѣса насъ везли на линейкѣ, застегнутой съ обѣихъ сторонъ кожаными фартуками. За линейкой слѣдовали телѣга съ самоваромъ и закуской, а за ней другая для склада грибовъ. Прислуга, разнаго возраста, шла пѣшкомъ, кто былъ попроворнѣй, тотъ взмощался на заднюю телѣгу. Всѣ трогались съ мѣста въ полной тишинѣ,—но чѣмъ больше отдалялись отъ дома, тѣмъ живѣе становилась рѣчь—и затягивались пѣсни. По пути подавали намъ въ линейку то замѣчательный красотою цвѣтокъ, то горсть колосьевъ,—овса или ржи. «Это что?—спрашивала я:—это какъ зовутъ?» и когда мнѣ называли, всматривалась въ форму растенія и удерживала въ памяти его народное названіе.

Въ бору всѣ рассыпались; только громкое, протяжное «ау» обозначало, что тамъ не пусто.

Линейку и телѣгу ставили на полянкѣ, а по близости въ кустахъ и по опушкѣ няньки водили за руки меня и Алѣшу, чтобы мы не забѣжали далеко.

Глубокая тишина вокругъ насъ нарушалась то нашими дѣтскими голосами, то фырканьемъ лошадей, жевавшихъ свѣжую траву, и взмахами ихъ хвостовъ, отгонявшихъ слѣпней, то жужжала пчела, впиваясь въ чашечку цвѣтка, или жукъ, какъ бы сорвавшись съ воздушной высоты, тяжело падалъ въ душистую траву.

Отъ времени до времени то тотъ, то другой изъ нашихъ являлся съ полнымъ лукошкомъ грибовъ, ссыпалъ ихъ въ телѣгу и снова забирался въ трупобу. Когда телѣга была полна, всѣ, громко аукаясь, скликали другъ друга, сходились на полянку, отдыхали, закусывали и отправлялись домой, украсивши линейку и телѣги зелеными вѣтками.

Нигдѣ не приводилось мнѣ видѣть такого изобилія цвѣтовъ, грибовъ и ягодъ, какъ въ Карповкѣ, особенно груздей и рыжиковъ. Всего этого натаскивалась такая пропасть, что не знали, куда съ ними и подѣваться. Несмотря на то, что заготавлилось впрокъ огромное количество варенья, соленья, моченья, наливовъ, перогонныхъ душистыхъ и лѣкарственныхъ водъ и водокъ, жарилось и пеклось, въ пирогахъ и другихъ видахъ поѣдалось господами и прислугой до упада, половина, оставаясь безъ всякаго употребленія, выбрасывалась вонъ.

Лѣтомъ Катерина Петровна не знала отдыха. У нея на заднемъ крыльцѣ цѣлые дни чистили и перебирали грибы и ягоды, полоскали стеклянныя банки, кадочки и бочонки. На двухъ жаровняхъ рдѣли раскаленные уголья, на нихъ въ одномъ изъ мѣдныхъ тазиковъ кипѣлъ уксусъ, въ другомъ сахаръ. Я часто прилаживалась къ тазуку съ вареньемъ и ждала, когда снимутъ съ него пѣнки и передадутъ мнѣ на тарелочкѣ.

Зимой Катерина Петровна съ фонаремъ въ рукахъ осматривала въ погребахъ и подвалахъ лѣтніе запасы, да перетряхивала хранившееся въ сундукахъ барское добро. Какъ только открывался огромный кованый желѣзомъ сундукъ, я примѣщалась подлѣ него на скамеечкѣ, и у меня разбѣгались глаза на выгружаемые полотна, поношенное платье и бѣлье, остатки матерій, скрученныя жгутомъ тальки суровой пряжи, ломанное

серебро, и вмѣстѣ съ Катериной Петровной любовалась на лубочныя картинки, которыми была оклеена внутренность крышки сундука. Да и какъ было не любоваться ими? На самомъ дѣлѣ, пожалуй, и не придется увидеть свиста соловья-разбойника въ видѣ пука золотистыхъ лучей, или ряды мышей красныхъ, желтыхъ, синихъ, погребующихъ жирнаго кота, смиренно лежащаго посреди ихъ съ сложенными лапками и зажмуренными глазами.

Дѣла свои Катерина Петровна вела не просто, а соображаясь съ примѣтами, и всегда выходило точь-въ-точь. Примѣты у нея основывались: однѣ—на явленіяхъ природы, барометромъ другимъ служила кошка. Если на чистомъ небѣ были невидны мелкія звѣзды, она готовилась лѣтомъ къ бурѣ, зимой—къ морозу. Звѣздныя ночи въ январѣ предвѣщали ей урожай на горохъ и ягоды; гроза на Благовѣщеніе—къ орѣхамъ; морозъ—къ груздямъ. Когда кошка лизала хвостъ—Катерина Петровна ждала дождя, мыла лапкой рыльце—ведра, стѣну драла—къ мятели, клубкомъ свертывалась—къ морозу, ложилась вверхъ брюхомъ—къ теплу.

Сама она постоянно носила въ карманѣ орѣхъ-двойчатку на счастье—и въ ея хозяйствѣ все шло очень счастливо. Если куры дрались подъ окномъ, или изъ затопленной печи вылетали искры—она начинала дѣлать приготовленія къ пріѣзду гостей, смотримъ—къ обѣду кто-нибудь и нагрянулъ. При этомъ не мѣшаетъ замѣтить, что въ городѣ у насъ рѣдкій день кто-нибудь изъ постороннихъ не обѣдалъ. Замѣчательнѣе всего былъ способъ, которымъ она приручала къ дому кошекъ. Одни знакомые подарили мнѣ большую дымчатую кошку Машку; къ сокрушенію моему, Машка безпрестанно убѣгала на старое мѣсто.—«Постой же ты, пострѣль,—сказала выведенная изъ терпѣнья Катерина Петровна:—уймешься ты у меня бѣгать со двора»; говоря это, она схватила кошку за уши, три раза протащила вокругъ комнаты, затѣмъ хвостомъ потеряла о печку, и, что-жъ бы вы думали, какъ рукой сняло. Кошка точно приросла къ дому. Съ этой кошкой я не разставалась до моего поступленія въ пансіонъ. Ночью она спала у меня въ ногахъ на постели, днемъ я съ ней играла. Она лежала подлѣ меня на столѣ, вслѣдъ за мной съ него прыгивала на полъ и бѣгала за мною

въ рощу. Кромѣ Машки, я играла иногда и съ братомъ, но такъ какъ въ дѣтствѣ онъ былъ очень тихъ и неповоротливъ, то чаще бѣгала съ дворовыми дѣвочками, такими же рѣзвыми, какъ и я. Онѣ качали меня въ корзинѣ, повѣшенной въ саду между двухъ березокъ, вмѣсто качелей; научили играть въ камешки, прыгать на доскѣ и строить димики изъ песку и деревянныхъ чурочекъ. Хорошихъ игрушекъ у насъ не было; купить, бывало, у проѣзжаго торговца гремушку или глиняную утку-свистулькой, и свистить въ нее до тѣхъ поръ, пока всѣмъ надоѣшь и велятъ уняться или выгонять вонъ изъ комнаты. Изъ числа моихъ игрушекъ я берегла больше всего карандашъ, листочки бумаги, голыши и три книжки «Золотое зеркало» да двѣ книги большого формата, съ картинками, изображавшими замѣчательные виды, зданія, народы, житейскія дѣла. Книжки эти, должно-быть, попали къ намъ изъ новосельской библіотеки. Я досмотрѣла ихъ до дыръ. Читать я стала очень рано, когда и какъ научилась — этого не помню.

Въ числѣ развлеченій нашихъ въ Карповкѣ была прогулка на мельницу. Увидавши въ первый разъ какъ вода, падая на колесо въ пѣнѣ и брызгахъ, точно въ хрусталѣ, поворачиваетъ его съ такимъ шумомъ и гуломъ, что изъ-за него не слышно, какъ говорятъ, я такъ перепугалась, что хотѣла бѣжать домой; еще больше набралась я страха, когда весь въ мукѣ мельникъ ввелъ насъ въ амбарушку, и я почувствовала, что полъ подъ моими ногами гудитъ и дрожитъ. Меня успокоили и старались объяснить устройство мельницы, но я ничего не поняла и убралась на плотину; плотина мнѣ до того понравилась, что я задумала устроить такую же себѣ на ручейкѣ, протекавшемъ за садомъ, а при плотинѣ и мельницу, и немедленно принялась за дѣло. Ручеекъ этотъ бѣжалъ такъ стремительно по камешкамъ, что плотина моя и мельница, сложенная въ клѣтку изъ прутьевъ и палочекъ, то и дѣло разрушались, но я не унывала и принималась строить сызнова. Косари, косившіе лугъ за садомъ, устроили мнѣ плотину попрочнѣе и приставили къ ней вертушку съ крыльями.

Передъ Ивановымъ днемъ дошли до меня слухи о папоротникѣ, о его таинственномъ цвѣтѣ, который дол-

жень распуститься въ ночь наканунѣ Ивана и горѣть, какъ раскаленный уголекъ. Въ травѣ засвѣтились ивановскіе червячки. Мнѣ принесли нѣсколько свѣтляковъ и положили съ травкой въ стеклянную баночку. Днемъ ничего. Наступала ночь — свѣтлячки то загораются, то тухнуть, то снова вспыхиваютъ. Вмѣстѣ съ червячками свѣтились у меня древесныя гнилушки. «Отчего свѣтять гнилушки? — спрашивала я Петровну. — Отчего свѣтять червячки?» — «Свѣтять себѣ да и все тутъ, — отвѣчала она: — стало-быть, такъ Богу угодно, а тебѣ до всего дѣло». — Надъ этимъ отвѣтомъ я задумывалась.

Больше всего я любила по вечерней зарѣ ходить на деревню, смотрѣть, какъ съ поля гонять домой скотину, пастухъ играетъ на рожкѣ, хлопаютъ бичомъ, коровы, овцы, поднимая пыль, идутъ по улицѣ, бабы, дѣти, съ хворостинами въ рукахъ, встрѣчаютъ ихъ и загоняютъ по домамъ, — на улицѣ народъ, говоръ, движеніе, куры, собаки — и вдругъ все затихаетъ, только на небѣ пылаетъ заря, да въ воздухѣ слышится неопредѣленный шорохъ и гдѣ-то пѣсня. Изъ деревни насъ заводили на скотный дворъ пить парное молоко. Кромѣ парного молока, насъ поили для укрѣпленія здоровья березовицей.

Весной березы, назначенныя на срубъ, подсѣкали и подвязывали подъ насѣчки глиняные кувшины, въ которые натекалъ сладкій, чистый, какъ вода, сокъ, извѣстный подъ названіемъ «березовицы». Этой березовицей насъ поили всю весну. Также для укрѣпленія здоровья заставляли насъ ѣсть сосновый сокъ. Крестьянки соскабливали этотъ сокъ изъ-подъ коры сосны и приносили намъ въ крапленыхъ деревянныхъ блюдахъ, уложенный складками, точно бѣлыя атласныя ленты. На вкусъ онъ приторно сладокъ и сильно отзывается смолой. Я его ѣла по принужденію, онъ былъ мнѣ противенъ до того, что не могла его видѣть безъ содроганія.

Въ то время однимъ изъ условій правильнаго воспитанія считалось — приучать дѣтей ѣсть все безъ разбора. Отвращеніе ихъ отъ нѣкоторыхъ предметовъ пищи относили къ причудамъ. Насколько это полезно въ нравственномъ отношеніи — вопросъ другой, что же касается до его дѣйствительности, то по бѣльшей части, страхомъ и наказаніями отвращеніе уничтожали.

Въ дѣтствѣ многіе не могутъ ѣсть того или другого, даже видъ противныхъ предметовъ производить въ нихъ болѣзненное ощущеніе, съ лѣтами это отвращеніе не только что само собой проходить, но иногда тѣ же самые предметы становятся любимой пищей. Такъ въ дѣтствѣ моемъ—дыни производили во мнѣ лихорадочную дрожь, раки—ужасъ; у насъ ихъ часто подавали за ужиномъ. Я заранѣе освѣдомлялась, и если узнавала, что будутъ раки, то скорѣе убиралась въ дѣтскую и укладывалась спать. Уловка эта мнѣ не всегда удавалась; замѣтивши ее, поднимали меня съ постели, несли за столъ и принуждали ѣсть раковъ, несмотря на мои слезы и страхъ, вѣроятно, выражавшійся и въ моемъ дѣтскомъ личикѣ.

Всего же больше я боялась чужихъ людей и гостей. Какъ только пріѣзжали къ намъ гости, я пряталась подъ кровать, за дверь, подлѣзала подъ кресла, и когда, отыскавши меня, начинали умывать и одѣвать прилично, я впадала въ лихорадку и ревѣла до того, что лицо и грудь покрывались красными пятнами. Матушка, выведенная изъ терпѣнія, большей частью отступалась отъ меня и уходила. Вслѣдъ за нею являлась Петровна утѣшать и усовѣщивать.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно, чего ты боишься, — уговаривала она меня:—гости все хорошіе, чай, гостинцевъ-то, гостинцевъ-то что навезли! а ты утри глазки, умойся холодной водицей, оправься и войди въ гостиную съ лицомъ веселымъ, да присядь хорошенько, маменьку-то и утѣшишь.

Утѣшить этимъ маменьку мнѣ не удавалось.

— Вишь вѣдь ты какая своебышная,—упрекала меня старушка, видя, что я стою, какъ пень, полуодѣтая въ своемъ нарядномъ платьицѣ:—что тебѣ ни говори—свое дѣлаешь.

Въ Карповкѣ мы жили уединенно; къ моему счастью, близкихъ сосѣдей у насъ не было, поэтому никто къ намъ не ѣздилъ. Одна тетушка Лизавета Петровна пріѣзжала раза два на нѣсколько дней. Я любила ее и была ей рада. Впослѣдствіи отъ нея много слышала о нашей жизни въ Карповкѣ, и при ея разсказахъ иное вспоминала.

Живо представляются мнѣ двѣ бѣдныя дѣвушки —

Лушенька и Аксюта; онѣ жили рядомъ съ Карповкой, гдѣ у нихъ находилось нѣсколько десятинъ земли и небольшой домикъ. Почти каждый день онѣ приходили къ намъ съ работой, шили и перешивали разные тряпки и наряды, распѣвая томнымъ голосомъ:

«Звукъ унылый фортепьяно
Выражай тоску мою»,

или

«Ты велишь мнѣ равнодушнымъ
Быть, прекрасная, къ тебѣ».

Романсы ихъ наводили на меня такую тоску, что я возненавидѣла этихъ барышень и безпощадно отгоняла отъ моего стола, какъ только онѣ къ нему подходили.

Кромѣ этихъ барышень, которыхъ я терпѣть не могла, послѣ того, какъ отъ меня взяли мою старую няню, я надолго разлюбила всѣхъ, исключая своей кошки и Катерины Петровны.

Какія кроткія картины пробуждаются въ душѣ моей при воспоминаніи о моей нянѣ: небольшая ростомъ, съ тихимъ, необыкновенно добродушнымъ выраженіемъ лица, съ ласковымъ голосомъ, она въ своей темной ситцевой юбкѣ съ кофтой и бѣленькомъ миткалевымъ чепчикѣ была необыкновенно симпатична. Мнѣ ее напоминали въ картинныхъ галлерейхъ — портреты матери Жераръ Дова.

Привязанность моя къ ней доходила до болѣзненности. Въ младенчествѣ моемъ я почти ни на шагъ не отпускала ее отъ себя, не сходила у нея съ рукъ; обнявши ее и прижавшись къ ея груди, укрывалась отъ всякаго рода дѣтскихъ невзгодъ. Когда она выходила изъ дѣтской, я въ изступленіи бросалась за нею, или, уцѣпившись за подолъ ея юбки, тащилась по полу.

Мать моя—добродушная, но пылкая и порывистая,—не могла выносить равнодушно такого зрѣлища. Если я попадалась ей на глаза въ подобную минуту, она хватала меня, какъ ни попало—за руку, за ногу, вытаскивала въ другую комнату, лѣтомъ на террасу, и сѣкла прутомъ. Няня бросалась за мною, со слезами умоляла мать меня помиловать, общалась за меня, что «впередъ не буду», и если ничто не удавалось, прикрывала меня своими старыми руками и принимала на нихъ предназначенные мнѣ удары розги. Высѣченную—уносила въ

дѣтскую, утѣшала, приголубливала и развлекала игрушками или сказкой. Сказокъ она знала множество и своимъ простымъ умомъ и сердцемъ вѣрила въ истинность этихъ разсказовъ. Слушая ее, я отдыхала и отъ боли, и отъ горя и вмѣстѣ съ нею отдавалась дивному повѣствованію или, убаюканная имъ, засыпала на ея колѣняхъ.

Вечеромъ, укладывая меня въ постель, она тихо творила молитву передъ образомъ, висѣвшимъ въ головахъ моей кровати, крестила меня, брала стулъ и садилась подлѣ; клала на меня руку, чтобы я, засыпая, не встрепенулась, испугавшись чего-нибудь, и начинала или разсказъ, или пѣла, какъ у кота колыбель хороша, а у меня и лучше его, или какъ ходить котъ по лапочкѣ, водить кошку за лапочки, и я, не спуская съ нея глазъ, тихо засыпала. Утромъ, проснувшись, встрѣчала тотъ же исполненный мира и любви взоръ, подъ которымъ заснула.

По кончинѣ Петра Алексѣевича, при раздѣлѣ дворовыхъ людей между его наслѣдниками, няня моя досталась на долю Катерины Валерьяновны, и ее отъ насъ потребовали. Когда она стала прощаться со мной, ее едва оттащили, я же, какъ мнѣ разсказывали, была внѣ себя отъ отчаянія, кричала, билась, каталась по полу и отъ тоски такъ сильно заболѣла горячкой, что едва осталась жива. Поднявшись съ постели, изъ энергической дѣвочки я надолго сдѣлалась ко всему и ко всѣмъ равнодушна и какъ будто все во что-то вдумывалась и что-то старалась припомнить. Петровна жалѣла меня, я сиротливо приютилась къ ней; но у меня не было съ ней того поэтическаго единства, которое связывало любящую душу младенца съ любящей младенческой душой старушки. Вся поэзія дѣтской жизни моей надолго покинула меня съ моей няней.

Привязанность Катерины Петровны ко мнѣ и къ моему брату выражалась безграничнымъ баловствомъ. Она отбирала и прятала для насъ лучшіе куски кушанья и десерта, зазававши къ себѣ въ комнату, накрѣпко запирала дверь и кормила украдкой отъ отца и отъ матери, которые это строго запрещали. Провинившись въ чемъ-нибудь, я пряталась къ ней въ комнату, залѣзала за шкалъ, или подъ ея кровать, на которую она сади-

лась и стерегла меня. Когда отецъ или мать, найдя меня, вытаскивали изъ-подъ кровати, она вырывала меня изъ ихъ рукъ, загораживала собой, растянувши свою широкую юбку между мною и ими, и поднимала съ ними перебранку; выпроводивши ихъ, выпускала меня изъ-за юбки и, продолжая ворчать, гладила по головѣ, приговаривая: «нишкни, не выдамъ, нишкни, нещечко дамъ», затѣмъ мы направлялись къ сундуку съ лакомствами, я набивала себѣ ими ротъ и руки и оставалась у Петровны до тѣхъ поръ, пока гроза проходила.

Въ одно утро я была изумлена и огорчена, увидавши въ мое окно крестьянокъ, которыя блестящими серпами жали рожь, взмахивая въ воздухъ горстями колосьевъ, вязали ихъ въ снопы и складывали крестъ-на-крестъ въ небольшія копны. Мнѣ объяснили, что это уборка хлѣба, и повели къ жнищамъ. Полевая работа такъ заняла меня, что я подолгу оставалась на жнивѣ. Когда же хлѣбъ былъ убранъ, я съ жалостью смотрѣла на оголенное поле,—оно стало какъ бы обширнѣе и только кой-гдѣ синѣлъ на немъ одинокій василекъ, да качались вѣтромъ обойденные серпомъ колосы. Спустия немного времени по полю покраснѣлись звѣздочки полевой гвоздики.

Наступала осень, пошли дожди, грязь, вѣтеръ обрывалъ съ деревьевъ пожелтѣвшіе листья, насъ не выпускали изъ комнаты. Приходилось быть постоянно на глазахъ у старшихъ и надоѣдать имъ своими шалостями. Чтобы унять меня отъ излишней рѣзвости и поприучить къ порядочнымъ манерамъ, стали усаживать меня въ гостиной; но я, при первомъ удобномъ случаѣ, изъ гостиной скрывалась въ дѣтскую или дѣвичью, гдѣ мнѣ было и свободнѣе, и веселѣе. Тамъ я помѣщалась на большомъ сосновомъ сундукѣ Катерины Петровны, замѣнявшемъ ей вольтеровское кресло, или на лежанкѣ, и принимала участіе во всѣхъ интересахъ дѣвичьей, вслушивалась въ разговоры, въ жужжанье веретень, въ трещанье воробъ, вертѣвшихся съ моткомъ нитокъ. Въ дѣвичьей я была липо, на мнѣ сосредоточивалось главное вниманіе, со мной говорили, меня забавляли.

Спустия много лѣтъ Саша сдѣлалъ замѣчаніе, что въ основѣ взаимной привязанности дѣтей и прислуги содержится взаимная любовь простыхъ и слабыхъ.

Быть-можетъ, это и такъ.

Дѣти вообще не любятъ благосклоннаго обращенія съ ними взрослыхъ, они чувствуютъ въ этомъ ихъ силу и свою слабость. Взрослые ласкаютъ и дразнятъ ихъ изъ своей забавы, играютъ съ ними безъ интереса, уступаютъ изъ снисхожденія, бросаютъ игру, какъ только имъ вздумается.

Прислуга по равенству простоты, забавляя дѣтей, сама увлекается, это придаетъ игрѣ и разговору жизнь и интересъ.

Иногда въ дѣтствѣ моемъ безтактное отношеніе ко мнѣ взрослыхъ доводило меня до того, что я собиралась убѣжать въ лѣсъ, или молила Бога поскорѣе вырасти.

Говорятъ, дѣтскій возрастъ самый счастливый. Полно—такъ ли? Счастье дѣтей зависитъ отъ очень многихъ условій.

Во мнѣ рано сказалось чувство человѣческаго достоинства, и я, хотя бессознательно, но всегда чувствовала, когда во мнѣ его оскорбляли. Огорченіе мое отъносили къ капризамъ.

У ребенка-то капризы! у ребенка-то пороки! Да развѣ это возможно?

А если и встрѣчаются, то виною кто же?

Чтобы приучить меня къ терпѣнію и смиренію, иногда нарочно дразнили меня, я не смирялась, а доходила до изступленія, чувствуя свое безсиліе. Меня наказывали, наказанія раздражали и отчуждали меня окончательно. Любовь матери иногда смягчала такое настроеніе моего духа, но, не понимая основы этихъ явленій, она не могла ни отклонить, ни излѣчить ихъ.

Наказавши меня, она сама плакала, цѣловала, давала конфетъ или откидывала косую доску своего комода, за которой находилось много ящичковъ, и сажала меня на нее. Я начинала выдвигать одинъ ящичекъ за другимъ, вытаскивала изъ нихъ нитки янтарей, граматы, кораллы, золотыя цѣпи, серьги, кольца. Перебравши и пересмотрѣвши все, отбирала тѣ вещи, въ которыхъ были прозрачные камни, подолгу играла ими и забывала свое горе, радуясь игрою лучей свѣта въ брильянтахъ.

~~~~~

## ГЛАВА IV.

### М о с к в а.

1815 — 1818.

Изъ-за тумановъ ночи мрачной  
Восходить жизньъ прошедшихъ лѣтъ,  
Облечена въ полупрозрачный,  
Полузадумчивый разсвѣтъ.

Иванъ Алексѣевичъ, по приѣздѣ въ Москву, нанялъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ, сенаторомъ Львомъ Алексѣевичемъ, большой домъ въ приходѣ Рождества въ Путинкахъ.

Верхній этажъ дома занялъ Иванъ Алексѣевичъ. Внизу, въ одной половинѣ помѣстился сенаторъ, въ другой—Луиза Ивановна съ Сашей, Егоромъ Ивановичемъ и женской прислугой. Хозяйство было общее. Иванъ Алексѣевичъ выдавалъ деньги на расходы и принималъ отчеты. Покупки дѣлалъ и завѣдывалъ домашнимъ хозяйствомъ большею частью Карлъ Ивановичъ Кало, камердинеръ сенатора, привезенный имъ изъ Пруссіи, человекъ самый честный, самый добродушный. Онъ пользовался не только всеобщей любовью, но и уваженіемъ.

Сверхъ домашняго хозяйства, Кало завѣдывалъ расходами и гардеробомъ Льва Алексѣевича, присутствовалъ при его одѣваньи и раздѣваньи; варилъ и подавалъ ему утромъ кофе; готовилъ закуску, когда сенаторъ заѣзжалъ передъ обѣдомъ домой, чтобы переменить платье или четверку лошадей. Кало встрѣчалъ и провожалъ сенатора и до того былъ ему преданъ, что не рѣшился жениться на любимой дѣвушкѣ, когда Левъ Алексѣевичъ, на просьбу его о женитьбѣ, отвѣчалъ, что женатаго человека въ услуженіи при себѣ держать не станеть. Подъ наблюденіемъ Кало состояла вся прислуга сенатора: одни убирали комнаты, другіе были вы-

ѣздными. Послѣдніе полжизни не сходили съ запятокъ экипажа \*).

«Левъ Алексѣевичъ, сказано о немъ, былъ по характеру человекъ добрый, любившій разсѣяніе. Онъ провелъ всю жизнь въ мірѣ, освѣщенномъ лампами, въ мірѣ официально-дипломатическомъ и придворно-служебномъ, не догадываясь, что есть другой міръ, посерьезнѣе, несмотря даже на то, что всѣ событія 1789 и 1815 годовъ не только прошли подлѣ, но зацѣпляясь за него. Графъ Воронцовъ посылалъ его къ лорду Гренвиллю, чтобъ узнать о томъ, что предпринимаютъ генералъ Бонапартъ, оставившій египетскую армію. Онъ былъ въ Парижѣ во время коронованія Наполеона. Въ 1811 году Наполеонъ велѣлъ его остановить и задержать въ Касселѣ, гдѣ онъ былъ посломъ при «царѣ Ерѣмѣ» (Jerome), какъ выражался Иванъ Алексѣевичъ въ минуты досады. Словомъ, онъ былъ налицо при всѣхъ огромныхъ происшествіяхъ послѣдняго времени, но какъ-то странно, не такъ, какъ слѣдуетъ. Пока дипломатическіе вопросы разрѣшались штыками и картечью—онъ былъ посланникомъ и заключилъ свою дипломатическую карьеру во время вѣнскаго конгресса». «Возвратившись въ Россію, онъ былъ произведенъ въ дѣйствительные камергеры въ Москвѣ, гдѣ не было двора; не зная законовъ и русскаго судопроизводства, онъ попалъ въ сенатъ и сдѣланъ членомъ опекунскаго совѣта, начальникомъ Маріинской больницы и начальникомъ Александринскаго института; всѣ должности исполнялъ съ рвеніемъ и строптивостью, которая вредила, съ честностью, которую никто не замѣчалъ». Утромъ онъ ѣхалъ въ сенатъ, два раза въ недѣлю въ опекунскій совѣтъ, сверхъ института и больницы; обѣдалъ раза три въ недѣлю въ англійскомъ клубѣ. Вечеромъ навѣщалъ тетку, княжну Анну Борисовну, сестеръ, или являлся во французскій

---

\* ) Одинъ изъ нашихъ талантливыхъ писателей ярко очертилъ членовъ фамиліи Яковлевыхъ, окружавшихъ дѣтство и юность мою и Саши. Послѣ характеристики этихъ личностей, начертанныхъ съ необыкновенной живостью и вѣрностью его мастерскимъ перомъ, я не рѣшилась говорить о нихъ съ этой стороны, а такъ какъ обойти этого не могла, то и позволила себѣ воспользоваться нѣсколькими отрывками изъ записанныхъ имъ характеристикъ и событій по ихъ общности съ моей жизнью и жизнью Саши.

спектакль, часто въ срединѣ пьесы, и уѣзжалъ, не дождавшись конца. Домой заѣзжалъ разсказать новость. Разсказывалъ съ жаромъ; самъ добродушно смѣялся своему разсказу и чрезвычайно былъ доволенъ, когда смѣшили другихъ или интересовывалъ брата Ивана.

Левъ Алексѣевичъ, какъ старшій братъ, говорилъ Ивану Алексѣвичу «ты», а Иванъ Алексѣевичъ, какъ младшій, ему—«вы»; но, несмотря на этотъ знакъ уваженія къ старшинству, при малѣйшемъ противорѣчій съ его стороны, иногда ни съ того, ни съ сего, а такъ просто отъ дурного расположенія духа, нападалъ на сенатора съ такимъ хладнокровіемъ, что тотъ выходилъ изъ себя и, запальчиво хлопнувъ дверь, уѣзжалъ со двора.

Скучать Льву Алексѣвичу было некогда; онъ всегда былъ занятъ, разсѣянъ, онъ все ѣхалъ куда-нибудь, и жизнь его катилась легко; до 75-ти лѣтъ онъ былъ здоровъ, какъ молодой человѣкъ, являлся на всѣхъ большихъ балахъ и обѣдахъ, на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ и годовыхъ актахъ, все равно какихъ: агрономическихъ или медицинскихъ, страхового общества отъ огня или естествоиспытателей...

Нельзя ничего себѣ представить больше противоположнаго вѣчно движущемуся, сангвиническому сенатору, какъ его брата Ивана Алексѣевича. Иванъ Алексѣевичъ, вѣчно капризный, почти никогда не выходилъ со двора и ненавидѣлъ весь официальный міръ. У него было тоже восемь лошадей (прескверныхъ), но его конюшня была въ родѣ богоугоднаго заведенія для клячь. Онъ держалъ ихъ отчасти для того, чтобы два кучера и два форейтора имѣли какое-нибудь занятіе, сверхъ хозяйства за «Московскими Вѣдомостями» и пѣтушиныхъ боевъ.

«Иванъ Алексѣевичъ рѣдко бывалъ въ хорошемъ расположеніи духа и постоянно былъ всѣмъ недоволенъ; человѣкъ большого ума, большой наблюдательности, онъ бездну видѣлъ, слышалъ, помнилъ; свѣтскій человѣкъ, ассомплі, онъ могъ быть чрезвычайно любезенъ и заботливъ, но онъ не хотѣлъ этого и все болѣе и болѣе впадалъ въ капризное отчужденіе отъ всѣхъ. Откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнявшія его душу, недовѣрчивое удаленіе отъ людей и до-



сада, снѣдавшая его? Развѣ онъ унесъ въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, которое никому не довѣрилъ, или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ встрѣчь, до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей развитію праздности. Прошрое столѣтіе произвело удивительный кряжъ людей на Западѣ, особенно во Франціи, со всѣми слабостями регентства, со всѣми силами Спарты и Рима. Эти Фоблазы и Регулы вмѣстѣ отворили настежь двери революціи и первые ринулись въ нее, поспѣшно толкая другъ друга, чтобы выйти въ «окно» гильотины. Нашъ вѣкъ не производить больше этихъ цѣльныхъ, сильныхъ натуръ; прошлое столѣтіе, напротивъ, вызвало ихъ вездѣ, даже тамъ, гдѣ онѣ не были нужны, гдѣ онѣ не могли иначе развиться, какъ въ уродство. Въ Россіи люди, подвергнушіеся влиянію этого мощнаго западнаго вѣянія, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы—дома, иностранцы—въ чужихъ краяхъ, праздные зрители, испорченные для Россіи западными предрасудками, для Запада—русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и въ нестерпимомъ эгоизмѣ».

Къ этому кругу принадлежалъ въ Москвѣ, на первомъ планѣ, блестящій умомъ и богатствомъ князь Николай Борисовичъ Юсуповъ. Около него цѣлая плеяда сѣдыхъ волокитъ и *esprits forts*.

«Иванъ Алексѣевичъ, по воспитанію, по гвардейской службѣ и связямъ, принадлежалъ къ этому же кругу, но ему ни его нравъ, ни его здоровье не позволяли вести до семидесяти лѣтъ вѣтреноую жизнь, и онъ перешелъ въ противоположную крайность.

«Людей онъ презиралъ, откровенно, открыто всѣхъ. Ни въ какомъ случаѣ не рассчитывалъ ни на кого и ни къ кому не обращался съ значительной просьбой,—онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними требовалъ одного,—сохраненія приличій; *les convenances*, *les convenances* составляли его нравственную религію. Онъ многое прощалъ или, лучше сказать, пропускалъ сквозь пальцы, но нарушеніе формъ и приличій выводило его изъ себя; тутъ онъ становился

безъ всякой терпимости, безъ малѣйшаго снисхожденія и состраданія. Онъ впередъ былъ увѣренъ, что всякій человѣкъ способенъ на все дурное, и если не дѣлаетъ, то или не имѣетъ нужды, или случай не подходитъ. Въ нарушеніи же формъ онъ видѣлъ личную обиду, неуваженіе къ нему, или «мѣщанское воспитаніе», которое, по его мнѣнію, отлучало человѣка отъ всякаго людскаго общества.

«— Въ жизни,—говорилъ онъ:—всего важнѣе *esprit de conduite*, важнѣе превыспреннаго ума и всякаго ученія. Вездѣ умѣть найтись, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми—чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ—фамиллярности.

«Онъ не любилъ никакого *abandon*, никакой откровенности, онъ все это называлъ фамиллярностью, такъ же, какъ всякое чувство—сентиментальностью, и постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоявшаго выше всѣхъ этихъ мелочей».

Сверхъ всего остального, Иванъ Алексѣевичъ увѣрилъ себя, что опасно болѣть, и безпрестанно лѣчился; кромѣ домового доктора, къ нему ѣздили два или три медика, и онъ дѣлалъ, по крайней мѣрѣ, три консилиума въ годъ.

Кромѣ разныхъ лѣкарствъ, ежедневно пилъ декоктъ изъ корней конскаго щавеля, а для смягченія груди—отваръ изъ яблоковъ и сухой земляники. Комнаты его были всегда жарко натоплены, но, не взирая на это, онъ постоянно носилъ халатъ на бѣлыхъ мерлушкахъ и поярковые сапоги, а на обритой головѣ—красную суконную шапочку съ лиловой кистью, впоследствии замѣнилъ бархатной.

Единственнымъ предметомъ его привязанности былъ Саша. Любовь его къ нему выражалась особенно ярко во время дѣтства послѣдняго. Заботливость о его здоровьѣ и забавахъ доходила до крайности.

Сберегая ребенка отъ простуды, онъ не выпускалъ его изъ комнаты цѣлую зиму, а если позволялъ прокатить въ каретѣ, то сверхъ шубы и теплой шапки закутывалъ платками и шарфами. Предостерегая отъ разстройства желудка, держалъ его на строгой діетѣ. Обѣдъ Саши, до восьми или девятилѣтняго возраста, состоялъ изъ тарелки бульона съ бѣлымъ хлѣбомъ, котлеты или

кусочка жареного, компота изъ яблоковъ и чернослива, или печеного яблока. До этого же возраста одѣвали его въ панталоны изъ китайки, планшевого цвѣта, съ высокими воротомъ и длинными рукавами; во время обѣда и завтрака, состоявшаго изъ чашки бульона и котлеты, надѣвали на него фартукъ изъ салфеточнаго полотна. При малѣйшемъ насморкѣ или кашлѣ поднимались такія страшныя хлопоты и тревога, что, глядя на нихъ, ребенокъ начиналъ воображать себя сильно больнымъ и принимался блажить до того, что всѣхъ выводилъ изъ терпѣнія. Сейчасъ являлся докторъ, прописывалъ лѣкарства, которые давалъ ему по часамъ самъ Иванъ Алексѣевичъ и самъ за нимъ ухаживалъ. Если Саша, отъ жара въ комнатѣ и излишняго за нимъ ухода, раздражался и принимался колобродить и метаться, Иванъ Алексѣевичъ садился подлѣ него и старался его развлечь, а когда это не помогало, бралъ его на руки, ходилъ съ нимъ по комнатѣ, несмотря на то, что ребенокъ изгибался у него на рукахъ и брыкался ногами, носилъ его до тѣхъ поръ, пока онъ успокаивался. Кромѣ Ивана Алексѣевича, Сашу баловали на всѣ руки. Сенаторъ дарилъ ему дорогія, затѣйливыя игрушки. Карлъ Ивановичъ нянчилъ и тѣшилъ его. Ребенокъ часто цѣлые дни проводилъ въ его комнатѣ, докучалъ ему, шалилъ—онъ все выносилъ съ добродушной улыбкой, вырѣзалъ ему изъ картонной бумаги разныя чудеса, точилъ разныя бездѣлицы изъ дерева. По вечерамъ приносилъ изъ библіотеки книги съ картинками и терпѣливо показывалъ ему одни и тѣ же изображенія, повторяя одни и тѣ же объясненія въ тысячный разъ.

Луиза Ивановна меньше другихъ его нѣжила, но не перечила шумѣть, кричать, шалить цѣлые дни. Онъ былъ такъ живъ и рѣзвъ, что пяти минутъ не могъ оставаться на одномъ мѣстѣ безъ шума. Колотилъ, стучалъ, ломалъ, только трещали дорогія игрушки. По цѣлымъ часамъ барабанилъ въ барабанъ, расхаживая вокругъ комнату, ни на кого не обращая вниманія. Иногда онъ становился у притолоки двери, складывалъ назадъ руки и начиналъ продолжительно прыгать съ одной стороны притолоки на другую и пѣть на всю комнату краковякъ. Для этой операціи почему-то всегда надѣвалъ халатикъ и подпоясывался зеленымъ шелковымъ поя-

сомъ Ивана Алексѣевича, съ серебряной пряжкой. Разъ онъ такъ надоѣлъ матери шумомъ и трескотней, что она стала строго останавливать его. Новость эта до того поразила ребенка, что онъ, посмотрѣвши пристально на мать, вскрикнулъ: «Прощайте, умираю», бросился навзничь, сложилъ руки, закрылъ глаза и долго оставался неподвиженъ, какъ ни уговаривали его встать. Къ этому средству онъ сталъ прибѣгать при малѣйшемъ противорѣчii. Чтобы прекратить такую выходку, однажды, какъ онъ, сказавши «умеръ», протянулся на полу, Луиза Ивановна закричала: «Подите сюда кто-нибудь, Саша умеръ, вынесите его и похороните». Въ одно мгновеніе онъ вскочилъ на ноги, говоря: «Какъ, меня похоронить? Нѣтъ! Я умеръ, но уйду!» и мгновенно исчезъ; съ тѣхъ поръ больше не пробовалъ умирать.

Дни именинъ и рожденія Саши праздновались торжественно. Вотъ чему я съ раннихъ лѣтъ была свидѣтельницей, и какъ самъ онъ объ этомъ рассказываетъ.

«Передъ торжественными днями, Кало запирался въ своей комнатѣ, откуда были слышны разные звуки молотка и другихъ инструментовъ; часто быстрыми шагами проходилъ онъ по коридору, всякій разъ запирая на ключъ свою дверь, то съ кастрюлькой клея, то съ какими-то завернутыми въ бумагу вещами. Можно себѣ представить, какъ хотѣлось знать, чтѣ онъ готовитъ; Саша подсылаетъ дворовыхъ мальчиковъ вывѣдать, но Кало держалъ ухо остро. Мы какъ-то открыли на лѣстницѣ небольшое отверстіе, падавшее прямо въ его комнату, но и оно намъ не помогло; видна была верхняя часть окна и портретъ Фридриха II съ огромнымъ носомъ, съ огромной звѣздой и съ видомъ исхудалаго коршуна. Дня за два шумъ переставалъ, комната была отворена, все въ ней было по-старому, кой-гдѣ валялись только обрѣзки золотой и цвѣтной бумаги; я краснѣлъ, снѣдаемый любопытствомъ; но Кало, съ натянуто-серьезнымъ видомъ, не касался щекотливаго предмета.

Въ мученьяхъ доживалось до торжественнаго дня. Въ пять часовъ именинникъ уже просыпался и думалъ о приготовленіяхъ Кало; часовъ въ восемь—являлся онъ самъ, въ бѣломъ галстукѣ, въ бѣломъ жилетѣ, въ синемъ фракѣ, съ золотыми пуговицами и съ пустыми

руками,—когда же это кончится? Не испортил ли онъ? И время шло, и обычные подарки шли, и лакей Елизаветы Алексѣвны Голохвастовой уже приходилъ съ завязанной въ салфеткѣ богатой игрушкой, и сенаторъ уже приносилъ какія-нибудь чудеса, но безпокойное ожиданіе сюрприза мutilо радость. Вдругъ, какъ-нибудь, невзначай, послѣ обѣда или послѣ чая, нянюшка говорила ему:

— Сойдите на минутку внизъ, васъ спрашиваетъ одинъ человѣчекъ.

«Вотъ оно»,—думалъ Сапа и спускался, скользя на рукахъ по поручнямъ лѣстницы. Двери въ залу открываются съ шумомъ, играетъ музыка, транспарантъ съ его вензелемъ горитъ, дворовые мальчишки, одѣтые турками, подаютъ конфеты, потомъ кукольная комедія или комнатный фейерверкъ. Кало, въ поту, въ восторгѣ суетится, все самъ приводитъ въ движеніе.

Какіе же подарки могли стать рядомъ съ такимъ праздникомъ. Усталъ отъ неизвѣстности, множество свѣчекъ, фольги и запахъ пороха! Недоставало, можетъ быть, одного—товарищей, но Сапа почти все ребячество провелъ въ одиночествѣ.

Единственнымъ товарищемъ его дѣтства отъ времени до времени бывала я, «еще въ тѣ времена,—вспоминалъ Сапа,—когда были живы m-me Прово и m-me Берта, Бушо не уѣзжалъ въ Мецъ и Карлъ Карловичъ не улеталъ въ рай съ звуками органа»; иногда гостила у насъ родственница. Сначала она была маленькая дѣвочка, потомъ побольше. Приѣзжала она всегда въ Москву изъ Меленовъ (Корчевы) въ сопровожденіи сперва матери, потомъ тетки, разительно похожей на принцессу Англемскую \*).

Родственники Ивана Алексѣвича, видя безмѣрную избалованность Саши, предрекали, что въ немъ не будетъ пути, а, основываясь на его тщедушности, ожидали, что чахотка скоро унесетъ его изъ этого міра.

Дѣйствительно, это былъ ребенокъ худой, блѣдный, съ рѣдкими, длинными бѣлокурыми волосами, съ большими темно-сѣрыми глазами, въ которыхъ порой бле-

---

\*) Младшая дочь Петра Алексѣвича Яковлева — Елизавета Петровна — въ замужествѣ Смалляна.

стѣли искры и рано засвѣтилась мысль. Не взирая на его чрезмѣрную живость, онъ рѣдко улыбался, шалилъ, ломалъ, шумѣлъ серьезно, какъ бы дѣлая дѣло. Часто бросивши игрушки, онъ останавливалъ взоръ на одномъ предметѣ и какъ бы вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположеніе къ себѣ родныхъ со стороны отца своего, несмотря на ихъ видимое вниманіе, онъ и самъ ихъ не любилъ и старался избѣгать ихъ присутствія. Въ особенности онъ старательно удалялся княгини Маріи Алексѣевны Хованской, которая, изъ любви къ брату Ивану и по долгу христіанки, какъ она выражалась, желая сколько-нибудь исправить избалованнаго ребенка, всякій разъ, какъ только онъ попадался ей на глаза, читала ему нравоученіе и пугала его, говоря, что до нея доходятъ слухи, какъ онъ капризничаетъ и никого не слушаетъ, и что если это правда, то она его запретъ въ свой ридикюль или въ табакерку. Потомъ, обращаясь къ брату, прибавляла: «отдай-ка мнѣ своего баловника на исправленіе, я его сдѣлаю шелковымъ». Саша боялся ее до смерти; иногда достаточно было сказать: «вотъ постойте, я скажу княгинѣ, что вы не слушаетесь», и онъ дѣлался шелковымъ.

Всѣ видѣли въ «Шушкѣ» только баловня, изъ котораго не будетъ никакого толка, но никто не умѣлъ изъ за баловства разсмотрѣть, сколько ума, добродушнаго юмора и нѣжности было въ этомъ ребенкѣ. Никто не обратилъ вниманія на врожденныя ему чувства деликатности и чelовѣчности, которыя, не взирая на эгоистическую, полную деспотизма среду, въ которой онъ росъ и развивался и въ которой могъ быть первымъ деспотомъ, были въ немъ такъ сильны, что онъ рано почувствовалъ, а вскорѣ и понялъ все отталкивающее окружавшаго его міра, сочувствовалъ всему угнетенному, до слезъ возмущался несправедливостью, постоянно нуждался въ сердечномъ привѣтѣ, и страстно, беззавѣтно отдавался чувству дружбы и любви.

Одинъ Иванъ Алексѣевичъ понималъ его, понималъ содержавшіяся въ немъ возможности и старался развить въ немъ сдержанность. Разъ, когда Сашѣ было лѣтъ одиннадцать или двѣнадцать, собралось у Ивана Алексѣевича чelовѣкъ десять почетныхъ посѣтителей, въ томъ числѣ былъ и сенаторъ; всѣ они усѣлись въ залѣ

около круглаго стола, за которымъ Луиза Ивановна разливала чай; мы съ Сашей помѣстились въ этой же комнатѣ за особымъ небольшимъ столомъ и, разложивши на немъ огромную книгу въ богатомъ переплетѣ, съ дворянскими гербами и родословными, стали ее разсматривать. Кто-то изъ посѣтителей, обратясь къ намъ, спросилъ, какая это у насъ книга. Саша, не задумавшись, отвѣтилъ: «Зоологія». Я засмѣялась, нѣкоторые изъ гостей, изъ угожденія Ивану Алексѣвичу, одобрительно улыбнулись его остроуѣ; но Иванъ Алексѣвичъ не улыбнулся, а когда гости разѣхались, задалъ намъ такую гонку, что мы долго не забывали «Зоологію». Меня распекъ, зачѣмъ поощряю Шушку къ дерзостямъ, забавляясь его неумѣстными островами, а его— какъ смѣлъ непочтительно выразиться о русскомъ дворянствѣ, служившемъ отечеству, и заключилъ свою нотацию, обращаясь уже къ одному Сашѣ, словами:

— Ты не думай, любезный, чтобъ я высоко ставилъ превыспренній умъ и остроуміе, не воображай, что очень утѣшить меня, если мнѣ скажутъ вдругъ: вашъ Шушка сочинилъ «Чортъ въ телѣжкѣ», я на это отвѣчу: «скажите Вѣрѣ, чтобы вымыла его въ корытѣ».

Мы покатались со смѣха.

Старикъ сдѣлалъ видъ, что этого не замѣтилъ, подошелъ къ круглому столу, подъ которымъ спокойно лежалъ Макбетъ, крикнулъ человѣка и велѣлъ ему вывести Макбета во дворъ. Потомъ, обратясь къ намъ, сказалъ:

— Въ жизни *esprit de conduite* важнѣе превыспренняго ума и всякаго ученья.

Добродушная Луиза Ивановна больше всѣхъ въ домѣ была любима. Съ каждымъ обращалась она ласково и снисходительно, за cadaго заступалась, не вмѣшиваясь ни въ какія дѣла. Вмѣстѣ со всѣми она несла долю притѣсненій и оскорбленій отъ капризовъ Ивана Алексѣвича. Иногда, выйдя изъ терпѣнія, она дѣлала оппозицію, но какъ это бывало всегда въ бездѣлицахъ, то и оставалось безъ всякаго полезнаго результата. Тихо протекла лучшая пора ея жизни, въ мелкихъ домашнихъ заботахъ, въ чтеніи книгъ нѣмецкихъ авторовъ, попеченій о Сашѣ и о постоянно больномъ и капризномъ старикѣ. Знакомыхъ у нея почти никого не было; выѣзды

Луизы Ивановны ограничивались, по праздникамъ, посѣщеніемъ лютеранской церкви, да утренними прогулками на Прѣсенскіе пруды, иногда поѣздками за городъ со всѣми нами.

Домъ Ивана Алексѣевича сложился подъ вліяніемъ философіи VIII столѣтія заграничной жизни того времени, чужихъ краевъ съ привычками русскаго барства.

Проведя нѣсколько лѣтъ за границей, Иванъ Алексѣевичъ и сенаторъ хотѣли устроить жизнь на иностранный манеръ, безъ большихъ тратъ и съ сохраненіемъ всѣхъ русскихъ удобствъ. Жизнь на иностранный манеръ не устраивалась, оттого ли, что не умѣли сладить, оттого ли, что помѣщичья натура брала верхъ надъ иностранными привычками. Хозяйство было общее, имѣніе нераздѣльное, огромная дворня заселяла нижній этажъ дома, всѣ условія безпорядка были налицо. Пока сенаторъ жилъ вмѣстѣ съ Иваномъ Алексѣевичемъ, общей прислуги было человѣкъ до шестидесяти, кромѣ ребятишекъ, которыхъ приучали къ службѣ, т.е. къ праздности, лѣни и лганью.

Семейныя женщины не несли никакой службы и занимались только своимъ хозяйствомъ. Въ прислугѣ находилось нѣсколько горничныхъ и прачекъ.

Во главѣ женской прислуги стояла Вѣра Артамонова, вторую роль играла Марія Ивановна Юдина \*), столько же вспыльчивая и самолюбивая, сколько Вѣра Артамонова была тиха и простодушна. Держала себя Марія Ивановна свысока, одѣвалась изысканно. По воскресеньямъ являлась въ кисейномъ платьѣ на розовомъ чехлѣ, съ бантомъ изъ розовыхъ лентъ. Ее приставили было въ помощь Вѣрѣ Артамоновѣ къ Шушкѣ, но скоро отъ этой должности отстранили: замѣтили, что, укладывая спать неугомоннаго ребенка, она, чтобы унять его, щипала его, била и угрожала, что если онъ пикнетъ,

---

\*) Марія Ивановна Юдина была изъ Польши, знала грамотѣ по-польски и по-русски. Она служила нѣсколько лѣтъ у Петра Алексѣевича Яковлева въ Кременчугѣ, ходила за нимъ во время его богузни въ Тверь, на ея рукахъ онъ кончилъ жизнь. По смерти его она поступила въ домъ Ивана Алексѣевича нянею къ Сашѣ. Спусти нѣсколько лѣтъ оставила ихъ домъ, долго ходила по богомольямъ въ черной одеждѣ и кончила жизнь въ монастырѣ.



то она приколотитъ его еще больнѣе этого,—ребенокъ плакалъ втихомолку и засыпалъ.

Луизѣ Ивановнѣ служила молоденькая дѣвушка, Марина, переименованная въ Маріанну. Комнаты на ея половинѣ убирались тремя дочерьми повара Софони-ча \*), ими же исполнялись разныя черныя работы въ домѣ. М-ше Прово\*\*) занимала мѣсто при Сашѣ женскаго мепіп. Должность ея была въ томъ, чтобы говорить съ нимъ по-нѣмецки, учить читать и водить гулять.

Мужская прислуга состояла изъ камердинера Ивана Алексѣевича—Никиты Андреевича, низенькаго, плѣшиваго, раздражительнаго и сердитаго. Онъ помѣщался въ комнатѣ подлѣ бариновой спальни, читалъ «Московскія Вѣдомости», трессировалъ волосы для париковъ и неистово нюхалъ табакъ. Иванъ Алексѣевичъ постоянно дѣлалъ ему поученія, но такъ какъ этотъ человѣкъ былъ ему необходимъ, то сносилъ отъ него иногда самыя грубыя отвѣты и дерзкія выходки. Бакай \*\*\*) занималъ должность выѣздного слуги при Луизѣ Ивановнѣ и исполнялъ съ той же торжественною важностью, какъ и при бабушкѣ моей. Сверхъ того, дрессировалъ кудрявую, съ коричневыми ушами, собаку Берту, а по смерти ея взявъ подъ свое покровительство ньюфаундленскую бѣлую собаку, Макбета. Кромѣ Бакай въ передней находилось человѣка четыре прислуги. Кто убиралъ комнаты, кто вправлялъ свѣчи и смотрѣлъ за печами, кто обязанъ былъ грѣть передъ печкой газеты, прежде нежели подавали ихъ барину. «Ни сенаторъ, ни Иванъ Алексѣевичъ особенно не тѣснили дворовыхъ, т.-е. не тѣснили физически. Сенаторъ былъ вспыльчивъ, нетерпѣливъ и поэтому нерѣдко несправедливъ, но онъ такъ мало имѣлъ съ ними соприкосновенія и такъ мало ими занимался, что они почти не знали другъ друга. Иванъ Алексѣевичъ докучалъ имъ капризами, не пропускалъ ни взгляда, ни слова, ни движенія и безпрестанно шпынялъ и училъ, что для русскаго человѣка хуже всякихъ побоевъ». Содержали прислугу довольно хорошо, дѣломъ

---

\*) Семейство Софони-ча досталось по наслѣдству послѣ Петра Алексѣевича.

\*\*) Жена француза садовника, жившаго въ Новосельѣ.

\*\*\*) Изъ Новоселья.

не обременяли. У каждого и каждой была своя обязанность, очень легкая, но Иванъ Алексѣевичъ умѣлъ сдѣлать ее временами тяжелѣе тяжелой. Тѣлесныя наказанія были почти неизвѣстны. Два—три случая, въ которые прибѣгли къ посредству частнаго дома, были до того необыкновенны, что объ нихъ вся дворня говорила цѣлые мѣсяцы; сверхъ того они были вызываемы значительными проступками. Чаще отдавали дворовыхъ въ солдаты; наказаніе это приводило въ ужасъ всѣхъ молодыхъ людей; лучше хотѣли остаться крѣпостными, нежели идти въ солдаты.

Сашу сцены эти поражали глубоко. Онъ отдавалъ несчастному все, чѣмъ только могъ распорядиться.

---

## ГЛАВА V

### К о р ч е в а.

1816 — 1818.

О, колыбель моихъ  
Первоначальныхъ лѣтъ!

Поздней осенью переѣхали мы изъ Карповки въ Корчеву. Въ то время это былъ небольшой городокъ, чуть не деревня, на берегу Волги, въ сосновомъ лѣсу. Его двѣ улицы съ набережной пересѣкались переулками и были застроены деревянными домиками. Широкая площадь, поросшая травой и цвѣтами, по которой мирно паслись гуси, иногда корова, свинья съ поросятами, простиралась до Волги. На площади стоялъ (и теперь стоитъ) каменный соборъ довольно красивой архитектуры и тянулись ряды низенькихъ деревянныхъ лавокъ съ незатѣйливыми товарами. Съ одной стороны Корчевы течетъ рѣчка, впадающая въ Волгу. Лѣтомъ на этой рѣчкѣ всегда можно было видѣть ребятишекъ, бродящихъ по поясъ въ водѣ, или играющихъ на берегу въ бабки и въ камушки, а зимой катающихся по льду. Большой паромъ по Волгѣ соединялъ городъ съ противоположнымъ берегомъ—низкимъ и пустыннымъ. Тамъ, близъ

рѣки, стояла сторожка, а въ сторонѣ—деревня Машковичи. Пока мы жили въ Карповкѣ, батюшка выстроилъ въ Корчевѣ домъ, отличавшійся отъ прочихъ домовъ величиной и красотой. Онъ стоялъ на углу средней улицы, занимая съ надворными строеніями третью часть вдоль улицы и весь кварталъ по переулку. Новый домъ соединялся съ флигелемъ галлереей, одна стѣна которой была изъ стеколъ въ переплетахъ, какъ въ оранжереяхъ. Вся эта перспектива заканчивалась террасою въ садъ, съ березовыми аллеями, куртинами, лужайками, душистыми кустарниками. За садомъ шелъ огородъ, отдѣлявшійся отъ огорода корчевскаго протоіерея, отца Іоанна, ивовымъ плетнемъ; огородъ отца Іоанна отдѣлялся такимъ же плетнемъ отъ огорода тетюшки Лизаветы Петровны, за которымъ виднѣлись гряды огурцовъ и капусты мѣщанина Морковкина, а за ними рядъ пестрыхъ огородовъ. Широкий дворъ оканчивался надворными строеніями, колодцемъ и кухней съ людскими.

Въ новомъ домѣ было до пятнадцати комнатъ, большихъ, просторныхъ; но такъ какъ многія изъ нихъ были еще не отдѣланы, то меня и брата съ няньками и подняньками помѣстили во флигелѣ, тамъ я устроилась съ моими игрушками въ бывшемъ кабинетѣ моего отца, подлѣ итальянскаго окна; передъ нимъ росли двѣ развѣсистыя березы и густой кустъ шиповника, перепутанный съ малиной; лѣтомъ около этого куста летала пропась пчелъ и бабочекъ.

Когда мы пріѣхали изъ Карповки, дорожки сада были усыпаны опавшими листьями; легкій снѣжокъ то выпадалъ, то таялъ; сороки прыгали по сырой землѣ, трещали обломленными прутьями; синицы стадами опускались на мелкій снѣжокъ и клевали его. Мнѣ принесли пару синицъ въ клѣткѣ, но онѣ такъ злобно щипались, когда трогали клѣтку, что я отъ нихъ отказалась. Я тосковала по деревнѣ; чтобы развлечь меня, подарили мнѣ большой деревянный домикъ, съ окнами въ переплетахъ, съ широкой дверью на петляхъ; крыша съ трубами двумя скатами спускалась по обѣ стороны. Въ домикѣ сидѣла маленькая желтая собачка, Валька, тихая, ласковая. Я ее полюбила, играла съ ней и кормила по нѣскольку разъ въ день. Валька утѣшала меня не

долго; она заболѣла, перестала ѣсть и не выѣзжала изъ домика. Я такъ плакала, глядя на Вальку, что ее унесли, когда меня не было въ дѣтской, и я ее больше не видала. Собачку въ домикъ замѣнили куклой и положили туда вмѣсто печки изразецъ съ пустотою внутри, чтобы кукла не озябла. Мнѣ захотѣлось печку вытопить—это строго запретили; несмотря на запрещеніе, мысль протопить печку меня не покидала. Однажды вечеромъ, улучивши минуту, когда въ комнатѣ никого не было, я наложила въ изразецъ лучинокъ и бумаги, зажгла на свѣчкѣ лучинку и затопила печку. Къ ужасу моему, дымъ пошелъ не въ трубу, какъ я предполагала, а повалилъ въ окна и дверь—и показался огонь. Я схватила лежавшій на стулѣ платокъ и накинула его на пылавшій домикъ, платокъ вспыхнулъ, я закричала; на крикъ мой вбѣжала Петровна—ахнула, и ведромъ воды залила пожаръ, но не залила своего гнѣва.

— Такія-то ты шутки выкидываешь,—напустилась она на меня:—неслухъ своеобычный, домъ чуть не спалила, ничто тебѣ, что часто за уши дерутъ, попробуй хорониться ко мнѣ подъ кровать, руками выдамъ, будетъ тебѣ дѣрка.

Я знала, что ничего этого не будетъ, и радовалась, что пожаръ затушенъ. Домикъ пострадалъ немного. Старушка втихомолку отдала его въ столярную и онъ пошелъ заново.

Игрушки занимали меня не долго, я любила больше игрушекъ перечитывать свое «Золотое зеркало», пересматривать картинки и слушать сказки. Сказки у насъ отлично рассказывалъ двѣнадцатилѣтній дворовый мальчикъ Володька и четырнадцатилѣтняя дѣвочка Сонька, купленная у сосѣдей Карабановыхъ изъ-за Волги. Долгими зимними вечерами мы съ братомъ, умѣстившись въ глубокихъ сафьянныхъ креслахъ подлѣ столика, часто слушали, какъ Володька и Сонька, сидя у нашихъ ногъ на скамеечкахъ, поочередно говорили сказки такъ живо, что, казалось, передо мной по щучьему велѣнію ведра идутъ съ водой на гору, дуракъ завязываетъ тряпичей лобъ, на которомъ горитъ звѣзда, влѣпленная поцѣлуемъ царевны, баба-яга ѣдетъ въ ступѣ, избушка вертится на курьихъ ножкахъ, жаръ-птица крадетъ золотыя яблоки. Цари, лисицы, волки крыла-

тые, богатыри, разбойники, хрустальные дворцы—проходили передъ моимъ воображеніемъ, какъ живые, и долго держали меня въ волшебномъ мѣрѣ сказокъ.

Володька былъ человѣкъ съ многосторонними талантами. Кромѣ сказокъ, онъ бойко катался колесомъ, подолгу стоялъ вверхъ ногами и даже могъ пройти на рукахъ довольно далеко; клеилъ отличныхъ змѣевъ съ трещоткой подъ длиннѣйшимъ мочальнымъ хвостомъ. Съ какимъ наслажденіемъ, бывало, спускала я этихъ змѣевъ во дворѣ, въ полѣ, на берегу Волги. Бѣжишь противъ вѣтра, только сердце замираетъ, да молишь Бога, чтобы змѣй поднялся подъ небеса, и, распуская понемногу клубокъ толстыхъ нитокъ, ничего не видишь, кромѣ змѣя, а змѣй, величественно размахивая хвостомъ, поднимается все выше, выше, какъ темная точка, становится въ высотѣ и держится тамъ, едва колеблясь; въ восторгѣ, не спуская глазъ съ этой точки, только снарапливаешь, да подергиваешь нитку, чтобы змѣй держался подъ облаками, да, сорвавшись, не залетѣлъ за тридевять земель, въ тридесятое царство.

Пока не наступила зима, матушка вздумала посѣтить свою свекровь, тогда жившую еще въ Шаблыкинѣ. Мы поѣхали на своихъ лошадахъ въ коляскѣ, съ горничной Аннушкой и старымъ дворецкимъ Кондратьемъ Ермолаевымъ. Подъ Корчевой переплыли Волгу на паромѣ и по обнаженнымъ полямъ и лѣсамъ, подъ сѣрымъ небомъ, грозившимъ дождемъ и снѣгомъ, добрались до рѣки Медвѣдицы. У берега качался небольшой плотъ, привязанный толстымъ канатомъ къ двумъ врытымъ въ землю столбамъ. Мы вышли изъ коляски и по перекинутой съ берега доскѣ перешли на плотъ. Дулъ холодный вѣтеръ, рѣка волновалась, плотъ покачивался. Два перевозчика отвязали его и, засучивъ рукава, стали тянуть къ себѣ канатъ, укрѣпленный также и на противоположномъ берегу. Плотъ поплылъ. Черезъ нѣсколько минутъ мы сошли на берегъ. Такъ же благополучно переправлена была и коляска. Къ вечеру пошелъ дождь, дорога сдѣлалась грязна, ночевали мы въ селѣ Ильинскомъ, попали на посидѣлки. Толпа крестьянскихъ дѣвушекъ въ нарядныхъ сарафанахъ и повязкахъ съ поднизями сидѣли кругомъ стѣнъ на лавкахъ, пряли и пѣли пѣсни. Избу освѣщала лучина, ущемленная въ желѣзную

расщепленную пластинку, вдѣланную въ деревянную палку съ подножкой. Лучина, догорая, перегибалась и, дымясь, падала въ подставленную плошку съ водою, новая съ трескомъ ярко вспыхивала. Хозяйка въ растопленной печи готовила ужинъ. Утомленная дорогой, убаюканная пѣснями, согрѣтая теплотою печи и горѣвшей лучины, я заснула на лавкѣ и пробудилась только утромъ, когда Аннушка стала укладывать меня на подушки въ коляску. Утро было ясное и холодное. Съ правой стороны экипажа, какъ зеркало, свѣтилось широкое озеро.

Это было мое первое дальнее путешествіе.

Къ вечеру мы прибыли въ Шаблыкино. Въ залѣ насъ встрѣтила сестра моего отца, Прасковья Ивановна. Бабушка была уже въ постели. Когда матушка, пообогрѣвшись, пошла къ ней, то приказала мнѣ по комнатамъ не бѣгать, громко не говорить, а сидѣть смирно на одномъ мѣстѣ. Я оробѣла и тихонько усѣлась въ залѣ на стулъ. Спустя полчаса пришла моя мать, повела меня за руку къ бабушкѣ, по пути сказала, чтобы я поцѣловала у нея ручку и не плакала.

Меня приподняли къ бабушкѣ на кровать.

— Ни на кого изъ васъ не похожа, — сказала она, разсматривая меня.

— Имѣетъ сходство съ вами, — замѣтила тетушка почтительно. Бабушка отрицательно покачала головой. Я едва удерживалась отъ слезъ. Она замѣтила это и обращаясь къ матушкѣ моей, сказала:

— Наташа, никакъ она у тебя плакса, сбивается ревѣть.

Мѣра терпѣнья моего лопнула—я заревѣла.

— Несите ее вонъ, — приказала бабушка: — пускай реветъ сколько хочетъ въ диванной.

Диванную предоставили въ наше распоряженіе. Тамъ меня напоили чаемъ съ кашинскими бесѣдками \*) и уложили въ пуховики. Я не слыхала, какъ пришла матушка, и проснулась, когда она еще спала.

Сквозъ щели въ ставняхъ протянулись свѣтло-пыльной полосой солнечные лучи.

Я замѣтила, что въ этихъ полосахъ всѣ пылинки дви

---

\*) Мѣстное печенье изъ тѣста.

гаются, а на полъ не падаютъ, и заготовила вопросъ: «отчего?» Потомъ стала разсматривать горку съ саксонскими фарфоровыми куколками, диванъ и кресла, окрашенные въ бѣлую краску съ золочеными узорами на спинкахъ и ручкахъ, обитые зеленымъ штофомъ.

Какъ только матушка проснулась, я тотчасъ задала ей вопросъ о пылинкахъ. Она велѣла мнѣ о пылинкахъ не заботиться, а думать о томъ, какъ бы бабушкѣ угодить и не ревѣть при ней. «Бабушка ребячьяго крика терпѣть не можетъ,—говорила она Аянушкѣ, умывая и одѣвая меня:—дѣти ей надоѣдаютъ». Бабушка была въ этотъ день ко мнѣ ласковѣе. Но, несмотря на ласки и угощеніе, строгая система всего дома, барственная важность бабушки, окружавшая ее, рабская почтительность и всеобщая стѣсненность, безотчетно мною чувствовались; мнѣ было вольнѣе въ комнатѣ у слѣплого дѣда. Сверхъ всего мнѣ казалось, что насъ не такъ любить, какъ надобно, и иногда замѣчала, что у матери моей заплаканы глаза.

Обратный путь нашъ совершился тѣмъ же порядкомъ, но погода была еще хуже и поѣздка мучительнѣе.

У насъ мы нашли пріѣзжаго гостя изъ арміи, — двоюроднаго брата моего отца, Осипа Алексѣевича Кучина, — молодого, веселаго, прекраснаго собой. Онъ былъ раненъ, взялъ отпускъ лѣчиться и поселился у насъ до выздоровленія. Его рассказы о пожарѣ Москвы, Смоленска, о сраженіяхъ подъ Бородинымъ, Тарутиномъ, Краснымъ, о переходѣ черезъ Березину и бѣгствѣ Наполеона съ арміей, а затѣмъ блестящіе герои, восторженный патріотизмъ, таинственная комета съ хвостомъ въ полнеба — все это сдѣлалось моимъ вторымъ волшебнымъ міромъ.

Масса плохо гравированныхъ, раскрашенныхъ картинъ съ изображеніями сраженій и портретами отличившихся воиновъ ярко отпечатлѣли этотъ періодъ времени въ моей памяти, а подаренная мнѣ дядей коллекція карикатуръ на французовъ дала мнѣ о нихъ понятіе, какъ о самомъ ничтожномъ народѣ. Эти картины расходились въ огромномъ количествѣ, покупались народомъ на послѣднія копейки, возбуждали чувство народной гордости и увѣренность въ своихъ силахъ и возможности.

Катерина Петровна, рассматривая вмѣстѣ со мною картинки, поселяла во мнѣ не только что о французѣхъ и ихъ императорѣ, но и вообще о европейскихъ народахъ и государяхъ еще болѣе ничтожное представление.

— Какіе это короли, — говорила она тономъ пренебреженія: — это не короли, а королишки, у нихъ, чай, и чайнички-то все съ отбитыми носиками.

Вышедшая тогда пѣсня:

За горами, за долами,  
Бонапарте съ плясунами  
Вадумалъ вровень стать.

пѣлась и въ гостиныхъ, и въ переднихъ, игралась на фортепіано, на гитарѣ и на балалайкѣ. Я съ ребяческимъ увлеченіемъ пѣвала:

Бонапарту не до пляски,  
Растерялъ свои подвязки,

и думала съ удовольствіемъ, достанется же ему за это, помни, какъ меня наказывали, когда я теряла свои подвязки. И вмѣстѣ съ Катериной Петровной радовалась, когда услышала, что Бонапарта поймали и засадили на островъ.

Но, не взирая на жаркій патріотизмъ и неприязнь къ иностранцамъ вообще, я съ невольнымъ чувствомъ жалости смотрѣла на изображенія несчастныхъ, оборванныхъ плѣнныхъ, несмотря на то, что Катерина Петровна говорила: «по дѣламъ вору и мука», и чувство это высказалось при первомъ представившемся случаѣ.

Однажды у насъ подъ открытымъ окномъ залы оставилась небольшая партія плѣнныхъ швейцарцевъ. Я была въ залѣ одна и играла у окна. На столѣ лежали салфетки и серебро, приготовленные къ обѣду. Молодой человѣкъ съ кроткимъ, унылымъ лицомъ въ оборванной одеждѣ, стоя у самаго окна, съ умоляющимъ взоромъ сталъ говорить мнѣ что-то по-французски. Я не поняла словъ, но поняла выражавшееся въ его лицѣ горе, нужду, просьбу. Въ сильномъ волненіи я схватила со стола серебро, завернула въ салфетку, притащила къ окну и бросила плѣнному. Въ эту минуту вошла матушка; не видя на столѣ серебра, спросила, гдѣ оно и о чемъ я плачу. Я молчала, продолжая плакать. Плѣнный, увидавши серебро, передалъ его въ окно



матушкѣ, объясняя, что принялъ свертокъ отъ ребенка, не зная, что тамъ было. Матушка взяла серебро, долго разговаривала съ плѣнными, выслала имъ кушанья, хлѣба, вина, бѣлья. Сколько взоровъ и слезъ благодарности видѣла я, сколько горя и страданій угадало мое дѣтское сердце. Положивши руки на подоконникъ, я склонила на нихъ голову, чтобы не видали слезъ моихъ, и украдкой взглядывала, что дѣлается. Уходя, плѣнные горячо благодарили мать мою. Мой молодой знакомецъ, улыбаясь, ласково протянулъ мнѣ руку, я схватила ее и поцѣловала.

Когда плѣнные ушли, за мои подвиги меня выдрали за уши и выптали изъ залы. Всего же обиднѣе мнѣ было то, что Катерина Петровна долго попрекала меня тѣмъ, что я врагу отечества руку поцѣловала.

— Ну, какъ тебѣ не стыдно,—говорила она:— вѣдь онъ врагъ твой, ручищей-то этой, чай, что русскихъ побить, а ты цѣлуешь, и еще говоришь: «я русская», радуешься, что Бонапартъ подвязки растерялъ; какая же ты, выходишь, русская-то, и серебро-было упрятала французу. Ты просто сорви-голова.

Этими попреками я огорчалась до крайности. Въ головѣ моей все перепутывалось.

Къ счастью, дядя Осипъ Алексѣевичъ подарилъ мнѣ ящикъ дорогихъ красокъ, съ блюдечками, кисточками, карандашами, да нѣсколько книжекъ «Дѣтскаго чтенія»—Кампе и «Робинзона Крузо». Это отвлекло меня отъ патріотизма. Я зачитывалась цѣлые часы, перечитывала то, что больше нравилось, выучивала наизусть, а красками усердно малевала картинки въ моихъ книгахъ.

По случаю еще неотдѣланныхъ комнатъ, многочисленныхъ приѣмовъ и угощеній, что отецъ мой чрезвычайно любилъ, дѣлать у насъ не могли въ эту зиму и ограничивались домашнимъ устройствомъ и домашними увеселеніями.

Образъ жизни отца моего отчасти можно назвать образцомъ жизни помѣщиковъ средней руки того времени. У него было около двухсотъ душъ крестьянъ, въ двухъ деревняхъ: Карповкѣ и Тихомировкѣ. Последняя населена была карелами, большая часть прислуги нашей была изъ кареловъ. Я ясно помню, какъ

изъ Тихомировки привезли мальчиковъ и дѣвочекъ для выбора изъ нихъ прислуги и обученія разнымъ мастерствамъ, помню ихъ бѣдную одежду, встревоженные лица матерей, страхъ ожиданья, пока шелъ выборъ. Забракованные въ радостномъ изступленіи выбѣгали вонъ. Избранные, глотая горькія слезы, одни бодрились, другіе стояли, понутивъ головы; «что смотришь волкомъ-то?»—говорили имъ нѣкоторые изъ присутствовавшихъ при наборѣ домашнихъ служителей.—Смотри на господъ весело», при этомъ рукой приподнимали подъ подбородокъ склоненную страхомъ и горемъ голову. Самые красивые и даровитые оставлялись при домѣ, прочіе шли въ разные ученья. Такимъ образомъ, въ три или четыре года у насъ въ числѣ дворовыхъ оказались свои столяры, маляры, сапожники, башмачники, слесари, шорники и проч. Два сына нашего управляющаго Агея Трофимовича обучены были—старшій—поваренному искусству въ англійскомъ клубѣ, у знаменитаго тогда повара Яковлевыхъ — Алексѣя, меньшой, Ѳеодоръ Агеевичъ—кондитерскому. Стройная карелка Уляша отдана была къ цыганамъ учиться плясать. Дорого купленный за великолѣпный голосъ шестнадцатилѣтній мальчикъ Иванъ Пѣтуховъ учился пѣть у Бошарова. Молодую домашнюю прислугу родители мои сами обучили танцовать. Изъ имѣвшихъ хорошіе голоса отецъ мой, страстно любившій пѣніе и музыку, самъ сладилъ хоръ пѣвчихъ. Одинъ изъ даровитыхъ мальчиковъ выученъ былъ играть на балалайкѣ какимъ-то извѣстнымъ музыкантомъ, дававшимъ въ Москвѣ концерты на этомъ національномъ инструментѣ.

Такимъ образомъ была возможность, какъ только вздумается сдѣлать танцевальный вечеръ, слушать пѣвчихъ, любоваться пляской. Самъ батюшка игралъ на гитарѣ и пріятно пѣлъ. Гитарой онъ давалъ знакъ хору, какую пѣть пѣсню, тотчасъ раздавался одинокій голосъ, хоръ подхватывалъ, голоса заступали другъ другу, сливались, выносили, отрывали,—и когда умолкали, минуты двѣ дребезжали струнные звуки балалайки съ прищелкиваніемъ, съ переборами, и снова раздавался одинокій голосъ, и хоръ съ силой и увлеченіемъ подхватывалъ—и отецъ мой былъ весь упоенье, весь то же чувство, что и хоръ, и мою ребяческую душу эти пѣсни уносили

въ безотчетный, но близкій мнѣ, родной мнѣ міръ. Сумерками батюшка любилъ слушать Ивана Пѣтухова; онъ приказывалъ ему стать за дверью своего кабинета, самъ садился на широкій турецкій диванъ и весь превращался въ ожиданіе и слухъ. Мы сидѣли, не смѣя шевельнуться, притаивъ дыханіе. Какъ только, какъ бы изъ дальняго далека, долетали первые звуки чистаго, нѣжнаго голоса, лицо отца моего озарялось умиленіемъ, и чѣмъ дальше лилась его любимая пѣсня «Среди долины ровныя» или «Не одна-то въ полѣ дороженька пролегалa», тѣмъ умиленнѣе, тѣмъ грустнѣе становилось лицо его, и нерѣдко по нему катились хорошія слезы.

Какъ же это, скажите, бывало возможно, что иногда послѣ такихъ минутъ спокойно отдавался приказъ отдрать кого-нибудь на конюшнѣ, или при появленіи гостя-помѣщика въ дыму трубокъ шелъ громкій, шумный, хвастливый разговоръ о лошадяхъ, собакахъ и городскихъ сплетняхъ!—да, такъ бывало. Бывало, драли и пѣвца. Почти такую же форму жизни я нашла въ родительскомъ домѣ и въ моей юности.

Прислугу у насъ содержали и одѣвали хорошо, обращались съ нею ласково или, лучше сказать, милостиво, но при малѣйшемъ опущеніи обязанности, за косою взглядъ, за неумѣстное возраженіе, отецъ мой, несмотря на врожденную доброту, бывалъ безпощаденъ. При этомъ невольно приходитъ на мысль, какъ при произволѣ самая доброта не надежна. Нерѣдко бывало, что подъ вліяніемъ дурного расположенія духа, прихоти, даже каприза творилось то, о чемъ послѣ сожалѣли, старались поправить, но поправить не всегда удавалось.

Отецъ мой былъ человѣкъ хорошій и не безъ способностей, но все это нерѣдко потемнялось отъ безотчетности нравственныхъ понятій. Случалось, что одинъ и тотъ же поступокъ онъ объяснялъ различнымъ образомъ, смотря по тому, какъ ему было выгодно, лишь бы общественное мнѣніе стояло за него. Глубоко подумать о правилахъ жизни онъ былъ не подготовленъ ни воспитаніемъ, ни окружавшей его сферою. Сверхъ всего у него не было для этого ни охоты, ни досуга. Онъ всегда былъ чѣмъ-нибудь увлеченъ, что-нибудь предпринималъ, устраивалъ, куда-нибудь ѣхалъ. Семейной

жизнью скучалъ, любилъ общество, велъ большую игру и нерѣдко на мѣсяцы уѣзжалъ то въ столицы, то на большія ярмарки, съ которыхъ привозилъ одновременно: ковры, хрусталь, фарфоръ, громаднхъ рыбъ, женѣ шляпку, кучеру кушакъ, золотую табакерку съ музыкой, духи, икру и проч. Съ возвращеніемъ его, домъ нашъ, безъ него тихій, безмолвный, оживлялся и становился шумень; слуги бѣгали, суетились, гости толпились съ утра до вечера. Всѣ знакомые отца моего находили, что ни съ кѣмъ нельзя такъ прекрасно провести время, какъ съ нимъ и у него. Отецъ былъ очень привѣтливъ и краснорѣчивъ. Любилъ очаровывать любезностью, остроуміемъ, дивить блескомъ дома, прислугой, конскимъ заводомъ, борзой собакой, гостепріимствомъ. Онъ былъ бы счастливъ, если бы могъ посадить за свой столъ разомъ всю губернію и угостить пѣсенниками и танцовщиками такъ же, какъ ухой изъ волжскихъ стерлядей съ налимьими печонками, фисташковымъ мороженымъ—трудовъ Ѳедора Агеева, шампанскимъ и кормлеными индѣйками. Разговоры вертѣлись больше на мѣстныхъ интересахъ и забавныхъ анекдотахъ. Политическія свѣдѣнія почерпались изъ «Московскихъ Вѣдомостей», наукъ не касались, считали ихъ дѣломъ профессоровъ, не имѣющими близкой связи съ жизнью общества, и относились къ нимъ съ своего рода ироніей. Кромѣ газетъ читались только романы; ихъ покупали почти что на пуды у купцовъ, пріѣзжавшихъ съ товарами.

Мать мою отецъ любилъ и ревновалъ чуть не къ стѣнамъ. Относительно же себя смотрѣлъ очень легко на супружескія обязанности и нарушеніе вѣрности не только что не считалъ порокомъ для себя, но даже не находилъ необходимости слишкомъ строго скрывать свои измѣны.

Мать моя, юная, нѣжная, пылкая, до крайности добрая и симпатичная, но не подготовленная къ жизни практической, не достигшая еще до того нравственнаго развитія, которое даетъ силу въ самомъ себѣ и сдерживаетъ въ извѣстныхъ границахъ насъ окружающихъ, падала духомъ подъ семейными огорченіями, терялась, раздражалась и, не находя дома душевнаго отдыха, нерѣдко искала развлечения въ провинціальномъ обще-

ствѣ, а зимами, мѣсяца на два и долѣе, уѣзжала въ Москву къ княгинѣ Хованской и Голохвастовымъ, гдѣ старшіе ее чрезвычайно любили, а съ молодыми она была дружна и въ постоянной перепискѣ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ условій, на наше воспитаніе не было и не могло быть обращено должное вниманіе. Отецъ же, рѣдко появляясь дома, былъ съ нами ласковъ, но въ жизнь нашу не вмѣшивался. Можно сказать, мы съ братомъ росли предоставленные на волю Божію и частью Катерины Петровны.

Пожалуй, при такихъ условіяхъ вмѣшательство родителей въ наше воспитаніе было бы вреднѣе недостатка участія.

Люди, не подготовленные къ великой отвѣтственности воспитанія, не зная условій организма, не зная природы душевныхъ движеній, ихъ развитія и проявленія, не могутъ знать, гдѣ кончается польза и гдѣ начинается вредъ.

Противодѣйствуя часто нормальному проявленію жизни—они мѣшаютъ счастью ребенка и портятъ свой и его характеръ.

Съ наступленіемъ весны мы опять поѣхали въ Карповку. Какъ я обрадовалась деревнѣ, бору, ручью съ развалинами плотины, клѣткѣ съ перепеломъ, своему окну, изъ котораго видѣлась зеленая озянь, бѣлкамъ, зайцамъ. Какъ радостно взобралась на свой столъ, услышала утромъ жаворонка, вечеромъ—перепеловъ. Я помѣстила у себя на столѣ и краски, и Робинзона, и Дѣтское чтеніе—и ко всему относилась сочувственнѣе и отчетливѣе прежняго. Это была наша послѣдняя поѣздка въ Карповку, вскорѣ батюшка ее продалъ.

Въ Корчевѣ насъ помѣстили уже въ домѣ. Тамъ случайно мы сдѣлались частыми свидѣтелями бильярдной игры. Въ нашей дѣтской, смежной съ бильярдной, надъ лежанкой, было небольшое, круглое отверстіе, заткнутое свернутымъ лоскуткомъ холста. Какъ только мы слышали, что въ бильярдной гости и начинается игра, то поочередно становились на лежанку, вынимали затычку и любовались на посѣтителей, на лампы, на шары, кін, игру. Отецъ считался первымъ игрокомъ на бильярдѣ. Онъ чисто, отчетливо дѣлалъ шары въ лузы, ловко ходилъ съ кіемъ вокругъ бильярда, иногда игралъ, поло-

живши на лобъ серебряный рубль, кончалъ партію съ трехъ или четырехъ ударовъ. Въ восторгѣ мы прыгали на лежанкѣ.

Кромѣ бильярда, при отцѣ у насъ иногда шла довольно большаѣ игра въ карты.

Когда готовилась игра, двери на внутреннюю половину дома запирались, въ залѣ, гостиной и кабинетѣ раскладывались столы, и игра шла цѣлую ночь.

Утромъ, когда всѣ еще спали, мы съ братомъ отправлялись подбирать карты, для постройки домиковъ; онѣ грудями валялись по полу, по раскинутымъ столамъ, вмѣстѣ съ мѣлками, щеточками, пустыми и недопитыми стаканами чаю, съ мебелью въ безпорядкѣ.

Всѣ эти картины возбудили въ моемъ братѣ страсть къ игрѣ, а во мнѣ глубокое отвращеніе ко всякаго рода играмъ, къ проигрышамъ и выигрышамъ.

Въ эту зиму стали толковать, куда бы лучше помѣстить меня: въ институтъ или въ Смольный монастырь. Тетюшка Елизавета Петровна предложила подготовить меня къ общественному заведенію, и я стала каждый день ходить къ ней учиться. Ея образъ жизни, спокойный, разсудительный характеръ, уроки, которые она умѣла сдѣлать занимательными, все это имѣло на меня самое благотворное вліяніе. Утрами мы занимались, а послѣ обѣда, когда тетюшка отдыхала, я смирно сидѣла въ гостиной, перебирала мелочь въ ея рабочихъ ящичкахъ, пересматривала и читала книги, всегда лежавшія въ углу гостиной на мраморномъ столикѣ.

Страсть къ чтенію росла у меня съ каждымъ днемъ; какую бы книгу я ни увидала, она тотчасъ была у меня въ рукахъ. Разъ я взяла у матери съ комода «Мои бездѣлки и Аониды» Карамзина; прочитала всѣ стихи; «Прекрасную царевну и счастливаго Карла»; «Наталью, боярскую дочь»; «Бѣдную Лизу». Когда же Лиза бросилась въ прудъ, я легла ничкомъ на диванъ и разрыдалась. Матюшка отняла у меня книгу, и чтобы успокоить чувства, заставила вязать чулокъ, по урокамъ, отмѣривая саженьями нитки.

Отецъ Іоаннъ приглашенъ былъ давать мнѣ уроки чистописанія, священной исторіи и арифметики. Надъ страданіями и смертью Іисуса Христа я заливалась слезами. Таблица умноженія поражала правильностью вы-

водовъ. Любознательность все больше и больше пробуждалась, и вопросы одни за другими возникали и тѣснились въ душѣ. Я стала приставать съ ними то къ тому, то къ другому, но рѣдко получала удовлетворительные отвѣты. Должно-быть, не знали, что отвѣтить, и поэтому отдѣлывались или поговоркой «много будешь знать—скоро состаришься», или «учись, сама все узнаешь». А мнѣ хотѣлось знать сейчасъ же: «что такое небо, кто на немъ живетъ, откуда приходятъ мѣсяцъ и солнце и куда уходятъ; что такое звѣзды; отчего дождь, отчего снѣгъ, какъ трава растетъ». Не получая отвѣта отъ старшихъ, за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ я обращалась къ Катеринѣ Петровнѣ, она не озадачивалась ничѣмъ. «На небесахъ,—говорила она:—живетъ Господь Богъ со святыми, съ ангелами и херувимами; что же они тамъ дѣлаютъ—намъ почему знать, на небо никто не лазилъ; а откуда все берется, куда дѣвается, на это власть Господня; если такъ есть, стало-быть, такъ и надобно,—и что это тебѣ за охота, добавляла она, дознаваться, что, да зачѣмъ, куда, да откуда? Знала бы свое дѣтское дѣло». Объяснивши такъ, она успокаивалась; но я не успокаивалась и сама себѣ придумывала разгадки.

Помню, какъ иногда въ сумерки садилась я въ саду на ступеньку террасы, не спуская глазъ съ неба, смотрѣла, какъ одна за другою выступали звѣзды, и думала: должно-быть, это окошечки въ домикахъ ангеловъ, и тамъ свѣчки зажигаютъ; вотъ, вотъ откроются окошечки, выглянутъ изъ нихъ хорошенькія дѣти и усмѣхнутся мнѣ, а я имъ улыбнусь, и подолгу ждала свиданья съ небесными младенцами.

На святкахъ и масляницѣ вмѣстѣ съ глубокими снѣгами и трескучими морозами наступало у насъ самое шумное, самое веселое время.

На масляницѣ, послѣ всевозможныхъ блиновъ, отправлялись кататься въ нѣсколькихъ саняхъ, связанныхъ въ длину другъ съ другомъ, запряженныхъ гусемъ. Въ передовыхъ саняхъ садились господа и гости, въ заднихъ—прислуга, въ концѣ поѣзда привязывались сани, въ нихъ сажали любимую шутиху батюшки, шутившую изъ ума, худенькую, небольшую старушку изъ дворянъ, Анну Аванасьевну, давали ей въ руки помело и

съ пѣснями катались по улицамъ, восхищая толпы зрителей. По данному знаку, кучеръ дѣлалъ крутой поворотъ, салазки опрокидывались, Анна Аеанасьевна вылетала на снѣгъ и, не выпуская изъ рукъ помела, пускалась въ догонку поѣзда, которому отдавался приказъ ѣхать рысью и ни въ однѣ сани ее не пускать. Догнавши поѣздъ, она неслась подлѣ него и, равняясь съ санями батюшки, вступала съ нимъ въ перебранку, мѣняясь колкостями и остротами, забавляя себя и его. Затѣмъ роскошный обѣдъ, ледяныя горы, господа спускаются съ горъ въ салазкахъ, прислуга на округленныхъ льдинахъ, при быстромъ спускѣ летять кувыркомъ, смѣхъ, веселье—и такъ до прощальнаго вечера.

На святкахъ устраивались поочередно обѣды, вечера съ танцами, фантами, *petits jeux*, съ маскарадами домашними спектаклями. Самые блестящіе вечера давались у насъ и у нашихъ сосѣдей, помѣщиковъ Рудаковыхъ. Въ день бала гости съѣзжались съ утра, послѣ обѣда переодѣвались въ бальное или маскарадное платье и подъ оркестръ военной музыки танцовали до утра: кадрили, вальсъ, экосезъ, мятелицу, мазурку. На вечеринкахъ играли въ фанты, въ веревочку, кошку съ мышкой. У насъ, иногда среди бала, когда во время отдыха разносили оршадъ, лимонадъ и мороженое, въ залу являлся мальчикъ въ шелковыхъ малиноваго цвѣта шароварахъ, въ голубомъ гроденаплевомъ казакинѣ, перетянутомъ серебрянымъ пояскомъ, и съ перекинутой черезъ плечо бандурой. Поклонившись, онъ сбрасывалъ изъ-за плеча бандуру, и подъ тихіе струнные звуки начиналъ граціозный русскій танецъ, легко выкидывая присядку; кончивши пляску, быстро исчезалъ въ переднюю. Балъ кончался грось-фатеромъ и длиннымъ польскимъ. Пока пары обходили по комнатамъ, въ залѣ накрывали длинный столъ, и подавался ужинъ. Отецъ мой и мать не садились за столъ, а ходили вокругъ, подсаживаясь то къ тому, то къ другому, угощая и занимая разговоромъ.

Настоящее святочное веселье я видала, когда родителей нашихъ не было дома. Только что они съѣзжали со двора, какъ въ дѣвичьей поднимался дымъ коромысломъ. Затягивались подблюдныя пѣсни, хоронили золото, гадали, кто бѣгалъ въ баню и возвращался чуть живъ отъ



страха, кто наводилъ зеркальце на мѣсяцъ и ронялъ его съ испуга на снѣгъ, ждали, что что-то выступить. И вдругъ среди гаданій слышался на снѣгу скрипъ, топотъ, шумъ, голоса, и въ дѣвичью съ холодомъ вваливалась толпа наряженныхъ въ костюмахъ, съ цѣлью не столько нравиться, сколько насмѣшить и напугать до полусмерти. Изображаемыя лица почерпались или въ народной фантазій, гдѣ они живутъ, какъ дѣйствительность, или изъ сказокъ—не заботясь о томъ, бываетъ ли такъ въ самомъ дѣлѣ. Медвѣдь разстилался въ присядку передъ кикиморой въ вывороченномъ тулупѣ съ рогатой кичкой на головѣ; козель усердно выбивалъ мелкую дробь передъ щеголевато выступавшимъ журавлемъ. Домовой, съ бородой по колѣно изъ горсти льна, сѣменилъ ногами передъ бабой-ягой, рѣшительно подѣзжавшей къ нему, съ деревянной ступою въ рукахъ, въ которой бабы толкутъ ленъ. Старики, старухи, кормилицы въ сажень ростомъ и косую въ плечахъ, цыгане, колдуны, шумъ, пѣсни, хохотъ, балалайка, и надъ всей этой пестрой, веселящейся толпой выдвигалась смерть. — Ее представлялъ шесть, обернутый въ бѣлую простыню, который держалъ, чуть не съ шесть ростомъ, напѣ выѣздной лакей Егоръ Степановичъ; на концѣ шеста, натянута была, вмѣсто головы, тыква съ прорѣзанными въ ней дырами, долженствующими изображать ротъ, носъ и глаза, сквозь которыя свѣтились раскаленные уголья. Фигура эта имѣла въ себѣ что-то поражающее, отъ нея всѣ невольно пятились и сторонились. Не зная еще, что такое смерть, увидѣвши въ первый разъ эту фигуру, я въ ужасѣ закричала и нѣсколько дней пролежала въ жару.

На этихъ вечеринкахъ веселились не по приказу—не для другихъ, а каждый для другихъ столько же, сколько и для себя.

Говоря о свѣткахъ—вспомнился мнѣ слышанный мною отъ отца странный случай, бывшій съ его матерью. Однажды пріѣхала она погостить къ моему отцу въ Корчеву, который въ то время занималъ должность исправника. Подъ надзоромъ его содержался подсудимый помѣщикъ, Алексѣй Петровичъ Бемъ, за то, что въ пылу гнѣва засѣкъ до смерти ямщика, который прокатилъ его не такъ бѣшено, какъ ему хотѣлось. Бемъ былъ че-

ловѣкъ молодой, богатый, красивый, довольно образованный, но необузданный удалецъ, какіе нерѣдко встрѣчались въ тѣ времена. Удалство и разгулъ тогда вмѣнялись въ достоинство; шумныя удовольствія, выходки очертя голову считались дѣломъ не только что обыкновеннымъ, но доставляли своего рода славу и давали вѣсь. Этимъ потокомъ удалства и жаждой разгульной славы увлекалось множество молодежи, къ ихъ числу принадлежалъ и Бемъ. Его наслажденіемъ было, одѣвшись ямщикомъ, стоя на телѣгѣ, сломя голову нестись на бѣшеной тройкѣ до тѣхъ поръ, пока она ложилась въ лоскъ.

Отецъ мой не стѣснялъ Бема, даже принималъ у себя въ домѣ. Бабушка это знала и предварительно сказала ему, чтобы разбойникъ, какъ она называла Бема, не показывалъ глазъ, пока она у него гоститъ. Отецъ такъ и распорядился. Когда бабушка собралась уѣзжать, что-то остановило ее. Отдохнувши послѣ обѣда, она вышла въ гостиную, спустя нѣсколько минутъ въ гостиную вошелъ высокій молодой человѣкъ, съ умными черными глазами. Взглянувши на него, бабушка обомлѣла. На святыхъ она гадала о судьбѣ своей любимой дочери Като въ зеркала, наведенныя одно на другое, и ей показался тотъ самый брюнетъ, который вошелъ въ гостиную. Это былъ Бемъ. Онъ слышалъ, что старушка уѣхала, и пришелъ навѣстить отца моего. Смущеніе бабушки онъ отнесъ къ ея предубѣжденію противъ него; не смѣя ни рекомендоваться, ни выйти вонъ, онъ, молча, поклонился, сѣлъ въ кресло, изъ вѣжливости вступилъ въ разговоръ и такъ заинтересовалъ старушку, что когда вошелъ батюшка и, при видѣ Бема растерявшись, отрекомендовалъ его матери, то она, къ изумленію его, отвѣтила довольно привѣтливо. Вечеромъ бабушка сказала отцу моему о своемъ видѣніи въ зеркалѣ и, смѣясь, добавила: «Ну, статочное ли дѣло, чтобы моя Като вышла замужъ за каторжнаго; вѣроятно, его черные глаза ввели меня въ заблужденіе».

Нездоровье удержало бабушку въ Корчевѣ еще недѣли на двѣ; Бемъ продолжалъ бывать, а наканунѣ ихъ отъѣзда Като тайно обвинчалась съ Бемомъ. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ она уѣхала съ нимъ на поселенье въ Сибирь и по прошествіи двухъ лѣтъ возврати-

лась къ матери съ своей приданой горничной Дарьей Трофимовной, беременная и въ злой чахоткѣ. Разрѣшившись, вмѣстѣ съ младенцемъ окончила жизнь.

Въ Сибири Бемъ велъ привычную разгульную жизнь, пьяный билъ, тиранилъ, унижалъ жену и довелъ ее до гроба.

Однажды, когда послѣ праздниковъ мы перешли къ обычному образу жизни, сидѣла я, вечеромъ, на обѣденномъ столѣ въ столовой и разсматривала географическія карточки; на каждой карточкѣ было начерчено какое-нибудь государство и нарисованъ главный городъ его. Мать моя сидѣла подлѣ стола съ работою и говорила мнѣ, что всѣ эти города построены на той же землѣ, на которой стоитъ и наша Корчева.—«А на чемъ стоитъ земля?»—спросила я.—«Земля ни на чемъ не стоитъ,—отвѣчала мнѣ мать:—она круглая, какъ яблоко, и непрерывно летитъ и вертится въ воздушномъ пространствѣ, отъ этого у насъ бываетъ то день, то ночь, то лѣто, то зима»,—и, взявши яблоко, повертывая его передъ свѣчей, старалась пояснить мнѣ движеніе земли вокругъ самой себя и вокругъ солнца.

— Какъ же мы не свалимся съ земли, когда повернемся внизъ головой? —спросила я встревоженнымъ голосомъ. Сколько ни старалась мать объяснить мнѣ, отчего мы не сваливаемся, я ничего не понимала, а все больше и больше приходила въ волненіе. Въ воображеніи моемъ рисовалось мрачное, безконечное пространство, среди него, какъ свѣтлая точка—солнце, передъ этой свѣтлой точкой нашъ земной шаръ, вмѣстѣ съ нами, съ одурѣвающею быстротою вертится и несется безъ остановки, и мы, того и гляди, полетимъ съ него въ бездонную пропасть.

Это представленіе, усиліе понять, отчего мы не слетимъ съ земли, обращаясь головою внизъ, страхъ, чтобы какъ-нибудь не свалиться, до того раздражили меня, что я расплакалась. Мать, глядя на мою тревогу и волненіе, такъ же, какъ и другіе находившіеся тутъ же въ комнатѣ, не могла удержаться отъ смѣха и, успокаивая меня, вмѣстѣ съ тѣмъ хохотала. Это довело меня до изступленія, до болѣзни.

Тяжелы дѣтскія слезы! Дѣтскимъ горемъ шутить опасно.

Когда наступила оттепель, я съ радостнымъ волненіемъ слѣдила за переимѣнами, совершавшимися въ природѣ. Грачи прилетѣли, говорили мнѣ, жаворонковъ видѣли. Солнце свѣтило все ярче и горячѣе въ полдень, съ крышъ текла вода, ледяныя сосульки, пригрѣтыя солнцемъ, ломались и съ трескомъ летѣли внизъ, насть въ саду проваливался, по улицамъ и во дворѣ журчали лужи. Когда на Волгѣ тронулся ледъ, насть, закутавши, взяли посмотрѣть, какъ ледъ идетъ; на берегу стояла толпа народа. Сплошная масса льда съ глухимъ шумомъ, медленно двигалась, лдины, набѣгая другъ на друга, съ трескомъ ломались, дробились и погружались въ воду. Съ рѣки дулъ провзительный вѣтеръ, мы передрогли и насть унесли домой. Я каждый день навѣдывалась, что дѣлается на Волгѣ. Вскорѣ мнѣ донесли, что ледъ валомъ валить, что пронеслись бревна, доски, изломанная лодка, собака желтая лаяла со лдины; спустя немного времени услыхала, что по Волгѣ идетъ сало—затѣмъ Волга разлилась, затопила противоположный берегъ, сторожку и озерникъ. Озерникомъ назывался большой поемный лугъ подъ Корчевой, на которомъ вода, сбывая, удерживалась въ ложбинкахъ, образуя озерки. Отецъ мой каждый годъ снималъ озерникъ отъ города, подъ сѣнокосъ. Погода теплѣла—насть выпустили побѣгать по двору, попускать по лужѣ бумажные кораблики, порвать молоденькой, красноватой травки.

Около Петрова дня озерникъ былъ весь въ цвѣтахъ и трава по поясъ. Начался сѣнокосъ. На озерникѣ раскинули двѣ палатки: одну меблировали для господъ, другую устроили для прислуги и хозяйства. Вся прислуга наша отъ ранняго утра до поздней ночи была на сѣнокосѣ.

Мы также съ утра пріѣзжали на озерникъ и тамъ пили чай. Вблизи рыбаки ловили рыбу, мы покупали у нихъ стерлядей, налимовъ, щукъ—голубое перо. Тутъ же варили уху и обѣдали, а вокругъ насть, подъ сверкающими косами косарей, правильными рядами падала густая, ароматная трава. Мы съ братомъ маленькими граблями ворошили и гребли сѣно вмѣстѣ съ нашими горничными дѣвушками, а больше валялись въ душистыхъ копнахъ. Закатывалось солнце—свѣжѣло, рабо-

талось легче, скошенной травой и цвѣтами пахло сильнее. Въ палаткахъ зажигались свѣчи, кипѣлъ самоваръ—мы пили чай, ужинали, и насъ увозили домой полусонными.

Лѣтомъ родители мои услышали, что помѣщики Рудаковы, жившіе верстахъ въ двѣнадцать отъ Корчевы, въ селѣцѣ Шагаровѣ, взяли къ своимъ дѣтямъ учителя, стараго француза, Оливье. Находясь въ дружескихъ отношеніяхъ съ этимъ семействомъ, они условились, чтобы я жила у нихъ и вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми, больше или меньше подходившими къ моему возрасту, училась у Оливье. Какъ теперь вижу ихъ большой, деревянный домъ на берегу Волги, съ просторными комнатами, чайную съ итальянскимъ окномъ, а надъ ней, въ родѣ антресолей, низенькую комнатку, съ полукруглымъ окномъ до пола, возлѣ котораго я любила, сидя на полу, играть въ куклы съ моей подругой Фанни и ѣсть поджаренныя тыквенныя зерна. Помѣщики Шагарова—типъ старинныхъ, добрыхъ, честныхъ владѣльцевъ, были любимы и уважаемы какъ своими подданными, такъ и всѣми, кто только ихъ зналъ. У нихъ все было просто, все отзывалось довольствомъ и радушіемъ. Многочисленная семья красивыхъ, здоровыхъ дѣтей росла на свободѣ, подъ надзоромъ разумной матери и преданныхъ, простосердечныхъ русскихъ нянекъ. Оливье былъ первый иностранецъ въ ихъ домѣ, и того продержали недолго, мы у него ничему не выучились—должно-быть, онъ и самъ ничего не зналъ. Въ памяти у меня осталось отъ Оливье—его названье, рыжій, щетинистый парикъ и безпрерывная воркотня; зато довольно ясно помню, какъ мы съ няньками гуляли по песчаному берегу Волги, ходили въ лѣсъ за грибами и ягодами, какъ няньки утрами кормили насъ горячими сочными съ свѣжимъ творогомъ, драченами и яичницами; помню, какъ почтенная мать этого семейства, Катерина Калинишна, ласкала меня наравнѣ съ своими дѣтьми.

Осенью помѣстили меня въ другое семейство учиться танцовать. То были люди богатые, изъ аристократіи. Они взяли изъ Москвы танцмейстера къ своимъ четверемъ дочерямъ и къ жившимъ у нихъ тремъ или четверемъ дѣвочкамъ-родственницамъ, учившимся вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми у жившей у нихъ гувернантки. Стро-

гій порядокъ, выдержка дѣтей, постоянно французскій языкъ—навели на меня уныніе. Я робко смотрѣла на все, робко проходила гостиной, гдѣ хозяйка дома, сидя на шелковомъ диванѣ, подобострастно окруженная бѣдными приживалками,—величественно принимала посѣтителей изъ нашего маленькаго городка. Отъ всего вѣяло равнодушіемъ и гнетущими благодѣяніями. Я это безотчетно чувствовала и тосковала, какъ вольная птица въ дорогой клѣткѣ. Каждый вечеръ, подѣ игру двухъ скрипокъ, мы усердно выдѣлывали *chassées en avant* и *chassées en arrière*. Къ торжественнымъ днямъ изъ насъ устраивали балеты.

На Рождество меня взяли домой, да такъ и оставили до пансіона.

Дома я увидала новое лицо: румянаго, веселаго, лысаго старичка,—художника-живописца. Его привезъ откуда-то мой отецъ и съ нимъ много картинъ, писанныхъ масляными красками. Называли его Федоромъ Ивановичемъ. Послѣ живописи, главной заботой Федора Ивановича было сохраненіе и укрѣпленіе здоровья; для этого онъ считалъ первымъ условіемъ веселое расположеніе духа, много движенія и простую, легко перевариваемую пищу. Часто утрами изъ его студіи доносились веселая плясовая пѣсня; какъ только мы съ братомъ это слышали, тотчасъ подкрадывались къ его двери и сквозь скважинку дверного замка любовались, какъ онъ, отодвинувши въ сторону мольбертъ и палитру, пляшетъ среди комнаты, выражая пантомимой содержаніе пѣсни.

За обѣдомъ ему подавали каждый день гречневую кашу и овсяный кисель съ молокомъ. Вечерами онъ просилъ мать мою сыграть на фортепіанѣхъ плясовую, и лишь только раздавалась пѣсня:

«Какъ у нашихъ у воротъ  
Стоялъ дѣвочъ хороводъ»—

старый художникъ, напѣвая подѣ музыку, щеголевато выступалъ на средину комнаты и жестомъ подавалъ мнѣ знакъ къ пляскѣ. Въ ту же минуту, подпершись обѣими руками, я становилась передъ нимъ и, передернувши плечами, начинала выдѣлывать па и фигуры русскаго танца, стараясь соответствовать мимикѣ и всѣмъ пріемамъ своего танцора. Но никогда Фе-

дору Ивановичъ не былъ такъ неподражаемо хороше и веселъ, какъ на святкахъ въ тюбанѣ, фольгѣ, блестяхъ, свѣтлыхъ бусахъ, въ развѣвающейся длинной мантии, въ такомъ замысловатомъ турецкомъ костюмѣ, какого, я думаю, ни одному турку въ мірѣ не приходилось и въ глаза увидеть.

Одна Катерина Петровна не жаловала художника за хлопоты съ овсянымъ киселемъ и, смотря на нашу пляску, съ досадой говаривала: «ишь, чортъ съ младенцемъ».

Въ началѣ великаго поста матушка поѣхала въ Москву и меня взяла съ собою. Мы отправились въ большой кожаной кибиткѣ, на наемной тройкѣ—въ сопровожденіи Аннушки. На меня надѣли заячью шубку и укрыли платками до того, что я чуть не задохнулась. Въ Завидовѣ мы ночевали; въ Клину обѣдали у купца Воронкова,—знакомаго моимъ родителямъ, гдѣ угостили насъ напропалую. Другую ночь провели въ Подсолнечной, въ домѣ помѣщицъ Грязновыхъ,—на третій были въ Москвѣ, на Малой Бронной, во дворѣ дома княжны Анны Борисовны Мещерской. Мы подѣхали къ флигелю, въ которомъ жила съ своимъ семействомъ княгиня Марья Алексѣевна Хованская.



## ГЛАВА VI.

### Домъ княжны Анны Борисовны Мещерской.

1817—1818.

Лежитъ повсюду мертвенный покой,  
Его кругомъ ничто не возмущаетъ,  
Лишь каждый часъ часовъ унылый бой  
О ходѣ времени напоминаетъ.

Вещи наши и Аннушку отправили въ домъ княжны Анны Борисовны, гдѣ мать моя, пріѣзжая въ Москву, останавливалась всегда. Ей отводился большой кабинетъ для спальни и обѣ парадныя гостиныя. У княжны мы ночевали и оставались утро, день—у княгини во флигелѣ.

Намъ сказали, что княжна отдыхаетъ, и мы пошли къ ней только тогда, когда присланная отъ нея горничная почтительно доложила, что ея сіятельство изволили встать и просить насъ пожаловать къ себѣ. Въ передней насъ встрѣтили старые сѣдые лакеи, которые, по заказу, строчили подтяжки, и два-три мальчика, читавшіе потрепанныя книги духовнаго содержанія. Во внутреннихъ комнатахъ привѣтствовали чинныя горничныя, одѣтыя въ темныя платья, съ большими чепцами на головахъ. Всѣ ходили тихо, говорили шопотомъ, доклады дѣлали, едва шевеля губами. Глубокая тишина во всемъ домѣ прерывалась время отъ времени визгомъ мартышки Макарушки въ нарядѣ дебаркадера. Она сидѣла въ дѣвичьей на широкой полкѣ, задержанной занавѣской, придѣланной къ печи, изъ-за которой выбѣгала на ея выступѣ. Въ спальнѣ представлялись княжнѣ. Я еще помню ее: въ то время это была старушка небольшого роста, съ крупными чертами лица, съ выраженіемъ важнымъ и нѣсколько строгимъ. Она всегда сидѣла на зеленомъ штофномъ диванѣ, передъ овальнымъ столомъ, и то раскладывала на немъ пасьянсъ, то складывала касъ-тетъ, иногда приказывала грамотной горничной почитать ей священное писаніе или проповѣди. На столѣ передъ ней находились какія-нибудь затѣйныя вещицы, родъ игрушекъ, которыми забавляли ее племянники. Она любовалась ими нѣсколько времени, потомъ дарила кому-нибудь. Полъ въ спальнѣ былъ обитъ зеленымъ сукномъ, на окнахъ, выходившихъ въ садъ Голохвастовыхъ, висѣли зеленыя штофныя занавѣси. Противъ внутренней стѣны, на одну ступеньку выше пола, углублялся нишъ. Тамъ, на зеленомъ сафьянномъ диванѣ, княжна спала ночью и отдыхала днемъ. Въ головахъ возвышался кіотъ съ образами въ богатыхъ ризахъ и вѣнцахъ, осыпанныхъ драгоценными камнями, передъ ними горѣла неугасимая лампада. Тишину спальни нарушалъ одинъ неумолкаемый стукъ англійскихъ столовыхъ часовъ, стоявшихъ между оконъ, подъ зеркаломъ. Когда минутная стрѣлка совершала кругъ и они били, то вслѣдъ за ними начинали бить нѣсколько другихъ часовъ, стоявшихъ и висѣвшихъ въ разныхъ комнатахъ. Подлѣ спальнѣ, въ продолговатой комнатѣ въ одно окно, находился бу-



фетъ съ чайной посудой, столъ и стулъ, на которомъ постоянно сидѣла пожилая женщина, Лизавета Емельянова, ходившая за княжной; она же наблюдала за хозяйствомъ и наливала чай.

Княжна рѣдко выходила въ другія комнаты. Онѣ были просторны и удобно расположены, но, оставаясь безъ обновленія, отъ времени казались какъ бы полинялыми. Въ двухъ гостиныхъ и залѣ висѣли большія люстры съ гранеными хрустальными подвѣсками, которые отъ копоти походили на дымчатые топазы и такъ ослабѣли на своихъ подвѣскахъ, что при малѣйшемъ сотрясеніи, сверкая, позванивали. Вся обстановка комнатъ—мебель тяжелая, цѣльнаго краснаго дерева, или выбѣленная съ позолоченными украшеніями, подъ чехлами изъ полосатой коломенки, фарфоровыя вазы и куелы, фигурныя зеркала, столы и мраморныя подзеркальники съ бронзовыми рѣшеточками—все говорило о другихъ временахъ, о другихъ нравахъ.

На внутренней стѣнѣ одной изъ гостиныхъ висѣли въ овальныхъ золоченыхъ рамахъ, прекрасно сдѣланные гуашью, портреты всего семейства Яковлевыхъ, въ ихъ молодости. Они представлены были съ напудренными волосами, въ щегольскихъ костюмахъ. Когда я стала знать оригиналы этихъ портретовъ, то ни одинъ уже не походилъ на свое изображеніе, только у Льва Алексѣевича удержалось его добродушное выраженіе. Въ улыбавшемся молодомъ человѣкѣ, одѣтомъ въ свѣтло-голубой кафтанъ, нельзя было узнать холоднаго взгляда Ивана Алексѣевича. Полная, важная княгиня не имѣла ни малѣйшаго сходства съ полувоздушной дѣвушкой съ розой въ распущенныхъ волосахъ. Въ дѣтствѣ моемъ я любила разсматривать эти портреты, какъ картинки, мнѣ особенно нравились ихъ яркія краски. Иногда случавшіеся при мнѣ взрослые, указывая на портретъ красиваго молодого человѣка, съ умными темнокарими глазами, говорили: «вотъ это твой дѣдъ!» Впослѣдствіи, когда эти портреты, по кончинѣ княжны, со всѣмъ ея имуществомъ перешли къ княгинѣ, глядя на нихъ, я глубоко задумывалась, стараясь какъ бы разгадать что-то непонятное для меня.

При входѣ въ комнату княжны должно было помолиться иконамъ и сдѣлать передъ ними три земныхъ по-

клона, потомъ подойти къ княжнѣ и поцѣловать у нея ручку. Погладивши меня по головѣ или потрепавши по щекѣ, назвавши Танюшкой—она отсылала меня посмотреть Макарушку или со старшей горничной поиграть въ большихъ комнатахъ, мать же мою удерживала при себѣ и подолгу разговаривала съ ней.

Въ 1812 году, въ то время, какъ Москва занята была неприятелемъ, домъ княгини Марьи Алексѣевны сгорѣлъ, поэтому она, до постройки или покупки новаго, со всѣмъ семействомъ и многочисленной прислугой помѣстилась у княжны, въ деревянномъ флигелѣ съ мезониномъ, на одномъ дворѣ съ домомъ.

Родственники и знакомые навѣщали княжну, но оставались не подолгу, чтобы не затруднить ее. Входили къ ней тихо, въ полголоса говорили и почтительно поцѣловавши у нея ручку, удалялись едва слышными шагами.

Княгиня съ семействомъ, Левъ Алексѣвичъ и Елизавета Алексѣевна съ дѣтьми, поочередно, проводили у княжны каждый вечеръ; иногда Елизавету Алексѣевну замѣняла много лѣтъ жившая при ней маленькая, ворчливая старушка, Надежда Ивановна—вдова коменданта Орской крѣпости. Ихъ всегда провожали два служителя, съ напудренными волосами, въ башмакахъ и ливрейныхъ фракахъ, хотя отъ крыльца Голохвастовыхъ до крыльца княжны стоило перейти только садъ и немного двора.

Въ дни именинъ и рожденія княжны—всѣ родственники, даже такіе отдаленные, что ихъ можно было счесть за родныхъ потому только, что они на одномъ съ нею солнцѣ рубашки сушатъ, являлись съ поздравленіями, а самые близкіе привозили ей въ подарокъ бездѣлицы, большей частью забавныя, какъ дѣтямъ. У нея же встречались большіе праздники и новый годъ. Наканунѣ новаго года поднималась Иверская Божія Матерь, служили молебень, всѣ проходили подъ поднятой иконой, затѣмъ поздравляли княжну, разъѣзжались, и домъ ея снова погружался въ безмолвіе, прерываемое боемъ англійскихъ часовъ.

Княжна прожила около ста лѣтъ и кончила жизнь—какъ бы уснувши. Домъ и все свое состояніе она оставила княгинѣ, покоившей ее въ ея послѣдніе годы. Бога-

тые родные никакого протеста не дѣлали. Состояніе княгини было небольшое. По кончинѣ тетки княгиня не перешла въ большой домъ, а осталась во флигелѣ. Домъ заколотили, часть двора заросла травой, стѣны почернѣли, прислуга, получившая отпускныя, разошлась, только желтыя, лохматые собаки постоянно лежали на каменномъ крыльцѣ, какъ бы ожидая привычной подачки.

Мать моя ѣздила въ Москву каждую зиму, а когда я подросла, то иногда и меня брала съ собою. Въ одно изъ моихъ пребываній въ Москвѣ, въ началѣ весны, играя въ саду Голохвастовыхъ, я такъ сильно простудилась, что едва не умерла отъ жестокой лихорадки. Меня лѣчилъ Матвѣй Яковлевичъ Мудровъ хиной, но болѣзнь оставила меня только въ концѣ лѣта, уже въ Корчевѣ.

Проживая у княжны Анны Борисовны, матушка часто навѣщала сенатора и Ивана Алексѣевича, квартировавшихъ тогда въ одномъ домѣ, и почти всегда оставляла меня у нихъ на нѣсколько дней, по неотступнымъ просьбамъ Саши. Когда мы собирались уѣзжать, онъ начиналъ кричать съ ревомъ: не отпускайте Танхень (такъ называла меня Луиза Ивановна) съ Натальей Петровной,—и меня оставляли.

Саша росъ одиноко, не понималъ отказа, не зналъ уступокъ, не любилъ и не умѣлъ играть съ товарищами, малѣйшее противорѣчіе выводило его изъ себя. Только со мной онъ игралъ охотно, даже доходилъ до уступокъ. Игрушекъ у него была пропасть, большею частью дорогихъ, но онъ не столько игралъ ими, сколько ломалъ, коверкалъ и бросалъ. Изъ числа его игрушекъ мнѣ особенно памятна кухня съ плитой, на которой готовился обѣдъ. Какъ только трогали пружинку, всѣ повара и поваренки приходили въ движеніе—это приводило меня въ совершенный восторгъ, но мнѣ не долго удалось радоваться, какъ повара пекутъ, рубятъ котлеты и зелень, жарятъ и двигаются; Саша, нетерпѣливо стремясь узнать, отчего, какъ тронуть пружинку, всѣ принимаются за дѣло, разломалъ заднюю стѣнку кухни, вытащилъ пружинку и успокоился,—отдохнули и повара.

У Яковлевыхъ спать меня клали въ комнату Луизы

Ивановны, на небольшомъ диванѣ, тутъ же стояла и кроватка Саши, обтянутая со всѣхъ сторонъ парусиной. Когда Вѣра Артамоновна, надѣвши на него ночную сорочку, укладывала его въ кровать, тогда приходилъ Иванъ Алексѣевичъ, держа во рту коротенькую трубочку, и, покуривши слегка въ комнатѣ, онъ смотрѣлъ, какъ обметывали на живую нитку по постели Саши покрывавшую его простыню, чтобы онъ ночью, раскинувшись, не простудился. Когда эта операція была окончена, Иванъ Алексѣевичъ покрывалъ его бѣлымъ байковымъ одѣяломъ и, перекрестивши, — уходилъ въ свое отдѣленіе, осмотрѣвши напередъ, все ли въ комнатѣ въ порядкѣ. Такъ какъ Сашѣ подъ приметанной простыней нельзя было ни вскакивать на постели, ни прыгать съ нея, ни бѣгать, ни ломать игрушки, то, по удаленіи Ивана Алексѣевича, у насъ начинались продолжительные разговоры, предметы которыхъ большей частью вертѣлись на одномъ и томъ же: на страшномъ, поражающемъ воображеніе до того, что самимъ становилось жутко. Любимымъ рассказомъ Саши были ужасы, слышанные имъ отъ m-ше Прово о массонахъ, при ложѣ которыхъ ея мужъ занималъ когда-то какую-то должность, и о французской революціи, во время которой едва не повѣсили на фонарѣ ея почтеннаго сожителя. «Разъ, — начиналъ обыкновенно Саша, смирно лежа зашитый въ постели: — m-ше Прово попала въ комнату, гдѣ собирались массоны, когда тамъ никого не было, и перепугалась такъ, что чуть не умерла со страха. Комната была вся обтянута чернымъ сукномъ, посрединѣ стоялъ столъ, на столѣ крестъ, на крестѣ два кинжала, на нихъ мертвая голова. На стѣнахъ висѣли портреты всѣхъ массоновъ въ свѣтѣ, и если въ который-нибудь изъ портретовъ выстрѣливали, то гдѣ бы ни былъ тотъ человѣкъ, чей портретъ былъ прострѣленъ, тотъ въ ту же минуту падалъ и умиралъ». Слушая это, я дрожала отъ страха, и мнѣ всюду мерещились и черная комната, и кинжалы, и портреты. «А вотъ еще, — говорилъ Саша: — была во Франціи революція, всѣ шумѣли, кричали, кто не шумѣлъ и не кричалъ, тѣмъ рубили головы, народъ бѣгалъ по улицамъ, все билъ, ломалъ, потомъ прибѣжали во дворецъ и тамъ все перебили, переломали, да надѣли себѣ на головы красные

колпаки, запѣли пѣсни и пошли вѣшать людей на фонаряхъ, хотѣли повѣсить на фонарѣ m-eur Прово,—насилу спасла его Лизавета Ивановна». Если случалось Сашѣ рассказывать при Егорѣ Ивановичѣ, какъ во Франціи народъ все билъ, ломалъ, бросалъ, то Егоръ Ивановичъ всегда добавлялъ: «Вотъ бы тебѣ тогда туда, то-то бы ты обрадовался, помогъ бы ломать, швырять, исковеркать бы все почище ихняго».

Саша любилъ слушать рассказы больше игрушекъ. Игрушки своей безотвѣтственностью скоро надоѣдали ему, читать онъ еще плохо. Если ему нечего было слушать, онъ охотнѣе игрушекъ игралъ съ большой, польской породы, собакой Бертой, ѣздилъ на ней верхомъ, запрягалъ ее въ повозочку, или бѣгалъ съ ней въ перекатку по комнатамъ. Случалось намъ бѣгать и втроемъ. Когда меня увозили отъ Яковлевыхъ, Саша, оставаясь одинокимъ, начиналъ капризничать и приставать, чтобы меня опять привезли къ нимъ. Это не всегда было возможно. Матушка желала, чтобы я оставалась больше у княгини, гдѣ меня любили для меня и забавлялись моимъ дѣтскимъ болтаньемъ, особенно двѣ княжны Хованскія и молодые Голохвастовы. Они называли меня «дикимъ ребенкомъ» и изъ Татьяны перекрестили въ «Темиры». Темирой я называлась такъ долго, что нѣсколько времени считала это названіе своимъ настоящимъ именемъ. Теперь это смѣшно, и кого же станутъ называть «Темирой», «Плѣнирой», а тогда это было въ ходу.

Всѣ они были еще такъ молоды, что, играя съ ребенкомъ, сами становились дѣтьми, особенно меньшей сынъ Елизаветы Алексѣевны Голохвастовой—Николай Павловичъ.

Домъ Голохвастовыхъ, отдѣленный однимъ садомъ отъ двора княжны Анны Борисовны Мещерской, стоялъ глубоко во дворѣ \*). Онъ былъ обращенъ фасадомъ на Тверской бульваръ, а противоположной стороною въ садъ. Комнаты въ немъ были велики и роскошно убраны. Мнѣ больше всѣхъ нравилась диванная яхонтоваго цвѣ-

---

\*) И теперь находится въ томъ же видѣ; это второй домъ съ лѣвой стороны, въѣзжая на Тверской бульваръ съ Пречистенской площади.

та, съ рисованною гирляндю цвѣтовъ вмѣсто багетки. Мебель въ ней темнокраснаго дерева, на гибкихъ пружинахъ, была обита шелковымъ штофомъ лимоннаго цвѣта; изъ такого же штофа были повѣшаны на окнахъ занавѣси. Среди продольной, внутренней стѣны выступалъ бѣлый мраморный каминъ, а надъ нимъ большое зеркало въ бронзовой рамѣ. Въ этой диванной Елизавета Алексѣевна постоянно сидѣла, изрѣдка принимала посѣтителей или, лежа на диванѣ, читала книгу. До кончины своей она сохранила слѣды замѣчательной красоты, исполненной благородства, и блестящій умъ, просвѣщенный сколько образованіемъ, столько, если еще не больше, многостороннимъ чтеніемъ и бесѣдой съ людьми, выступавшими изъ ряда вонъ. При большомъ состояніи она вела образъ жизни самый уединенный, кругъ знакомства былъ до крайности ограниченъ, сама она почти никуда не выѣзжала, кромѣ родныхъ—и тѣхъ посѣщала чрезвычайно рѣдко. Въ ихъ богато убранныхъ комнатахъ царствовала большею частью глубокая тишина, и было какъ-то пусто и беззвучно. При Елизаветѣ Алексѣевнѣ постоянно находилась молоденькая дочь ея Наталья Павловна—всегда съ книгой или съ работою, тихая, скромная, сдержанная—она прекрасными черными глазами, откровеннымъ, добродушнымъ взоромъ напоминала брата своего—Николая Павловича.

Николай Павловичъ—высокій брюнетъ—могъ бы назваться довольно стройнымъ, если бы его движеніямъ не мѣшала недостатокъ въ ступнѣ. Онъ родился хромымъ и ходилъ, опираясь на толстую трость. Старшій братъ его, Дмитрій Павловичъ, составлялъ совершенную противоположность, какъ съ нимъ, такъ и съ сестрою. Высокій, стройный блондинъ, съ легкимъ золотистымъ отливомъ волосъ, онъ напоминалъ мать свою сколько правильными чертами лица и выраженіемъ достоинства и спокойствія, столько же и характеромъ; насколько братъ его любилъ общество, настолько онъ былъ далекъ отъ него. «Жизнь Дмитрія Павловича была рядомъ успѣховъ и наградъ»,—сказалъ о немъ Сапа, проводя параллель между обоими братьями; онъ много читалъ, умно разсуждалъ, благоразумно дѣйствовалъ, но чувствовалось, что чего-то недостаетъ—онъ слишкомъ помнилъ всегда себя. Братъ же его энер-

гичный, страстный, легкомысленный, добродушный до безконечности, кажется, и не думалъ никогда о себѣ, да кстати и о другихъ мало заботился. Мать ихъ, какъ и всѣ Яковлевы этой генеалогической отрасли, исполнанная аристократизма, полагала, что сыновей ея достойны невѣсты только высокаго рода и богатства, по крайней мѣрѣ равнаго ихъ богатства.

Несмотря на это, Николай Павловичъ рано и противъ воли матери тихонько женился на бѣдной, но прелестной молодой дѣвушкѣ. Бракъ этотъ такъ огорчилъ Елизавету Алексѣевну, что она занемогла и въ скоромъ времени окончила жизнь. Передъ смертью приняла сына, но невѣстки видѣть не захотѣла.

По смерти матери молодые Голохвастовы раздѣлились: Наталья Павловна вышла замужъ за Николая Васильевича Шатилова и вскорѣ скончалась, оставивши малютокъ, сына и дочь. Дмитрій Павловичъ уѣхалъ за границу, а Николай Павловичъ сталъ устраниваться въ Москвѣ. Онъ купилъ домъ, великолѣпно его убралъ, роскошно рядилъ жену и дѣтей. Мать жены своей и старшую сестру ея, вдову съ тремя дѣтьми, помѣстилъ у себя въ нижнемъ этажѣ. Сдѣлалъ множество знакомствъ и сталъ давать балы, спектакли, обѣды. Домъ его былъ всегда полонъ посѣтителей, танцующей молодежи, любителей хорошихъ обѣдовъ и даже высшей аристократіи. Въ это блестящее время его жизни я иногда бывала у нихъ съ Сашей и Луизой Ивановой—она была кума Николая Павловича и много способствовала примиренію съ нимъ его дядей. Нѣсколько лѣтъ къ ряду Николай Павловичъ жилъ, точно отыскивая, какъ бы прожить свое состояніе, и, наконецъ, несмотря на красавицу жену и на пять человѣкъ прелестныхъ дѣтей, разорился на танцовщицу, не стоявшую развязать ленточку у башмака его жены. Имѣніе ихъ описали, жена умерла, домъ распадался, все это сдѣлалось съ поразительною быстротою. Запутываясь въ долгахъ и процентахъ, онъ сталъ продавать вещи, мебель, вырубилъ садъ, чтобы топить печи въ домѣ, продалъ домъ и небольшую подмосковную. Сыновья его поступили на службу, дочери размѣстились по родственнымъ домамъ. Чтò было на душѣ Николая Павловича, знаетъ одинъ Богъ, наружно же онъ не унывалъ, ве-

село разъѣзжалъ по роднымъ и знакомымъ, иногда навѣщалъ и насъ, я была тогда уже замужемъ и имѣла дѣтей, несмотря на это, онъ по старому звалъ меня дикимъ ребенкомъ и Темирой, рассказывалъ новости, шутилъ говорилъ анекдоты, нерѣдко имъ же самимъ сочиненные. Жизнь свою онъ окончилъ въ 1846 году на дачѣ двоюроднаго брата своего, мгновенно, разговаривая съ нимъ.

Пока Николай Павловичъ устраивался и разорялся, Дмитрій Павловичъ осмотрѣлъ Европу, привезъ въ Россію множество лучшихъ произведеній иностранныхъ литературъ, планы фермъ и конскаго завода, англичанина берейтора, ньюфаундленскихъ собакъ, изъ нихъ далъ по собакамъ дядямъ. У Ивана Алексѣевича это былъ извѣстный Макбетъ; сверхъ того, по порученію Ивана Алексѣевича, привезъ большой ящикъ французскихъ и нѣмецкихъ книгъ для Саши. Моремъ доставили Дмитрію Павловичу земледѣльческія машины и машину для орошенія полей. Онъ занялся устройствомъ хозяйства въ своемъ подмосковномъ имѣнии—Покровскомъ, обсеялъ поля клеверомъ, развелъ породистыхъ лошадей и коровъ — наконецъ, женился на небогатой дѣвушкѣ; я не знала ее, но слышала, что она была умна и основательна.

Въ 1831-мъ году, по желанію князя Сергія Михайловича Голицына, бывшаго попечителемъ московскаго учебнаго округа, Дмитрій Павловичъ назначенъ былъ его помощникомъ. Общій голосъ того времени былъ тотъ, что онъ ввелъ въ управленіе университета много формализма. Объ этомъ упоминается въ запискахъ Анненкова, Бѣлинскаго и др.

Мѣсто князя Голицына заступилъ графъ Сергій Григорьевичъ Строгановъ; положеніе университета при немъ совершенно измѣнилось. Будучи либераленъ, онъ отстаивалъ права его, защищалъ отъ полицейскихъ притѣсненій, старался поднять въ глазахъ государя императора и облагораживалъ его. Время управленія графа было одно изъ цвѣтущихъ эпохъ московскаго университета. При графѣ Сергіи Григорьевичѣ университетъ измѣнился отъ зданія и аудиторіи до профессоровъ и объема преподаванія. Послѣднему очень способствовало то, что изъ-за границы возвратилось много новыхъ мо-



лодыхъ профессоровъ, изъ числа которыхъ были люди чрезвычайно талантливые съ свѣтлымъ направлениемъ. Они имѣли громадное вліяніе на студентовъ и на общество, посѣщавшее ихъ популярныя чтенія, такъ же, какъ и посредствомъ студентовъ, вносившихъ свѣжія понятія изъ аудиторіи въ свои семейства. Какъ этимъ профессорамъ, такъ и графу Сергію Григорьевичу Строганову, поддерживавшему ихъ, многимъ обязаны и университетъ и русское общество.

Въ 1847 году графъ Строгановъ оставилъ университетъ. Мѣсто его занялъ Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, но оставался на немъ не долго. Въ 1849 году онъ вышелъ въ отставку, сколько я помню, по начинавшейся у него болѣзни, вмѣстѣ съ этимъ онъ хотѣлъ отдохнуть отъ служебныхъ дѣлъ среди семьи, сельскаго хозяйства и книгъ; но суждено было иначе: послѣ отставки онъ жилъ уже не долго.

Какъ слышно, дѣти Дмитрія Павловича достойно пользуются состояніемъ, оставленнымъ ихъ отцомъ. Я вспоминаю о Дмитріи Павловичѣ съ чувствомъ дружескимъ, съ которымъ и онъ всегда былъ расположенъ ко мнѣ и что не разъ выражалъ не только словами, но и дѣломъ. Подъ холоднымъ формализмомъ, въ чемъ какъ бы упрекаютъ его, который, вѣроятно, онъ считалъ долгомъ, предписаннымъ службою, у него билось сердце честное и не безъ теплоты.



## ГЛАВА VII.

### П а н с і о н ъ.

1820—1824.

Я проснулась рано. На душѣ было тяжело. Меня везли въ Москву въ пансіонъ, а брата моего на житье въ Тульскую губернію, къ дядѣ Александру Ивановичу, въ его имѣнье, село Чертовое, лежавшее верстахъ въ тридцати отъ Тулы. Это было весной, деревья

только-что покрылись листочками. Одѣвшись по-дорожному, я обѣжала домъ и садъ, простилась съ любимыми мѣстами. Все для меня получило бѣдную и какъ бы новую прелесть. Въ столовой Аннушка укладывала ящики и увязывала чемоданы. Я дала ей уложить нѣсколько игрушекъ, ящичекъ съ красками и любимыя книжки. Въ домѣ была тишина. Всѣ еще спали. Какъ только встала матушка — домъ оживился; прислуга засуетилась, послышался говоръ. Въ залѣ готовили чай, завтракъ, во дворъ таскали поклажу; коляска, запряженная четверной, стояла у крыльца, сзади экипажа подвязывали чемоданы, подъ козлы—ящики, въ коляску уложили подушки и мелочь. Въ комнатахъ по полу валялись обрывки веревокъ, клочки сѣна,—было какъ-то пусто, нехорошо.

Послѣ завтрака я забѣжала еще разъ въ дѣтскую, еще разъ обняла и поцѣловала свою кошку, спавшую покойно въ ногахъ на моей неоправленной постели. Изъ дѣтской завернула въ дѣвичью. Тамъ на сундукѣ сидѣла въ горѣ Катерина Петровна, я схватила ее за руку и потащила въ залу, гдѣ собралась прислуга провожать насъ. На минуту всѣ присѣли на стулья и примолкли; «пора,—сказала матушка, вставая:—помолимся Богу», за нею поднялись всѣ, помолились и стали прощаться. Когда мы съ братомъ подошли къ Катеринѣ Петровнѣ, она безъ слезъ тяжело опустилась на стулъ. Мы, рыдая, повисли у нея на шеѣ. По отъѣздѣ нашемъ она потеряла всю свою энергію, за каждымъ хорошимъ блюдомъ кушанья задумывалась, вздыхала, говорила, какъ бы отвѣчая на свою мысль: «чай, голодные!» И не рѣдко блюдо оставалось не тронутымъ. Послѣ насъ она прожила не долго. Умерла съ тоски. Въ слезахъ мы сѣли въ коляску. Экипажъ тронулся, тихо съѣхалъ со двора и рысцой покатилъ улицами Корчевы; смотря на проходящихъ, я думала: «счастливые, счастливые—ихъ никуда не везутъ», и украдкой отирала слезы.

Въ Москвѣ мы остановились, по обыкновенію, у княжны Анны Борисовны. Спустя нѣсколько дней матушка повезла меня въ пансіонъ m-lle Данквартъ. Домъ, въ которомъ тогда находился этотъ пансіонъ, былъ большой трехэтажный и стоялъ глубоко во дво-

рѣ; по обѣимъ сторонамъ его тянулись узкіе, длинные флигеля, такъ же, какъ и домъ, окрашенные въ желтую краску. Позади дома виднѣлся большой, тѣнистый садъ.

Я еще не понимала отчетливо, что меня ожидаетъ въ пансіонѣ, но сердце точно упало, когда мы подъѣхали къ парадному крыльцу, когда передъ нами распахнулась широкая дверь въ сѣни и какъ бы поглотила насъ. По широкой лѣстницѣ мы поднялись въ бель-этажъ и вошли въ обширную залу. Въ гостиной насъ приняла содержательница пансіона, m-lle Данквартъ, плотная, среднего роста, и ея помощница m-lle Фишеръ, высокая, тонкая, гибкая, отличная піанистка, одна изъ лучшихъ ученицъ Гуммеля. Печать официальности и холода лежала на всѣхъ предметахъ и лицахъ; какой-то гулъ отдавался по всему дому отъ шаговъ ходящихъ людей, гулъ этотъ мѣшался съ голосами говорившихъ и со звуками нѣсколькихъ фортепіанъ, на которыхъ тоскливо твердились экзерсиціи. Пока мы сидѣли въ гостиной и велись условія и переговоры. Отъ страха и замиранья сердца я окаменѣла до того, что даже не заплакала, когда матушка, простившись со мной, оставила меня въ пансіонѣ.

Въ классной комнатѣ меня обступила толпа дѣвочекъ. Онѣ съ любопытствомъ осматривали меня съ головы до ногъ и, разговаривая между собой въ полголоса, называли «новенькой».

Нѣсколько взрослыхъ дѣвушекъ изъ старшаго класса пріотворили немного дверь, посмотрѣли на «новенькую» и равнодушно опять ее закрыли.

Я походила на дикаго звѣрка, попавшаго въ клѣтку. Чувство одиночества и чуждости до того охватило меня, что когда я пришла въ дортуаръ спать, то, истерично рыдая, упала на постель, обняла свои подушки, какъ будто онѣ со мной дѣлили горе чужбины, и не могла утѣшиться даже пряниками и сотовымъ медомъ, привезенными съ моими вещами, которыми, уговаривая меня не огорчаться, угощала Костенька — она оставлена была со мной до пріѣзда изъ Корчевы моей собственной няньки.

Въ пансіонѣ мнѣ было долго все противно, начиная отъ звонка, сзывавшаго въ классы, къ обѣду и ужину, до ласкъ, которыми начальство осыпало дѣтей въ гла-

захъ ихъ родителей, и особенно тѣхъ, отъ которыхъ получались большіе подарки; отъ чая съ синимъ молокомъ и черной сахарной патокой вмѣсто сахара, до дурацкаго колпака изъ парусины, съ красной суконной кисточкой, который надѣвали намъ на головы за разговоръ на русскомъ языкѣ, не принимая въ расчетъ, что мы не знали ни одного языка, кромѣ русскаго. Такимъ образомъ, мы обрекались на безусловное молчаніе. Увѣнчанная зорко сторожила, не проговорится ли которая-нибудь, и, уловивши русское слово, торопливо передавала шапку.

Меня помѣстили въ меньшей классъ; тамъ уроки давала сама m-lle Данквартъ. Она была вспыльчива и строга, мы болѣзненно ожидали ея прихода, къ концу класса всегда оказывалось много наказанныхъ. Наказанія были разнаго рода: ставили въ уголъ, на колѣни; маленькихъ драли за уши, сѣкли; съ большими перебивались; чаще всего значительное количество оставалось безъ обѣда и безъ ужина. Подъ наказаніями держали такъ продолжительно, что часто ученица, ставшая въ уголъ съ горькими слезами, утомившись, дѣлалась равнодушной и начинала развлекать себя, то царапая со стѣны известку, то отрывая отъ книги клочки бумаги, скатывала изъ нихъ шарики и исподтишка стрѣляла ими съ пальца въ подругъ и даже, какъ бы не нарочно, въ классную даму—ко всеобщему удовольствію.

Иныя осваивались съ наказаніями до того, что превращали ихъ въ забаву и переставали затруднять себя приготовленіемъ уроковъ или снисканіемъ похвалъ за благоправіе.

Въ первые дни моего посѣщенія въ пансіонъ я была приведена въ ужасъ наказаніемъ одной ученицы, родственницы m-lle Данквартъ. За какую-то провинность ей надѣли на голову дурацкую шапку, на плеча рогожу и на веревкѣ водили по комнатамъ. Дѣвочка витѣ себя, подъ гнетомъ позора, шла разливаясь въ слезахъ. Когда же вели ее мимо насъ въ третій разъ, она уже не плакала, а, ожесточенно улыбаясь, дѣлала намъ забавныя гримасы и строила изъ рукъ длинный носъ въ спину водившей ее m-lle Данквартъ.

Я была въ числѣ хорошихъ ученицъ, но успѣха въ

ученьи оказывалось мало,—метода преподаванія того времени была невозможная. Насъ заставляли вытверживать наизусть цѣлыя страницы изъ предметовъ, содержаніе которыхъ мы едва понимали. Катехизисъ учили на славянскомъ языкѣ, намъ непонятномъ. Не умѣя порядочно читать по-французски и по-нѣмецки, должны были вытверживать наизусть цѣлыя страницы изъ французской и нѣмецкой грамматики. Тетради, писанныя подъ диктовку, были испещрены точно гіероглифами, за что изобрѣтательницамъ этихъ гіероглифовъ привязывали на лобъ ихъ тетради; но этотъ способъ не помогалъ знанію проникать въ ихъ головы.

Я долго не сходилась съ подругами, удалялась всѣхъ, одиноко садилась въ уголокъ и, заткнувши пальцами уши, чтобы не слышать шума, усердно говорила сама себѣ уроки, усиливаясь постигнуть премудрость спряженій и склоненій и смыслъ, для чего мы все это такъ мучительно учимъ, или, зажмуря глаза, думала о Корчевѣ и что-то тамъ дѣлается. Все, что было мной оставлено, такъ живо и тепло обступало меня, что пансіонъ день ото дня становился мнѣ противнѣе и противнѣе своимъ формализмомъ, подавляющимъ ученьемъ, голодомъ и холодомъ. Отъ холода мы порядочно страдали по зимамъ; утромъ, вставая съ постели при огнѣ, чуть не плакали отъ стужи и едва могли держать въ рукѣ перо. На воскресенья и праздники меня брали къ себѣ поочередно княгиня и Иванъ Алексѣевичъ. У нихъ я отдыхала за весь холодъ и тоску протекшей недѣли и возвращалась въ пансіонъ со слезами и съѣстными запасами.

Въ домѣ княгини мнѣ бывало хорошо. Меня любили, берегли и часто дарили то новое платьице, то книжку, то игрушку. Князь, видя мою страсть къ чтенію, давалъ изъ своей библіотеки книжки съ повѣстями и сказками. Забравшись съ ногами на широкій сафьянный диванъ, въ диванной комнатѣ, почти всегда пустой, я до того зачитывалась, что меня точно и не было въ домѣ. На этомъ же диванѣ жили и мои куклы со всѣми ихъ пожитками, которыя, случайно, значительно умножились. Разъ пріѣхалъ къ Хованскимъ ихъ родственникъ, старичокъ князь Петръ Николаевичъ Оболенскій, добродушнѣе котораго трудно встрѣтить человѣка.

Пока никто не выходилъ къ князю, онъ сѣлъ подлѣ меня на диванъ и игралъ со мною въ куклы, а на другой день привезъ моимъ кукламъ цѣлый картонъ прекрасныхъ лоскутковъ и въ послѣдствіи всегда оказывалъ мнѣ самое сердечное расположеніе.

Между многочисленными посѣтителеми дома княгини бывалъ сынъ князя Петра Николаевича, князь Евгенийъ, извѣстный какъ декабристъ. Стройный, прекрасный, съ кроткимъ, пріятнымъ взоромъ, онъ привлекалъ меня сколько своею красотой, столько, если не больше, блестящимъ гвардейскимъ мундиромъ. Когда онъ пріѣзжалъ при мнѣ, я садилась противъ него и засматривалась на него, какъ нѣкогда на тифанову Венеру, а князь Евгенийъ Петровичъ и не подозрѣвалъ, что чистое дитя поклонялось красотѣ его.

Кромѣ князя Евгенія, въ домѣ княгини привлекали мое вниманіе два красивые брата Карръ, особенно старшій, тѣмъ, что у него была оторвана нога въ сраженіи и онъ ходилъ на костыляхъ.

Какъ ни хорошо мнѣ было у княгини, но мнѣ еще больше нравилось бывать въ домѣ Ивана Алексѣевича не потому, чтобы тамъ было мнѣ лучше, но тамъ былъ маленькій товарищъ, съ которымъ уже зарождалось у насъ взаимное сочувствіе, сверхъ того во всемъ домѣ вѣяло чѣмъ-то, чего не было ни въ нашемъ домѣ, ни въ домѣ княгини, чего я тогда не умѣла еще опредѣлить, но чувствовать уже могла.

Въ семействѣ княгини строго держались стариннаго русскаго барства съ правилами набожности, обычаевъ, нравственности, семейныхъ и общественныхъ обязанностей и приличій, сжимавшихъ желанія, волю и искренность; хотя на меня послѣднее не распространялось, но оно вѣяло во всемъ: въ чинности, въ тонѣ, въ пріемахъ, и въ словахъ.

У Ивана Алексѣевича преобладалъ надъ всѣмъ процессъ капризнаго человѣка, оригинальнаго деспота, но семьи того времени, начинавшей отживать, давившей тысячью условій взаимныхъ отношеній, и условій общественныхъ приличій, тамъ не было. Даже воспитаніе Саши, не втѣсенное въ какую-либо теорію, давало свободу развиваться естественнымъ силамъ и способ-

ностямъ. Все это содержало въ себѣ свѣжія начала жизни новой.

Когда Луиза Ивановна уѣзжала за мною въ пансіонъ, Саша ждалъ меня, не отходя отъ окна, выбѣгалъ въ переднюю навстрѣчу, бралъ за руку и тащилъ къ своимъ игрушкамъ, къ своимъ книжкамъ, и мы заигрывались или зачитывались до обѣда. Обѣдать шли наверхъ; тамъ въ большой столовой находили Ивана Алексѣевича и сенатора. Саша, держа меня за руку, подводилъ съ ними здороваться. Иванъ Алексѣевичъ серьезно произносилъ: «А! Танюша!» и допускалъ приложиться къ его обѣимъ щекамъ. Сенаторъ, добродушно улыбаясь, съ разными забавными восклицаніями, дѣлая уморительныя гримасы, обнималъ меня. За обѣдомъ меня сажали рядомъ съ Сашей. Въ продолженіе обѣда Саша имѣлъ привычку иногда подъ столомъ держать меня за руку, чтобы я не ушла.

Однажды у Ивана Алексѣевича обѣдалъ Милорадовичъ; Саша, держа меня за руку, по манеру своей лопаты и коверкать все, что ни попадалось ему, сталъ вертѣть мнѣ пальцы и, позабывшись, такъ повернулъ одинъ палецъ, что едва не вывихнулъ. Я вскрикнула отъ боли, выдернула руку и громко заплакала. Саша испугался, закричалъ и заревѣлъ вдвое громче моего. Иванъ Алексѣевичъ бросился къ Сашѣ и схватилъ его на руки; а Луиза Ивановна и Милорадовичъ — ко мнѣ. Милорадовичъ посадилъ меня къ себѣ на колѣни, осмотрѣлъ мою руку, опустилъ мнѣ руку въ воду, потомъ обернулъ мокрымъ батистовымъ платкомъ. Я успокоилась понемногу; Луиза Ивановна, видя, какъ сенаторъ и Иванъ Алексѣевичъ торопливо хлопчутъ около Саши, замѣтила имъ, что не зачѣмъ такъ заботиться о немъ, что это его баловать, а надобно заставить просить прощенье у меня. Иванъ Алексѣевичъ возразилъ на ея слова, что Саша перепугался больше моего, а это опасно для его здоровья, и о прощеньи тутъ толковать нечего: Саша ребенокъ, сдѣлалъ не преднамѣренно.

Саша, выслушавъ ихъ препиранья, отталкивалъ стаканъ съ водою, который подносили ему, чтобы отпаивать отъ испуга, дрыгался ногами, вырываясь у нихъ изъ рукъ, и каждый разъ, взглянувши на меня, закатывался, что есть мочи.

— Балуйте его, балуйте больше,—съ сердцемъ сказала Луиза Ивановна:—онъ кому-нибудь голову свернетъ.

Вырвавшись изъ рукъ отца, Саша подбѣжалъ ко мнѣ, я заплакала, онъ робко посмотрѣлъ на меня, попробовалъ взять за руку, я не отнимала руки, онъ наклонился и поцѣловалъ ее. И какъ старался онъ потомъ загладить свою неосторожность! Когда мы пришли въ дѣтскую, онъ съ неребѣческой нѣжностью подавалъ мнѣ игрушки и смотрѣлъ, какъ я ими играю; то говорилъ матери: «попотчивайте Танхенъ тѣмъ-то или тѣмъ, и меня вмѣстѣ съ нею», или: «я подарю Танхенъ эту книжку—она ее любитъ».

Чтобы изгладить изъ души Саши слѣды горькаго событія, сенаторъ привезъ волшебный фонарь и китайскій фейерверкъ. Не показывая никому, онъ отдалъ ихъ Карлу Ивановичу и приказалъ ему вечеромъ приготовить представленіе. Послѣ чая сенаторъ сказалъ Сашѣ, что въ кабинетъ его ждетъ зачѣмъ-то Кало. Предвидя что-нибудь интересное, отъ нетерпѣнія у Саши заблестѣли глаза, онъ вскочилъ съ дивана и направился къ двери, за нимъ двинулись всѣ остальные.

Въ дверяхъ кабинета насъ встрѣтилъ церемоніально Карлъ Ивановичъ. Въ кабинетъ было темно; только-что мы вступили въ темноту, дверь затворилась, раздался легкій трескъ и въ глубинѣ комнаты завертѣлся кругъ изъ разноцвѣтныхъ огней; переливаясь, онъ то втягивался въ центръ, то быстро выбѣгалъ изъ него, принимая разнообразныя сочетанія цвѣтовъ и формъ. Это былъ китайскій фейерверкъ, привезенный для окончательнаго излѣченія Шушки отъ слѣдовъ испуга.

Послѣ фейерверка Карлъ Ивановичъ пригласилъ почтенную публику присутствовать при представленіи волшебныхъ картинъ.

Въ темнотѣ показался огонекъ и освѣтилъ фонарикъ. На растянутой по стѣнѣ бѣлой простынѣ образовалось свѣтлое пятно.

Что-то явится въ этихъ лучахъ свѣта изъ выпуклаго стекла? Вотъ выступаетъ слонъ точно живой, онъ то увеличивается, то уменьшается, то пройдетъ вверхъ головой, то вверхъ ногами, чего живому слону и не сдѣлать никогда. Проходятъ китайцы, японцы, индійцы, чер-



ные арабы двигаются и дерутся,—какъ весело было смотрѣть на это общество и вверхъ ногами и вверхъ головой! Какъ весело было смотрѣть на Карла Ивановича, который представлялъ ихъ въ лицахъ и говорить за нихъ!

Левъ Алексѣевичъ не меньше насъ утѣшается; Иванъ Алексѣевичъ съ обычнымъ хладнокровіемъ и остротой дѣлаетъ замѣчанія. Представленіе кончается. Уносятъ свѣчи. Сенаторъ передаетъ Сашѣ въ полное владѣніе и фейерверкъ, и волшебный фонарь, и ящичекъ стеколъ съ разрисованными на нихъ фигурами. Мы идемъ спать, Иванъ Алексѣевичъ даетъ намъ на сонъ грядущій по крымскому яблоку. Сенаторъ уѣзжаетъ со двора. Въ домѣ—тишина.

Приходятъ святки. Карлъ Ивановичъ каждый день придумывалъ какое-нибудь новое увеселеніе. На новый годъ онъ устраиваетъ маскарадъ въ большой залѣ нижняго этажа—зала эта всю зиму была не топлена и заперта. Ее тепло протопили, убрали цвѣтами и транспарантами, освѣтили люстрами. Вся молодая комнатная прислуга, мужская и женская, заcostюмировалась турками, пастушками, маркизами. Придумывали костюмъ для Саши.

— Одѣньте Сашу купидономъ,—сказала я, вспомнивши, что когда я училась танцовать въ домѣ нашихъ корчевскихъ сосѣдей, то въ торжественные дни устраивали изъ насъ, дѣтей, балеты, въ которыхъ мы представляли собою купидоновъ. Для этой роли надѣвали на насъ планшеваго цвѣта панталонцы, бѣлыя коротенькія юбочки и на головы вѣнки изъ розановъ.

Сашѣ предложеніе мое понравилось. Онъ настоялъ, чтобы его одѣли купидономъ, и когда онъ былъ совсѣмъ готовъ, въ вѣнкѣ, съ колчаномъ и лукомъ за плечами, работы Карла Ивановича, я увидала на уборномъ столѣ нитку гранатъ. Мнѣ показалось, что хорошо бы и гранаты надѣть на купидона и предложила это сдѣлать.

— Помилуй,—сказала Луиза Ивановна:—кто же видалъ гранаты на купидонахъ.

— Ну такъ что-жъ, что не видали,—серьезно замѣтилъ Саша:—пускай увидятъ на мнѣ. Хочу надѣть гранаты непремѣнно.

Въ дверяхъ залы насъ встрѣтилъ Карлъ Ивановичъ въ турецкомъ костюмѣ, сіявшемъ фольгой и блестками. За нимъ привѣтствовала блестящая, пестрая толпа масокъ и проводила на приготовленныя кресла, поставленныя на богатомъ коврѣ, окруженномъ деревьями, цвѣтами и разноцвѣтными фонариками. Когда мы сѣли, заигралъ органъ, мальчики, одѣтые арапами, поднесли намъ фрукты и конфеты. Маски начали танцевать. Великолѣпный вечеръ завершился комнатнымъ фейерверкомъ.

Праздникъ въ долго нетопленной залѣ и легкихъ костюмахъ не сошелъ съ рукъ даромъ. На другой день маскарада у Саши и у меня показался сильный жаръ. Его перевели изъ нижняго этажа наверхъ въ диванную, подлѣ спальни отца, уложили на широкій, длинный диванъ, обитый зеленымъ штофомъ, и опустили на окнахъ занавѣси. Меня помѣстили въ уборной Луизы Ивановны. Весь домъ впалъ въ тревогу и суету. Больше всѣхъ былъ разстроенъ Карлъ Ивановичъ, считая себя виновникомъ болѣзни своего любимца — Шупки. Оказался коклюшъ.

У меня припадки болѣзни были легче, нежели у Саши. Докторъ пріѣзжалъ утромъ и вечеромъ. Иванъ Алексѣевичъ самъ давалъ Сашѣ лѣкарства. Комнаты натопили нестерпимо. Саша впалъ въ страшную тоску, сколько отъ коклюша, столько же отъ жара въ комнатѣ, отъ всеобщаго смущенія и излишняго ухаживанія. Онъ выводилъ всѣхъ изъ терпѣнья капризами, катался по дивану, ничего не хотѣлъ ни ѣсть, ни пить, ни принимать лѣкарства. Чтобы развеселить его и успокоить, попробовали перевести наверхъ и меня, и положили на противоположный конецъ длиннаго дивана. Саша выразилъ удовольствіе по случаю моего прибытія тѣмъ, что сталъ съѣзжать съ своихъ подушекъ вдоль дивана и, приблизившись ко мнѣ, колотилъ меня ногами. Сколько ни останавливали его, онъ не унимался, и только когда Луиза Ивановна погрозилась перевести меня обратно внизъ, онъ пообѣщался не драться, затѣмъ согласился принимать лѣкарства и держать діету, съ условіемъ, чтобы и я принимала съ нимъ одно и то же лѣкарство и держала одну и ту же діету, хотя болѣзнь моя была далеко не такъ тяжела, какъ у него.

Больше всѣхъ за Сашей ухаживалъ Карлъ Ивановичъ. Онъ носилъ его на рукахъ, рассказывалъ сказки, показывалъ книжки съ картинками, клеилъ и точилъ игрушки. Родные Ивана Алексѣевича присылали и сами призжали навѣдываться о здоровьи Шушки. Сенаторъ привозилъ ему разные сюрпризы и курьезности. Я вмѣстѣ съ нимъ пользовалась всѣми этими пріятностями.

Меня продержали у Ивана Алексѣевича слишкомъ мѣсяцъ. Больной Саша и слышать не хотѣлъ, чтобы меня увезли въ пансіонъ.

Въ это время въ Москву наѣзжали возвратившіеся съ поля битвы генералы и офицеры. Нѣкоторые изъ нихъ были сослуживцы Ивана Алексѣевича и сенатора по измайловскому полку, а теперь покрытые славой, участники только-что прекратившейся войны. Многіе бывали у Яковлевыхъ, иногда обѣдали, а чаще проводили вечера и засиживались за полночь въ кабинетѣ Ивана Алексѣевича, рассказывая о событіяхъ этого блестящаго времени.

Живя наверху, мы часто присутствовали при этихъ бесѣдахъ, и не разъ приходилось засыпать на диванѣ за спиною какого-нибудь героя 12-го года.

Что мы съ Сашей узнавали изъ ихъ живыхъ рассказовъ, того не удавалось послѣ учить ни въ одной исторіи.

Больше всѣхъ мы любили слушать Милорадовича и еще больше любили самого его. Намъ нравилось его открытое, благородное лицо, пріятный взглядъ, живой разговоръ съ рѣзкой мимикой и громкимъ смѣхомъ, его блестящій мундиръ, высокій султанъ на шляпѣ, звѣзды на груди, множество крестовъ на шеѣ. Онъ иногда снималъ кресты и давалъ намъ ими играть. Случалось, что Саша, играя крестами, ронялъ нѣкоторые на полъ, на другой день, убирая комнату, ихъ находили и отсылали къ Милорадовичу, который уѣзжалъ, не замѣчая утраты.

Мы слышали, что Милорадовича называли рыцаремъ безъ страха, баярдомъ, русскимъ Мюратомъ. Всѣ эти названья мы относили къ его храбрости и дивились его геройству.

Не мудрено, что при такой обстановкѣ Саша былъ отчаяннымъ патріотомъ и собирался въ полкъ. «Исключительное чувство національности,—говорилъ впослед-

ствіи Саша, вспоминая объ этомъ времени:—довело меня до непріятнаго случая. Между посѣтителями дома Ивана Алексѣвича часто бывалъ графъ Кенсона, французскій эмигрантъ и генераль-лейтенантъ русской службы, отчаянный роялистъ. Онъ участвовалъ на знаменитомъ праздникѣ, на которомъ топтали народную кокарду и Марія Антуанета пила за погибель революціи. Графъ Кенсона—высокій, стройный старикъ—былъ типъ вѣжливости и изящныхъ манеръ. На бѣду учтивѣйшій изъ генераловъ всѣхъ русскихъ армій сталъ при мнѣ говорить о войнѣ: «да вѣдь вы, стало-быть, сражались противъ насъ»,—спросилъ я наивно.—«Non mon petit, non j'étais dans l'armée russe».—«Вѣдь вы французъ, а были въ нашей арміи, не можетъ быть!»

«Отецъ строго взглянулъ на меня и замаялъ разговоръ. Графъ геройски поправилъ дѣло: онъ сказалъ, обращаясь къ моему отцу, что ему нравятся такіа патріотическія чувства.

«Ивану Алексѣвичу такіа чувства не понравились; по отѣздѣ гостя, онъ задалъ Сашѣ нагоняй: «вотъ что значитъ, — сказалъ онъ, кончая выговоры:—говорить очертя голову обо всемъ, чего ты не понимаешь и не можешь понять; графъ изъ вѣрности своему королю служилъ нашему императору».

Дѣйствительно, это трудно было понять.

Въ продолжительную болѣзнь нашу Саша такъ привыкъ ко мнѣ, что когда я уѣхала въ пансіонъ, онъ тосковалъ и приставалъ, чтобы меня привезли обратно.

Увидались мы не скоро.

Въ концѣ февраля пріѣхала въ Москву тетюшка Лизавета Петровна; она остановилась у княгини, и я до весны всѣ праздничные дни проводила съ нею.

Въ концѣ мая пансіонерыкъ распустили на вакацію. Меня взяла княгиня въ свою подмосковную деревню Красненьково.

Красненьково простотой своей напоминало Карповку. Запущенный садъ съ трехъ сторонъ окружалъ деревенскій одноэтажный барскій домъ. Вѣтки малины, свободно раскинувшіяся въ тѣнистой прохладѣ сада, съ ягодами врывались въ окна гостиной, когда ихъ открывали. За зеленѣвшимъ дворомъ тянулись поля ржи и овса, въ сторонѣ свѣтился глубокій прудъ, въ которомъ

купаюсь, я едва не утонула. За прудомъ синѣлъ лѣсъ, куда мы ходили по грибы и по ягоды.

Княгиня меня ни въ чемъ не стѣсняла, я дѣлала, что хотѣла—шалостей за мной водилось мало. Сидя у окна въ своей любимой комнатѣ, выходившей окнами во дворъ, она смотрѣла, какъ я играла то въ березовой аллеѣ, огибавшей широкой дворъ, то передъ ея окнами катала въ повозочкѣ куклы, читала, рисовала. Больше всего забавляло княгиню, какъ я хлопотала съ воробушкомъ, сидѣвшимъ у меня въ ивовой клѣточкѣ: я то кормила его, то пойла, то купала въ помадной баночкѣ, то укрывала лоскутками.


Это было тихое, хорошее время.

Возвратясь въ пансіонъ, я смотрѣла на все спокойнѣе и тосковала меньше прежняго, даже радовалась, увидавшись съ нѣкоторыми изъ пансіонерокъ. Всѣ были еще подъ впечатлѣніями жизни въ родительскомъ домѣ, вспоминали, рассказывали, спрашивали и угощали другъ друга привезенными изъ деревень лакомствами и съѣстными запасами.

Наступило время экзамена. По стѣнамъ залы развѣсили рисунки воспитанницъ, большею частью переправленные до основанія учителемъ. Среди залы на столѣ разложили образцы чистописанія и сочиненій въ тетрадкахъ, сшитыхъ цвѣтными шелками, и награды изъ книгъ, съ надписью золотыми буквами: «за прилежаніе, успѣхи и благонравіе» — на обратномъ листкѣ написано было имя и фамилія достойной.

Я получила книгу съ скучнѣйшимъ содержаніемъ — изъ разсужденій моральныхъ, и никогда ее не читала, но долго радовалась золотой надписи, оттиснутой на оберткѣ.

Меня и еще трехъ или четырехъ дѣвочекъ перевели во второй классъ, гдѣ уроки давали учителя. Это объявили намъ на актѣ. Учителя насъ поздравили и изъявили надежды на наше прилежаніе и успѣхи.



## ГЛАВА VIII.

### Чертовая.

1822.

Мнѣ дѣтство предстаетъ,  
Какъ въ утреннемъ туманѣ  
Долина мирная.

Было майское утро. Пансіонерки, собравшись въ классѣ, на третьемъ этажѣ, въ ожиданіи учителя, въ полголоса разговаривали о приближавшейся вакаціи.

Съ утра въ воздухѣ парило. Въ комнатѣ было душно. Солнце, какъ раскаленный шаръ, тускло свѣтило сквозь туманную атмосферу. Растворили окна—въ нихъ пахнуло жаромъ. На небѣ неподвижно стояло небольшое облачко, изъ него поминутно сверкала блѣдная молнія и непрерывно перекачивался легкій громъ.

Вошелъ учитель; за нимъ заперли дверь на ключъ, изъ предосторожности, чтобы которая-нибудь изъ лѣнивыхъ ученицъ не прокралась въ нее вонъ изъ класса. Разговоры прекратились. Начался урокъ. Облако растягивалось по небу; громъ грохоталъ, не умолкая. Учитель подошелъ къ окну и только-что сталъ закрывать его, какъ черезъ всю комнату, съ страшнымъ трескомъ, сверкнула огненная черта, и градъ кирпичей полетѣлъ во всѣ стороны изъ разбитой молніей печи. Раздался отчаянный крикъ. Всѣ бросились къ двери и стали въ нее ломиться; какими-то судьбами она распахнулась. Толпа ринулась въ коридоръ. По коридору, съ крикомъ, бѣжали дѣти изъ другихъ классовъ.

Всѣ высыпали во дворъ.

Гроза стояла въ полномъ блескѣ.

Темная туча покрывала все небо. Молніи горѣли. Раскаты грома сливались съ шумомъ проливного дождя и сыпавшагося града. Начальство наше растерялось. Растворили одинъ изъ флигелей. Дѣти, тѣсняясь, толкая другъ друга, торопились войти во флигель. Всѣ были

измочены дождемъ, избиты крупнымъ градомъ, перепуганы, расплаканы.

Въ домъ войти опасались. Ждали, что онъ загорится; но онъ уцѣлѣлъ. Молнія, раздробивши печь, проникла въ бель-этажъ и сквозь раскрытое окно вылетѣла въ садъ. Сидѣвшая подлѣ окна дѣвица упала въ обморокъ. Со стѣны сорвало нѣсколько картинъ. Тѣмъ все и кончилось.

Въ Москвѣ мгновенно сдѣлалось извѣстно, что молнія ударила въ пансіонъ Данквартъ. Дворъ наполнился экипажами. Встревоженные родители и родственники воспитанницъ—одни пріѣхали сами, другіе прислали экипажи. Меня увезли къ княгинѣ.

Еще въ страхъ и слезахъ, я рассказывала у княгини, какъ все случилось: «Я сидѣла въ классѣ противъ печки, черезъ столъ, — говорила я: — а противъ меня, другая дѣвочка у самой печи, — разбитые кирпичи перенеслись намъ черезъ головы».

Съ этого времени я долго боялась грозы. Завидѣвши тучу, мѣнялась въ лицѣ и замирала отъ душевной тревоги.

Спустя нѣсколько дней, изъ пансіона дали знать, что все исправлено и дѣтей просятъ возвратиться.

Наступала вакація. Ученье шло небрежно. Воспитанницы одна за другой уѣзжали, оставшіяся не отходили отъ оконъ, ожидая за собой присылки. Я съ часа на часъ ждала экипажа отъ дяди Александра Ивановича, изъ тульской деревни; онъ писалъ, что беретъ меня къ себѣ на все лѣто; вмѣстѣ съ нимъ писалъ и братъ мой Алеша, какъ у нихъ въ деревнѣ весело: есть качели, бильярдъ, бильбока; въ пруду много карасей, а въ грунту шпанскихъ вишенъ. Я не знала, какъ и дожить до того времени, когда все это увижу.

Въ одно утро, вижу я, къ крыльцу подъѣзжаетъ четырехмѣстная коляска, изъ нея выходитъ старушка въ дорожномъ платьѣ. Я узнала въ ней Наталью Ивановну, кормилицу дяди, вскрикнула отъ радости, стремглавъ сбѣжала внизъ и бросилась ей на шею.

Получивши отпускъ, я собралась немедленно, распростилась и уѣхала съ Натальей Ивановной на ея квартиру. На слѣдующій день мы отправились въ путь.

Погода стояла сѣренькая, моросилъ частый дождикъ.

За заставой Петръ Семеновичъ, приказчикъ дяди изъ крѣпостныхъ, присланный провожать меня, привязалъ колокольчикъ, застегнулъ у коляски кожу и опустилъ зонть. Лошади бѣгутъ рысцой, колокольчикъ звенить, мы сидимъ въ полумракѣ и разговариваемъ; я считаю, сколько дней мнѣ придется прожить въ деревнѣ, и нахожу, что просрочить недѣли двѣ ничего не значить.

— А сколько верстъ отъ Москвы до Чертовой?— спрашиваю я Наталью Ивановну.

— Два девяноста, свѣтъ мой, — ласково отвѣчаетъ она: — и не увидишь, какъ доѣдемъ.

— Скоро ли теперь мы приѣдемъ, — говорю я на третій день нашего путешествія.

— Да вотъ, — отвѣчаетъ она: — проѣдемъ Лопасню, тамъ наша Сторожевая, а за ней рукой подать до Чертовой.

Проѣзжаемъ Лопасню, поля ржи и гречихи раскидываются передъ нами во всѣ стороны.

— Вотъ и наша Сторожевая, — говоритъ Петръ Семеновичъ, тяжело спускаясь съ козелъ и поправляя что-то у коляски.

— Нельзя ли отпустить верхъ? — спрашиваю я его.

— Если прикажете, отпустимъ, — отвѣчаетъ онъ.

Первый разъ въ жизни слышу, что я могу приказывать; мнѣ это пріятно. Я приказываю.

Верхъ коляски опущенъ. Съ обѣихъ сторонъ видны крестьянскія избы, крытыя соломой. Встрѣчающіяся бабы низко кланяются мнѣ, мужики скидаютъ шапки, ребяташки, игравшіе посреди дороги, разбѣгаются: одни прячутся въ избы, другіе останавливаются и смотрять на экипажъ, разиня ротъ, вытащивъ руки изъ рукавовъ рубашки и болтая ими. Кучеръ погрозилъ на нихъ кнутомъ. Я поднимаюсь въ собственномъ мнѣніи. Въ сторонѣ свѣтлѣетъ прудъ, надъ водой склонились вербы и купають въ ней свои вѣтки.

— На этотъ прудъ, — говоритъ Наталья Ивановна: — дяденька ѣздитъ рыбу ловить; тутъ водятся только караси, попадаютъ куда какіе хорошіе, все больше желтые, въ ведрѣ ровно золото блестятъ.

Проѣзжаемъ Сторожевую; опять поля волнующагося хлѣба, луга цвѣтовъ. Показался плетень, за плетнемъ деревья.



— Это нашъ нижній садъ,—говорить Наталья Ивановна:—а вотъ это, смотри-ка, другъ, сквозь деревья, наша баня, прудъ, вонъ и флагъ развѣвается на бельведерѣ дома, а вотъ и домъ.

Мы въѣзжаемъ во дворъ; дядя и Алеша стоятъ на крыльцѣ и машутъ намъ бѣлыми фуражками. Коляска бойко подкатывается къ крыльцу, я легко выпрыгиваю изъ экипажа, меня обнимаютъ съ радостными восклицаніями. Мы входимъ въ комнаты; тамъ встрѣчаетъ меня тетушка и съ ней ея компаньонка, пожилая дѣвица. Я осматриваюсь и прихожу въ восторгъ. Въ раскрытыя окна и двери балкона тѣснятся деревья, кусты бѣлой и синей сирени, пунцовые піоны, розы, и льется запахъ лиловыхъ фіалокъ. Закатывающееся солнце отбрасываетъ на все алый отгѣнокъ.

Алеша тащитъ меня за руку въ садъ взглянуть на приготовленные мнѣ сюрпризы.

— Оставимъ это до завтра,—говоритъ тетка:—а теперь угостимъ ее чаемъ съ нашими деревенскими сливками и хорошимъ ужиномъ, да уложимъ пораньше спать, пускай отдохнетъ съ дороги.

Войдя въ назначенную мнѣ комнату, я увидала молодую горничную, которая убирала мои вещи; она мнѣ нравится. Дядя тутъ же даритъ ее мнѣ. Внѣ себя отъ радости, я обнимаю крещеную собственность; дѣвушка также радуется чему-то. Всю ночь мнѣ снится, что я играю съ моей Дашей въ бильбоксъ и ѣмъ вишни.

Утромъ рано отправились мы съ Алешей въ заветную бесѣдку. Тамъ я увидала такое множество игръ и игрушекъ, что у меня занялся духъ отъ волненія. Я все пересмотрѣла, все перетрогала, во все переиграла, и только сильное желаніе попробовать вишенъ выманило меня къ грунтовому сараю. Мы добѣжали до него аллеями грушъ и яблонь. Обширный деревянный сарай покрытъ былъ сѣткой, сквозь нее видѣлись спѣлыя вишни; ихъ стерегъ молодой человекъ, слѣпой, такъ чутко, что едва мы тронули сѣтку, какъ онъ уже летѣлъ къ намъ и, только узнавши, что это мы, успокоился и пустилъ насъ подъ сѣть. За обѣдомъ подавали шампанское, поздравляли меня съ пріѣздомъ, во дворѣ стрѣляли изъ пушекъ, я затыкала себѣ уши. Дядя жилъ со всѣми удобствами и роскошью достаточ-

наго помѣщика. Многочисленная прислуга считала закономъ каждое его приказаніе и старалась во взорѣ угадывать его желанія. Обширный деревянный домъ дяди стоялъ среди двухъ садовъ, тѣнистаго съ цвѣтниками и затѣйливыми бесѣдками, и фруктоватаго съ оранжереями, парниками, теплицами, полными тропическихъ растений и фруктовъ. Фрукты каждый день подавались въ изобиліи послѣ обѣда, состоявшаго изъ пяти или шести блюдъ, отлично изготовленныхъ.

Намъ дана была свобода бѣгать и играть — гдѣ и сколько душа пожелаетъ. Дядя и весь домъ баловали насъ на всѣ руки, садовники обкармливали ягодами, овощами и подпускали подъ сѣтку обѣдаться вишнями. Съ помощью пріятелей изъ прислуги добывали мы зайцевъ, бѣлокъ, ежей, отыскивали птичьи гнѣзда и вытаскивали изъ нихъ яйца, которыя ни на что не были намъ нужны. Какъ-то попалось намъ, въ дуплѣ забора, гнѣздо горихвостокъ, мы сдѣлались внѣ себя отъ нашей находки. Мать съ жалобными криками вилась надъ нашими головами, мы нисколько не трогались этимъ, повытаскали всѣхъ малютокъ ко мнѣ въ подолъ платья и только на другой день, почувствовавшись, отнесли пятерыхъ обратно, оставивши себѣ одну на утѣшеніе. Утѣшала она насъ не долго; двѣ черезъ три мы ее похоронили въ саду. Взамѣнъ горихвостки дядя подарилъ мнѣ ручную канарейку. Въ одно прекрасное послѣ-обѣда канарейка выпорхнула въ открытое окно, мгновенно появилось стадо воронъ, передовая ворона въ нашихъ глазахъ схватила канарейку и унеслась. Слабый пискъ послышался въ воздухѣ; я упала на землю, заливаясь слезами. Долго эта тяжелая сцена возмущала мои удовольствія. Чтобы развлечь меня, дядя отдалъ въ мое распоряженіе шкапъ, наполненный книгами съ самыми заманчивыми названіями. Послѣ продолжительной переборки, я остановилась на «Целинѣ или дитя тайны», и пока не узнала этой тайны окончательно, не оставляла книги ни днемъ, ни ночью; узнавши, перешла къ «Мальчику у ручья», отъ него къ «Ишенькѣ и Жеоржетѣ»... Нѣсколько времени я отказывалась отъ игръ и прогулокъ — и читала все, что попадалось подъ руку — отъ Ратклифъ до письмовника Курганова.

Иногда дядя, окончивши занятія по хозяйству, раз-

сказывалъ намъ о своей военной жизни, о сраженіяхъ, въ которыхъ участвовалъ, объ аустерлицкой битвѣ, гдѣ съ своей батареей былъ оставленъ прикрывать отступление нашихъ войскъ, какъ всѣ они легли на мѣстѣ и какъ онъ, израненный, былъ спасенъ мародерами. За аустерлицкую битву дядя получилъ Георгія и высоко цѣнили этотъ знакъ отличія, вполне имъ заслуженный.

Временами дядя читалъ намъ отрывки изъ дневника Алексѣя Петровича Ермолова, писаннаго имъ въ юности, который Алексѣй Петровичъ оставилъ ему на память \*); рассказывалъ, какъ они служили вмѣстѣ въ конной артиллеріи, жили на одной квартирѣ, спали въ одной комнатѣ.

Черезъ двѣ недѣли, прожитыя сверхъ срока, дядя самъ отвезъ меня въ Москву и представилъ въ пансіонъ.

Опять я въ классѣ, опять по воскресеньямъ у княгини и у Яковлевыхъ. Больше всѣхъ мнѣ обрадовался Саша. Онъ прожилъ все лѣто въ Москвѣ, одиноко, въ скукѣ. При первомъ свиданьи, Саша рассказалъ мнѣ, какъ онъ былъ встревоженъ, услыхавши, что и его, такъ же, какъ и меня, хотятъ отдать въ пансіонъ, что, боясь пансіона, онъ долго просыпался по ночамъ отъ страха и плакалъ. «Теперь,—говорилъ онъ:—все это кончено; рѣшено учить меня дома. Учителя уже ходятъ ко мнѣ—французъ Бушо изъ Меца, учить по-французски, а нѣмецъ изъ Сарепты—Иванъ Ивановичъ Экъ—по-нѣмецки».

Вскорѣ я увидала обоихъ учителей. Бушо былъ точно таковъ, какъ описалъ его Саша. «Мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, кромѣ двухъ-трехъ пасмъ волосъ, безконечной длины на вискахъ. Важность отпечатлѣвалась не только въ каждомъ поступкѣ его, но и въ каждомъ движеніи. Онъ кланялся ногами, улыбался одной нижней губой, голова его никогда не гнулась; ко всему этому французская фізіономія конца прошлаго вѣка, съ огромнымъ носомъ, нависшими бро-

---

\*) Дневникъ Алексѣя Петровича Ермолова взяла на время у дяди мачеха моя Лизавета Михайловна Кучина, да такъ и не возвратила. По кончинѣ ея — дневникъ не нашелся. Если онъ гдѣ окажется, просимъ покорно сообщить объ этомъ въ редакцію «Русской Старины». Рукопись эта достояніе дѣтей, оставшихся послѣ Александра Ивановича Кучина.

вами, одна изъ тѣхъ фizioномій, которая можно видѣть на хорошихъ гравюрахъ, представляющихъ народныя сцены временъ федераціи. Бушо уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи, и припоминая теперь его слова и лицо, можно думать, что *citoyen Bouchot* не былъ празднымъ ни при взятіи Бастиліи, ни 10-го августа. Онъ обо всемъ говорилъ съ пренебреженіемъ, кромѣ Меца и тамошней соборной церкви. О революціи онъ почти никогда не говорилъ, но какъ-то грозно улыбался. Разъ Саша спросилъ его, за что французы казнили Людовика XVI; онъ коротко отвѣчалъ: *«parce qu'il a été traître à la patrie»*. Холостой, серьезный, важный, онъ не тратилъ съ Сашей словъ, спрягалъ глаголы, диктовалъ изъ *«Les Incas de Marmontel»*, разставлялъ *accent grave et aigu*, отвѣчалъ на поляхъ, сколько ошибокъ, бранился и уходилъ, опираясь на огромную суковатую палку».

Саша учился неохотно, невнимательно; его лѣнь и разсѣянность были такъ велики, что приводили въ изумленіе самого Бушо. Увѣщанія, просьбы, брань—ничто не дѣйствовало. Бушо предложилъ попробовать, не подѣйствуетъ ли затронутое самолюбіе. Для этого опыта избрали меня. Передъ началомъ урока, Бушо, обратясь ко мнѣ, сказалъ: *«Voulez-vous partager nos leçons, m-lle Toïnon?»* почему-то Бушо всегда называлъ меня *Toïnon*; я помѣстилась вмѣстѣ съ Сашей за большой столъ, выкрашенный въ темно-голубую краску. Урокъ начался чтеніемъ. Саша читалъ вяло, пропускалъ слова, не договаривалъ, вертѣлся на стулѣ, бросалъ на меня лукавыя взгляды и улыбки, нимало не трогаясь досадою Бушо. Послѣ чтенія мы писали подъ диктантъ, дѣлали анализъ, спрягали глаголы. Бушо хвалилъ меня, саркастически посматривая на Сашу, который, ничего не замѣчая, внимательно слушалъ мои отвѣты, и когда урокъ окончился, выразилъ чрезмѣрную радость. Онъ вообразилъ, что Бушо хотѣлъ меня срѣзать, да не удалось.

Участіе мое въ урокахъ Саши оказало пользу, только не въ томъ смыслѣ, какъ предполагали; ему надобень былъ товарищъ, который раздѣлялъ бы съ нимъ занятія и помогалъ нести бремя склоненій и спряженій, а не соученикъ, возбуждающій соревнованіе. Саша былъ не завистливъ.

Иванъ Алексѣевичъ, замѣчая, что Саша вмѣстѣ со мною учится охотнѣе, нерѣдко, взявши меня на праздникъ, оставлялъ у себя по недѣлѣ. Мнѣ это не вредило.

Саша зналъ уже нѣсколько по-французски изъ разговоровъ съ отцомъ и сенаторомъ. По-нѣмецки онъ говорилъ съ дѣтства съ матерью, т-те Прово и Кало; всѣ они плохо знали по-русски и между собою объяснялись на нѣмецкомъ языкѣ. Посѣщали Луизу Ивановну также только нѣмцы. Помню я какую-то Амалію, высокую, худую, родственницу т-те Прово, и молодого Гезеля изъ аптеки, казавшагося намъ отчаяннымъ и очень ученымъ. Гезель принесъ однажды Сашѣ комедіи Коцебу на русскомъ языкѣ и картинку, на которой представленъ былъ юноша съ длинными волосами; при этомъ разсказалъ, что юношу зовутъ Карлъ Зандъ, что онъ убилъ кинжаломъ почтеннаго сочинителя комедій Коцебу, а юношѣ за это отрубили голову. Картинку повѣсили въ комнатѣ Луизы Ивановны надъ умывальнымъ столикомъ. Саша мнѣ показалъ ее и разсказалъ всю исторію. Комедіи Коцебу мы читали вмѣстѣ, нѣкоторые обливали слезами и дивились, за что это Зандъ убилъ такого хорошаго сочинителя.

Мелькомъ слышали мы что-то о заговорѣ, о брошенномъ жребіи, выпавшемъ на долю Занда; стало-быть, онъ не по своей волѣ убилъ Коцебу, и не могли рѣшить, кого изъ нихъ надобно жалѣть. Впослѣдствіи «Кинжалъ» Пушкина вывелъ изъ этого затрудненія, и Саша растроганнымъ голосомъ читалъ на память всѣмъ, кто только хотѣлъ его слушать:

«Лемносскій Богъ тебя сковалъ» и проч.

«Иванъ Ивановичъ Экъ, по преимуществу учитель музыки, такъ же высокъ ростомъ, какъ и Бушо, — говорилъ о немъ Саша: — но такъ тонокъ и гибокъ, что походить на развернутый англійскій футъ, который на каждомъ дюймѣ гнется въ обѣ стороны. Фракъ у него былъ сѣренькій, съ перламутровыми пуговицами, панталоны черныя, какой-то неопредѣленной, допотопной матеріи; онъ смиренно прятался въ сапоги съ кисточками; ихъ выписывалъ Экъ изъ Сарепты. Это было одно изъ тѣхъ тихихъ, кроткихъ нѣмецкихъ существъ,

исполненных простоты сердечной, кротости и смиренія, которые, неузнанныя никѣмъ и счастливыя въ своемъ маленькомъ кружечкѣ, живутъ, любятъ другъ друга, играютъ на фортепіано и умираютъ такъ, какъ жили. Это лицо изъ реформациі, изъ временъ пуританизма во всей его чистотѣ».

Иванъ Ивановичъ занимался не столько нѣмецкой грамматикой съ Сашей, сколько съ Егоромъ Ивановичемъ уроками на фортепіано. Музыка была для Егора Ивановича наслажденіемъ и отдыхомъ отъ непрерывныхъ оскорбленій и огорченій отъ отца, ничѣмъ незаслуженныхъ. По врожденной способности онъ дѣлалъ большіе успѣхи въ игрѣ на фортепіано, несмотря на то, что Иванъ Ивановичъ, повидимому, и самъ былъ недалеко въ музыкѣ, что можно было заключить изъ слѣдующаго случая: однажды Егоръ Ивановичъ, разыгрывая экзерсиціи Краммера, затруднился; Иванъ Ивановичъ предложилъ ему играть въ одну руку, а самъ сталъ играть другую; дѣло и такъ не шло на ладъ. Тогда Иванъ Ивановичъ сказалъ: «das können wir nicht alle beide» и отложилъ ноты.

Въ то время, какъ на Сашу было обращено постоянное вниманіе, Егоръ Ивановичъ оставался забытымъ. Но, несмотря на явное предпочтеніе себѣ меньшого брата, онъ всегда искренно любилъ его; съ своей стороны Саша во всю свою жизнь сохранилъ къ нему уваженіе и дружескія чувства, какія только были возможны при различіи возраста, характера, образованности и цѣлей.

При всемъ попеченіи объ образованіи Саши, развитіе религіознаго чувства не входило и не могло войти въ кругъ его воспитанія. Иванъ Алексѣевичъ смотрѣлъ на религію не такъ, какъ на врожденную потребность человѣческаго духа, а какъ на необходимую принадлежность каждаго образованнаго человѣка и требовалъ только соблюденія обрядовъ. По праздникамъ онъ посылалъ насъ къ обѣдни; на Страстной недѣлѣ заставлялъ ѣсть постное и говѣть. Въ ребячествѣ Саша со страхомъ шелъ къ исповѣди; причастившись, начиналъ нетерпѣливо ждать Свѣтлаго Воскресенья; дождавшись, обѣдался красными яйцами, пасхами и куличами. Надъ кроваткой Саши висѣлъ образокъ, передъ кото-

рымъ его упрасивали утромъ и вечеромъ помолиться. Онъ машинально крестился, зѣвалъ, озираясь во всѣ стороны, читалъ молитвы, и: «помилуй, Господи, папеньку, маменьку, меня, младенца Александра», часто, не договоривши послѣдняго слова, убѣгалъ. «Въ религіи,—говаривалъ Иванъ Алексѣевичъ Сашѣ, когда тотъ начиналъ задаваться вопросами:—разсуждать нечего, а надобно вѣрить и исповѣдать то, что предписываетъ та религія, въ которой родился». Но, несмотря на это разсужденіе, самъ плохо исполнялъ уставы своей церкви, ссылаясь на слабое здоровье. Нерѣдко, когда священникъ приходилъ съ крестомъ въ Рождество или въ Свѣтлое Воскресенье, онъ высылалъ пять рублей, съ извиненіемъ, что не можетъ принять его, такъ какъ попы наносятъ съ собою много холода, то онъ можетъ простудиться. Луизу Ивановну вовсе не занимали религіозные вопросы; она, не разсуждая, каждый годъ причащалась, напившись передъ причастіемъ кофе со сливками, къ великому соблазну Вѣры Артамоновны, да по праздникамъ ѣздила въ лютеранскую церковь, взявши съ собою Сашу и Егора Ивановича. Въ лютеранской церкви Саша приобрѣлъ искусство передразнивать. Пріѣхавши домой, ко всеобщему удовольствію, онъ весьма живо представлялъ пастора и его декламацию. Это искусство онъ удержалъ навсегда.

Остановиться на безжизненномъ формализмѣ Саша не могъ. Какъ только онъ раскрылъ Евангеліе, живое чувство въ немъ сказалось. Евангеліе онъ читалъ съ любовью, безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ искреннее, глубокое уваженіе къ читаемому. «Не помню, — говорилъ онъ: — чтобъ когда-нибудь я взялъ въ руки Евангеліе съ холоднымъ чувствомъ. Это проводило меня черезъ всю жизнь. Во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ, я возвращался къ чтенію Евангелія и всякій разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на мою душу». Ни ледяная атмосфера родительскаго дома въ этомъ отношеніи, ни вліяніе материалиста-химика, ни чтеніе классиковъ XVIII столѣтія, не могли загасить пробудившейся въ немъ святой искры религіознаго чувства; она разгоралась и рождала періоды пламенной вѣры и молитвы, переставши освѣщать и согрѣвать высшія области духа его, горячо про-

являлась въ дружбѣ, въ любви, въ наукѣ, въ человѣчности.

Онъ хотѣлъ вѣрить и искалъ истины.

Въ этотъ годъ, въ февралѣ мѣсяцѣ, пріѣхала въ Москву моя мать и, по обыкновенію, остановилась у княгини. Никогда она не была ко мнѣ такъ нѣжна, какъ въ это время. Продержавши меня у себя нѣсколько дней, она отвезла меня въ пансіонъ, прощалась, перекрестила и сказала, чтобы я не плакала, что черезъ недѣлю она опять за мною пріѣдетъ. Черезъ недѣлю ее не было уже на свѣтѣ. Отъ меня скрыли какъ болѣзнь ея, такъ и кончину. Мать мою похоронили въ Донскомъ монастырѣ. Когда все было кончено, двоюродная сестра моего отца Александра Андреевна Рагозина взяла меня къ себѣ и, послѣ небольшого вступленія, сказала:

«Что дѣлать, Танечка, воля Божья—ты сирота, матери у тебя больше нѣтъ». — Я не заплакала. Я оцѣпенѣла.

Оцѣпенѣніе мое перетревожило всѣхъ; оно начало проходить, когда надѣли на меня трауръ. Я стала что-то соображать, понимать—и залилась слезами сироты.

Отецъ мой въ это время тайно проживалъ въ Москвѣ; случайно узнавши о болѣзни жены, прискакалъ къ княгинѣ за день до кончины моей матери. У гроба ея онъ плакалъ, рассказываясь въ сдѣланныхъ ей огорченіяхъ, и услыша, что мысль обо мнѣ тревожила ее до послѣдней минуты, клялся замѣнить мнѣ ее.

Мать моя скончалась въ домѣ княжны Анны Борисовны Мещерской. Какъ поражены и огорчены были всѣ, можно видѣть изъ прилагаемыхъ писемъ, писанныхъ въ Корчеву къ родной сестрѣ моей матери, Елизаветѣ Петровнѣ Смалланъ:

«Милая моя Лизанька!

Къ несчастію всѣхъ насъ предчувствіе твое оправдалось. Не нахожу за нужное терзать тебя подробностями, въ шестой день болѣзни, жестокой рожи на лицѣ, все свершилось 27-го числа. Петръ Ивановичъ сверхъ нашего ожиданія за сутки пріѣхалъ и очень чувствуетъ. Береги себя. Ты должна быть увѣрена внашей истинной



тебе привязанности, ты теперь у насъ одна кровь Петра Алексѣевича.....

Княгиня Марья Хованская.

«Любезная Лизанька!....

Что принадлежитъ до нашей потери, то она раздираетъ мое сердце. Ты знаешь сколько я ее любила и знаешь то, что и она ко мнѣ была привязана. Тебя сердечно жаль, знаю сколь для тебя убійствена эта потеря, но штожь делать, невозвратима. Береги себя для любящихъ тебя. Утѣшительно то, что всѣ пролили горькія слезы объ ней, кто ее зналъ, доказательство, что имѣла необыкновенное дарованіе нравиться, а она теперь покойна. Петръ Ивановичъ былъ очень горекъ, но со дня погребенія у насъ небыль, можетъ непростаясь уѣхать. Богъ съ нимъ, теперь Наташи милой нѣтъ, а мне хотелось поговорить снимъ о Танюшѣ. Ты спрашиваешь о векселѣ, не могу тебѣ утвердительно сказать, но думаю, что после матери детямъ. Неужели онъ не захочетъ переписать на имя Танечки. На всякой случай ты ему отсебя поговори. Прости милая.

Княгиня Марья Хованская.

«Милая Лиза!

Не знаю что представить тебѣ въ утѣшеніе въ первое время твоей чувствительной горькой потери, но ты столько же благоразумна сколько и христіанка, отъ рукъ его все съ покорностію примешь. Должно вѣрить, что онъ къ лучшему все устриваетъ. Вспомни, милый другъ, что ты имѣешь священную обязанность сохранить свое слабое здоровье для мужа и Танечки. Вспомни, что ты въ глазахъ нашихъ послѣдняя капля Петра Алексѣевича крови, и докажи что любишь насъ принявъ, совѣтъ истинныхъ друзей

Елизавета Голохвастова».

«И я тебе милая Лиза кланяюсь, береги мой другъ себя, ты у насъ осталась одна, конечно потеря сія велика, но што делать, Богу такъ угодно; она тамъ будетъ покойна; прости.

Княжна Анна Мещерская».

«Милый, безцѣнный другъ! Я на сей разъ ничего не могу тебѣ другого сказать, какъ береги себя для всѣхъ тѣхъ, кому ты очень дорога, а паче всѣхъ для Танечки, которая теперь въ тебѣ имѣетъ мать и наставницу. Прощай мой другъ, ни силъ, ни ума нѣтъ болѣе писать, ты это сама можешь представить какъ мнѣ тошно и грустно.

Танечка слава Богу здорова и по ребячеству еще не можетъ въ полной силѣ чувствовать свою потерю. Все ее занимаетъ и утѣшаетъ. Еще разъ прости, тебя мысленно друга моего обнимаю. Богомъ тебя прошу береги себя.

Княжна Катерина Хованская».

«Ma très chère et aimable amie!..

Я не могу мыслей собрать до сихъ поръ, и писать не могу—бѣдная наша Танечка уже отъ насъ отдалена и мы ее въ двѣ недѣли насилу добились видить и то на одинъ день. Богъ съ нимъ. Онъ другую жену наживетъ, и у бѣдной Танечки матери не будетъ. Надобно бы родныхъ и истинныхъ друзей ей находить или лучше сказать поддержать. Божественная Наталья Петровна умѣла ихъ найти себѣ и своей дочери, ему бы оставалось только ей приказать исполнить приказанія родительницы нѣжной, чтобъ во всѣхъ искала. Мнѣ ее смертельно жаль, я ее люблю какъ родную сестру, и счастливой бы себя считала если бы на что-нибудь могла ей быть полезной, и тѣмъ доказать праху Натальѣ Петровны мою къ ней привязанность и любовь. ...Прости ta fidelle amie.

Princesse Catherine Havansky».

Подъ однимъ изъ писемъ княгини находятся три строчки, вкривъ и вкось написанныя отъ меня, подписанныя—Темира.

Вексель, о которомъ говорится въ письмѣ княгини, былъ данъ отцомъ моимъ женѣ своей во взятыхъ имъ у нея нѣсколькихъ тысячахъ рублей серебромъ. Уѣзжая въ Москву, мать моя оставила этотъ вексель на сохраненіе своей сестрѣ. Какъ предполагала княгиня, такъ и сбылось. Отецъ мой уѣхалъ изъ Москвы, не про-

стившись съ ними. Въ Корчевѣ, узнавши, что вексель его находится у тетушки, просилъ ее отдать его ему. Она не согласилась. Вслѣдствіе чего у нихъ вышли большія непріятности,—и тетушка принуждена была вексель ему выдать.

Въ Корчевѣ отецъ зажилъ шумной, веселой жизнью холостого человѣка. Свобода ему пришлась по душѣ, что онъ отказался жениться на дѣвушкѣ, которой былъ увлеченъ еще при женѣ и далъ ей слово.

Домъ его съ утра до ночи былъ наполненъ уланами, квартировавшими тогда въ Корчевѣ и ея окрестностяхъ. Въ домъ его шла огромная карточная игра, въ ночь тысячи выигрывались и проигрывались ни по чемъ. Полковая музыка гремѣла; на роскошное угощеніе ничего не шадилось.

Одинъ изъ уланскихъ офицеровъ — Анненковъ, въ домъ у моего отца написалъ довольно недурно шуточные стихи на Корчеву, въ которыхъ очертилъ всѣхъ болѣе или менѣе извѣстныхъ жителей города и уѣзда.

Объ отцѣ моемъ онъ сказалъ:

«Вотъ Кучинъ новый ловелазъ,  
Опаснѣйшій прелестникъ женскій,  
И въ городѣ, и въ жизни сельской  
Онъ всѣхъ плѣняетъ, какъ фолазъ.  
Вздыхаетъ очень онъ искусно,  
Пить и кормить всѣхъ превкусно,  
Всещедрая его рука!  
Пей, ѣшь, мой другъ, и веселися.

. . . . .

Отецъ мой былъ въ восторгѣ отъ стиховъ Анненкова, обнялъ и расцѣловалъ его.

Когда я явилась въ пансіонъ въ глубокомъ траурѣ, начальницы и воспитанницы встрѣтили меня съ сердечнымъ участіемъ. Одна изъ воспитанницъ подарила мнѣ переведенныя на русскій языкъ «Сказки дочери моей»: хотя голова моя была набита комедіями и удольфскими замками, я, не отрываясь, читала эти сказки. Несмотря на ихъ мѣстами конфетную мораль, онѣ въ простыхъ увлекательныхъ дѣтскихъ разсказахъ открыли мнѣ нравственный міръ и возбудили намѣреніе подражать хорошимъ примѣрамъ.

У княгини и у Яковлевыхъ встрѣтили меня со сле-

зами и вездѣ съ какимъ-то почетомъ. Я не понимала тогда, что этотъ почетъ былъ несчастію—и удивлялась, за что это всѣ меня такъ уважаютъ. Вдругъ мнѣ показалось, что мнѣ очень весело и я сама люблю всѣхъ больше прежняго. Одинъ Саша былъ со мной холоденъ и какъ-то дико смотрѣлъ на меня, одѣтую въ черное платье, обшитое бѣлымъ батистомъ, долго не говорилъ со мною ни слова, не подходилъ ко мнѣ и не звалъ играть или читать вмѣстѣ, какъ бывало.

Весной Яковлевы рѣшили раздѣлиться. Отъ тройного управленія, основаннаго на дѣйствіи въ переборъ другъ другу, страдало какъ хозяйство, такъ и крестьяне. Сенаторъ и Иванъ Алексѣевичъ ѣздили къ старшему братцу для переговоровъ. Старшій братецъ общался къ нимъ пріѣхать для окончанія дѣла. Всѣ въ домѣ боялись этого братца и ждали съ волненіемъ. Саша, какъ и всѣ, боялся его и желалъ видѣть.

Въ назначенный день пригласили къ засѣданію Дмитрія Павловича Голохвастова и Андрея Ивановича Ключарева, чиновника, завѣдывавшаго дѣлами Яковлевыхъ. Всѣ сидѣли молча, когда официантъ доложилъ, что братецъ изволилъ пожаловать. Сенаторъ и Иванъ Алексѣевичъ встали и пошли ему навстрѣчу. Саша вышелъ въ другую комнату и остановился у двери, чтобы посмотрѣть на ужаснаго братца. Братецъ тихо подвигался впередъ, держа передъ собой образъ, и едва только онъ началъ патетическую рѣчь, какъ Иванъ Алексѣевичъ прервалъ ее холоднымъ замѣчаніемъ. Братецъ закричалъ и бросилъ образъ, сенаторъ закричалъ еще ужаснѣе. Саша опрометью бросился наверхъ. Вся прислуга по-пряталась по угламъ.

Что было и какъ было послѣ—неизвѣстно, но шумъ затихъ и раздѣлъ былъ совершенъ. Братецъ остался обѣдать, послѣ обѣда отдыхалъ и провелъ весь вечеръ у братьевъ.

Ивану Алексѣевичу досталось село Васильевское съ деревнями; сенатору—Новоселье съ Уходовымъ, Александру Алексѣевичу—Перхушково, подѣ Москвой.

Лѣтомъ Иванъ Алексѣевичъ съ семействомъ уѣхалъ въ Васильевское. Саша писалъ мнѣ изъ деревни. Это была наша первая переписка. Его поощряли къ перепискѣ со мною, въ виду его пользы. Къ сожалѣнію,

письма эти, со множеством другихъ, писанныхъ Сашей въ разныя времена и подъ разными впечатлѣніями, сожжены въ то время, какъ его арестовали. Нѣкоторыя изъ нихъ я переписала, отрывками, въ переплетенную тетрадь бѣлой бумаги, подаренную мнѣ имъ же съ надписью: «не для вздорныхъ статей».

Дѣтскія письма Саши мы часто, смѣясь, перечитывали съ нимъ и съ Вадимомъ Пассекомъ.

Первое письмо я получила изъ подмосковнаго села Покровскаго, принадлежавшаго сенатору. По пути въ Васильевское, Иванъ Алексѣевичъ въ немъ остановился и отдыхалъ тамъ двѣ недѣли.

...«Покровское,—писалъ мнѣ Саша:—стоитъ среди дремучаго лѣса; деревья въ немъ такъ часты и высоки, что, пройдя нѣсколько шаговъ, не знаешь, куда выйдешь. Въ лѣсу этомъ живетъ много волковъ; лѣсъ такъ близко подходитъ къ дому, что я хожу туда съ книгой, ложусь подъ дерево и читаю; волки бѣгаютъ мимо меня. Я остаюсь въ лѣсу до тѣхъ поръ, пока Вѣра Артамоновна позоветъ меня въ комнаты»...

....«Мы помѣстились въ старомъ, полуразвалившемся домѣ,—писалъ онъ, по пріѣздѣ въ Васильевское.—Подлѣ него дикій, запущенный садъ, дорожки въ немъ заросли лопушникомъ и крапивою, вершины березъ покрыты вороньими гнѣздами; вечерами онъ съ крикомъ прилетаютъ въ садъ и садятся на деревья. У насъ въ саду много крупной клубники; садовникъ кормитъ меня клубникой, когда прихожу къ нему смотрѣть, какъ онъ тронитъ мятную и розовую воду»....

....«Левка принесъ мнѣ зайца, — сообщилъ Саша въ одномъ изъ писемъ:—я помѣстилъ его въ чуланъ, подлѣ моей комнаты, самъ кормлю его хлѣбомъ, капустой и молокомъ». Послѣ зайца описана была бѣлка, какъ она, сидя въ клѣткѣ, бѣгаетъ по колесу, или, сѣвши на заднія лапки, покрывается пушистымъ хвостомъ. За бѣлкой слѣдовало извѣстіе о фальконетѣ. По пріѣздѣ въ Васильевское, Иванъ Алексѣевичъ подарилъ Сашѣ маленькій фальконетъ и позволилъ каждый вечеръ одинъ разъ изъ него выстрѣлить съ плотины, пролегающей черезъ Москву-рѣку, въ присутствіи Луизы Ивановны и многочисленной прислуги. Впослѣдствіи этотъ фальконетъ разорвало у Саши на рукавъ, не сдѣлавши ему

никакого вреда, кромѣ испуга. «Утрами,—писалъ онъ:—я играю на солнцѣ у рѣки, на площадкѣ бѣлаго песка, поросшаго подлѣ воды высокими тростникомъ, и въ длинной ивовой аллеѣ, идущей по берегу. Смотрю, какъ купаются деревенскіе ребята, плаваютъ въ лодкѣ, рыбаки ловятъ рыбу, которую мы у нихъ покупаемъ. Мнѣ самому хочется покупаться, поплавать въ лодкѣ и рыбу половить, паленъка не позволяетъ».

Иванъ Алексѣевичъ съ семействомъ прожилъ въ Васильевскомъ до осени.

Вакацію я провела у княгини въ Москвѣ.

Въ это лѣто княгиня часто ѣздила за городъ—и меня брала съ собою. Мы были въ Кунцовѣ, Разумовскомъ, Кусковѣ, въ Касинѣ купались въ Святомъ озерѣ, въ Останкинѣ, Царицынѣ, Нескучномъ, Архангельскомъ. Гуляли въ ихъ обширныхъ садахъ, осматривали покинутыя палаты прежнихъ аристократовъ. На всемъ лежала печать роскоши, широкаго размаха. Видно было, владѣльцамъ и въ мысль не приходило, что источники ихъ дохода могутъ изсякнуть,—а, между тѣмъ, они изсякла и большая часть богатыхъ имѣній съ ихъ великолѣпными дворцами такъ же, какъ и многіе пышные дома въ столицахъ, перешли въ руки разбогатѣвшихъ мѣщанъ. Поколѣніе, прошедшее инымъ путемъ, усвоило себѣ не тѣ размѣры, не тѣ планы, въ которыхъ привольно. Инстинктивно—умалается величина комнатъ и увеличивается ихъ число. Уменьшаются окна, понижается потолокъ въ виду выгодъ и барыша. За экономію свѣта и пространства—украшается фасадъ, разбивается передъ домомъ цвѣтникъ, устраивается фонтанъ,—наказаніе постояльцамъ и собакамъ.

Передъ внутренними комнатами флигеля княгини былъ небольшой садикъ изъ густыхъ кустарниковъ малины, бѣлой, красной и черной смородины, разсаженныхъ аллеями. Оставаясь дома, большую часть времени я проводила въ этихъ кустахъ, брала книгу и скамеечку, садилась гдѣ было больше ягодъ и читала тамъ. Въ день моего рожденія князь подарилъ мнѣ нѣсколько томовъ «Образцовыхъ сочиненій». Они возбудили во мнѣ страсть къ стихамъ и декламации. Забившись въ кусты, я декламировала баллады Жуковского, оду «Богъ» Державина, басни Крылова, Вѣтрану, Альнаскарa и проч.,

вполовину понимая, вполовину не понимая, беспощадно заѣдая стихи ягодами. Память у меня была прекрасная; прочитавши нѣсколько разъ то, что мнѣ нравилось, я безъ ошибки говорила наизусть. Когда, вечерами, собирались къ княжнамъ молодые Голохвастовы и ихъ двѣ подруги Сытины,—то нерѣдко заставляли меня говорить стихи. Въ моей декламациі находили огонь и чувство, меня хвалили, мной восхищались, это мнѣ нравилось и поощряло къ продолженію моихъ поэтическихъ упражненій; въ головѣ моей только и вертѣлось что стихи; наконецъ, увлеченье мое дошло до того, что разъ, увидавши въ окно полный мѣсяцъ, я забыла о присутствующихъ и заговорила во всеуслышаніе:

На темно-голубомъ зеніѣ  
Златая плавала луна и пр.

Это показалось всѣмъ до того забавнымъ, что меня осыпали похвалами. Съ этого вечера у меня на каждый случай были готовы стихи. Я съ трудомъ оставила эту привычку.

Въ концѣ лѣта княжна Катерина вышла замужъ за полковника Вепрейскаго и уѣхала съ нимъ въ его брянское имѣніе. Съ нею отлетѣло много теплаго, оживляющаго изъ дома княгини.

По возвращеніи Ивана Алексѣевича изъ Васильевского, занятія Саши возобновились; но сухое ученье стало отталкивать его еще больше послѣ сближенія съ живою природою. Сверхъ того, вся атмосфера ихъ дома была тяжела для энергичнаго мальчика. Ненужныя, строптивыя заботы о здоровьѣ надоедали. Товарищей не было, разсѣяній никакихъ. Передняя и дѣвчья сдѣлались для него единственными живыми удовольствіями. Тамъ онъ судилъ, рядилъ и зналъ всѣ секреты. Близкое соприкосновеніе съ прислугой усилило въ немъ ненависть къ рабству и произволу.

Сверхъ передней и дѣвчьею Саша нашелъ исходъ своей скуки въ книгахъ. Въ нижнемъ этажѣ ихъ дома была сложена бібліотека изъ книгъ, большей частью прошедшаго столѣтія. Книги грудami валялись по полу. Сашѣ позволили рыться въ нихъ, сколько хотѣлъ, лишь бы былъ занятъ и сидѣлъ на мѣстѣ. Первый прочтенный имъ романъ: «Лолота и Фанфанъ» привелъ его въ восторгъ. Съ легкой руки «Лолоты» онъ пустился чи-

татъ безъ отдыха, безъ устали романы, путешествія, исторію, репертуаръ театра томовъ въ 50. Разъ двадцать перечиталъ свою любимую пьесу «Свадьбу Фигаро». Подъ вліяніемъ Фигаро влюбился въ восемнадцатилѣтнюю красавицу-брюнетку, дочь одного изъ пріятелей Ивана Алексѣевича. Когда она входила въ комнату, онъ краснѣлъ и не смѣлъ подходить къ ней. Прочитавши все, что находилъ по вкусу въ заброшенной бібліотекѣ, началъ доставать черезъ провизора изъ аптеки французскіе романы. И читая ихъ, послѣдовательно переселился въ различныхъ героевъ.

Вскорѣ наслажденіемъ Саши сдѣлался театръ. Въ то время театръ находился у Арбатскихъ воротъ, въ домѣ Апраксина,—недалеко отъ нихъ, поэтому Иванъ Алексѣевичъ отпускалъ его иногда въ театръ со Львомъ Алексѣвичемъ, только, къ огорченію Саши, сенаторъ, всегда куда-нибудь торопившійся, увозилъ его домой до окончанія пьесы.

Страсть къ чтенію у Саши росла съ лѣтами, чтеніе скорѣе всѣхъ уроковъ развило въ немъ врожденную способность къ языкамъ—и познакомило съ общимъ образованіемъ своего вѣка. Это было для него очень важно, и какъ для будущаго писателя, доставивши обладаніе авторскимъ слогомъ, и какъ для человѣка, раскрывая передъ нимъ условія нравственнаго міра. Чтеніе, развивая его, спасало чистоту души его, предохраняло отъ порочныхъ увлеченій, отъ пустоты, отъ безсердечныхъ прихотей и возбуждало негодованіе противъ неравномѣрнаго распредѣленія общественнаго быта. Послѣднему много способствовала и исключительность его семейнаго положенія.

Сашѣ было около двѣнадцати лѣтъ, когда онъ случайно узналъ и понялъ объ отношеніяхъ своихъ родителей, что прежде туманно мелькало въ разговорѣ нянекъ и прислуги, не останавливая его вниманія.

Разъ онъ слышалъ, какъ Алексѣй Николаевичъ Бахметевъ и Петръ Кирилловичъ Эссенъ, разговаривая о немъ съ Иваномъ Алексѣвичемъ, называли его положеніе ложнымъ и совѣтовали записать его въ военную службу, чтобы скорѣе вывести въ люди, обѣщая свое содѣйствіе. Иванъ Алексѣевичъ на это возразилъ, что хочетъ открыть ему дипломатическую карьеру. — «Да



развѣ изъ военныхъ не выходить люди достойные,—вотъ хоть бы и мы съ тобой»,—говорили они.

— Это такъ,—отвѣчалъ Иванъ Алексѣевичъ:—да я разлюбилъ все военное.

Грустно рассказывалъ мнѣ Саша о своемъ открытіи и возмущался тѣмъ, что онъ и мать его стоять въ ложномъ общественномъ положеніи.

«Ну, если такъ,—говорилъ онъ со слезами на глазахъ:—значить я не завишу ни отъ отца, ни отъ общества,—значить я свободенъ».

Съ этого времени Саша сталъ къ отцу холоднѣе и, несмотря на то, что родные и знакомые Ивана Алексѣевича были къ нему внимательны, какъ бы и къ законному сыну, онъ чувствовалъ себя чуждымъ въ томъ кругу, въ которомъ былъ поставленъ не по праву, а по обстоятельствамъ.

Когда же Иванъ Алексѣевичъ началъ капризно ограничивать и сдерживать его, Саша, привыкнувши ничѣмъ не стѣсняться и выполнять свою волю—сталъ отъ него отдаляться. Впослѣдствіи у него проявились съ отцомъ разногласія во взглядахъ и убѣжденіяхъ, и хотя убѣжденія Ивана Алексѣевича оправдывались на дѣлѣ, стремленія даровитаго отрока при каждомъ удобномъ случаѣ выступали свѣжо и полно жизни.

Отклонившись отъ круга аристократическаго, Саша приблизился къ народу,—сталъ сочувствовать всему лишенному какихъ бы ни было правъ и ставить въ укоръ высшему кругу преимущества, которыми онъ пользовался исключительно.

Настроеніе это поддерживалось въ немъ ропотомъ прислуги, деспотизмомъ отца, картиной печальнаго положенія крестьянъ, которое онъ видалъ во время своего лѣтняго пребыванія въ деревнѣ. Злоупотребленія приказчиковъ, управляющихъ, конторщиковъ, доводили его чуть не до обморока; обращаясь къ отцу, онъ настоятельно просилъ, чтобы всѣ злоупотребленія были уничтожены.

Каждый годъ, къ масленицѣ, пріѣзжали въ Москву съ оброкомъ крестьяне Ивана Алексѣевича изъ его керенскаго имѣнья. Оброкъ они платили не деньгами, а натурой. Съ огромнымъ обозомъ муки, крупы, масла, мерзлыхъ свиней, поросятъ, гусей и проч. живности яв-

лялись они на барскій дворъ. Шкунъ, крестьянинъ Ивана Алексѣевича—на оброкъ, которому поручалось дѣлать закупки для дома и ревизовать имѣнья, назначался для ревизіи и приѣма керенскихъ съѣстныхъ запасовъ, вмѣстѣ съ писаремъ Епифаньчемъ. Саша, слыша, что Шкунъ при приѣмѣ беретъ съ крестьянъ взятки, самъ являлся стеречь сдачу провизіи и говорилъ крестьянамъ, чтобы они ни Шкуну и никому ничего не давали. Крестьяне ему кланялись, благодарили, а затѣмъ всѣ приказчики и вся дворня объѣдалась жареными гусями и поросятами. Когда керенскій староста, сдавши оброкъ, являлся къ Ивану Алексѣвичу и, дрожа отъ страха, останавливался у дверей въ ожиданіи квитанціи въ правильной сдачѣ obroka и барскихъ приказаній, Саша не выходилъ изъ комнаты отца въ продолженіе всей аудіенціи и съ тѣмъ же жаромъ, съ какимъ защищалъ отъ грабежа керенскую провизію, заступался за старосту, когда послѣ трехчасовой, доводящей до истомы, нотаціи, Иванъ Алексѣвичъ, выдавая квитанцію, за возможные случиться провинности грозился старостѣ обрить бороду; а староста, не помня себя отъ страха, кланялся ему въ ноги, умоляя о помилованіи.

Разсуждая о Шкунѣ, мы придумывали средства, какъ бы избавить отъ него и отъ подобныхъ ему чело-вѣчество, уничтожить всякое зло, несчастія, пороки, и радовались, представляя себѣ, какъ нашими стараніями общество достигаетъ нравственнаго и общественнаго совершенства—блаженствуетъ, и насъ всѣ благодарятъ.

Вскорѣ послѣ раздѣла имѣній, Иванъ Алексѣвичъ купилъ домъ въ Москвѣ, въ Старой Конюшенной, въ приходѣ Власія, а сенаторъ купилъ себѣ домъ на Арбатѣ, куда и переселился съ грудной дочерью Софіей и малолѣтнимъ сыномъ, красивымъ, бѣлокурымъ ребенкомъ, Сережей, котораго всѣ называли Лелѣемъ, какъ онъ самъ себя прозвалъ \*). Съ сенаторомъ удалились Карлъ Ивановичъ Кало, вся прислуга сенатора и все, что разливалось жизнью въ домъ Ивана Алексѣевича. Домъ его принялъ характеръ угрюмый: повсюду распространилась тишина, подавленность, страхъ.

---

\*) Нынѣ знаменитый фотографъ С. Л. Левицкій.

Новый домъ Ивана Алексѣевича былъ каменный, двухъэтажный, онъ стоялъ глубоко въ пространномъ дворѣ и наружностью походилъ на фабрику или скорѣе на тюрьму. Окна вдавались глубоко въ его толстыя стѣны; въ нижнемъ этажѣ были съ желѣзными рѣшотками. Съ обѣихъ сторонъ дома раскидывались палисадники. Въ верхнемъ этажѣ длинная зала, выходившая окнами на двѣ противоположныя стороны, раздѣлялась поперекъ широкими ширмами. Узкая часть образовала родъ коридора, съ дверью въ переднюю. Въ широкой, подлѣ ширмъ, стоялъ диванъ, передъ нимъ круглый раздвижной столъ краснаго дерева; на немъ обѣдали, пили чай, вокругъ него собирались вечеромъ посѣтители. Изъ залы одна дверь вела въ небольшой кабинетъ Саши; тамъ онъ спалъ на широкомъ турецкомъ диванѣ, а днемъ, сидя на немъ передъ открытымъ ломбернымъ столомъ, бралъ уроки, читалъ, занимался. Корельской березы шкапъ съ книгами, три плетеные стула, парусинныя шторы на окнѣ составляли все убранство комнаты, въ которой прошли послѣдніе годы отрочества и первые годы юности Саши. Подъ окномъ его комнаты росъ тополь, такой высокій, что вѣтвями затѣнялъ часть окна. Рядомъ съ кабинетомъ Саши, въ крошечной комнаткѣ, помѣщались его электрическая и пневматическая машины, глобусъ небесный и земной, на стѣнахъ висѣли ландкарты, у окна стоялъ чиннымъ ножичкомъ; за этимъ столикомъ Саша иногда желтый столикъ, весь изрѣзанный и исчерченный пероучился съ избранными учителями, когда желалъ уйти съ глазъ Ивана Алексѣевича. Другая дверь изъ залы вела въ двѣ гостиныя и чайную. Нижній этажъ состоялъ изъ нѣсколькихъ комнатъ со сводами. Тамъ устроилась Луиза Ивановна, Егоръ Ивановичъ и женская прислуга. Наверху Иванъ Алексѣевичъ изъ большой гостиной сдѣлалъ себѣ спальную. Простая деревянная, некрашеная кровать его, покрытая бѣлымъ байковымъ одѣяломъ, стояла у средней стѣны между двухъ печей. Передъ ней ночной столикъ, на которомъ всегда лежали какіе-нибудь мемуары или лѣчебники и стоялъ стаканъ и графинъ съ водою. По обѣимъ концамъ комнаты на небольшихъ письменныхъ столикахъ лежали книги, бумаги, деревенскіе отчеты, стояло по бронзовому низень-

кому подсвѣчнику съ зелеными шелковыми зонтиками въ видѣ опахала и передъ столами по креслу. Иванъ Алексѣвичъ попеременно то за тѣмъ, то за другимъ столомъ занимался дѣлами или читалъ. Бѣльшею же частью онъ читалъ лежа на постели. Мебель, вещи, бумаги никогда не мѣняли мѣстъ своихъ. Книги съ за-мѣтками имѣли опредѣленные мѣста.

Жизнь въ домѣ Ивана Алексѣвича шла однообразно, какъ заведенные часы. Въ десятомъ часу утра камердинеръ увѣдомлялъ Вѣру Артамоновну, что баринъ всталъ; она отправлялась варить кофе. Узнавши, что кофе на столѣ, мы шли наверхъ, гдѣ Иванъ Алексѣвичъ передъ завтракомъ прохаживался вдоль анфилады комнатъ, куря коротенькую трубочку. Когда онъ былъ въ досадномъ расположеніи духа, то пробѣгалъ мимо насъ, будто не замѣчая; если же былъ въ обыкновенномъ состояніи, то, увидя насъ, останавливался. Мы поочередно подходили къ нему и прикладывались къ его обѣимъ щекамъ. Здороваясь, онъ называлъ Сашу Пушкинъ, а меня—«рындой», за бѣлую длинную блузу, которую я надѣвала по утрамъ. Отпивши вмѣстѣ кофе, большею частью въ молчаніи, мы спѣшили уйти внизъ, гдѣ, на свободѣ, смѣясь, толковали о капризахъ Ивана Алексѣвича, называя его за глаза Der Herr, — такъ деръ геромъ онъ и остался у насъ навсегда. Какъ только слышалось, что баринъ просыпался, передняя наполнялась прислугой, начинали чистить комнаты, прибирать, если была зима—топить печи, протирать окна, которыя наверху никогда не растворялись, кромѣ Сашиной комнаты. Иванъ Алексѣвичъ, отпивши кофе, уходилъ въ спальную, гдѣ слуга подавалъ ему грѣтыя газеты. Затѣмъ поваръ приносилъ Ивану Алексѣвичу въ рѣшетѣ показать купленную провизію и почти каждый разъ Иванъ Алексѣвичъ, посмотрѣвши на запискѣ цѣну, дивился дороговизнѣ.

Отпустивши повара, онъ начиналъ сводить счеты, писалъ въ деревню приказы, журилъ кого-нибудь, ссорился съ камердинеромъ. Иногда утромъ являлся Шкунъ — ему приказывалось что-нибудь посмотреть по газетамъ, или купить для дома: сыру, муромскихъ салыныхъ свѣчей, которыми освѣщался весь домъ, крымскихъ яблоковъ. Вечеромъ Иванъ Алексѣвичъ ходилъ около часа

вдоль комнатъ, иногда вмѣстѣ съ Сашей, когда же у нихъ бывала я, то мы всѣ трое врядъ, а за нами, случилось, шель Макбетъ — большая, бѣлая ньюфаундленская собака, подаренная Дмитріемъ Павловичемъ Голохвастовымъ.

Спустя нѣсколько лѣтъ Иванъ Алексѣевичъ купилъ еще два дома, въ связи съ тѣмъ, въ которомъ жилъ, и оба дома заперъ. Изъ опасенія пожара, ни одинъ домъ не отдавалъ вънаймы, несмотря на то, что всѣ были застрахованы.

Спустя нѣсколько времени по пріѣздѣ Ивана Алексѣевича изъ деревни, я замѣтила въ домѣ княгини, что родные часто сѣзжались, о чемъ-то таинственно толковали, шептались съ возгласами изумленія и были чѣмъ-то крайне озабочены. Больше всѣхъ горячился сенаторъ и часто произносилъ имя «Николаша». То же самое происходило и въ домѣ Ивана Алексѣевича; тамъ я узнала, что вся эта тревога отъ того, что меньшей сынъ Елизаветы Алексѣевны Голохвастовой влюбился въ небогатую, незнатную дѣвушку Елизавету Петровну Казначееву. Елизавета Алексѣевна, гордая своимъ знатнымъ происхожденіемъ и богатствомъ, была огорчена выборомъ сына и, видя, что всѣ ея резоны не дѣйствуютъ, просила родныхъ образумить его. За этимъ дѣло не стало. Всѣ родные принялись образумливать Николашу, совѣтовали бросить пустыя мечты и затѣи и не огорчать мать. Успѣхъ совѣтовъ вышелъ обратный. Николай Павловичъ, просивши нѣсколько разъ мать благословить его жениться, получая постоянный отказъ, рѣшилъ, что можно обойтись и безъ благословенія.

Въ одну прекрасную ночь, когда всѣ уснули крѣпкимъ первымъ сномъ, онъ тихонько вылѣзъ изъ окна флигеля, въ которомъ жилъ вмѣстѣ съ братомъ, пріѣхалъ къ ожидавшей его невѣстѣ и обвѣнчался.

Саша, рассказывая мнѣ это событіе, говорилъ: «Николай Павловичъ самъ себя увезъ». Утромъ, когда узнали о побѣгѣ Николая Павловича, весь домъ пришелъ въ ужасъ. Прислуга божилась, что ничего не знала. Елизавета Алексѣевна была такъ поражена, что слегла въ постель, съ которой и не вставала болѣе. Въ то время, какъ родные, собравшись, толковали, тужили, молодые подѣхали къ воротамъ, прося позволенія войти

къ матери. Имъ отказали. Въ продолженіе болѣзни Елизаветы Алексѣевны они каждый день подѣзжали къ воротамъ ея дома, спрашивали о ея здоровьѣ и просили ихъ принять. Передъ кончиною своею она приняла сына и благословила, жену же его видѣть не хотѣла.

Мы слышали отъ прислуги, что какъ въ домѣ Елизаветы Алексѣевны, такъ и въ домѣ княгини, вся прислуга знала, что Николай Павловичъ женится тайно, и помогала ему не только уйти, но даже заранѣе устроить квартиру и роскошно убрать всю цвѣтами и деревьями изъ оранжереи Елизаветы Алексѣевны. Садовникъ, ночами, перекидывалъ растенія черезъ заборъ сада Голохвастовыхъ, а нѣкоторые изъ прислуги ихъ принимали и отвозили на квартиру. Камердинеръ Николая Павловича подставилъ ему къ окну лѣстницу и проводилъ до экипажа.

Въ продолженіе этого года меня перемѣстили изъ пансіона Данквартъ въ пансіонъ m-lle Воше. Мы слышали, что она, будучи еще очень молодой, эмигрировала изъ Франціи во время революціи 1790 годовъ вмѣстѣ съ аббатомъ Мальэромъ и вмѣстѣ открыли пансіонъ для дѣвицъ въ Варшавѣ, въ которомъ воспитывалась будущая супруга великаго князя Константина Павловича—княгиня Ловичъ. Потомъ переѣхали въ Москву; аббатъ Мальэръ устроился при католической церкви, а m-lle Воше открыла пансіонъ. Когда я поступила въ пансіонъ m-lle Воше, тамъ было не больше 25-ти дѣвочекъ, получившихъ почти домашнее воспитаніе. Аббатъ Мальэръ, старый, добродушный, каждый день приходилъ въ пансіонъ къ обѣду и оставался до поздняго вечера. Дѣти съ восторгомъ встрѣчали его и обнимали. Отличившихся онъ исключительно ласкалъ, провинившимся спрашивалъ прощеніе и интересовался нашими занятіями. Изъ учителей у насъ былъ только священникъ, учитель русскаго языка Лучковъ и танцмейстеръ П. И. Иогель. Остальные предметы наукъ преподавала сама m-lle Воше все на французскомъ языкѣ.

Послѣ древней исторіи она начинала намъ исторію Франціи. И въ противоположность Бушо, бывало, глубоко растроганнымъ голосомъ говорила о несчастномъ королѣ Людовикѣ XVI и Маріи Антуанеттѣ, объ ихъ

страданіяхъ и казни и съ ужасомъ о террорѣ. У аббата Мальерба я выучилась пѣть: «O Richard! oh mon roi», и пѣсню изъ дезертира «peut on affliger se qu'on aime», которыя игралъ оркестръ на знаменитомъ праздникѣ, данномъ гвардіей въ залѣ версальскаго театра, когда вошли въ нее король, королева и дофинъ.



## ГЛАВА IX.

### Выходъ изъ пансіона.

1824—1825.

И вспомнила . . . . .

Про безконечное стремленье

И юной мысли пробужденье.

Въ маѣ пріѣхала въ Москву сестра моего отца—Прасковья Ивановна, чтобы взять меня изъ пансіона и отвезти къ своей матери въ Кашинскій уѣздъ, въ сельцо Наквасино.

Тетушка была дѣвушка пожилая, средняго роста, съ добрыми, нѣсколько насмѣшливыми голубыми глазами и довольно пріятнымъ лицомъ, слегка испещреннымъ мелкими рябинками. По обѣимъ сторонамъ ея лба сбѣгали бѣлокुरые локоны, поддерживаемые маленькими черепашковыми гребеночками. Одѣвалась она большей частью въ распашные капоты съ двумя воротниками, густо обшитыми оборками, что придавало ей какой-то махровый видъ.

Я эту тетушку знала очень мало и боялась ее.

Пока Прасковья Ивановна разговаривала съ m-lle Воше, я связала въ узелокъ свое бѣлье и платья и стала выбирать изъ своего учебнаго столика книги, тетради, знаки дружбы, въ видѣ перьевъ, перевитыхъ разноцвѣтными шелками съ серебряными и золотыми ниточками, колечекъ изъ конскихъ волосъ и бисера. Наконецъ, вынула небольшой альбомъ, въ немъ между прозы и стиховъ были нарисованы миртовые вѣтки, стрѣлы, пылающія сердца, на одномъ изъ цвѣтныхъ

листочковъ изображена была переломленная сосна, съ надписью: растеть, цвѣтеть, умереть—въ вѣчность упадетъ; а на другомъ—ручей, раздѣляющій два дерева, и подъ ними стихи:

Ручей два дерева раздѣляетъ,  
Судьба два сердца разлучаетъ...

Твой другъ Саша Воейкова.

Надъ этими стихами я поплакала—Саша Воейкова считалась моимъ другомъ; она только-что уѣхала на вакацію въ деревню, передъ отъѣздомъ поклялась вѣчно любить меня и переписываться. Глядя на меня, поплакали и нѣкоторыя изъ воспитанницъ. Сборы мои къ отъѣзду прерывались прощаньемъ съ подругами, мы то крѣпко цѣловались, то, обнявшись, ходили по залѣ и дортуарамъ и вели грустные разговоры, со слезами и вздохами. Когда наступила минута отъѣзда, прощанью не было конца. «Довольно, — сказала тетюшка: — пора ѣхать», и взявши меня за руку—повела къ выходнымъ дверямъ, за нами двинулись всѣ воспитанницы; когда я, съ тоской на душѣ, медленно сходила съ высокой лѣстницы — до меня донеслись еще изъ-за полуоткрытой двери знакомые голоса: «прощай, Танечка, прощай!»

Прощай полудѣтская жизнь, неомрачаемая ни условіями свѣта, ни какими заботами и мелочами. Въ памяти моей проходили картины этой уходившей вдаль жизни, и мнѣ все больше и больше становилось жаль ее.

Въ каретѣ я прижалась въ уголокъ и закрыла платкомъ лицо, чтобы не было видно катившихся по нему слезъ. Тетюшка молчала, оставляя меня переплакаться. Мало-по-малу, еще глубоко вздыхая, я стала заглядывать въ опущенное окно кареты. Мы проѣхали нѣсколько улицъ и переулковъ,—наконецъ, въ отдаленной части города, карета остановилась у подѣзда небольшого деревяннаго домика, въ которомъ жила родственница моего отца со своимъ мужемъ. Это были люди небогатые, добрые, простые, домикъ принадлежалъ имъ. Тетюшка, пріѣзжая въ Москву, всегда у нихъ останавливалась, за что привозила имъ изъ деревни полотна, нитокъ, меду, варенья и другихъ деревенскихъ гостинцевъ. Родственники только что не носили на рукахъ тетюшку. Они насъ встрѣтили на крыльцѣ.



Когда мы вошли въ маленькія комнаты, онѣ показались мнѣ менѣе и тѣснѣе, нежели были дѣйствительно, послѣ обширныхъ комнатъ пансіона. Родственница, видя мою печальную фізіономію и заплаканные глаза, желая развеселить, шепнула мнѣ на ухо:

— Погоди-ка, Танечка, чего тебѣ покупать, вѣдь папенька-то твой прислалъ тебѣ пятьсотъ рублей на окшировку.

Я посмотрѣла на нее съ изумленіемъ и нисколько не утѣшилась.

Время клонилось къ вечеру. Посреди залы, на потолкѣ, въ клѣткѣ изъ краснаго дерева, до половины задернутой зеленой тафтою, висѣлъ соловей. Вдругъ онъ щелкнулъ нѣсколько разъ, свистнулъ и залился на тысячу ладовъ. Я притихла — заслушалась соловья, и на душѣ посвѣтлѣло. Послѣ соловья меня занялъ огромный шкапъ въ спальнѣй родственницы, куда перенесли мои пожитки и помѣстили меня. Шкапъ этотъ нижней частью изображалъ комодъ, верхнею — шкапъ съ стеклянными дверцами въ переплетахъ. Сквозь стекла виднѣлось нѣсколько полочекъ, уставленныхъ разрисованной чайной посудой и множествомъ фарфоровыхъ игрушекъ. Пересмотрѣвши все въ шкапу, я принялась любоваться висѣвшими по стѣнамъ спальнѣй картинками, изображавшими сраженія и героевъ двѣнадцатаго года, а надъ кроватью — шелковыми подушечками, въ видѣ сердецъ, обведенныхъ серебряною битью, въ которыя были воткнуты различной величины булавки. У нѣкоторыхъ булавокъ были красныя головки — я приняла ихъ за коралловыя, и послѣ чрезвычайно совѣстилась, что ошиблась. Онѣ были изъ сургуча, налитаго на иголки съ прорванными ушками.

Вечеромъ подали въ гостиную самоваръ и поставили передъ диваномъ на столъ, покрытый цвѣтной ярославской скатертью.

Подавая мнѣ чашку чаю со сливками, калачи и масло, родственница добродушно говорила:

— Кушай побольше, Танечка, ты, чай, голодна, я думаю, васъ въ пансіонѣ-то не кормятъ, чтобы вы были потоньше. Смотри-ка на себя, въ чемъ душа держится. Поди да расшнуруйся.

— Не безпокойтесь, я въ шнуровкѣ привыкла и,

право, не голодна,—отвѣчала я:—въ этомъ пансіонѣ насъ кормятъ хорошо, даже позволяютъ свое завтракать.

Отъ пансіона разговоръ перешелъ на совѣщаніе, какъ ѣхать на слѣдующій день въ ряды и что покупать для меня.

Я не принимала участія въ совѣщаніи и рано ушла спать. Картины прошедшаго и дума о будущемъ не помѣшали мнѣ крѣпко и скоро заснуть.

На другой день всѣ встали рано и, напившись чаю, вмѣстѣ со мною отправились за покупками, въ четырехмѣстной дорожной каретѣ тетюшки, на деревенскихъ лошадяхъ. Шумъ, многолюдство, толкотня въ рядахъ, кипы товаровъ, темныя, перепутанныя линіи рядовъ совсѣмъ ошеломили меня, и глаза до того разбѣжались, что раза три теряла своихъ изъ вида и перепугалась до смерти. Покупокъ мы сдѣлали пропасть, обширную карету до того завалили свертками, что съ трудомъ пробрались между ними и едва могли опростать себѣ мѣста.

Поѣздки наши въ ряды и на Кузнецкій мостъ продолжались нѣсколько дней. Наконецъ, все было искуплено, всѣ дѣла покончены, и мы стали укладываться въ дорогу. Наступилъ и день отъѣзда, экипажъ стоялъ у крыльца, мы простились съ добрыми родственниками съ истиннымъ сожалѣніемъ и сѣли въ карету. Тетюшка и я помѣстились между подушекъ на первомъ мѣстѣ. Лиза, горничная тетюшки, — противъ насъ на лавочкѣ, между картоновъ со шляпками и чепцами. Деревенскій, бабушкинъ выѣздной слуга Василій, высокій, пожилой, съ строгимъ лицомъ, сурово закинулъ подножку, захлопнулъ дверцы и крикнулъ: трогай!—такимъ громовымъ голосомъ, что я вздрогнула и выглянула въ окно. На крыльцѣ стояла родственница въ слезахъ и крестила карету. Василій и кучеръ снимаютъ шалки и крестятся;—«съ Богомъ»,—говоритъ въ окно тетюшка, и карета, запряженная четвернею въ рядъ и парой на вынось, подъ фореиторомъ, тяжело тронулась, подпрыгивая, пошла по неровной каменной мостовой мимо домовъ, разносчиковъ, будокъ, бульваровъ,—проѣхала подъ пестрый плагбаумъ—и Москва осталась за нами. Въ окна кареты пахнуло полемъ, и пошли дачи, рощи, деревни, грустныя воспоминанія заступило свѣжее чувство жизни,

сердце билось легко. Между полями, покрытыми молодой зеленью и золотистыми цвѣтами одуванчиковъ, пролегла широкая дорога; порой мимо насъ то проносился экипажъ, то тянулся длинный обозъ и поднимали такую пыль, что свѣта божьяго становилось не видно,—пыль улегалась и опять трава, цвѣты, кой-гдѣ деревья отбрасываютъ тѣнь на дорогу,—и на душѣ свѣтло и вольно. Къ полудню наступилъ жаръ, дорога сдѣлалась пыльной, тетушка подняла окна и вынула изъ бокового кармана кареты двѣ книги, одну оставила у себя, другую передала мнѣ;—это былъ романъ Дюкре-дю-Мениля «Алексѣй или домикъ въ лѣсу». Прислонившись къ подушкамъ, я принялась читать, но вскорѣ отложила книгу въ сторону. Въ каретѣ становилось какъ-то неловко, душно, тетушка и Лиза дремали, я принялась слѣдить за верстовыми столбами. Въ карету лѣзли слѣпши и лнули ко всему; я отмахиваюсь отъ нихъ и начинаю разсчитывать, сколько остается до станціи, гдѣ будемъ обѣдать и кормить лошадей.

На третій день мы прибыли въ Корчеву. Я давно не видала отца и почти пять лѣтъ не была дома. Отецъ мой встрѣтилъ насъ на крыльцѣ и обнялъ меня со слезами, я разрыдалась отъ какого-то неопредѣленнаго волненія, и только въ комнатахъ съ трудомъ успокоилась. Домъ нашъ я едва узнала: столько въ немъ было перемѣнъ и пристроекъ. Садъ густо разросся. За садомъ тянулся обширный манежъ. Отецъ мой пристрастился къ лошадямъ и завелъ у себя довольно дорогой конскій заводъ. Горничныя наши, которыхъ я оставила въ набойчатыхъ и затрапезныхъ платьяхъ, по буднямъ съ босыми ногами, а по праздникамъ и зимою въ опойковыхъ башмакахъ, встрѣтили меня въ ситцевыхъ платьяхъ съ черными коленкоровыми фартуками и въ козловыхъ башмакахъ. Онѣ мнѣ обрадовались, хватали цѣловать мои руки, я прятала руки назадъ, краснѣла, говорила всѣмъ въ вы, называя полнымъ именемъ и чуть не по батюшкѣ прежнихъ Ульяшекъ и Дуняшекъ.

Домъ и образъ жизни тетушки Лизаветы Петровны я нашла въ томъ самомъ видѣ, какъ и оставила. У того же окна стоялъ тотъ же самый столъ, на которомъ я, ребенкомъ, училась писать и читала сказки изъ «Magazin des enfants». Такъ же, въ углу гостиной, на сто-

меня. Отъ времени до времени она обращалась ко мнѣ то съ привѣтливымъ словомъ, то подчивала чѣмъ-нибудь.

Я взяла чашку чаю и поставила ее на окно, подлѣ котораго помѣстилась.

— Мы все о дѣлахъ толкуемъ, Танюшенька,—говорила бабушка:—тебѣ это неинтересно, другъ сердечный, ты бы взяла книжку, да почитала отъ скуки.

Я взяла «Алексиса»; раскрывая книгу и смотря на лѣсъ, думала: «бабушка эта живетъ въ своемъ домикѣ въ лѣсу—точно Алексисъ».

Солнце закатывалось, тяжелыя облака медленно двигались по небу, разгоравшаяся заря мѣстами румянила ихъ.

Ночь наступила душная. Окна закрыли ставнями и зажгли свѣчи. Въ небольшихъ комнатахъ бабушки было такъ пріятно, такъ все проникнуто благостію и смирениемъ ея души, что въ нихъ на cadaго нисходило спокойствіе и чувство мирнаго счастья.

Старшая горничная, Параша, стала готовить ужинъ, также подлѣ бабушкиной постели, съ которой старушка вставала только утрами и вечерами, и, пока переправляли постель, садилась въ большое, пухомъ набитое кресло, изрѣдка она прохаживалась по комнатамъ, а въ теплые лѣтніе дни выходила посидѣть на крылечкѣ или прогуляться по протоптанной тропинкѣ; остальное время дня бабушка молилась, слушала чтеніе священнаго писанія, житія святыхъ, совѣтовалась съ старостой и Парашей по хозяйству и диктовала Парашѣ письма къ своему сыну, отлично служившему въ военной службѣ, подѣ которыми подписывала крупнымъ, едва разборчивымъ почеркомъ свое имя. Бабушка грамотѣ знала плохо.

Ужинъ былъ простъ, но необыкновенно вкусно изготовленъ изъ рыбы, только-что наловленной въ прудѣ, цыплятъ и сморчковъ. Затѣмъ подали превосходное варенье и смоквы. Отказаться отъ чего-нибудь значило огорчить бабушку, и мы объѣдались до того, что стало клонить ко сну.

Тетушкѣ приготовили постель въ гостиной, мнѣ—въ бабушкиной спальнѣ на диванѣ.

Помолившись Богу на скорую руку, я улеглась на мягкій диванъ, думая о томъ, какъ бывало въ пансіонѣ

м-ле Воше воспитанницы утромъ и вечеромъ гуртомъ молились на колѣняхъ передъ распятіемъ, висѣвшимъ надъ ея кроватью, подъ молитвы, которыя читала де-журная, и какъ классная дама Иванова, стоя за нами, строго смотрѣла, чтобы мы не баловали—и не усматривала. Мы исподтишка пересмѣивались, подавали другъ другу знаки и строили гримасы. При этихъ думкахъ вспомнилось мнѣ одно очень печальное событіе, случившееся со мною. Однажды, во время вечерняго, очень веселаго моленія, я только-что начала строить свою самую лучшую гримасу, какъ почувствовала, что меня крѣпко схватили за ухо и начали его драть. Я оглянулась — драла меня за ухо Иванова, и, кромѣ боли, испортила этимъ пріятный эффектъ, на который я рассчитывала; эффектъ вышелъ обратный; недоконченная гримаса приняла видъ до того комическій — тоски и страданія, что всѣ покатались со смѣха. Воспоминаніе объ этомъ сдѣлалось мнѣ такъ непріятно, что я старалась позабыть о немъ и заснуть поскорѣе.

Свѣчи погасили, только лампадка теплилась у образовъ, едва озаряя комнату своимъ тихимъ свѣтомъ. Подлѣ печки стлали себѣ на полу постель обѣ горничныя — Параша и молодая Груша — и все затихло. Спустя нѣсколько минутъ, среди глубокаго безмолвія, послышался протяжный, однообразный голосъ Груши. Она говорила:

«Въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ жилъ былъ царь, и такой-то добрый, что никакихъ податей не бралъ съ своего народа, а еще самъ всѣмъ деньги раздавалъ».

Я привстала на диванѣ и спросила Грушу, отчего она не спитъ и даже не лежитъ, а сидитъ на своемъ войлокѣ и говорить сказку.

Груша отвѣчала, что бабушка безъ сказки не можетъ заснуть, и она съ Парашей поочередно каждую ночь говорятъ ей ихъ, пока она не засыпаетъ.

Я улеглась на свое мѣсто, стала вслушиваться въ сказку и забывать о томъ, какъ м-ле Иванова драла меня за уши.

Груша продолжала:

«У этого царя былъ министръ такой же добрый, какъ и самъ царь. Царь любилъ своего министра до того,

что они царствовали почитай-что за одно. Долго ли, коротко ли они такъ царствовали, какъ пришло время царю умирать. Зоветь онъ къ себѣ своего сына царевича и говорить ему: «сынъ мой милый, сынъ мой любезный, пришелъ мой конецъ, царство оставляю тебѣ, управляй имъ такъ же, какъ управлять и я. Податей на народъ не налагай, а кому деньги понадобятся, тѣмъ раздавай. Казны оставляю тебѣ много, когда же она вся выйдетъ, тогда возьми вотъ этотъ ключикъ,—говоря это, царь подаль царевичу золотой ключикъ:—тронъ имъ среднюю стѣну въ моей комнатѣ, за ней ты найдешь свое счастье». Царь умеръ, царевичъ сдѣлался царемъ и сталъ царствовать за одно съ министромъ—очень хорошо. Жили они въ свое удовольствіе, денегъ не жалѣли, царствовали они, что называется, веселились, и доцарствовались они, сударыня вы моя, что ни есть до послѣдней копейки,—пришлось хоть умирать. Кликнули они кличъ по всему царству, собралось разнаго начальства видимо-невидимо, чтобы совѣтъ держать, какъ денегъ достать. И стали они всѣ думать, да такъ, ни до чего не додумавши, и разошлись. Извѣстное дѣло, коли денегъ нѣтъ и неоткуда ихъ взять, что ни думай, ничего не выдумаешь. При такомъ горѣ царевичъ вздохнулъ о царѣ своемъ батюшкѣ, вспомнилъ и про золотой ключикъ, о которомъ въ разныхъ пріятностяхъ совѣмъ-было позабылъ. Отыскалъ онъ этотъ ключикъ и пошелъ въ покои стараго царя, которые со смерти его стояли запертыми. Тронулъ ключикомъ среднюю стѣну—стѣны какъ небывало, царевичъ увидалъ себя въ большой горницѣ, и въ ней шесть подножій изъ бѣлаго мрамора, на пяти подножіяхъ стояло по статуѣ въ ростъ человѣческой, лица ихъ были закрыты покрывалами, подлѣ подножій сіяло по чашѣ съ золотомъ и дорогими камнями. На шестомъ подножій лежало только запечатанное письмо, а на полу свернутый коверъ. Царевичъ взялъ письмо, развернулъ и сталъ читать:

«Сынъ мой любезный! теперь ты видишь, откуда брались мои сокровища! Возьми изъ чашъ золота и драгоценныхъ камней сколько тебѣ надобно, онъ опять пополнится; объяви народу, что хочешь ѣхать въ инныя царства-государства, людей посмотреть, себя показать,

царство свое и сокровище передай министру до твоего возвращенія. Когда все это сдѣлаешь, приди въ эту комнату, разверни коверъ, который лежитъ у шестого подножія, стань на него и скажи: «великій духъ! Я здѣсь, повелѣвай мною», и все, что тебѣ духъ прикажетъ, исполни точка въ точку. Въ этомъ твое счастье!»

— Барышня! вы не почиваете?—спросила Груша, вѣроятно, не желая рассказывать стѣнамъ, такъ какъ бабушка уже заснула.

— Не сплю,—отвѣчала я:—рассказывай, я слушаю.

Груша продолжала:

«Царевичъ сдѣлалъ все такъ точно, какъ приказано было въ письмѣ. Министръ сталъ править царствомъ, а царевичъ вошелъ въ потаенную горницу. Тамъ все было попрежнему. Статуи стоятъ, золото и дорогіе камни сіяютъ, царевичъ ни на что не глядитъ, не смотритъ, идетъ прямо къ шестому подножію, беретъ коверъ, развернулъ его, разноцвѣтные узоры по коврамъ такъ и разсыпались, царевичъ сталъ на коверъ и сказалъ громкимъ голосомъ: «Великій духъ, я здѣсь, повелѣвай мною». Въ ту же минуту сверкнула молнія, грянулъ громъ, комната потряслась, царевичъ обезпамятѣлъ; когда онъ открылъ глаза, то увидалъ вмѣсто комнаты море, тихое, ровно зеркало, по которому онъ покойно плавалъ на коврѣ своемъ. У ногъ его расцвѣталъ розовый кустъ. Вдалекѣ плыла къ нему жемчужная раковина, а на ней стоялъ красавецъ распрекрасный. По плечамъ у него вились кудри русыя, а на головѣ сіялъ вѣнецъ изъ шести звѣздъ огненныхъ. Это былъ духъ, вызванный царевичемъ. Онъ подплылъ къ нему и сказалъ такимъ пріятнымъ голосомъ, что царевичу показалось будто это флейта играетъ вдалекѣ.

— Благодарю тебя, царевичъ, что явился ко мнѣ, я былъ другомъ твоего отца, буду другомъ и тебѣ, если согласишься сослужить мнѣ одну службу.

Царевичъ согласился; духъ велѣлъ ему сорвать вѣтку съ нераспустившимся цвѣткомъ съ розоваго куста, который цвѣлъ у ногъ его, и взять съ него клятву привезти ему ту дѣвушку, у которой на груди цвѣтокъ этотъ расцвѣтетъ.

Только-что царевичъ сорвалъ вѣтку, въ ту же минуту

духъ исчезъ. Сверкнула молнія, грянулъ громъ, царевичъ обезпамятѣлъ.

Долго ли, коротко ли былъ царевичъ безъ памяти — не знаю,—говорила Груша, начиная путаться въ словахъ:—скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается, только когда онъ пришелъ въ себя, то увидалъ, что лежитъ подъ деревомъ на какой-то большой площади, по которой прохаживалось множество красавицъ»...

Я стала засыпать и сквозь дремоту слышала, а иногда казалось, что и видѣла, какъ царевичъ, увидавши у себя въ рукѣ розовую вѣтку, а за пазухой свернутый коверъ, убѣдился, что это не сонъ ему грезится, какъ онъ спросилъ перваго прохожаго, что это за царство, что за государство и что значитъ такое сборище прекрасныхъ, богато одѣтыхъ женщинъ,—прохожій отвѣчалъ, что онъ на Востокѣ, а дѣвушки эти собраны со всего царства на показъ царю, который будетъ выбирать себѣ изъ нихъ невѣсту. «Вотъ случай мнѣ съ руки»,—говоритъ самъ себѣ царевичъ и идетъ въ толпу дѣвушекъ, выбираетъ самую красивую, подаетъ ей розовую вѣтку и проситъ ее приколотъ вѣтку къ своей груди. Дѣвушка вѣтку прикалываетъ,—блѣднѣетъ, глубоко вздыхаетъ, и какъ бы въ забытій, вполголоса произноситъ имя мужчины, цвѣтокъ не распустился.

Царевичъ съ своей вѣткой подходитъ къ другой дѣвушкѣ... къ третьей...

Тутъ у меня въ головѣ стало все мѣшаться. Монотонные звуки разсказа убаюкивали, какъ въ колыбели, и я заснула такимъ глубокимъ сномъ, точно на дно рѣки опустилась.

Страшный трескъ и блескъ разбудили меня. Открывши глаза, я съ изумленіемъ осматривалась вокругъ себя; бабушка сидѣла на постели и крестилась, подлѣ нея на столикѣ, передъ образомъ, горѣла восковая свѣчка, Параша по книжкѣ читала молитвы, Груша, стоя у печки, клала земные поклоны.

— Молись, Танюшенька,—сказала бабушка, видя, что я проснулась:—Господь внемлетъ молитвѣ невинныхъ и помилуетъ насъ. Гнѣвъ Божій, другъ сердечный, буря ужасная!

Вѣтеръ распахнулъ ставни нѣкоторыхъ оконъ и хле-



сталъ ими то о стѣны дома, то объ окна. Ослѣпительная молнія вспыхивала точно въ комнатѣ. Вмѣстѣ съ молніей слышался величественный гулъ, возрастая—онъ раздражался оглушительнымъ трескомъ и переходилъ въ неумолкаемые раскаты. Вѣтеръ вылъ, гнулъ къ землѣ деревья, заглушая шумъ проливного дождя, и рвалъ крышу съ бабушкинаго домика.

Послѣ грозы, ударившей въ классную комнату въ пансіонѣ, я боялась грома до болѣзненности. Встревоженная, торопливо встала съ постели, накинула на себя платье, дрожа всѣмъ тѣломъ, стала передъ кѣлотою и начала машинально креститься съ земными поклонами.

Чтобы освободиться отъ гнетущаго чувства тоски и страха и не думать о грозѣ, я стала вслушиваться въ молитвы, которыя отчетливо, съ усердіемъ читала Параша, и всматриваться въ образа. При трепетномъ свѣтѣ лампадки и блескѣ молній, божественные лики, казалось, оживали, съ любовью смотрѣли на меня, таинственно что-то говорили мнѣ. Святые изображенія, одни другихъ трогательнѣе, молитвы, исполненныя величія духа и смиренія, тѣснились мнѣ въ душу, будили въ ней какое-то новое чувство, и — молитва, полная еще невѣдомаго мнѣ блаженства, полилась изъ отроческой груди моей. Я забыла все и не замѣтила, какъ гроза стала утихать.

Туча раздѣлилась на облака, равномерно шумѣлъ частый дождикъ; струясь, журчали дождевые потоки, широкія молнія свѣтили вдалекѣ. На горизонтѣ показалась свѣтлая полоска занимавшагося утра. Наступившая тишина и ласковый голосъ бабушки вывели меня изъ моего восторженнаго состоянія.

— Поди-ка ко мнѣ, свѣтъ мой,—говорила мнѣ бабушка:—я порадовалась, глядя на тебя, какъ ты хорошо молишься. Молись, дитя мое, ты вступаешь въ жизнь сироткой, жизни не знаешь—ребенокъ советѣмъ, а Господь-то умудряетъ младенцевъ.

Подъ вліяніемъ простыхъ, полныхъ благодати, рѣчей бабушки, чувства, вызванныя къ жизни въ душѣ моей, росли рядомъ неиспытанныхъ еще мною безотчетныхъ мыслей и ощущеній. Я относилась это новое состояніе духа къ впечатлѣнію, произведенному на меня молитвами, и, желая удержать его, попросила бабушку дать

мнѣ почитать ту книжку, которую во время грозы читала Параша. Бабушка сочла мое желаніе дѣйствіемъ благодати, ниспешшей на мою юную голову, и—подарила мнѣ ее. Это были кievскія святцы. Я такъ обрадовалась имъ, что чуть не со слезами благодарности обняла старушку и, ложась спать, спрятала молитвенникъ себѣ подъ подушку.

Проснувшись рано утромъ, я тотчасъ встала, взяла свой молитвенникъ и вышла на низенькое крылечко, обнесенное перильцами, чтобы одной, на свободѣ, помолиться, и, не раскрывши молитвенника,—опустила его на перила,—колоссальная молитва была раскинута передо мною: небо темно-голубое, глубокое; земля вся въ цвѣтахъ, цвѣты, орошенные дождемъ—одни осыпаны перлами, другіе, отражая косвенные лучи утренняго солнца, горять всѣми оттѣнками радуги; озимъ изумрудами стелется до лѣса; лѣсъ стоитъ неподвижно, весь мокрый, весь душистый, весь полный голосовъ птичекъ; у крылечка цвѣтуція яблони и черемуха медленно роняютъ съ своихъ вѣтокъ свѣтлыя капли ночного дождя; съ высоты сыплются пѣсни жаворонковъ; около дома въ кустахъ хлопотливо шуршатъ мелкія лѣташки; на цѣломъ лежитъ величественная печать гармоніи и истекающаго изъ нея спокойствія. И небо, и земля, и краски, и звуки, и ароматы—все было молитва—моя молитва; все было жизнь—моя жизнь, все было переполнено однимъ со мною счастьемъ бытія.

Мнѣ казалось, что я въ первый разъ вижу природу и понимаю ее; что какія-то вуали, ограничивавшія мой прежній міръ, упали, и открылась безконечная красота и даль, и сама я не та, что была вчера, я какъ будто выросла внезапно.

Мнѣ хотѣлось уяснить себѣ это состояніе, и—не могла. Я не могла еще понять, что пробудившееся въ душѣ релігіозное чувство было величественное прощаніе съ отрочествомъ и торжественный привѣтъ занимавшейся зарѣ юности и самосознанію.

~~~~~

ГЛАВА X.

Н а н в а с и н о .

.... Сквозь страшный хламъ тѣснясь,
На свѣжій путь она рвалась.

1824—1825.

Сердце у меня замерло, когда передъ нами открылось Наквасино—предѣлъ нашей поѣздки. Я боялась бабушки—ея строгости и надменности.

На крыльцѣ насъ встрѣтилъ дядя Дмитрій Ивановичъ; провожая въ комнату матери, онъ шутливо говорилъ мнѣ:

— Вотъ и пансіонерка наша пріѣхала, женихи здѣсь давно дожидаются,—пороги обили. У насъ въ Кашинѣ стоятъ егеря, изъ офицеровъ есть славные ребята. Что ты смотришь на меня изумленными глазами?

Я смотрѣла на него, широко раскрывъ глаза, не понимая его шутки.

Бабушка Татьяна Ивановна приняла насъ также въ своей спальнѣ, сидя на постели. Съ важной улыбкой она подала мнѣ поцѣловать свою руку, смѣряла взглядомъ и сказала:

— Какъ мало она выросла! Думаю, поднимется, слишкомъ еще молода.

Сказавши это, она обратилась къ дочери, стала разспрашивать о Москвѣ, о поѣздкѣ. Принесли покупки, начали ихъ развертывать, разсматривать, оцѣнивать.

Я замѣтила, что вниманье дяди обращала особенно бѣлая турецкая шаль и брильянтовые серьги; для кого онѣ были назначены—я не знала. Разговаривая и разсматривая купленные вещи, обо мнѣ какъ будто позабыли. Я сиротливо сидѣла у окна, только черная жирная бабушкина моська Зюлька, лежавшая у нея на постели, отъ времени до времени лаяла на меня.

Послѣ вечерняго чая всѣ отправились въ залу проэкзаменовать меня въ музыкѣ и танцахъ. Тамъ стояло тетушкино фортепіано; я сыграла отрывокъ изъ «Бури»

Штейбельта и изъ оперы «Калифа Багдадскаго»; затѣмъ подѣ пѣсню «Не будите меня молоду», сыгранную на фортепіано тетушкой, проплясала по-русски, и подѣ мазурку, въ одиночку, протанцовала нѣсколько па изъ мазурки. За танцы дядя мнѣ поаплодировалъ и назвалъ «молодцомъ». Танцами остались довольнѣе, нежели музыкой. Играя на фортепіано, я замѣчала на лицахъ скуку и слышала, какъ потихоньку разговаривали.

— Какъ-то ты говоришь по-французски,—сказала бабушка, когда я оттанцовала мазурку въ одиночку:—по-нѣмецки я и не спрашиваю, увѣрена, ни бельмеса не знаешь, да этотъ языкъ и ненуженъ ни къ чему, развѣ съ нѣмцами-булочниками объясняться, въ обществѣ имъ никто не говорить—тяжелый. Не воображай, что ты заѣхала въ глушь, въ захолустье; здѣсь многіе знаютъ прекрасно иностранные языки, тебя проэкзаменуютъ.

Во французскомъ языкѣ я была плоха, какъ и во всемъ прочемъ. Имѣя передъ собой пріятную перспективу экзамена, я впала въ тоску до того, что, смотря на москву, весело бѣгавшую за хрустальнымъ шарикомъ, который для ея забавы катали по полу то бабушка, то тетушка, думала: «счастливая, счастливая ты, Зюлька!»

Мнѣ отвели небольшую проходную комнатку съ итальянскимъ окномъ, подлѣ дѣвичьей; съ утра начиналась черезъ нее бѣготня горничныхъ и прохожденіе стараго повара къ бабушкѣ за приказами.

Передъ окномъ находился цвѣтникъ, а за нимъ виднѣлись пустынные поля,—тоскливѣе этого вида и этого цвѣтника трудно что-нибудь себѣ представить. По рѣшеткѣ, огораживавшей цвѣтникъ, стоялъ частый рядъ высокихъ, древовидныхъ, разноцвѣтныхъ мальвъ; посрединѣ, въ кружкахъ и треугольникахъ, окаймленныхъ дерномъ, синѣли, краснѣли, желтѣли, пестрѣли дельфины, ноготки, настурціи, барская спѣсь, царскіе кудри, махъ, турецкія гвоздики, анютины глазки и маргаритки; ни тѣнистаго деревца, ни душистаго цвѣтка, ни скамеечки для отдыха не было въ этомъ цвѣтникѣ.

Такая же безотрадная жизнь, какъ цвѣтникъ и окружавшая меня природа, потекла для меня въ Наквасинѣ. Бабушка обращала вниманіе на москву гораздо больше,

нежели на меня; тетюшка занята была своими частыми головными болями, вышиваньемъ гладью оборокъ для капотовъ, бесѣдой съ матерью, братомъ и пріятельскими отношеніями съ сосѣдками-барышнями Травинными. Я предоставлена была сама себѣ и не знала, чтѣ съ собою дѣлать. Читать было нечего.

Книгъ у бабушки было не видно.

Мнѣ накупили въ Москвѣ, въ лавкѣ Майкова, матерій на бальныя, визитныя и домашнія платья, розовыхъ и лиловыхъ шелковыхъ платочковъ; на Кузнецкомъ мосту перчатокъ и цѣтвовъ; у Гейне разноцѣтныхъ башмаковъ, и не купили ни одной книги, ни листа бумаги, ни пера, ни карандаша.

Образованіе мое считали оконченнымъ и вполне достаточнымъ для женщины. Въ ихъ понятіи, не только для женщины, но и для мужчины не цѣнность знанія играла главную роль, а его внѣшнее дѣйствіе на другихъ. Учебныя книги и тетради, привезенныя изъ пансіона, мнѣ наскучили, я какъ уложила ихъ въ сундукъ, уѣзжая изъ Москвы, такъ и не трогала; повторять на фортепіанахъ: Калифа, Бурю, варіаціи Кашина на пѣсню: «вечоръ былъ я на почтовомъ на дворѣ»—надоѣло, другихъ нотъ не было, да если бы и были, то врядъ ли бы я съ ними справилась безъ учителя; работать было нечего и не умѣла ничего, кромѣ вышиванья цѣтвовъ синелью, особенно часто приходилось мнѣ выдѣлывать какой-то громадный пунцовый амарелюсъ. Когда не было у насъ гостей, бабушка оставалась въ своей спальнѣ, тамъ сидѣли съ ней тетюшка и дядя. Я входила къ бабушкѣ утромъ поздороваться, обѣдать, вечеромъ проститься. Оставаясь одна долгіе лѣтніе дни, не зная, чѣмъ ихъ наполнить, безцѣльно бродила по комнатамъ, останавливаясь передъ зеркалами, любовалась своимъ свѣжимъ румянцемъ, карими глазами, тоненькой таліей, сама себѣ улыбалась, танцевала и сама себѣ дѣлала реверансы; по получасу протаскивала въ пустой гостиной передъ двумя большими картинами, висѣвшими надъ диванами. На нихъ представленъ былъ восточный базаръ невольницъ. Я любила смотрѣть на бѣлокурую, миловидную, полуобнаженную дѣвушку, съ цѣпами на рукахъ, у которой по лицу ка-

тились слезы, передъ ней стояло двое турокъ, одинъ изъ нихъ подавалъ деньги продавцу невольницъ. Смотря на плачущую невольницу, меня занимали вопросы: въ самомъ ли дѣлѣ жила на свѣтѣ такая дѣвушка, или это фантазія живописца; если жила,—кто она? Какъ попала на базаръ въ Турцію? Что за жизнь ожидаетъ ее? Есть ли у нея родные? Плачутъ ли объ ней. Изъ комнатъ уходила я въ огородъ, въ заброшенный, отдаленный отъ дома садъ, заросшій крапивой, бѣленой и куриной слѣпотой; изъ сада переключивалась на дѣвичье крыльцо и иногда цѣлые часы, сложивъ руки, сидѣла на его ступенькахъ, слѣдя за происходившимъ во дворѣ.

Нѣсколько разъ бабушка возила меня къ своимъ знакомымъ помѣщикамъ: помню многочисленное семейство Травиныхъ, двухъ пожилыхъ брата и сестру Поярковыхъ, красивое семейство Вельяминовыхъ. Сверстницъ мнѣ не было, и я страшно у всѣхъ скучала. Во французскомъ языкѣ меня не экзаменовали, даже никто и не заговаривалъ,—должно-быть, и сами въ немъ были несильны, иногда случалось, бабушкѣ вдругъ приходила охота сдѣлаться мной недовольной,—тогда она нападала на меня, зачѣмъ не сижу съ ними, не занимаюсь полезными разговорами и ничего не дѣлаю.

— Что это ты все прячешься по угламъ,—говорила она, приходя въ такое настроеніе: —тебя совсѣмъ не видно. Какъ это ихъ не приучаютъ въ пансіонѣ къ обществу и къ дѣлу? Цѣлые дни у нея проходятъ въ шатаваньи изъ угла въ уголъ. Дайте ей какую-нибудь работу, заплетите хоть шнурокъ на рогулькѣ, чтобы руки были заняты.

Шнурковъ я заплела такую пропасть, что ими можно было обмѣрять земной шаръ. Бывало, плету да думаю: «На что это бабушкѣ такая пропасть шнурковъ, что она будетъ съ ними дѣлать? Банки съ вареньемъ завязывать, остальное, должно-быть, выбросить. Неужели я работаю только за тѣмъ, чтобы руки были заняты? Странно! неужели нечего дѣлать лучше? Попробую снова приняться за ученіе». Я понимала недостаточность своихъ знаній, но не знала, какъ и изъ какихъ источниковъ ихъ пополнить. Разбирая ящичекъ съ своими учебными книгами и тетрадями, я нашла между ними *Contes et conseils à ma fille* — Бульи, *Veilles du*

chateau — Жанлисъ и нѣсколько книгъ Bibliothèque de ville et de campagne — положенныя мнѣ тетушкой Лизаветой Петровной. Я попробовала ихъ читать и радостно удивилась, что все понимаю; съ этого времени стала каждый день читать по-французски и дѣлать небольшіе переводы. Сверхъ того, я узнала, что въ шкапу, стоявшемъ въ моей комнатѣ, находится много книгъ, и спросила позволенія ихъ посмотрѣть. Книги отдали въ мое распоряженіе. Я перечитала все, что было въ шкапу, начиная отъ Кадма и Гармоніи до путешествія Карамзина и Матильды или крестовые походы. Матильда стала моимъ образцомъ, Малекъ-Адель — идеаломъ.

Романъ этотъ совпалъ съ моимъ религіознымъ настроеніемъ; ничѣмъ не уравниваемое, оно дошло было до крайнихъ размѣровъ. По счастью, мнѣ попалась одна простая книжка, состоявшая изъ небольшихъ наставленій, основанныхъ на христіанствѣ, — она обратила мое вниманіе на нравственную сторону жизни. Каждый день которое-нибудь изъ наставленій я примѣняла къ жизни, а вечеромъ, лежа въ постели, старалась уяснить себѣ обязанности челоуѣка и задавала себѣ отвлеченные вопросы, которые неопытный умъ толковалъ, конечно, по-своему. Вмѣстѣ съ этимъ, я стала строго слѣдить за своими чувствами и поступками. Это развило во мнѣ тонкость совѣсти и возбудило желаніе провѣрить свои нравственные силы испытаніемъ. Къ сокрушенію моему, испытаній никакихъ не представлялось, кромѣ капризовъ бабушки, которые волею-неволею должна была переносить кротко и безотвѣтно, да разъ представало въ лицѣ липоваго меда. Какъ-то бабушки не было дома, я вошла въ ея комнату, тамъ на окнѣ стоялъ стеклянный стаканъ съ липовымъ медомъ. Прозрачный, душистый медъ искрился на солнцѣ и манилъ его попробовать; нѣсколько разъ подходила я къ стакану съ ложечкой, — медъ, какъ янтарь! такъ и тянетъ къ себѣ; я трогала стаканъ и отходила прочь, подошла еще разъ, заглянула въ медъ, поднесла къ нему ложечку и — удержалась.

Въ половинѣ лѣта я узнала, почему дядю интересовала бѣлая шаль и брильянтовые серьги. Онъ былъ помолвленъ на хорошенькой, семнадцатилѣтней дѣвушкѣ — сосѣдкѣ П. А. К. — ой, шаль и серьги были куплены въ

подарокъ невѣстѣ. Къ свадьбѣ пріѣхали мой отецъ, дядя Александръ Ивановичъ съ женою и бабушка Прасковья Андреевна, которой я обрадовалась больше всѣхъ. Наквасино оживилось.

Для меня это было благотворно. Жизнь уединенная слишкомъ сосредотачивала меня на одной себѣ и на усилии разрѣшать вопросы и мысли, тѣснившіеся въ моей головѣ.

Наступилъ и день свадьбы. Вѣнчались въ селѣ у невѣсты. Двѣ бабушки и я ожидали молодыхъ въ Шаблыкинѣ. Въ бѣломъ кисейномъ платьѣ и розовыхъ лентахъ, я съ тревожнымъ любопытствомъ обѣгала комнаты и все осматривала. Пріѣхавшіе шафера возвѣстили, что молодые ѣдутъ. Вслѣдъ за многочисленными родными и провожатыми показалаь щегольская синяго цвѣта съ гербами карета съ новобрачными. Кучера и фореиторъ въ лентахъ. Молодыхъ встрѣтили съ образомъ, затѣмъ шампанское, шаферъ Ларинъ провозгласилъ здоровье новобрачныхъ. Послѣ закуски, попарно, тронулись въ залу, гдѣ былъ приготовленъ обѣдъ. Между множествомъ блюдъ меня особенно заинтересовали пудингъ въ пламени и мороженое въ видѣ фруктовъ. Шампанское лилось, шутки сыпались, новобрачная горѣла отъ нихъ до того, что чуть не вспыхнуло на ней бѣлое полувоздушное платье.

Я ко всему прислушивалась, во все съ изумленіемъ всматривалась; я видѣла первую свадьбу. Мнѣ казалось, что всѣ веселы и счастливы тѣмъ, что дядя женился, и во мнѣ рождалось желаніе сдѣлаться самой предметомъ всеобщаго счастья и вниманія, и краснѣть, и улыбаться такъ же, какъ краснѣла и улыбалась новобрачная.

Празднество продолжалось нѣсколько дней, съ перѣздами другъ къ другу, съ танцами, музыкой, обѣдами, ужинами.

Наконецъ, всѣ разѣхались, и жизнь вошла въ обычную колею.

Дядя попрежнему пріѣзжалъ каждый день къ матери обѣдать и привозилъ съ собой жену. Бабушка почему-то не взлюбила свою кроткую, простодушную невѣстку, которая страшно робѣла передъ свекровью и всѣми мѣрами старалась угодить ей. Пересуды о невѣсткѣ сдѣ-

лались предметомъ ежедневныхъ занятій бабушки. Она толковала о ней съ тетушкой и даже съ сосѣдями. Дядя замѣчалъ нерасположеніе къ женѣ, говорилъ объ этомъ съ сестрою и очень огорчался. Молодая женщина съ каждымъ днемъ становилась при бабушкѣ молчаливѣе и грустнѣе. Оставаясь съ мужемъ и даже при тетушкѣ, оживлялась и шутила. Меня удивляла эта путаница жизни. Я не могла взять въ толкъ, зачѣмъ это они ни съ того, ни съ сего и себя, и другъ друга мучать и огорчаютъ.

Первый разъ въ жизни я всматривалась и вдумывалась въ окружавшій меня міръ. Считаю меня полуробенкомъ, при мнѣ, не стѣсняясь, толковали о семейныхъ и постороннихъ дѣлахъ и отношеніяхъ.

Все, что прежде скользило мимо, стало меня останавливать и подвергаться анализу. Я слѣдила за каждымъ словомъ, за каждымъ поступкомъ окружавшихъ меня людей, и, замѣчая разладъ сказаннаго въ книгахъ съ жизнью,—приходила въ недоумѣніе. «Неужели книги одно, а жизнь другое,—думала я:—или это только здѣсь.» Мало-по-малу, по молодости или однообразію явленій, я перестала обращать вниманіе на происходившее въ домѣ бабушки. Меня же во взаимныхъ непріятностяхъ, когда и на глазахъ у всѣхъ была, замѣчали меньше Зюльки.

Между тѣмъ наступила осень. Въ Капшинѣ готовились собранья. Толки о нарядахъ выступили на первый планъ. Мнѣ приготовили къ первому балу бѣлое дымковое платье и полураспустившуюся розу къ поясу.

Въ день бала весь домъ сбился съ ногъ долой, пока не уѣхали. Сильно морозило. Мы отправились въ Капшинъ съ утра, въ четырехмѣстномъ возкѣ, обитомъ внутри мѣхомъ. Тамъ остановились въ приготовленной квартирѣ. Вечеромъ, когда всѣ были одѣты, бабушка часто смотрѣла на часы, чтобы не пріѣхать слишкомъ рано, даже посылала человѣка въ домъ собранія, узнать, съѣзжаются ли. Я весь день была какъ въ лихорадкѣ. Въ десять часовъ мы отправились. Подъѣзжая къ ярко освѣщенному дому, я думала: что-то ждетъ меня на балѣ, я никого не знаю, возьметъ ли меня кто танцовать, а какъ хорошо я танцую и какъ люблю танцо-

вать! Поднимаясь по лѣстницѣ, куда долетали безотчетные звуки музыки, я замирала отъ волненія до того, что, войдя въ залу, ничего не могла отличить ясно: видѣла только свѣтъ, блескъ, толпу, газъ, цвѣты, брильянты, обнаженные плечи и руки, золотые эполеты, черные фраки. Танцевали французскую кадрили. Мы сѣли у стѣны среди нетанцующихъ. Бабушка представила меня нѣкоторымъ дамамъ и почтительно подходившимъ къ ней пожилымъ кавалерамъ. Между прочими, къ ней развязно подбѣжалъ калпинскій почтмейстеръ, бабушкинъ кумъ; расшаркавшись, приложился къ ея ручкѣ, взглянулъ на меня и, улыбнувшись бабушкѣ, поцѣловалъ кончики пальцевъ правой руки, проговоривши: «розанчикъ». Я съ неудовольствіемъ отвернулась. Кадрили кончилась. Танцовавшіе вмѣшались въ толпу, видно было, что всѣ другъ друга знаютъ, всѣ какъ свои. Я чувствовала себя чужою. Раздался вальсъ, кавалеры стали приглашать дамъ, торопливо проходили мимо меня. «Неужели я весь балъ просижу у стѣнки?»—думала я и чуть не плакала. Пары легко понеслись по паркету. У меня занималось дыханіе. Противъ насъ, у окна, какой-то молодой человѣкъ изъ егерей разговаривалъ съ очень хорошо одѣтой дамой; онъ внимательно посмотрѣлъ на меня, наклонился къ говорившей съ нимъ дамѣ, какъ бы съ вопросомъ, потомъ всталъ, подошелъ ко мнѣ и пригласилъ на вальсъ. Я до того обрадовалась, что, въ порывѣ благодарности, не сказавши ни слова, торопливо положила ему руку на плечо, и мы понеслись. Сдѣлавши нѣсколько круговъ по залѣ, кавалеръ мой посадилъ меня на стулъ и самъ сѣлъ подлѣ меня. Отдохнувши, сказавши другъ другу нѣсколько словъ, мы опять стали вальсировать. Съ легкой руки моего кавалера, меня начали приглашать наперерывъ. Я была въ упоеньи, я была счастлива.

— Кто это первый танцевалъ со мною?—спросила я хорошенькую блондинку *), съ незабудками въ волосахъ, съ которой меня познакомили, и я сразу полюбила ее.

— Это Е. — одинъ изъ нашихъ лучшихъ кавалеровъ;

*) Надежда Васильевна Балкашина.

вотъ также изъ хорошихъ, видите, адъютантъ, это сынъ полкового генерала Суттофъ *).

Мазурку я танцевала съ Е....

Слава о моемъ танцевальномъ искусствѣ долетѣла до карточныхъ столовъ. Чтобы посмотрѣть въ мазуркѣ на пансіонерку, какъ меня называли, вставали изъ-за картъ.

Оставляя балъ, я закутывалась въ шубу, въ толпѣ уѣзжавшихъ, веселая, счастливая. При разъѣздѣ увидала подлѣ нашего возка Е.; помогая мнѣ садиться въ экипажъ, онъ тихонько пожалъ мнѣ руку.

Я обмерла, поспѣшно вспрыгнула въ дверцы, прижалась въ уголкѣ и еще больше перетревожилась, замѣтивши, что бабушка сидитъ надувшись и въ воздухѣ вѣетъ чѣмъ-то зловѣщимъ.

Гроза разразилась на другой день.

Когда я вошла къ бабушкѣ по утру поздороваться, она грозно посмотрѣла на меня и сказала:

— Хорошо ты вела себя вчера въ собраньи; благодарю! этому-то васъ учать въ пансіонахъ? Какъ ты не постыдилась, какъ смѣла почти весь вечеръ танцевать съ однимъ Е.! Мѣнялась съ нимъ взглядами, улыбками, приманила къ каретѣ.

Не чувствуя за собой ни одной вины изъ тѣхъ многихъ, въ которыхъ меня укоряли, я было-раскрыла ротъ, чтобы сказать нѣсколько словъ въ свое оправданіе, какъ бабушка крикнула:

— Молчать, кокетка!

Слово «кокетка» такъ поразило меня, что я не вдругъ образумилась. Оно показалось мнѣ верхомъ позора и гибели.

Я онѣмѣла; блѣдная, какъ мнѣ послѣ сказывали, широко раскрывъ глаза, я смотрѣла на бабушку и, стараясь припомнить свои вины, вспомнила, что Е. пожалъ мнѣ руку у экипажа. Въ умѣ моемъ мелькнуло предположеніе, что она это замѣтила и за это обвиняетъ меня. Залившись слезами, я бросилась на колѣни и почти внѣ себя сказала:

— Простите меня, я въ этомъ не виновата.

Бабушка съ сердцемъ рванула меня съ пола за руку, осыпала оскорбительными названіями, и, сказавши, что

*) Декабристъ.

позориться со мной не намѣрена, поэтому въ собраньи мнѣ больше не бывать,—выгнала вонъ.

Я сочла милосердіемъ Божиимъ, что меня выгнали; за дверью образумилась немного.

Таковъ былъ результатъ моего перваго выѣзда на уѣздный балъ.

Несмотря на то, что бабушка закаялась возить меня въ собранье, на слѣдующее воскресенье мы опять туда отправились. Бабушка любила общество и видѣла во мнѣ благовидный предлогъ для выѣздовъ.

При входѣ въ залу, въ дверяхъ насъ встрѣтилъ Е., сказалъ мнѣ, что, дожидаясь насъ, ни съ кѣмъ не танцевалъ, и тутъ же пригласилъ меня на кадрили.

Я и радовалась, и замирала отъ страха. Прошедшая сцена представлялась мнѣ во всей своей оскорбительной формѣ. Чтобы она не повторилась, я придумывала самыя отчаянныя средства и остановилась на томъ, чтобы попросить Е. не танцевать со мною часто и не провожать насъ до возка.

Какъ вздумала, такъ и сдѣлала.

Е. удивился и спросилъ:

— Что это значитъ? вы не хотите?

Къ такому вопросу я не приготовилась; онъ озадачилъ меня, я увидѣла, что поставила себя въ неловкое положеніе, въ необходимость объясниться. Краснѣя и путаясь, туманно дала ему понять, въ чемъ дѣло.

Онъ слушалъ, улыбаясь, отвѣчалъ полушутя, полу-сочувственно.

Повидимому, моя дѣтская неопытность трогала его. Это образовало между нами что-то общее и сблизило настолько, что мы хотя и не такъ часто танцевали вмѣстѣ, но съ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ съ другими; быть-можетъ, я и увлеклась бы имъ, но ни онъ, ни кто другой не подходилъ подъ идеалъ, созданный моимъ воображеніемъ, а, можетъ, и слишкомъ юный возрастъ (мнѣ только-что наступилъ пятнадцатый годъ) защищалъ меня отъ чувства болѣе сильнаго, нежели пристрастіе къ танцамъ.

Весной отецъ увезъ меня въ Корчеву.

Въ домѣ отца я вздохнула такъ легко, что точно другое небо раскинулось надо мною. Я почувствовала себя не только свободной и любимой, но представитель-

нымъ лицомъ, хозяйкой дома. Отецъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза, больше сорока человѣкъ прислуги стремились предупредить мои желанія, правда, крайне ограниченныя; всѣ надѣялись встрѣтить во мнѣ ласку, а въ случаѣ провинности — защиту отъ наказанія. Помѣщики того времени провинившихся крѣпостныхъ людей, мужичинъ и женщинъ, били или наказывали розгами на конюшнѣ. Добрый отецъ мой изрѣдка также прибѣгалъ къ этимъ возмутительнымъ средствамъ. Прислуга смотрѣла на розги и пощечины, какъ на мѣру, необходимую для ихъ исправленія и удержанія въ границахъ должнаго порядка: «они наши отцы, мы ихъ дѣти,—говорили высѣченные, почесываясь:—кому же и поучить насъ, какъ не ихъ милости», и нерѣдко высѣченный утромъ, вечеромъ за воротами, передъ собравшимися дворовыми, подъ балалайку, весело отхватывалъ присядку.

На меня эти исправительныя мѣры производили поражающее дѣйствіе. Бабушка каждый день кого-нибудь бранила, иногда била по щекамъ своимъ башмакомъ по-вара, драла за волосы дѣвчонокъ, но о розгахъ и помина не было. Въ домѣ отца я нашла другое, тамъ, вскорѣ по моемъ пріѣздѣ, однажды въ открытое окно до меня долетѣли слабые стоны; со мной сдѣлался такой нервный припадокъ, что весь домъ встревожился. Отецъ перепугался до смерти, и розги были заброшены.

— Ну ихъ къ чорту!—говорилъ отецъ:—да и мерзавца, черезъ котораго вся эта кутерьма.

Послѣ того долго не было и помина о розгахъ, какъ вдругъ разъ послѣ обѣда вбѣжала ко мнѣ въ комнату одна изъ нашихъ дворовыхъ женщинъ, блѣдная, трепещущая, съ разстроеннымъ видомъ, и упала мнѣ въ ноги, говоря торопливо: «матушка-барышня, спасите—сына повели на конюшню!» Я вздрогнула и вѣтъ себя бросилась изъ комнаты во дворъ. Отецъ весело шелъ по двору, а за нимъ человѣкъ десять прислуги и провинившійся. Онъ, видимо, бодрился, но въ лицѣ замѣтна была тревога. Я бѣжала по двору за отцомъ, догнала его, рыдая, бросилась ему въ ноги, обняла ихъ и не пустила его идти дальше.

— Чего ты жалѣешь этихъ подлецовъ, — говаривалъ мнѣ отецъ добродушно, видя мои умоляющіе взоры, когда онъ начиналъ на кого-нибудь сердиться: — какъ

тебѣ не стыдно плакать о нихъ! Прислуга балуется, ты мнѣ руки вяжешь. Вѣдь съ этимъ народомъ добромъ ничего не подѣлаешь. И стоять ли они твоихъ слезъ!

— Если они такіе дурные, зачѣмъ вы ихъ держите?—
возражала я:—отпустите на волю.

— Лучше не суйся разсуждать о такихъ предметахъ, о которыхъ не имѣешь понятія,—замѣчалъ отецъ.

Въ этотъ періодъ жизни моей въ домѣ отца, розги были отмѣнены; только отъ времени до времени мнѣ случалось видѣть то слугу съ распухшей щекой и раскраснѣвшимся лицомъ, то горничную расплаканную съ растрепанными волосами. Этого рода событія строго приказано было содержать отъ меня въ тайнѣ. Отецъ меня любить и огорчать боялся. Большею же частью отца моего не бывало дома. Онъ ѣздилъ то по сосѣдямъ, то въ Тверь, въ Москву, а я оставалась дома съ бабушкой по моей матери. Она жила въ Корчевѣ и, по переѣздѣ моемъ къ отцу, съ своей квартиры переехала къ намъ. Старушка была добродушна и суетлива, но ни въ чемъ не стѣсняла меня, молча вязала чулокъ, покачивая въ раздумьи головой, и только беспокоилась, чтобы я не испортила себѣ глаза, видя, какъ много я читаю и пишу.

Когда отецъ ѣздилъ въ дома семейные, то иногда и меня бралъ съ собою. Чаще всѣхъ онъ возилъ меня къ баронессѣ К—ъ, урожденной Нарышкиной. Она жила съ мужемъ, лишеннымъ употребленія ногъ, въ ихъ богатомъ селѣ Э—вѣ, на берегу Волги. Оба были стары и жили одни. Двѣ дочери ихъ были замужемъ, а единственный сынъ служилъ въ Петербургѣ, въ гусарахъ. Старый баронъ очень любилъ меня, часто, подозвавши къ своимъ кресламъ, гладилъ меня по головѣ, разспрашивалъ о занятіяхъ и улыбался моимъ отвѣтамъ.

Баронесса ласкала меня еще болѣе. Пока батюшка разговаривалъ съ барономъ, она водила меня по саду и по всѣмъ комнатамъ, дарила разныя бездѣлицы въ родѣ игрушекъ и говаривала: «тебѣ скучно, Танечка, съ нами стариками; погоди немного, скоро пріѣдетъ мой сынъ, тебѣ съ нимъ будетъ веселѣе; посмотри, что за молодецъ». Говоря это, простодушная старушка подводила меня къ портрету сына. Первый разъ взглянувши на симпатичное лицо молодого человѣка, я по-

думала: такой, должно-быть, былъ Малекъ-Адель. Въ пріятномъ лицѣ его было что-то идеальное. Шутливые намеки стариковъ на возможность любви между мною и ихъ сыномъ смущали меня, раздражали воображеніе, и я стала думать о немъ, стала желать его видѣть, но вскорѣ событія иного рода ослабили это первое впечатлѣніе.

Осенью 1825 года тетушка Лизавета Петровна поѣхала въ Москву, для свиданья съ семействомъ княгини, и меня взяла съ собою. Радостно встрѣтились мы съ Сашей. Въ домѣ Ивана Алексѣевича я не нашла ни въ чемъ переменъ, только увидала новое, странное лицо. Это былъ человѣкъ лѣтъ сорока, небольшого роста, худощавый, рябой, суетливый, съ золотисто-бѣлокурой накладкой волосъ на головѣ, съ пріемами, имѣвшими притязаніе на пріятность и игривость молодости.

— Кто это?—спросила я Сашу.

— Безобразнѣйшій изъ смертныхъ, воображающій, что нѣтъ никого въ мірѣ неотразимѣе его,—отвѣчалъ Саша:—а зовутъ его Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ. Мы его выудили изъ Москвы-рѣки, гдѣ онъ купался и тонулъ. Событіе это совершилось въ извѣстныхъ тебѣ Лужникахъ.

— Какъ же вы его выудили?

— Мы гуляли по берегу, какъ увидали человѣка, который бѣжалъ въ одной рубашкѣ и кричалъ: помогите! тонетъ! тонетъ! На берегу толпа народа смотрѣла, какъ человѣкъ тонетъ. Вдругъ изъ толпы выбѣжалъ уральскій казакъ, сбросилъ съ себя платье и кинулся въ рѣку. Черезъ нѣсколько минутъ онъ показался на поверхности воды, держа въ рукахъ безчувственного человѣка, это и былъ Карлъ Ивановичъ; казакъ положилъ его на берегъ, гдѣ мы съ товарищемъ Зонненберга привели его въ чувство. Папенъка и присутствовавшіе собрали нѣсколько денегъ и предложили казаку. Казакъ долго отказывался, говоря: «по правдѣ сказать, брать-то не за что, утопленникъ словно кошка»; но его уговорили взять. Затѣмъ папенъка сообщилъ о поступкѣ казака Петру Карловичу Эссену, а тотъ произвелъ его въ урядники. Зонненбергъ, менѣ чьихъ-то дѣтей, поправившись, явился къ намъ вмѣстѣ съ каза-

комъ благодарить папеньку, — съ тѣхъ поръ и посѣщать насъ.

Пока мы жили въ Москвѣ, я большую часть времени оставалась у Яковлевыхъ. Иванъ Алексѣевичъ, замѣчая, что Саша при мнѣ ведетъ себя сдержаннѣе и охотнѣе учится вмѣстѣ со мною, объявилъ, что попросить отца моего отпустить меня къ нимъ, чтобы вмѣстѣ съ Сашей брать уроки у хорошихъ учителей. Онъ справедливо говорилъ, что это будетъ полезно не только для Саши, но и для меня, такъ какъ во мнѣ видить любовь къ знанію, а знаній не видитъ никакихъ.

Мы обрадовались представлявшейся будущности и заранѣе стали вмѣстѣ заниматься, а вечерами вмѣстѣ читать. Присутствіе мое оживляло однообразіе и холодный характеръ ихъ дома, самъ Иванъ Алексѣевичъ иногда за обѣдомъ или чаемъ ласково обращался ко мнѣ и шутливо говорилъ: «а что, Танюша, есть у васъ въ Корчевѣ люди, похожіе на Карла Ивановича Зонненберга?» или: «родится у васъ въ огородѣ такая крупная рѣпа, какъ здѣсь?» и проч. въ этомъ родѣ.

Дни проходили незамѣтно. Однажды рано утромъ пріѣхалъ сенаторъ, сильно смущенный и озабоченный, и, не останавливаясь ни съ кѣмъ, поспѣшно прошелъ въ комнату къ Ивану Алексѣевичу. Черезъ нѣсколько минутъ слуга сенатора изъ дверей передней позвалъ Сашу и таинственно сказалъ ему: «Государь скончался въ Таганрогѣ».

Всѣ были поражены.

Императора Александра любили и искренно сожалѣли о немъ.

Началась присяга Цесаревичу. Въ лавкахъ продавались портреты императора Константина. Вдругъ разнесся слухъ, что Цесаревичъ отказался отъ престола.

Саша купилъ портретъ императора Константина, повѣсилъ его на стѣнѣ въ своей комнатѣ, позвалъ меня и торжественнымъ голосомъ сказалъ:

— Преклонитесь, это великій человѣкъ.

Почему мы ему поклонялись, за что любили — и сами не знали, такъ оно и осталось въ неизвѣстности.

Вскорѣ слуга Льва Алексѣевича, ѣздившій съ нимъ каждый день по переднимъ сенаторовъ и присутственнымъ мѣстамъ, сообщилъ Сашѣ, что въ Петербургѣ былъ

бунтъ и стрѣляли изъ пушекъ. Въ тотъ же день вечеромъ пріѣхалъ графъ Комаровскій и рассказывалъ Ивану Алексѣвичу о карѣ на Исаакіевской площади, конно-гвардейской атажѣ и о смерти Милорадовича. Политическія событія всегда занимали Сашу, я же изъ дружбы къ нему старалась интересоваться ими и толковать о совершившихся событіяхъ. Разсуждая о петербургскомъ возстаніи, мы воображали, что оно въ самомъ дѣлѣ было изъ-за Цесаревича, съ той цѣлью, чтобы посадить его на престолъ, ограничивши власть. Настоящая причина возстанія отъ насъ нѣсколько времени ускользала.

Различныя обстоятельства, вмѣстѣ съ походами за границу, имѣли вліяніе на идеи и взгляды, на жизнь и на положеніе родины, молодыхъ людей того времени, по преимуществу изъ классовъ образованныхъ и офицеровъ гвардейскихъ полковъ. Во Франціи они увидали міръ новый, о которомъ имѣли понятіе только отдѣльныя лица. Лучшие, болѣе способные стали всматриваться въ жизнь того народа, для усмиренія котораго пришли. Изучая борьбу политическихъ партій, впитывая идеи гражданственности и правъ конституціонныхъ, многіе вздумали передать родной странѣ лучшія изъ преобразований. Съ пылкостью молодости считая все возможнымъ, они не брали въ расчетъ ни исторической необходимости, ни времени, ни степени образованности своего народа. Составились тайныя общества, съ цѣлью добыть конституціонную форму правленія для Россіи. Нѣкоторые думали, что они дѣйствуютъ въ духѣ императора, принимались за пріуготовительныя мѣры, самые ярые изъ реформаторовъ обратились къ идеалу республики. Часть солдатъ, возвратившихся съ Запада, желала, чтобы съ ними обращались такъ, какъ они привыкли во Франціи. Отреченіе отъ престола Цесаревича послужило предлогомъ къ возстанію. 14 декабря 1825 года возстаніе вспыхнуло,—и было подавлено.

Затѣмъ пошли аресты. Тайно говорили, что того-то взяли, того-то привезли изъ деревни. Между прочимъ слышали, что арестованъ родственникъ княгини М. А. Хованской, князь Евгенийъ Оболенскій и братъ его Константинъ. Всѣ сожалѣли о нихъ и еще больше объ ихъ старомъ отцѣ, князѣ Петрѣ Николаевичѣ. Не

только заговорщики, но и тѣ, кто находился съ ними въ близкихъ или дружескихъ отношеніяхъ, подвергались подозрѣнію. Страхъ распространился по всему государству. Всѣ трепетали—кто за сына, кто за мужа, кто за самого себя.



ГЛАВА XI.

Л и р и з м ъ.

1825 — 1826.

О, какъ хорошъ, какъ чистъ былъ онъ,
Сердечной жизни первый сонъ.

Весенній вечеръ былъ до того тихъ, что при раскрытыхъ окнахъ пламя двухъ восковыхъ свѣчей, стоявшихъ на столѣ, горѣло неподвижно.

Я сидѣла подлѣ стола, рядомъ съ отцомъ моимъ.

— Ты такъ еще молода,—говорилъ мнѣ отецъ:—что тебѣ необходима руководительница—мать. Я замѣнить ее тебѣ не могу.

Я не отвѣчала ни слова. Отецъ продолжалъ:

— Тебѣ надобна не только руководительница, но и учительница. Едва ты начала разумно заниматься, какъ тебя и взяли изъ пансіона.

— Это правда,—отвѣчала я:—да вотъ теперь мнѣ представляется прекрасный случай учиться. Сашѣ взяли хорошихъ учителей—и Иванъ Алексѣевичъ проситъ васъ отпустить меня къ нимъ, брать уроки вмѣстѣ съ Сашей.

— Согласенъ,—сказалъ отецъ:—но нельзя же тебѣ, молоденькой дѣвочкѣ, постоянно жить внѣ родительскаго дома. По возрасту твоему, ты почти невѣста; сверхъ ученья необходимо заботиться, чтобы ты была пристроена соотвѣтственно твоему общественному положенію, за человѣка, который былъ бы тебѣ покровителемъ, такъ что онъ ступить шагъ—ты за нимъ, и

защищена, какъ, напимѣръ, баронъ К—фъ. Ты знаешь его почтенную матушку, она тебя любитъ, баронъ милый, добрый молодой человѣкъ. Ты видѣла его портретъ, помнишь?

— Какъ же, папа, конечно, помню, это было не такъ давно,—отвѣчала я, немного краснѣя; передо мной мелькнулъ образъ Малекъ-Аделя въ ментикѣ лейбъ-гусара.

— Разсуди же сама, возможно ли устроить твою судьбу въ домѣ Ивана Алексѣевича. Онъ человѣкъ больной, капризный; посѣщаютъ его только родные, да старыя генералы—его сослуживцы; какая же партія можетъ тамъ тебѣ представиться? Въ обществѣ бывать изъ его дома тебѣ не съ кѣмъ; Луиза Ивановна женщина отличная, но, по своему общественному положенію, въ извѣстныхъ домахъ принята быть не можетъ. Саша—острый мальчикъ, ты съ нимъ дружна, съ дѣтства вмѣстѣ; положимъ, это имѣетъ свою пріятность, учиться вмѣстѣ также; но Саша да учителя, учителя да Саша,—да идеи—все это хорошо не надолго, а потомъ что?

— Потомъ,—возразила я, сбитаая съ пути логикой отца:—потомъ... можно и устроиться потомъ, какъ вы говорите.

— Да вѣдь для того, чтобы порядочно устроиться, душа моя, должна быть подготовка—среда. Я и забочусь о томъ, чтобы эти два условія соединить вмѣстѣ. Искать я для тебя гувернантку; но теперь представляется случай еще удобнѣе. Помнишь Лизавету Михайловну Тушневу?

— Гувернантка П—къ.

— Да, и ихъ родственница. Помнишь у нея на плечѣ шифръ императрицы Маріи Ѳеодоровны? Она получила его за прилежаніе и благонравіе въ Смольномъ монастырѣ. Эта дѣвушка съ большими познаніями, умна, любезна. Она была назначена въ фрейлины ко вдовствующей государынѣ; но такъ какъ выпускъ былъ въ 12 году, то это и не состоялось. Пріѣхавши въ деревню къ матери, по родству и по просьбѣ П—хъ она согласилась заниматься съ ихъ дѣтьми.

— Что же это, вы опять хотите помѣстить меня къ П—мъ,—сказала я, чуть не сквозь слезы.

— Помилуй, что за идея. Я только хотѣлъ тебѣ вы-

яснить достоинства Лизаветы Михайловны и знать, помнишь ли ты ее. Она тебя всегда ласкала.

— Нисколько. Напротивъ, когда я входила въ ея классную, выгоняла вонъ къ Еленѣ Петровнѣ. А ужъ эта, что за противная!

— Ну, чего тутъ Елена Петровна. Чортъ съ ней, съ этой рябой харей. Тутъ дѣло какъ лучше устроить твое положеніе. Я и думалъ, хорошо, если бы женщина такая достойная, какъ Лизавета Михайловна, согласилась быть твоей руководительницей, заступитъ тебѣ мѣсто матери.

Сердце у меня ныло, чувствуя что-то недоброе.

— Вотъ,—продолжалъ отецъ нѣсколько неровнымъ голосомъ:—въ виду твоей выгоды, я и сдѣлалъ предложеніе...

— Какъ, вы ужъ пригласили ее ко мнѣ въ гувернантки,—сказала я, дрожа отъ внутренняго холода.

— Нѣтъ, другъ мой, не въ гувернантки, я предложилъ ей быть тебѣ матерью.

— Матерью! Нѣтъ, не хочу, не хочу!—вскрикнула я и зарыдала.

Отецъ обнялъ меня и самъ заплакалъ.

— Отвезите меня въ Москву, къ моимъ роднымъ,—сказала я, заливаясь слезами.

— Какъ же это, Таня,—говорилъ отецъ:—ты не хочешь дѣлать моего счастья, не хочешь мою жену называть матерью.

— Не могу,—отвѣчала я:—она чужая.

Мало-по-малу, то лаской, то выражая свое огорченіе, отецъ смягчилъ мое отчаяніе.

На душу налегъ мнѣ точно камень.

На слѣдующій день было объявлено всему дому, что отецъ мой женится.

Начались приготовленія къ свадьбѣ. На лицахъ прислуги замѣтно было смущеніе.

Уѣзжая вѣнчаться, отецъ обнялъ меня со слезами, просилъ не огорчаться, не разстраивать его, быть съ его женою ласковой.

Я видѣла, что ему тяжело, и общала все.

Оставшись одна, я общала всѣ комнаты. Пустыя, убранныя по-праздничному, онѣ стояли какъ бы въ торжественномъ ожиданіи чего-то и раздражали душу.

Молитва успокоила меня и раскрыла сердце любви.

Когда закричали «молодые ѣдутъ», парадно одѣтые офиціанты выбѣжали принимать ихъ на крыльцо. Священникъ, заранѣе приглашенный, встрѣтилъ молодыхъ въ дверяхъ залы съ крестомъ въ рукахъ.

Я осталась въ гостинной, инстинктивно понимая, что присутствіе мое при встрѣчѣ не доставитъ удовольствія.

Въ полурастворенную дверь я слышала шаги входившихъ людей, голосъ отца, шорохъ женскаго платья, смѣшанный говоръ,—и все утихло. Спустя минуту раздался слова: «Благословенъ Богъ нашъ».

Начался молебенъ. Я стала на колѣни, но молиться не могла. Слезы градомъ катились у меня по лицу.

Молебенъ кончился. Лизавета Михайловна одна вошла въ гостинную. Взоры ея искали меня...

Когда отецъ подаль мнѣ бокалъ шампанскаго за здоровье молодыхъ, я сразу выпила его до дна, отецъ горячо обнялъ меня.

Со дня женитьбы отца, значеніе мое въ домѣ родительскомъ на много градусовъ понизилось. Это проявлялось у всѣхъ во взглядахъ, въ движеніяхъ, въ какой-то, едва замѣтной небрежности.

Отъ природы не властолюбивая, склонная къ жизни внутренней, я видѣла утрату своего значенія безъ сожалѣнія, большую часть времени проводила у себя въ комнатѣ, отсутствіе мое изъ домашняго круга едва замѣчалось.

Вскорѣ послѣ женитьбы отецъ сталъ представлять свою жену знакомымъ. Прежде всѣхъ они поѣхали къ баронессѣ К—фъ. Тамъ они нашли и ея сына, только что пріѣхавшаго изъ Петербурга вмѣстѣ съ товарищемъ. Лизавета Михайловна, умная, образованная, такъ всѣмъ понравилась, что ее просили почаще посѣщать Э—во.

Баронесса пригласила отца моего и мачеху къ себѣ на слѣдующее воскресенье на цѣлый день и просила меня привезти съ собою. Молодые люди обѣщали быть у насъ въ скоромъ времени.

Воображеніе мое, настроенное романами, шутками, намеками старшихъ, портретомъ, въ подлинникъ кото-

раго воображала найти Малекъ-Аделя, создавало цѣлый романъ и до того волновало мою душу, что когда молодые люди подѣхали къ нашему крыльцу, я собралась убѣжать въ садъ.

— Барышня, — сказала вошедшая ко мнѣ горничная: — пожалуйста въ гостиную, папаша васъ спрашиваютъ.

Перекрестясь, я отворила дверь гостиной и вошла. На меня не обратили вниманія.

Отецъ представилъ меня молодому человѣку, въ которомъ я узнала оригиналь портрета.

Онъ похлонулся мнѣ и продолжалъ говорить съ моею мачехой; разговоръ шелъ бѣгло на французскомъ языкѣ. Я не могла въ немъ принимать участія и молча сѣла у окна.

Послѣ обѣда Николай Алексѣевичъ — такъ звали барона — подошелъ ко мнѣ и спросилъ, долго ли будетъ продолжаться моя вакація.

— Я не на вакаціи, и какая же вакація въ маѣ, — сказала я оскорбленнымъ тономъ. — Я совсѣмъ вышла изъ пансіона.

— Извините, — отвѣчалъ онъ, улыбаясь: — я думалъ, вы еще учитесь. — И, увидавши на фортепьянахъ воланы, спросилъ, чи они и умѣю ли въ нихъ я играть.

— Это мои воланы, — сказала я: — я въ нихъ играю хорошо.

Онъ предложилъ мнѣ поиграть съ нимъ.

Игра началась. Она прерывалась то незатѣйливымъ разговоромъ, то молодымъ смѣхомъ, когда падалъ воланъ и мы вмѣстѣ бросались его поднимать.

Кончивши играть, баронъ ушелъ въ гостиную, я вынула изъ платья булавку и отмѣтила ею ту ракетку, которою онъ игралъ, воткнувши ее въ бархатную ручку.

Прощаясь, баронъ сказалъ мнѣ: «пріѣзжайте къ намъ въ воскресенье, у насъ есть и воланы, и серсо, и даже мячикъ».

Въ прекрасное весеннее утро поѣхали мы въ открытой коляскѣ въ Э—во. Вблизи усадьбы насъ встрѣтили молодые люди. Мы вышли изъ экипажа и всѣ вмѣстѣ, пѣшкомъ, дошли до барскаго дома. Тамъ мы нашли

полковника Зона *), съ женой, умной, ученой аристократкой, двухъ молодыхъ людей, какую-то даму и дѣвушку лѣтъ 24, очень недурную собою.

Когда между всѣми завязался живой, интересный разговоръ, въ которомъ ни я, ни старая баронесса участія принимать не могли, она, оставивши съ гостями свою компаньонку, вызвала меня на балконъ, а оттуда увела въ свою комнату, гдѣ сѣла въ большія кресла отдохнуть, а меня посадила подлѣ себя на диванъ, и мы завели не хитрую бесѣду.

Спустя немного времени вошелъ Николай Алексѣевичъ, взялъ кресла и сѣлъ противъ меня къ столу. Поговоривши съ сыномъ, Настасья Александровна (такъ звали баронессу) обняла меня, спустила съ моихъ плечъ тюлевый бѣлый шарфъ и, обращаясь къ нему, сказала:

— Посмотри-ка, Коля, какія у нея прелестныя плечики.

Я вспыхнула. Въ глазахъ у меня потемнѣло и показались слезы.

Николай Алексѣевичъ въ одно мгновеніе всталъ съ своего мѣста, сѣлъ подлѣ меня на диванъ, дружески взялъ мою руку, говоря:

— Полноте, что вы за дитя — о чемъ вы плачете? увѣряю васъ, я ничего не видалъ и не вижу, кромѣ вашихъ слезъ.

Мнѣ было и оскорбительно, и какъ будто пріятно.

Настасья Александровна, простодушно пошутивши надъ моими слезами, отдала мнѣ шарфъ. Я схватила его и, торопливо надѣвая, нѣсколько разъ обернула вокругъ шеи, чуть не до рта.

Николай Александровичъ покатился со смѣха.

Я надула губы и вырвала у него свою руку.

— На что же это похоже, — сказалъ онъ, улыбаясь: — вы то плачете, то сердитесь. Лучше утрите ваши глаза да пойдите въ садъ. Туда пошли всѣ гулять до обѣда, играютъ тамъ въ серсо, въ воланъ, и мы играемъ.

Послѣ обѣда всѣ расположились пить кофе на широ-

*) Черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ этого, Зонъ былъ убитъ при проѣздѣ лѣсомъ, къ близкимъ сосѣдямъ, своими крѣпостными людьми, за жестокое обращеніе съ ними.

кой террасѣ, противъ цвѣтника, полного только-что распустившихся бѣлыхъ нарцисовъ. Я помѣстилась на нижней ступенькѣ, любовалась нарцисами и думала, какъ хорошо нарвать изъ нихъ букетъ.

Точно въ отвѣтъ на мою мысль, Николай Алексѣевичъ спросилъ меня:

— Вы любите нарцисы?

— Очень,—отвѣчала я.

Онъ нарвалъ большой букетъ, подаль мнѣ и позвалъ меня походить съ нимъ по аллеѣ, прилегавшей къ террасѣ.

Я прижала букетъ къ лицу, какъ будто для того, чтобы подышать его ароматомъ, и тихонько поцѣловала цвѣты, въ которыхъ, мнѣ казалось, еще сохранилась теплота отъ прикасавшейся къ нимъ руки его.

Въ то время я очень дивилась, какъ это люди находятъ такъ много предметовъ для разговора, и, вступая въ аллею, тревожно думала, о чемъ мнѣ говорить съ нимъ. Николай Алексѣевичъ вывелъ меня изъ этого затрудненія.

Проходясь со мной по густой аллеѣ изъ акацій, онъ сталъ спрашивать, чѣмъ я занимаюсь, съ кѣмъ дружна, что я знаю. Я ему рассказала о моей дружбѣ съ Сашей. Откровенно созналась, что почти ничего не знаю, кромѣ стиховъ, и проговорила ему столько стихотвореній, что онъ удивился. Серьезно объявила ему, что главное занятіе мое—чтеніе. Выслушавъ перечень прочитанныхъ мною полезныхъ сочиненій о таинственныхъ замкахъ, нѣжныхъ и гибельныхъ страстяхъ, улыбаясь, совѣтовалъ бросить этотъ вредный родъ чтенія, приняться за классиковъ и исторію, а изъ романовъ читать Вальтера-Скотта. Обѣщалъ сдѣлать мнѣ выборъ книгъ и самъ ихъ привезти. И, разумѣется, ничего не привезъ, а я продолжала упиваться твореніями Жюль-Верна, Котенъ, Лафонтена и другихъ романистовъ того времени.

Дома я поставила нарцисы въ стаканъ съ водою, и когда они завяли—высушила и спрятала.

Взаимныя посѣщенія стали повторяться. Сверхъ того, мы сѣзжались и у сосѣдей.

Дружеское расположеніе ко мнѣ и вниманіе Николая Алексѣевича увеличивалось. Я принимала ихъ за болѣе

сильное чувство, о которомъ имѣла подробныя свѣдѣнія благодаря своему чтенію. Я ждала минуты, когда онъ упадетъ къ ногамъ моимъ, въ пламенныхъ словахъ, какъ Малекъ-Адель—Матильдѣ, выскажетъ мнѣ свои чувства и будетъ умолять о взаимности. Но къ ногамъ моимъ онъ не падалъ, ни о чемъ не просилъ, игралъ со мной въ воланы, вальсировалъ подъ фортепіано и давалъ наставленія.

Однажды мы были вмѣстѣ на именинахъ у одного помѣщика-сосѣда. Около сумерекъ всѣ пошли посмотреть его роскошную выставку персиковыхъ деревьевъ. Хозяинъ, угощая всѣхъ персиками, предложилъ мнѣ самый крупный, румяный персикъ. Персиковая шпалера отдѣляла меня отъ Николая Алексѣевича. Я протянула руку сквозь расплетенныя вѣтви и подала ему мой персикъ. Онъ взялъ его, да въ полголоса, недовольнымъ тономъ сказалъ:

— Не дѣлайте этого впередъ никогда.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ читалъ мнѣ строго-назидательную рѣчь объ общественныхъ приличіяхъ и сдержанности.

Я слушала безмолвно, глотая слезы, не поднимая глазъ.

— Теперь кушайте вашъ персикъ, — продолжалъ онъ, отдавая мнѣ его.

— Не хочу, — отвѣчала я и далеко забросила персикъ.

— Напрасно, — замѣтилъ онъ равнодушно: — персикъ очень хорошъ и, должно-быть, вкусенъ.

— Богъ съ нимъ, буду умнѣе, — возразила я голосомъ, дрожащимъ отъ волненія.

— И прекрасно, а пока пойдемте туда, гдѣ и всѣ.

Наставленіе это читалось мнѣ въ цвѣточной оранжерей, когда изъ нея всѣ вышли.

Приближалось время коронаціи. Мачеха моя собралась въ Москву, чтобы представиться вдовствующей государынѣ, по праву воспитанницы Смольнаго монастыря, съ первымъ шифромъ. Такъ какъ Иванъ Алексѣевичъ писалъ къ моему отцу, чтобы отпустилъ меня къ нему въ Москву поучиться вмѣстѣ съ Шушкой и посмотреть коронацію, то она и меня брала съ собою.

Николай Алексѣевичъ также отправлялся въ Москву

и пріѣхалъ проститься съ нами. Пока всѣ были въ гостиной, я забѣжала въ залу и отрѣзала отъ его фуражки два черные шелковые шнурочка, которыми онъ ее привязывалъ, чтобы въ полѣ не сорвало вѣтромъ съ головы. Я надѣла шнурки себѣ на шею, застегнувши золотымъ замочкомъ изъ двухъ сложенныхъ рукъ.

Прощаясь, Николай Алексѣевичъ горячо сжалъ мнѣ руки, говоря: «не забывайте меня,—вѣдь вы считаете меня въ числѣ вашихъ друзей,—не правда ли? Въ Москвѣ мы увидимся,—я буду жить недалеко отъ васъ».

Мы увидались черезъ шесть лѣтъ въ Твери, въ благородномъ собраніи. Онъ былъ женатъ, я—замужемъ.

Когда онъ уѣхалъ, я ушла въ свою комнату, расплакалась, хотѣлось упасть въ обморокъ—случай былъ подходящій—и не удалось. Поплакавши часа два, занялась разборкою своихъ вещей, а спустя нѣсколько дней, довольно весело укладывалась въ дорогу, думая о томъ, какъ обрадуется мнѣ Саша; да что за новые учителя; какая это тамъ будетъ коронація, и увижусь ли съ Николаемъ Алексѣевичемъ. Прежде всего я увидала Москву, Старую Конюшенную съ приходомъ Власія и домъ, похожій на фабрику. Сердце у меня сильно билось отъ нетерпѣнія, когда я торопливо входила по чугунной лѣстницѣ въ бель-этажъ. Перецѣловавшись со всѣми и не видя Саши, я спросила, гдѣ онъ.

— Онъ на верху, въ маленькомъ кабинетѣ, беретъ урокъ у Ивана Евдокимовича,—отвѣчали мнѣ.

Я тотчасъ отправилась на верхъ.

(Изъ записокъ одного молодого человѣка):

....«И вотъ, однимъ зимнимъ вечеромъ (это было лѣтнимъ) сижу я съ Василиемъ Евдокимовичемъ (Иваномъ), онъ толкуетъ о четырехъ родахъ поэзіи и запиваетъ квасомъ каждый родъ, вдругъ шумъ, поцѣлуй, громкій разговоръ, ея голосъ... я отворилъ дверь, но залъ таскаютъ узелки и картончики, щеки вспыхнули у меня отъ радости, я не слушалъ больше, что Иванъ Евдокимовичъ говорилъ о дидактической поэзіи. Черезъ нѣсколько минутъ она пришла ко мнѣ въ комнату, и послѣ оскорбительнаго: «ахъ, какъ ты выросъ!»—она спросила, чѣмъ мы занимаемся. Я гордо отвѣчалъ: «разборомъ поэтическихъ сочиненій»; даже красное мериновое платьѣ помню, въ которомъ она явилась тогда

передо мной; но—увы!—времена перемѣнились: она волосы зачесала въ косу. Это меня оскорбило, меня, съ воротничками à l'enfant. Новая прическа такъ рѣзко переводила ее въ совершеннолѣтнія»...

Саша жалѣлъ о моихъ распущенныхъ волосахъ, жаловался на перемѣну прически; на другой день я причесалась по-дѣтски.

Черезъ недѣлю мы уже учились вмѣстѣ у Ивана Евдокимовича и Маршала, замѣниваго Бушо; но живая симпатія намъ нравилась больше науки.

(Изъ записокъ одного молодого человѣка):

....«Она со мной, тринадцатилѣтнимъ мальчикомъ, стала обходиться какъ съ большимъ. Я полюбилъ ее отъ всей души за это, я подаль ей мою маленькую руку и поклялся въ дружбѣ, въ любви; и теперь, черезъ тринадцать лѣтъ другихъ, готовъ снова протянуть ей руку, а сколько обстоятельствъ, людей, верстъ протѣснилось между нами.

«Ни съ кѣмъ и никогда до нея я не говорилъ о чувствахъ, а ихъ уже было много у меня, благодаря быстрому развитію души и чтенію романовъ. Ей-то передалъ я первыя мечты свои, пестрыя, какъ райскія птицы, чистыя, какъ дѣтскій лепетъ; ей писалъ я разъ двадцать въ альбомѣ *) по-русски, по-французски, по-нѣмецки и даже по-латыни. Отогрѣвался я тогда за весь холодъ моей короткой жизни милой дружбой Меленковской пери **). Самый возрастъ способствовалъ развитію нѣжности».

И я одному ему передала первыя чувства дружбы, первыя дѣвическія мечты мои; ему высказала поэму любви своей. Довѣренность сближала насъ; нравственное одиночество, взаимная симпатія влекли другъ къ другу. Грудь не могла вмѣщать мыслей, чувствъ, наполнявшихъ, волновавшихъ ее, томила жажда высказать ихъ, не только высказать, но слѣдить за словомъ — взоромъ, всѣмъ существомъ своимъ, въ душу

*) Альбомъ этотъ подарилъ мнѣ Саша въ мои именины. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ его у меня украли, какъ рѣдкость. Если онъ у кого окажется, прошу его доставить въ редакцію «Русской Старины» или «Новаго Времени».

**) Меленками Саша называетъ Корчеву.

того, съ кѣмъ говоришь, вызвать на глаза слезы, во взглядъ любовь.

Дѣтьми и отроками входили мы въ жизнь, взявшись за руки. Волшебные образы рисовались передъ нами въ утреннемъ туманѣ жизни; онъ отражалъ свѣтлый внутренній міръ нашъ, видоизмѣняя формы міра внѣшняго.

Вмѣстѣ вступили мы въ юность, полные восторга, грусти, радостей, молитвъ и упованій. Потомъ—потомъ широко разошлись пути наши, но взглядъ мой на него, но чувства мои къ нему остались тѣ же.

Горячія слезы катились изъ глазъ моихъ на листы газеты, въ которой неожиданно увидала, что онъ отошелъ отъ этого міра.

Воспоминанія потокомъ прихлынули къ груди, улегшіяся чувства проснулись. Да будетъ миръ праху этого замѣчательнаго человѣка; юная жизнь его такъ тѣсно, такъ свѣтло вплеталась въ мою простую жизнь, что, начавши писать мои воспоминанія въ годы несчастій, какъ спасеніе отъ нестерпимой боли души, я не могла миновать его. На порогѣ жизни онъ встрѣчается мнѣ младенцемъ; ребенкомъ—среди игрушекъ и баловства; отрокомъ—съ открытой шеей и книгою въ рукахъ; юношей—съ стыдливымъ взоромъ и огненной рѣчью. Онъ держитъ надо мной вѣнецъ въ церкви, вмѣстѣ со мною принимаетъ послѣдній вздохъ моего Вадима, и вмѣстѣ со мною плачетъ. Да будетъ же онъ помянутъ мною и искренними слезами, и теплою молитвой, и всепримиряющимъ словомъ любви. На могилѣ его всѣ партіи подали другъ другу руки и отошлись съ уваженіемъ къ нему. Самые ожесточенные противники его выразили полное признаніе его великаго таланта, благороднаго, чистаго сердца и стремленій, вопреки его политическимъ заблужденіямъ. Многочисленные друзья засвидѣтельствовали, что это былъ человѣкъ цѣльный, неподдѣльный, котораго сердце было еще богаче, нежели его талантъ.

Главной темой разговоровъ нашихъ того времени, кромѣ анализа чувствъ, была любовь моя и планы по этому поводу. Саша—юноша по душевному и умственному развитію, ребенокъ—по опыту, первое время робко вслушивался въ слова мои, воображая, что это одна

изъ трагическихъ страстей, съ великой будущей развязкой. Потомъ собрался быть дѣйствующимъ лицомъ въ этой драмѣ, идти къ Николаю Алексѣвичу, все ему рассказать, все разъяснить и сдѣлать меня счастливой. Вѣроятно, я придавала рассказамъ моимъ такой отъенокъ, какой мнѣ хотѣлось, чтобы они имѣли въ дѣйствительности.

Дружба Саши ко мнѣ до того усилилась, что онъ сталъ участвовать въ моихъ сентиментальностяхъ, привитыхъ пансіономъ и чтеніемъ. Онъ взялъ себѣ половину сухихъ нарцисовъ; изъ шнурковъ съ гусарской фуражки сдѣлали мы себѣ по браслету и надѣли ихъ на руки повыше локтя; но Саша, по живости своего характера, не могъ долго оставаться подъ натянутымъ состояніемъ ложной чувствительности, что спасительно дѣйствовало и на меня.

Мало-по-малу разговоръ о чувствахъ стали замѣнять чтеніе, интересы современной жизни, уроки, игры въ шахматы и въ воланы, которые я привезла съ собой. Играя въ воланы, я всегда брала ракетку, отмѣченную булавкой, говоря, что я къ ней привыкла. Саша, по враждебной ему наклонности къ *espionerie*, перекололъ булавку изъ одной ракетки въ другую. Ничего не подозревая, я продолжала играть той ракеткой, въ которой видѣла булавку. Черезъ нѣсколько времени Саша мнѣ признался въ своей шалости. Я перемѣнилась въ лицѣ, залилась слезами и убѣжала въ свою комнату. Саша встревожился, перепугался, считалъ себя преступникомъ. Нѣсколько разъ подходилъ онъ къ дверямъ моей комнаты, просилъ прощенья, становился у двери на колѣни, я не впускала его, говорила, что между нами все кончено, что у него нѣтъ сердца и онъ больше мнѣ не другъ... Саша написалъ мнѣ отчаянную записку. Я была тронута, вышла къ нему вся расплаканная, мы обнялись и помирились.

Высказанныя чувства, переходя въ слова, теряли свою силу, и образъ гусара блѣднѣлъ и отдалялся.

Еще раза два, проходя мимо дома, въ которомъ онъ жилъ, Саша хотѣлъ-было завернуть къ нему, да раздумалъ, и завернулъ въ переулокъ.

21 іюня, въ 3 часа пополудни, императоръ и вся царская фамилія прибыли изъ Царскаго Села въ Петров-

скій дворецъ, гдѣ и оставались до торжественнаго вѣзда въ столицу. Гвардія и посольства были уже въ Москвѣ.

Отъ Льва Алексѣевича, отъ посѣтителей и учителей мы то и дѣло слышали рассказы о бывшемъ возмущеніи. Говорили съ предосторожностями; боялись сознаться въ близкихъ отношеніяхъ съ осужденными. Однѣ женщины не отрекались отъ несчастныхъ и являлись во всемъ величій своего любящаго, великодушнаго характера. Матери проникали въ крѣпость, у престола молили о помилованіи сыновей. Жены, невѣсты бросали богатства, блестящее положеніе, дѣтей, чтобы вѣхать за приговоренными къ каторжной работѣ; ихъ не пугала ни Сибирь, ни даль, ни притѣсненія.

Всеобщій страхъ отзывался и въ насъ. Хотя смутно, но и мы стали понимать, въ чемъ дѣло.

Все ожидали, что по случаю коронаціи судьба осужденныхъ будетъ облегчена; даже Иванъ Алексѣевичъ не вѣрилъ, чтобы смертный приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе, и говорилъ, что это дѣлается только для того, чтобы поразить умы.

13 іюля казнь была совершена. Когда увидали это въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ», то едва вѣрили глазамъ своимъ.

Послѣ обнаруженія казни былъ благодарственный молебенъ. Молебенъ совершалъ Филаретъ посреди Кремля. На немъ присутствовала вся знать. Кругомъ, на огромномъ пространствѣ, густая масса гвардіи молилась колѣнопреклоненная; съ высоты Кремля гремѣли пушки, мы присутствовали на этомъ молебствіи, затерянные въ толпѣ.

Начались приготовленія къ торжественному вѣзду и коронаціи. Москва оживилась. Мѣста для зрителей были устроены отъ Петровскаго дворца и до Кремля, на полѣ, по Тверской, на площадяхъ, около гостинаго двора; за окна въ домахъ платили по 50 рублей. Въ день вѣзда все было усыяно зрителями. Мы видѣли вѣздъ на Тверской, изъ знаменитой тогда булочной Ницмана. Толпы народа стояли, гдѣ только было свободное мѣсто внѣ черты церемоніи. Дома украшены были флагами, драпировками, цвѣтами, вензелями. Крыши домовъ покрыты людьми. По улицамъ въ двѣ линіи раз-

ставлены были гвардейскіе полки. Пушечный выстрѣлъ и звонъ колоколовъ возвѣстили, что шествіе тронулось изъ Петровскаго дворца; оно тихо двигалось въ кремлевскій дворецъ при перемежающихся выстрѣлахъ изъ пушекъ, звонѣ колоколовъ, музыкѣ гвардейскихъ полковъ, барабанномъ боѣ и при тысячѣ голосовъ войска и народа. По мѣрѣ приближенія шествія къ Москвѣ, народные крики «ура» становились явственнѣе и сильнѣе. Государь ѣхалъ верхомъ на конѣ, окруженный великолѣпною свитой, подлѣ золотыхъ каретъ, въ которыхъ сидѣли: вдовствующая государыня Марія Ѳеодоровна, молодая государыня Александра Ѳеодоровна и любимое дитя народа — наслѣдникъ престола Александръ Николаевичъ.

Въ продолженіе пребыванія въ Москвѣ царской фамиліи Ивана Алексѣевича безпрестанно посѣщали его бывшіе сослуживцы и старые знакомые. Въ числѣ ихъ я чаще всѣхъ видѣла князя Петра Михайловича Волконскаго, графа Комаровскаго, князя Салтѣгу, двухъ братьевъ Бахметьевыхъ, генералъ-губернатора западной Сибири Калцевича и графа Владиміра Григорьевича Орлова. Иванъ Алексѣевичъ принималъ всѣхъ въ своей спальнѣ, въ своемъ поношенномъ, мѣстами изорванномъ халатѣ на бѣлыхъ мерлушкахъ, въ поярковыхъ сапогахъ, жалуясь на разныя немощи и недуги. Мы знали, что это одна комедія, что недугами онъ хотѣлъ отдѣлаться отъ поѣздки къ цесаревичу, который черезъ графа Комаровскаго поручилъ сказать Ивану Алексѣевичу, что желаетъ его видѣть. Иванъ Алексѣевичъ, отзываясь своими немощами, просилъ графа Комаровскаго выразить цесаревичу его преданность и благоговѣніе, сказать, что онъ весь къ услугамъ его высочества, но не встаетъ съ постели (онъ принималъ Комаровскаго, случалось и другихъ, лежа на кровати), что онъ развалина. На это графъ Комаровскій сказалъ, что цесаревичъ не принимаетъ въ уваженіе никакихъ отговорокъ и приказалъ передать ему, что если онъ не въ состояніи встать съ постели, то пускай велитъ привезти себя на кровати. Это подѣйствовало. Начались сборы. Съ вечера, при шести свѣчахъ онъ брился, хладнокровно выводя изъ себя камердинера и дѣлая каждому всевозможныя досады и оскорбленія. На другой день, по-

слѣ обѣда, отдохнувши, надѣлъ на себя рыжеватый парикъ, длинный, темно-зеленаго цвѣта, мохнатый заграничный сюртукъ и въ четверомѣстной каретѣ, въ которой въ 12 году выѣхалъ изъ Москвы, отправился во дворецъ. Онъ пробылъ у цесаревича до вечера, возвратился домой видимо растроганный, молча прошелъ въ свою комнату и легъ на постель. Мы не смѣли его разспрашивать. Спустя нѣсколько дней онъ намъ сказалъ, что цесаревичъ живетъ очень просто, въ верхнемъ этажѣ дворца, гдѣ помѣщаются фрейлины, и что онъ съ трудомъ поднялся къ нему. Въ другой разъ, говоря о цесаревичѣ, онъ въ раздумьи сказалъ: «да, это великій человѣкъ». Съ недѣлю Иванъ Алексѣевичъ былъ смиренъ, насъ какъ бы не замѣчалъ, не разговаривалъ и одинъ ходилъ цѣлые часы вдоль амфилады комнатъ. Чтò происходило въ это свиданіе, такъ съ Иваномъ Алексѣевичемъ и умерло.

Князь Сапѣга, высокій, худощавый, прямой, какъ стрѣла, всегда въ черномъ фракѣ, приходилъ къ намъ пѣшкомъ черезъ день, какъ лихорадка. Онъ всю жизнь проводилъ въ путешествіяхъ и пріѣхалъ изъ Лондона, чтобы видѣть человѣка, отказавшагося отъ русской короны. Иванъ Алексѣевичъ давно зналъ князя Сапѣгу, рассказывалъ намъ о его богатствѣ, великолѣпныхъ дворцахъ, о чрезвычайной простотѣ его жизни и ставилъ намъ его въ примѣръ; кстати, ставилъ въ примѣръ и графа Владимира Григорьевича Орлова тѣмъ, что для здоровья онъ каждый день пилитъ дрова въ своей спальнѣ, и дополнялъ, что также намѣренъ каждый день пилить дрова для поправленія своего здоровья.

Вечерами собирались у насъ оба брата Голохвастовы, Николай Васильевичъ Шатиловъ, молодой профессоръ химіи Іовскій, чиновникъ, занимавшійся дѣлами Ивана Алексѣевича—Андрей Ивановичъ Ключаревъ и Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ. Въ это же время повадился ѣздить къ Ивану Алексѣевичу нѣкто Лаптевъ, проживавшій полжизни за границей, чрезвычайно странный. Иванъ Алексѣевичъ говорилъ, что онъ нѣсколько разстроенъ умственно. Онъ давно зналъ его и относился къ нему чрезвычайно снисходительно. Мы слышали, что у Лаптева была романтическая исторія съ серенадами, веревочной лѣстницею и дуэлью; что за серенады его

поколотили и онъ отъ этого тронулся разсудкомъ, — этимъ онъ интересовывалъ и насъ.

Утромъ Луиза Ивановна часто ходила съ нами, Егоромъ Ивановичемъ и Маршалемъ въ Кремль на разводы. На разводахъ мы изучили всѣ гвардейскіе полки по мундирамъ; знали отличать всѣ посольства и насмотрѣлись на царскую фамилію. Эти походы не нравились Ивану Алексѣвичу; онъ отпускалъ насъ неохотно, съ опасеніемъ и называлъ ихъ «патріотизмомъ», но никто не обращалъ вниманія на его слова, и патріотическія экскурсіи продолжались.

Всѣ нетерпѣливо ждали коронаціи.

Стѣны здавій въ Кремлѣ были обстроены подмостками въ видѣ амфитеатра. Отъ Краснаго крыльца ко всѣмъ соборамъ шелъ помостъ, устланный пунцовымъ сукномъ, огражденный съ обѣихъ сторонъ парапетомъ. Сенаторамъ даны были логи, близкія ко дворцу. Левъ Алексѣвичъ присутствовалъ въ церемоніи и ложу свою передалъ намъ. Коронація назначена была 22 августа. Мы выѣхали на коронацію до разсвѣта, попали въ цѣпь каретъ и вышли изъ экипажа у Иверскихъ воротъ уже бѣлымъ днемъ. Кромѣ Ивана Алексѣвича, Луизы Ивановны и Егора Ивановича, съ нами были Карлъ Ивановичъ Кало и маленький сынъ сенатора, Сережа. Ложа наша была угловая. Одной стороною она выходила въ Красному крыльцу, съ другой открывалась вся площадь. Площадь была залита народомъ и войскомъ. Амфитеатръ усеянъ зрителями. По помосту, около парапетовъ, неподвижно стояли въ двѣ линіи кавалергарды, держа оружіе на парадъ. Отъ времени до времени на помостъ появлялись члены посольствъ, генералъ- и флигель-адъютанты, сенаторы и пр. Утро было ясное, небо безоблачно, солнце въ полномъ блескѣ.

Но вотъ двери дворца растворились. Началось шествіе съ Краснаго крыльца въ Успенскій соборъ—всея Россіи и всѣхъ государствъ, въ лицѣ ихъ представителей. Величественно развертывалась торжественная процессія. Молодая государыня стала подъ балдахинъ, держа за руку наслѣдника престола. Царственное дитя невинно смотрѣло на все своимъ яснымъ, добросердечнымъ взоромъ. Со всѣхъ сторонъ на него упали взоры любви и умиленія. Саша напомнилъ мнѣ, какъ, будучи

еще дѣтьми, мы случайно проходили Кремлемъ въ то самое время, какъ бородинскія пушки возвѣщали о его рожденіи, и, любуясь царственнымъ отрокомъ, вполголоса восторженно проговорилъ пророческій стихъ:

Быть-можетъ, отрокъ мой — корона
Тебѣ назначена судьбой —
Люби народъ, чти власть закона.

Въ дверяхъ дворца показался государь, рядомъ съ нимъ цесаревичъ, въ мундирѣ литовской гвардіи съ желтымъ воротникомъ. Государь былъ блѣденъ и серьезенъ. Онъ сдѣлалъ рукою знакъ цесаревичу, приглашая его идти впередъ. Цесаревичъ уклонился и далъ дорогу государю. Ставшій подъ балдахинъ, государь движеніемъ руки приглашалъ цесаревича стать съ собою рядомъ; но тотъ, поклонившись ему, пошелъ подлѣ балдахина, сторбившись, нахмурия густыя брови. Иванъ Алексѣевичъ смотрѣлъ на него съ благоговѣніемъ, съ намернувшимися на глазахъ слезами.

Все скрылось въ соборъ. Въ Кремлѣ распространилась такая тишина, какъ будто на площади не было ни души. Вдругъ выстрѣлъ изъ пушки, звонъ колокола, и Кремль задрожалъ отъ выстрѣловъ и звона. Императоръ Николай I-й въ коронѣ и порфирѣ вышелъ изъ собора. Его встрѣтилъ трогательный гимнъ «Боже, Царя храни», громкое «ура», молитвы, слезы, упованья.

Вечеромъ великолѣпная иллюминація заливала огнями Кремль и всѣ улицы Москвы. Вездѣ тѣснились толпы гуляющихъ, въ Кремлевскомъ саду гремѣла музыка.

Иллюминація продолжалась три вечера.

Спустя нѣсколько дней на Ходынкѣ готовились маневры. Раннимъ утромъ мы отправились на Ходынку. Выйдя изъ кареты близъ Прѣсенской заставы, велѣли экипажу насъ дожидаться, а сами пошли къ полю, какъ увидали подѣзжавшую коляску, а въ ней государя съ какимъ-то генералъ-адъютантомъ. Мы остановились; они вышли изъ экипажа у заставы; тамъ должны были ихъ ждать верховыя лошади, лошадей не оказалось. Государь съ удивленіемъ осматривался во всѣ стороны, и когда оборотился къ намъ, мы ему поклонились; онъ отвѣтилъ пріятливымъ поклономъ и пошелъ за заставу; мы отправились за нимъ въ близкомъ разстояніи. Вскорѣ стремглавъ прискакали съ верховыми лошадьми;

государь, сколько можно было замѣтить, сдѣлалъ кротно выговоръ и сѣлъ верхомъ на свою лошадь. Къ нему присоединилась многочисленная свита, и понеслись къ неподвижной, густой массѣ полковъ, покрывавшей часть поля. Черныя латы кирасиръ рѣзко отдѣлялись отъ ихъ бѣлыхъ мундировъ. Уланы, гусары, казаки блестяли золотомъ и серебромъ, стальные штыки сверкали на солнцѣ. Всѣ были какъ бы въ нѣмомъ ожиданіи. Едва показался государь, громкое «ура» слилось въ одинъ звукъ и раздалась по полкамъ музыка. Пѣхота пошла сплошной массой, за ней, стройной колонной, двинулась конница. Мы стояли довольно далеко отъ мѣста дѣйствія, но видѣли маневры и слышали страшную пальбу изъ ружей и пушекъ. Не разъ кавалерія во весь карьеръ проносилась вблизи насъ, и толпы зрителей бросались вразсыпную.

Послѣ коронаціи мы осмотрѣли Успенскій соборъ, въ томъ видѣ, какъ онъ былъ во время церемоніи; осмотрѣли кушанья, приготовленные для народнаго праздника, видѣли обѣдъ въ экзерсисгаузѣ для войска. При насъ пріѣхала туда молодая императрица съ великой княгиней Еленой Павловной. Обойдя длинные ряды столовъ, онѣ остановились черезъ столъ—напротивъ насъ. Мы любовались милымъ, выразительнымъ лицомъ Елены Павловны и ея прекрасными, густыми бѣлокурыми волосами. Народный праздникъ обошелся мнѣ не совсѣмъ благополучно. Его давали на Дѣвичьемъ полѣ, мы смотрѣли его также изъ ложи сенатора, вмѣстѣ съ нимъ и Иваномъ Алексѣвичемъ.

Поле чернѣло народомъ. Изъ-за головъ народа виднѣлись фонтаны съ виномъ и столы, уставленные кушаньями. Государь съ наслѣдникомъ верхами, съ многочисленной свитой и дипломатическимъ корпусомъ, при громкомъ «ура» проѣхали полемъ въ ротонду, возвышавшуюся среди поля. Какъ только императоръ показался изъ ротонды, взвился флагъ, и столовъ какъ не бывало, все исчезло при оглушительныхъ крикахъ. Фонтаны, бившіе виномъ, скрылись подъ облѣпившимъ ихъ народомъ и разрушились. Провалившіеся, вытѣсня другъ друга, черпали вино шляпами. Мимо насъ валили толпы, таща кто курицу, кто блюдо, кто ногу баранины, а кто ножку стола.

Когда государь со свитой удалился, народъ бросился грабить зрителей и обдирать крашеный холстъ. Краска полетѣла съ холста, какъ клубы дыма. Это приняли за пожаръ, раздался крикъ: горимъ, грабятъ! Мнѣ показалось, что наши бѣгутъ изъ ложи—я бросилась въ дверь и очутилась въ галлерей, среди бѣгущей толпы. Наши, занятые происходившимъ на площади, не замѣтили, какъ я вышла. Меня отгѣснили къ лѣстницѣ. По необыкновенному счастью я увидала прямо противъ себя напу карету и подлѣ нея конторщика сенатора. Онъ изумился, что я одна, помогъ мнѣ сойти съ лѣстницы, провелъ между экипажей въ пустую улицу, и мы пустились домой. Я не шла, а бѣжала и явилась домой растрепанная, объ одномъ башмакѣ, другой потеряла по дорогѣ. Няньки и мамки ахнули, раздѣли меня съ упреками и уложили въ постель. Со мной сдѣлался сильный жаръ.

Въ ложѣ меня хватились и перепугались до смерти, нигдѣ не видя. Думали, что я упала черезъ перила въ толпу, искали меня по площади, Лаптевъ избѣгалъ все поле. Домой возвратились въ крайнемъ страхѣ и такъ обрадовались, найдя меня дома, что даже и выговаривать не стали. Сапа помѣстился возлѣ моей постели съ книгой и сталъ мнѣ читать. Когда мы остались одни, на его замѣчаніе, зачѣмъ я убѣжала изъ ложи, я со слезами рассказала о своемъ испугѣ и путешествіи.

Иванъ Алексѣевичъ, увидя меня, только сказалъ: «конецъ патріотизму»,—и никого не пустил на фейерверкъ.

Изъ одного окна въ залѣ мы видѣли, какъ вдалекѣ летали букеты ракетъ, звѣзды, мѣнявшія цвѣта, солнца, храмы.

— Вотъ если бы ты не убѣжала съ поля,—говорилъ мнѣ Сапа:—мы были бы тамъ.

Я, молча, вздыхала, чувствуя себя кругомъ виноватою.

~~~~~

## ГЛАВА XII.

### Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ.

Вездѣ шептались. Тетради  
Ходили въ спискахъ по рукамъ,  
Мы, дѣти, съ робостью во взглядѣ,  
Звучащій стихъ, свободы ради,  
Таясь твердили по ночамъ.

(1825 — 1827).

Господи Боже мой, какъ онъ, бывало, стучить дверью, когда придетъ, какъ снимаетъ галоши, какъ топаетъ. Волосы онъ носилъ ужасно длинные, растрепанные, на иностранныхъ словахъ ставилъ дикія ударенія школы; французскія щедро снабжалъ греческой λ и русскимъ з на концѣ, зато душа у него была теплая, человѣческая.

Таковъ былъ Иванъ Евдокимовичъ Протопоповъ, студентъ московскаго университета, медицинскаго факультета, преподаватель Сашѣ русской грамматики, словесности, исторіи, географіи и ариѳметики.

Иванъ Евдокимовичъ встрѣтилъ въ своемъ ученикѣ упорную лѣнь и разсѣянность и не зналъ, что дѣлать; нѣсколько разъ онъ хотѣлъ бросить уроки, затрудняясь толковать цѣлый часъ свою науку каменной стѣнѣ, и краснѣя бралъ деньги за билеты. Наконецъ, рѣшился измѣнить методу преподаванія. Принявшись за исторію, по Шреку, вмѣсто того, чтобы отмѣчать отъ мѣста до мѣста, онъ сталъ рассказывать, что и какъ помнилъ, на слѣдующій урокъ Саша долженъ былъ это повторить своими словами, и Иванъ Евдокимовичъ удивился, съ какимъ жаромъ ученикъ сталъ заниматься исторіей. Эту же методу будущій медикъ приложилъ и къ другимъ предметамъ; онъ отбросилъ въ сторону грамматику и перешелъ прямо къ словесности. И Саша, обыкновенно занимавшійся во время уроковъ вырѣзываніемъ іероглифовъ на своемъ учебномъ столѣ, внимательно сталъ усваивать романтическія воззрѣнія преподавателя. Такого рода уроки много способствовали его раннему развитію. Спустя годъ, въ Сашѣ, жившемъ большею частью

дѣтскимъ воображеніемъ, пробудилась серьезная мысль, и онъ сталъ учиться съ интересомъ и любовью.

Въ чемъ же состояло преподаваніе словесности? Принимаясь за риторiku, Иванъ Евдокимовичъ замѣтилъ, что это самая пустѣйшая и ненужная наука, что если кому Господь не далъ дара слова, того никакая риторика не научить красно говорить; затѣмъ, рассказавши о фигурахъ, метафорахъ и хрѣяхъ, перелистывалъ «Образцовыя сочиненія» и при этомъ прибавлялъ, что десять строкъ «Кавказскаго плѣнника» лучше всѣхъ десяти томовъ образцовыхъ сочиненій. У юнаго преподавателя проглядывалъ широкій, современный взглядъ на литературу, ученикъ усваивалъ его себѣ и, какъ вообще послѣдователи, возводилъ въ квадратъ односторонности учителя. Какъ преподаватель былъ въ восторгѣ отъ новой литературы, такъ и ученикъ, бравши книгу, прежде всего справлялся, въ которомъ году она печатана, и ежели она была печатана больше пяти лѣтъ тому назадъ, то, кто бы ни былъ ея авторъ, бросалъ ее въ сторону. Поклоненіе юной литературѣ сдѣлалось безусловнымъ: она и дѣйствительно могла увлечь, именно въ ту эпоху. Во главѣ литературнаго движенія явился Пушкинъ; каждая строка его летала изъ рукъ въ руки; его поэмы читали въ спискахъ, твердили наизусть, «Горе отъ ума» сводило всѣхъ съ ума, волновало всю Москву.

«Московский Телеграфъ», только-что начавшій свое поприще, быстро передавалъ современное умственное состояніе Европы и читался съ увлеченіемъ.

Войнаровскій и думы Рылѣва возбуждали духъ гражданственности. Козловъ переводилъ Байрона. Типы его героев водворялись въ жизнь общества, облагораживали его и отражались въ поэмахъ и повѣстяхъ. Шиллеръ передавался въ прелестныхъ переводахъ Жуковскаго. Альманахи сыпались. Въ воздухѣ вѣяло вѣрованіями, надеждами, увлеченіемъ. Когда появился «Евгеній Онѣгинъ» — его привѣтствовалъ всеобщій восторгъ.

Саша не расставался съ этой поэмой: носилъ ее въ карманѣ днемъ, клалъ подъ подушку на ночь, выучилъ наизусть, говорилъ изъ нея отрывки и иначе не называлъ меня, какъ Тая. Простонародное имя Татьяны

опоэтизировалось въ лицѣ деревенской барышни. Во мнѣ Онѣгинъ оживилъ первое впечатлѣніе. Я представляла себя Татьяной Лариной, Николая Алексѣевича—Онѣгнымъ. Принялась-было писать къ нему письмо, а Саша предложилъ письмо ему доставить; но письмо какъ-то не ладилось,—такъ оно и осталось неконченнымъ, я его сожгла, а жалъ, теперь интересно бы было взглянуть, какъ я тогда выражалась. Не знаю, насколько я походила на Татьяну Ларину, но Николай Алексѣевичъ, дѣйствительно, частью принадлежалъ къ типу Онѣгина. Типъ этотъ ошибочно принимали за типъ того времени; онъ точно являлся въ то время и даже долго послѣ, но онъ выражалъ только одну сторону тогдашней жизни и нисколько не выражалъ всѣхъ стремленій умственныхъ и нравственныхъ двадцатыхъ годовъ. Типъ того времени, какъ вѣрно замѣтилъ Саша, въ литературѣ отразился въ Чацкомъ. Въ его молодомъ негодovanіи уже слышится порывъ къ дѣлу. Онъ возмущается, потому что не можетъ выносить диссонансъ своего внутренняго міра съ міромъ, окружающимъ его.

Рядомъ съ людьми, которыхъ барскія затѣи состояли въ псарнѣ, дворнѣ, насилovanіи и сѣченіи, являлись типы, дѣйствительные типы того времени, которыхъ затѣи состояли въ томъ, чтобы вырвать изъ рукъ розгу и добыть просторъ,—не ухарству въ отъѣзжѣхъ полѣ, а просторъ уму и человѣческой жизни.

Онѣгины истекали изъ Чайльдъ-Гарольда Байрона. Они были увлекательны своей романтичностью и рѣзкой противоположностью съ отживавшимъ барствомъ.

Мы страстно желали видѣть Пушкина, поэмами котораго такъ упивались, и увидали его спустя года полтора, въ благородномъ собраніи. Мы были на хорахъ, внизу многочисленное общество. Вдругъ среди него сдѣлалось особаго рода движеніе. Въ залу вошли два молодые человѣка, одинъ—высокій блондинъ, другой—средняго роста брюнетъ, съ черными курчавыми волосами и рѣзко-выразительнымъ лицомъ. «Смотрите, сказали намъ, блондинъ—Баратынскій, брюнетъ—Пушкинъ». Они шли рядомъ, имъ уступали дорогу. Въ концѣ залы Баратынскій съ кѣмъ-то заговорилъ и остановился. Пушкинъ прошелъ къ мраморной колоннѣ, на которой стоялъ бюстъ государя, сталъ подлѣ нея и

облокотился о колонну. Мы не спускали съ него глазъ, чтобы навсегда запечатлѣть въ душѣ образъ любимаго поэта.

Все окружавшее насъ вліяло на даровитую натуру Саши и возбуждало въ немъ множество новыхъ мыслей и стремленій. Ему страстно хотѣлось сообщить ихъ кому-нибудь, слышать ихъ подтвержденіе, и онъ высказался Ивану Евдокимовичу. Молодой медикъ, полный того благороднаго либерализма, который нерѣдко проходитъ съ лѣтами, съ мѣстомъ, съ семьей, но, несмотря на это, оставляетъ на человѣкѣ печать достоинства, съ упоеніемъ, съ намернувшимися на глазахъ слезами обнявъ своего ученика, растрогался и сказалъ, что такіа чувства должны созрѣть и укрѣпиться. Сочувствіе было поощреніемъ.

Съ этого времени, кромѣ преподаванія наукъ въ романтической формѣ, Иванъ Евдокимовичъ сталъ носить намъ тайкомъ мелко исписанныя тетрадки съ запрещенными стихами Пушкина. Мы списывали ихъ украдкой, вытверживали наизусть, прятали на ночь подъ подушку, чтобы онъ не попалъ въ такіа руки, въ которыхъ не слѣдуетъ, и тверже удержались въ памяти. Саша, по живости характера и врожденной безпечности, не выдерживалъ тайны и громко декламировалъ то «Оду на вольность», то «Деревню», «Кинжалъ». Чтобы навѣять на слушателей страхъ и трепетъ, принималъ трагическую позу, мрачное лицо и задыхающимся голосомъ говорилъ бывало:

Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый,  
Кинжалъ! ты кровь изилъ,  
И мертвъ объемлетъ онъ Помпея мраморъ горделивый.

У Саши былъ недостатокъ въ произношеніи, который придавалъ ему дѣтскую грацію. Онъ выговаривалъ слогъ ла между французскимъ la и русскимъ ла. Онъ это зналъ и иногда, затрудняясь на этомъ слогѣ, останавливался на минуту и, краснѣя, улыбаясь, смотрѣлъ на всѣхъ. Впослѣдствіи этотъ недостатокъ у него утратился.

Съ этого времени Саша сталъ съ особеннымъ увлеченіемъ заниматься исторіей Рима и Греціи. Разумѣется, онъ читалъ ее, какъ романъ, въ живыхъ очеркахъ Сегюра. Театральныя натяжки героевъ, бросаю-



шихся въ пропасть, онъ пропускалъ мимо, а гражданскія добродѣтели ихъ—понималъ. Пластическая, художественная красота великихъ людей древности поразительно отпечатлѣвалась въ его юной душѣ. «Въ Греціи,—говорилъ онъ:—все до того проникнуто изящнымъ, что сами великіе люди ея похожи на художественныя произведенія и напоминаютъ собою міръ греческаго зодчества. Та же ясность, гармонія, простота, юношество, благодатное небо, чистая дѣтская совѣсть. Даже черты лица Плутарховыхъ героевъ такъ же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, какъ фронтоны и портики Пареемона», и грустилъ, что этотъ міръ изящества, добродѣтелей и энергіи давно похоронился,—какъ вдругъ чтеніе одного автора открыло ему, что и тотъ міръ, въ которомъ онъ живетъ, который окружаетъ его, полонъ блеска и великаго. Открытіе это сдѣлало переворотъ въ его жизни.

Разъ, взявши въ руки Шиллера, онъ уже не покидалъ его и всю жизнь свою воспоминалъ о своемъ избранномъ поэтѣ съ трогательнымъ чувствомъ любви и благодарности.

— Шиллеръ!—говорилъ онъ:—благословляю тебя! тебѣ я обязанъ святыми минутами юности. Сколько слезъ лилось изъ глазъ моихъ на твои поэмы! какой алтарь воздвигнулъ я тебѣ въ душѣ моей! ты по преимуществу поэтъ юношества, тотъ же мечтательный взоръ, обращенный на одно будущее, тѣ же энергическія, благородныя чувства, та же любовь къ людямъ, та же симпатія къ современности.

Въ одно время съ Иваномъ Евдокимовичемъ Жозефъ Маршаль, замѣнивши Буша, давалъ намъ уроки французскаго языка, читалъ *Art poétique* Буало, Ла-Гарпа и послѣ урока оставался у насъ на весь день и вмѣстѣ съ нами ходилъ гулять.

Маршаль принадлежалъ къ числу людей съ характеромъ ровнымъ, свѣтлымъ, любовь которыхъ не сжигаетъ, а грѣетъ. Кроткій, тихій, онъ былъ до того нравствененъ, что краснѣлъ въ пятьдесятъ лѣтъ и напоминалъ собою ясный лѣтній вечеръ; самъ Иванъ Алексѣевичъ, никого не щадившій, любилъ его и обращался съ нимъ деликатно.

Какъ всѣ люди этого рода, онъ былъ классикъ, зналъ

глубоко древнія литературы, поклонялся изящной формѣ греческой поэзіи и выработанной изъ нея поэзіи вѣка Людовика XIV.

— Маршалъ сталъ читать намъ Расина,—говорилъ Саша:—въ то время, какъ я попался въ руки Шиллеровымъ разбойникамъ и ватага Карла Мора увела меня надолго въ богемскіе лѣса романтизма. Иванъ Евдокимовичъ неумолимо помогалъ Шиллеровымъ разбойникамъ и старался развивать и поддерживать возбужденныя ими либеральныя наклонности отрока.

Изъ всего сказаннаго ясно видно, что ученіе наше шло безъ систематическаго порядка и послѣдовательности и что вмѣсто дѣйствительныхъ знаній и стройнаго цѣлаго учебныхъ заведеній, у насъ образовалась только масса свѣдѣній, перепутанныхъ фантазіями. Но, несмотря на это, наука какъ-то сдѣлалась живою частью насъ самихъ. Мы приобрѣтали любознательность, страсть къ чтенію и способность самообразованія. Оно пополняло недостатокъ запаса знаній. Между тѣмъ, вліяніе литературы и учителей съ новыми взглядами, картина крѣпостнаго быта, либеральныя идеалы, распространенныя въ обществѣ, соединившись съ врожденными наклонностями Саши, обозначили основныя черты его характера и опредѣлили карьеру жизни. Сама среда, окружавшая его съ колыбели, помогала развитію такого направленія своимъ рѣзкимъ отрицаніемъ усвоенныхъ имъ понятій и заставила еще выразительнѣе выступать ихъ блестящія стороны. При этомъ Шиллеръ съ либерально-гражданскимъ стремленіемъ, съ любовью къ людямъ и истинѣ, поднятыми до первообраза, были такъ симпатичны идеальному юношѣ, что онъ сдѣлалъ религіей своей жизни осуществленіе этихъ возвышенныхъ типовъ. Онъ не вздрогнулъ передъ громадностью задачи и не взялъ въ расчетъ, что подниматься не то же, что бросаться въ размахъ. Да и возможно ли это въ четырнадцать лѣтъ?

~~~~~

ГЛАВА XIII.

Юность.

1826 — 1827.

Мы были въ той порѣ счастливой,
Гдѣ юность началась едва,
И жизнь нова, и сердце живо,
И вѣра въ будущность жива.

Юность! юность! Ты, какъ восходящее солнце, весь міръ обливаешь розовымъ свѣтомъ. Сквозь твой утренній туманъ фантазіи, отрокъ, вступая въ твою область, видитъ жизнь, полную красоты, блеска, торжества. Сердце бьется сильно, кровь волнуется, избытокъ силъ переполняетъ грудь.

И пусть юноши будутъ юношами, пусть отдаются вѣрованіямъ, пусть рвутся къ міровымъ подвигамъ, къ великому; пусть отдаются дружбѣ, любви, льютъ слезы грусти и восторга. Душа, разъ отдавшись широкому разливу, не забудетъ его никогда. Не переживайте вашей юности; счастливъ тотъ, кто сохранитъ юность души въ старости, кто не дастъ душѣ окаменѣть, ожесточиться.

Да будетъ благословенна юность!

Саша, ранній цвѣтокъ, преждевременно вступалъ въ эту благодатную пору жизни. Отрочество кончается, а юность наступаетъ обыкновенно въ шестнадцать лѣтъ. Для Саши отрочество кончалось въ четырнадцать. Онъ находился въ томъ переходномъ состояніи, когда дѣтская, наивная прелесть пропадаетъ, юношеская красота еще не является, въ чертахъ дисгармонія, нѣтъ граціи, въ движеніяхъ угловатость, глаза томны, а подчасъ заискрятся, щеки блѣдны, а подчасъ вспыхнутъ. То же совершается и въ душѣ: волненье, томность, зародыши страстей, чувство чего-то неопредѣленнаго. Затѣмъ — юность, восторженный лиризмъ, раскрытыя объятія всему Божьему міру.

Въ это-то періодъ возраста Саши, одиночество, потребность раздѣла чувствъ, мыслей, взаимныя симпатіи, все больше и больше влекли насъ другъ къ другу, но

долго сосредотачиваться на однихъ чувствахъ мы не могли. Образъ жизни, разнообразіе событій, множество возникшихъ интересовъ притуляли жгучесть и стирали сентиментальность, особенно въ Сашѣ, который, по живости своего характера, не могъ долго оставаться подъ натянутымъ состояніемъ ложной чувствительности. Кромѣ сочувствія событіямъ общественной жизни, мы принялись усердно вмѣстѣ читать. Читали мы повѣсти, романы, стихотворенія, исторію, облили слезами Вертера, одолѣли молодого Анахарсиса и стали внимательно заниматься съ Иваномъ Евдокимовичемъ и Маршалемъ. Маршалъ, сверхъ уроковъ французскаго языка и прогулокъ, игралъ съ нами въ воляны и шахматы. Иванъ Евдокимовичъ послѣ словесности принялся за эстетику, въ которой, говорили, и самъ былъ недалекъ; сверхъ того, онъ задавалъ намъ писать сочиненія. Мы взапуски писали литературные обзоры и дѣлали переводы. Были статьи и историческія. Помню статью Саши о Марѣѣ Посадницѣ, которую онъ сравнивалъ съ Зиновіей Пальмирской. Подъ статью Марѣѣ Посадницѣ я писала о Вадимѣ Новгородскомъ и о свинцовыхъ водахъ Волхова. Выражались мы большей частью въ тонѣ возвышенномъ. У меня преобладали картины, у Саши мысль. Въ его полудѣтскихъ статьяхъ уже сквозилъ священный огонь таланта и широта взгляда. Иванъ Евдокимовичъ, поправляя статьи Саши, приходилъ отъ нихъ въ восторгъ, тѣмъ болѣе, что въ нихъ частью повторялась его же мысль. Я также приходила въ восторгъ, читая статьи Саши, должно-быть, больше по дружбѣ къ нему, предвѣщала ему великую литературную извѣстность и поощряла къ дѣятельности. Уроки свои молодой медикъ преподавалъ намъ всегда въ маленькомъ кабинетѣ, чтобы не быть на глазахъ Ивана Алексѣевича, который не могъ равнодушно видѣть его длинныхъ волосъ и слышать, какъ онъ выговариваетъ иностранныя слова, и сейчасъ же начиналъ его передразнивать съ разными ужимками. Ивана Евдокимовича это смущало, Сашу бѣсило. Вскорѣ характеръ чтенія Саши измѣнился. Политика и исторія революціи выступили на первый планъ, затѣмъ французскіе писатели XVIII столѣтія съ ихъ доказательствами о правахъ человѣка, съ теоріями и утопіями. Шиллеръ и духъ времени спасали его отъ

матеріалистическихъ воззрѣній этой школы. Отъ односторонности политическаго направленія спасли естественныя науки.

На обращеніе Саши къ естественнымъ наукамъ навела его встрѣча съ племянникомъ его отца, Алексѣемъ Александровичемъ Яковлевымъ.

Алексѣй Александровичъ, спустя немного времени по смерти своего отца, переѣхалъ изъ Петербурга въ Москву вмѣстѣ съ своей старушкой-матерью Олимпиадой Максимовной, доброй, кроткой и глухой. Онъ нѣжно любилъ свою мать, и это было единственнымъ теплымъ чувствомъ въ его сердцѣ, охлажденномъ страданіями, которыя онъ вмѣстѣ съ нею вынесъ отъ своего отца. Горе тѣсно соединило ихъ. Онъ окружалъ ея старость вниманіемъ и спокойствіемъ. Мы слышали объ Алексѣѣ Александровичѣ, какъ о человѣкѣ странномъ, который ни съ кѣмъ не знается, занимается только химіей, много читаетъ, отдаляется отъ женщинъ, и нетерпѣливо желали его видѣть.

Однимъ утромъ сидѣли мы въ комнатѣ Ивана Алексѣевича, какъ вошелъ слуга и доложилъ:

— Алексѣй Александровичъ Яковлевъ изволили пожаловать.

— Прости,—сказалъ Иванъ Алексѣевичъ.

Въ комнату вошелъ человѣкъ небольшого роста, съ рѣдкими волосами и длиннымъ носомъ, въ золотыхъ очкахъ, одѣтый очень просто. Луиза Ивановна знала химика и его мать съ пріѣзда своего въ Россію и очень любила ихъ. Она нѣсколько лѣтъ не видалась съ ними и встрѣтила Алексѣя Александровича дружески. Иванъ Алексѣевичъ принялъ новаго племянника холодно и колко. Племянникъ не остался въ долгу и отвѣтилъ тѣмъ же. Онъ пробылъ у Ивана Алексѣевича недолго; поговоривши о постороннихъ предметахъ, они разстались съ чувствомъ взаимной ненависти и послѣ этого посѣщенія видались очень рѣдко. Прочіе родственники, которыхъ Алексѣй Александровичъ счелъ долгомъ посѣтить, принимали его такъ же неприязненно.

Прощаясь, химикъ пригласилъ къ себѣ Луизу Ивановну и насъ. Мы не замедлили воспользоваться его радушіемъ и стали бывать у нихъ довольно часто. Въ

гостиную Алексѣй Александровичъ, закутанный въ мѣховой халатъ, несмотря на то, что это было въ маѣ, и, жалуюсь на разные недуги, опустился на диванъ, обложенный пуховыми подушками. Повидимому, онъ былъ радъ меня видѣть и очень одушевился, разговаривая со мной. Между разными предметами разговора и особенно интересовавшими его семейными дѣлами близкихъ ему лицъ, онъ съ чувствомъ вспоминалъ о Сапѣ, несмотря на то, что послѣ женитьбы послѣдняго они отчасти разошлись, ставилъ его высоко, какъ писателя-мыслителя, и очень хвалилъ его «Письма объ изученіи природы». Затѣмъ, узнавши, что я съ дѣтьми їду за границу, поручилъ мнѣ передать Сапѣ поклонъ и его сожалѣніе, что онъ вмѣсто того, чтобы продолжать серьезныя занятія науками, опять вдался въ опасную политическую дѣятельность.

Говоря о себѣ, Алексѣй Александровичъ сказалъ, что въ настоящее время онъ съ особеннымъ наслажденіемъ читаетъ Евангеліе, что ни въ одной книгѣ онъ не находилъ такого вѣрнаго основанія для возможности совершенствованія во всѣхъ областяхъ жизни, какъ въ Евангеліи. «Каждый разъ,—говорилъ онъ:—открывая Евангеліе, я нахожу въ немъ новые источники для размышленія, а затѣмъ новые горизонты и безконечную даль. Да,—продолжалъ онъ:—христіанство—это углубленіе въ себя, сознаніе безконечнаго достоинства своей натуры; это всеобщее въ каждомъ и каждый во всеобщемъ, это полная свобода развитію богатства духа,—основа царства Божія на землѣ».

Я съ изумленіемъ слушала Алексѣя Александровича, зная его чистымъ матеріалистомъ, съ законченнымъ взглядомъ, считающимъ эгоизмъ источникомъ всѣхъ людскихъ дѣйствій, полагая ихъ дѣломъ организма и обстоятельствъ. Даже натуръ-философовъ онъ закрывалъ при началѣ чтенія и не раскрывалъ больше.

Алексѣй Александровичъ замѣтилъ мое изумленіе, понявъ его и, улыбаясь, сказалъ: «односторонность занятій мѣшала мнѣ обращать серьезное вниманіе на многое внѣ предметовъ, исключительно интересовавшихъ меня, а если я и обращался къ нимъ, то съ предвзятымъ взглядомъ; когда же жизнь достигаетъ полного развитія и разумъ беретъ верхъ надъ страстностью, мы отдѣлы-

ваемся отъ нашихъ предубѣжденій и становимся ближе къ истинѣ.

Мы разстались съ Алексѣемъ Александровичемъ самымъ душевнымъ образомъ. Больше я его не видала. Съ нимъ угаснулъ и этотъ родъ Яковлевыхъ.

Подъ вліяніемъ химика, Саша пристрастился къ естественнымъ наукамъ и сталъ думать объ университетѣ. Иванъ Алексѣевичъ смотрѣлъ на университетъ неблагопріятно, и какъ только Саша заговаривалъ о немъ, начиналъ сердиться и бранить учителей, зачѣмъ они н толковали Шумкѣ всякій вздоръ. Кромѣ Ивана Алексѣевича, въ то время къ московскому университету не благоволили многіе, и даже высшія власти смотрѣли на него какъ на сборище опасныхъ умовъ и источникъ либеральныхъ стремленій. Иванъ Алексѣевичъ опасался, что бы подъ вліяніемъ университетскаго вольнодумства, какъ онъ выражался, не развились опасныя наклонности, уже видѣвшіяся въ Сашѣ, и не навлекли бы ему несчастія. Въмѣсто университета онъ совѣтовалъ ему, приготовившись, слушать лекціи комитетскія, которыя читали профессора чиновникамъ, чтѣ, по его мнѣнію, согласовалось и съ положеніемъ Саши, съ дѣтства записаннаго вмѣстѣ съ Егоромъ Ивановичемъ на службу въ Кремлевскую экспедицію. Конечно, служба эта была мнимая: ни тотъ, ни другой на нее никогда не являлись. Они подписывали бумаги и больше о своей службѣ и не слыхали ничего. Только отъ времени до времени являлся отъ князя Юсупова, начальника Кремлевской экспедиціи, чиновникъ сообщить, что полученъ ими такой-то чинъ. Саша, къ огорченію Ивана Алексѣевича, продолжалъ заявлять, что хочетъ быть студентомъ на общихъ университетскихъ основаніяхъ, а если служба помѣшаетъ, то выйдетъ въ отставку. Но такъ какъ до университета было еще далеко, то и разговоры объ этомъ предметѣ покончились ничѣмъ.

Осенью Иванъ Алексѣевичъ получилъ письмо отъ моего отца, въ которомъ онъ увѣдомлялъ, что скоро вышлетъ за мной экипажъ, и просилъ отпустить меня домой.

Вѣсть эта всѣхъ встревожила. Просили Ивана Алексѣевича не отпускать меня. Иванъ Алексѣевичъ отвѣтилъ моему отцу, что хотя для него воля родителей

передней насъ всегда встрѣчало нѣсколько человѣкъ прислуги, у которыхъ не было другого занятія, кромѣ куренія табаку и игры на торбанѣ. Одинъ изъ нихъ считалъ долгомъ провожать насъ черезъ нѣсколько огромныхъ залъ, никогда не топлённыхъ, никогда не освѣщенныхъ и оставленныхъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ были при отъѣздѣ покойнаго стараго барина въ Петербургъ. Въ этихъ покинутыхъ залахъ встрѣчались ящики съ уложеннымъ въ нихъ хрусталемъ и фарфоромъ, стоявшіе безъ порядка на полу; на мраморныхъ столахъ, съ бронзовыми рѣшеточками, на курьезныхъ этажеркахъ видѣлись разныя рѣдкости, купленные на аукціонахъ. Къ стѣнамъ прислонены были золоченныя рамы, обращенныя однѣ лицевой стороною къ стѣнѣ, другія въ комнату. На потолкахъ висѣли люстры, осыпанныя хрустальными подвѣсками. На разноцвѣтныхъ мраморныхъ подзеркальникахъ видѣлись потускнѣвшія бронзовыя канделябры и разныя бронзовыя вещи, все было покрыто густой сѣрой пылью, все какъ-то волшебнo отражалось въ вычурныхъ, огромныхъ зеркалахъ съ позолоченными рамами. Пробираясь между ящиковъ и мебели, шагая черезъ множество препятствій въ видѣ веревокъ, клочковъ соломы и рѣзаной бумаги, оставляя слѣды на пыли, покрывавшей полъ, наконецъ, разными переходами достигли мы жилыхъ комнатъ. Сапа оставался у двери, завѣшанной ковромъ, осторожно приподнималъ его и входилъ въ кабинетъ химика, рядомъ съ которымъ находилась и его лабораторія. Мы приходили далѣе и достигали комнатъ Олимпиады Максимовны.

Алексѣй Александровичъ почти безвыходно сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, закутанный въ халатъ на бѣличьемъ мѣху, среди книгъ, ретортъ, химическихъ снарядовъ—онъ работалъ, читалъ, спалъ на томъ же диванѣ, на которомъ проводилъ и день. Диванъ этотъ покрытъ былъ тигровой кожей, на ночь кожу замѣняла подушка и одѣяло.

Къ завтраку химикъ и Сапа приходили на половину Олимпиады Максимовны, за завтракомъ, всегда изобильнымъ и очень хорошимъ, съ дорогими винами, бесѣда одушевлялась, интересные разговоры переходили отъ политики къ наукамъ, отъ наукъ къ дѣламъ семейнымъ.

Алексѣй Александровичъ говорилъ умно, остро, занимательно, весело вспоминалъ съ Луизой Ивановной прошедшее и забавно шутилъ надъ приѣмомъ, сдѣланнымъ ему дядюшками и прочими родственниками. Чтобы пріятнѣе занять меня и Сашу—приносилъ намъ разсматривать книги съ дорогими гравюрами, рѣдкіе гербаріи и великолѣпную коллекцію карикатуръ Гогарта. Изъ нихъ я помню «сны», они почему-то мнѣ особенно нравились: надъ спящими, въ обстановкѣ, соотвѣтственной ихъ общественному положенію и полу, въ легкихъ, полувоздушныхъ очеркахъ носятя сцены, выражающія душевное состояніе спящаго.

Замѣтивши въ Сашѣ способности и наклонность къ серьезнымъ занятіямъ, химикъ совѣтовалъ ему бросить бесполезную литературу и опасную политику и приняться за естественныя науки. Онъ предложилъ въ помощь къ его занятіямъ свои указанія, книги, химическіе снаряды и рѣдкія коллекціи. Естественныя науки, говорилъ онъ, воспитываютъ фактами, сближаютъ съ жизнью и смиряютъ передъ ней.

Алексѣй Александровичъ жилъ въ Москвѣ недолго, онъ продалъ свой московскій домъ и переселился въ Петербургъ, гдѣ у него былъ также свой собственный домъ на Англійской набережной,—тамъ онъ и прожилъ до конца своей жизни.

Въ исходѣ пятидесятихъ годовъ была я въ Петербургѣ и посѣтила Алексѣя Александровича. Войдя въ комнаты, въ которыхъ не слышно было ни звука, ни движенія, я увидала тѣ же предметы и на всемъ тотъ же отпечатокъ, который десятки лѣтъ тому назадъ видала въ его пустынномъ московскомъ домѣ. Среди залы стоялъ длинный столъ, загроможденный машинами, стеклянными ретортами; стѣны были обставлены шкапами, биткомъ набитыми книгами; въ гостиной встрѣтили меня знакомыя мнѣ фигурныя зеркала и рогатые канделябры. На внутренней стѣнѣ висѣлъ поясной портретъ Олимпиады Максимовны, сдѣланный знаменитымъ художникомъ масляными красками. Она представлена на немъ съ двухлѣтнимъ Алексѣемъ Александровичемъ на рукахъ, одѣтымъ въ бѣлой рубашечкѣ съ розаномъ въ рукѣ.

Вскорѣ медленными, неслышными шагами вошелъ въ

стараться привести себя въ какой-нибудь уровень съ окружающимъ меня и опредѣлить свои отношенія къ лицамъ не только нашего дома, но и довольно многочисленнымъ знакомымъ. Это мнѣ было трудно. Провинціальная жизнь мнѣ сдѣлалась чужда и казалась мелкою. Пользуясь своею обязанностью, я рѣшила почти нигдѣ не бывать и весь нравственный интересъ свой сосредоточить на занятіяхъ съ ученицами и на перепискѣ съ Сашей. Мачеха моя, видя, съ какимъ рвеніемъ принялась я за дѣло, предоставила дѣтей мнѣ почти исключительно. Я создала себѣ жизнь отдѣльную, не похожую ни на что, окружавшее меня.

Я не стала томить дѣтей правилами чистописанія и правописанія, а начала говорить имъ, какіе были и есть писатели; читала отрывки изъ ихъ сочиненій въ прозѣ и стихахъ, давала учить на память, старшимъ—поэмы, баллады, маленькимъ—апологи и басни. По примѣру Ивана Евдокимовича, изъ древней исторіи рассказывала историческія событія съ гражданскими подвигами; очерчивала лица, мѣстности, гдѣ совершались событія; подъ вліяніемъ разыгравшагося воображенія дополняла своимъ сочиненіемъ. Рѣшалась объяснять даже философскія системы, сама ихъ хорошо не зная и не понимая. Ландкарты мы разсматривали не столько съ географіей въ рукахъ, сколько съ путешествіями. Конечно, въ моемъ преподаваніи не было ни порядка, ни системы, ни цѣльности, одно путалось съ другимъ, но въ этой путаницѣ чувствовалась жизнь, и какъ-то шло все въ прокъ. Въ исторіи мы вертѣлись больше около Греціи. При помощи «Молодого Анахарсиса» я коротко познакомила ихъ съ древней Греціей. Спарта до того понравилась ученицамъ, что всѣмъ захотѣлось быть такими же сильными, смѣлыми и твердыми духомъ, какъ спартанки; для достиженія этихъ свойствъ взяты были многія мѣры. Къ числу этихъ мѣръ принадлежали: оканчиваніе холодной водой; прогулки босикомъ по росѣ, по дождю, отреченіе отъ чая, отъ лакомствъ, отъ ссоръ и отъ слезъ. Вспоминая это теперь, удивляюсь, какъ онѣ не перемерли всѣ и даже не переболѣли отъ моего воспитанія. Сверхъ разныхъ наукъ, я учила дѣтей играть на фортепіано, рисовать, танцовать, и устраивала изъ нихъ балеты и спектакли для своего и ихъ

увеселенія. Лѣтомъ лекціи мои перенесены были въ садъ. Была у меня и *aide de camp*, любимая моя подруга, дочь корчевскаго протопопа Маша. Мы съ ней подружились съ дѣтства черезъ плетень, раздѣлявшій наши огороды. Я Машу по-своему просвѣщала чтеніемъ, ученіемъ и интимными разговорами; она была предана мнѣ безгранично, смотрѣла моими глазами, думала на мой ладъ. Цѣны труда и денегъ я еще не понимала. Получая плату за ученицъ, я накупала себѣ, Машѣ и дѣтямъ цвѣтовъ, ягодъ, сахарной патоки, тверскихъ пряниковъ, въ видѣ рыбъ, съ хвостами впрямь и съ хвостами кольцомъ; выписала нѣсколько книгъ; вообще же деньги у меня шли дурно, какъ говорится въ народѣ.

Когда дѣтей распустили на вакацію, я стала бывать больше у тетушки и ѣздила съ ней къ деревенскимъ сосѣдямъ. Чаше другихъ мы посѣщали семейство N... Тамъ было нѣсколько дочерей, подходившихъ къ моему возрасту, хорошенькихъ, умненькихъ, бойкихъ и живыхъ. Ихъ томили стѣснительные нравы женщинъ того времени, и онѣ отвоёвывали себѣ полную свободу, въ убѣжденіи, что независимая жизнь уравниваетъ положеніе женщины съ независимымъ положеніемъ мужчины. Вопреки общественному приличію, онѣ ѣздили однѣ по сосѣдямъ, часто на бѣговыхъ дрожкахъ, безъ кучера, сами управляя лошадей; или, стоя на телѣгахъ—неслись на лихой тройкѣ, скакали верхомъ, товарищески вступали въ разговоры и споры съ мужчинами. Этого рода явленія встрѣчались и въ другихъ семействахъ. Я знала одну очень милую, умную дѣвушку, которая думала уравнять права свои съ правами мужчины, усвоивши ихъ костюмъ и манеры. Утрами она надѣвала мужской халатъ, пила изъ стакана чай, курила трубку на длиннѣйшемъ чубукѣ. Обувалась въ мужскіе сапоги, волосы стригла, покррой платья ея намекалъ на одежду мужчины. Приемы ея, разговоръ, голосъ—все было подражаніе молодымъ людямъ. Вечерами она ходила по улицамъ въ военной шинели, и на вопросъ буточниковъ: «кто идетъ?» отвѣчала: «солдаты». Собравшись вечеромъ въ гости къ роднымъ или близкимъ знакомымъ, она надѣвала мужское платье, на голову фуражку, садилась верхомъ на дрожки и отправлялась. Эта удалъ, это ребяческое подражаніе мужчинѣ, это исканіе чего-то, уже содер-

жали въ себѣ зародышъ протеста противъ отживавшаго порядка вещей.

За этимъ дѣтскимъ, безотчетнымъ протестомъ, въ сороковыхъ годахъ, явился протестъ болѣе яркій, хотя такой же бессознательный. Изъ раззолоченныхъ гостиныхъ, изъ балльныхъ залъ выступилъ рядъ вакханокъ въ рестораны, гдѣ среди шумныхъ оргій, со стаканами шампанскаго въ аристократическихъ рукахъ, презирая всѣ приличія, сбросивши всѣ маски и вуали, въ знакъ презрѣнія къ общественному мнѣнію, онѣ подражали разгулу и кутежамъ мужчинъ.

Новая, зарождавшаяся жизнь, какъ весенній воздухъ, проникая повсюду, не просвѣтляла, а опьяняла головы. Подъ вліяніемъ этого вѣянія, чувствовалась подавленность воли и самобытности; чувствовалось, что есть жизнь другая — и женщинамъ хотѣлось этой другой жизни; но какая она внѣ кутежа — онѣ понять еще не могли, и не освобождались, а разнуздывались и доходили не до свободы, а до распущенности.

Возмущеніе ихъ было полно избалованности, каприза, кокетства. Эти травіаты не пропадутъ для исторіи. Онѣ составляютъ веселую, разгульную, авангардную шеренгу, за которой выдвигается многочисленная шеренга молодыхъ дѣвушекъ и женщинъ, въ простой одеждѣ, съ лекціями въ рукахъ.

Травіаты, съ упоительными балами и шумными оргіями, смѣнили академическая аудиторія, анатомическій залъ, гдѣ дѣвушки стали изучать тайны природы, забывшая различіе половъ передъ истинами науки.

Камеліи шли отъ неопредѣленнаго желанія, отъ негодованія, отъ волненія и доходили до пресыщенія. Другія — идутъ отъ идеи, въ которую вѣрятъ. Жаль только, что нѣкоторыя съ прямого пути заворачиваютъ на проселки. Заявляя права женщины на знаніе и дѣло и исполняя обязанности, налагаемыя вѣрой въ общемъ, въ частности онѣ падали до распущенности камелій съ гербами, травіаты съ жемчугомъ, съ той только разницей, что падали вслѣдствіе опредѣленной идеи.

Однѣ изъ нихъ уже извѣстны замѣчательными успѣхами въ химіи, другія возвратились съ дипломами на доктора медицины — и слава имъ!

Понятно, какое негодование, какое сожалѣніе объ уходящихъ формахъ жизни рождалось и еще рождается при подобныхъ явленіяхъ. Примирить можетъ время, а исторія — пояснить, что женщина не могла освободиться изъ-подъ гнета того порядка вещей, гдѣ требованія души ея не находили признанія иначе, какъ отрицаніемъ его, безпощадной ломкой. Вмѣстѣ съ отживающими временными формами жизни не падаютъ и основныя истины жизни, какъ общественной, такъ и частной. Но для истины — смерти нѣтъ. Каждый разъ изъ-за обломковъ временного она выступаетъ съ большимъ блескомъ и отчетливостью.

Въ продолженіе года, проведеннаго мною въ Корчевѣ, мы съ Сашей непрерывно переписывались. Жаль, что изъ этихъ писемъ уцѣлѣли только немногіе отрывки, — и то случайно. Саша разъ, перечитывая свои письма, взявъ у меня нѣкоторыя изъ нихъ, понравившіяся ему юностью и свѣжестью, чтобы помѣстить въ своихъ воспоминаніяхъ, которыя иногда отрывками набрасывалъ. Отдавая ему письма, я опасалась, что они у него затеряются, и сдѣлала изъ нѣкоторыхъ выписки.

Первое письмо, полученное мною отъ Саши, тотчасъ по пріѣздѣ моемъ въ Корчеву, начиналось такъ:

«Тебя-ль я видѣлъ, милый другъ,
Или невѣрное то было сновидѣнье,
Мечтанье смутное или пламенный недугъ
Обманомъ волновать мое воображенье.
Ты-ль дѣва нѣжна...

Сонъ это былъ, или я точно сжималъ твою руку — скажи мнѣ. Долго смотрѣлъ я на ворота, за которыми ты скрылась, походилъ по двору — точно искалъ чего-то, — мертво, холодно. Вошелъ въ свою комнату — холодно, пусто. На всемъ еще лежала печаль твоего недавняго присутствія, а тебя нигдѣ не находилъ. Опять одиночество, опять книга, одна книга товарищъ. Взялъ книгу, хотѣлъ читать и не могъ, думалъ, гдѣ-то теперь ты...»

Въ іюнѣ мѣсяцѣ онъ писалъ мнѣ изъ Васильевскаго: «Какъ ни люблю я деревню, какъ ни хороши поля, лѣса, деревенская свобода, но мнѣ надобенъ другъ, съ которымъ я могъ бы подѣлиться впечатлѣніями, чувствами. Душа моя такъ полна, что мнѣ хотѣлось бы

сплавить все въ этотъ листокъ бумаги, который скоро ты будешь держать въ рукахъ...

«Мы живемъ въ новомъ домѣ; что за видъ съ горы, на которой онъ стоитъ, и изъ моей комнаты въ мезонинѣ! Кругомъ видны: деревни, церкви, лѣса и черезъ все—голубая лента рѣки... Я встаю рано, открываю окно и смотрю, и дышу, или уйду въ лѣсъ. Онъ начинается сейчасъ за домомъ. Тамъ бросаюсь подъ дерево, громко читаю Шиллера и воображаю себя въ божескихъ лѣсахъ. Иногда лежу съ книгой на горѣ, и какъ привольно мнѣ на ней. Передо мной безконечное пространство, и мнѣ кажется, что эта даль—продолженіе меня, что гора со всѣмъ окружающимъ меня—мое тѣло, и мнѣ слышится ея пульсъ, какъ въ живомъ организмѣ. Иногда я кажусь себѣ совершенно потеряннымъ въ этой безконечности, листомъ на огромномъ деревѣ, но эта безконечность не давитъ меня. Неужели лучъ солнца, этотъ взглядъ любви Бога-отца на сына—мертвъ? неужели эта рѣка, движущая каждой волной, мертва? и будто не жизнь подняла горы, разорвала долины оврагами, деревьями, устремилась вверхъ, бабочкой оторвалась отъ земли, и во мнѣ созерцаетъ себя. Великій духъ, облакающійся плотью, я молюсь тебѣ горячо и страстно. А лунныя ночи! лѣсъ еще страшнѣе и не пускаетъ лучи подъ тѣнь свою. Надъ рѣкой нависъ густой туманъ, бѣлый, страшный. Сова перекликается съ филиномъ человѣческимъ хохотомъ и дѣтскимъ плачемъ. Вдали свѣтятся двѣ точки—это глаза волка; его уже почуяли собаки въ деревнѣ и заливаются лаемъ. Мужикъ идетъ изъ дальней пущи, и громко стелется его заунывная пѣсня, и издали слышны его шаги. Я иногда въ эти ночи стою одинъ-одинехонекъ, думаю о тебѣ и подсматриваю сонъ природы, и боюсь духъ перевести, чтобы ночь не замѣтила меня».

«Версты полторы за оврагомъ, — писалъ мнѣ Сапа въ августѣ изъ Васильевского: — есть старинные курганы, неизвѣстно кѣмъ и на чьихъ могилахъ насыпанные. На нихъ растутъ высокія сосны и покрываютъ своей погребальной, непроницаемой тѣнью. Въ народѣ ходитъ слухъ, что тамъ находятся ржавыя вещи, которыя принадлежали какому-то древнему воинственному народу. Я рылся въ этихъ курганахъ и ничего не на-

шелъ. Народъ увѣряетъ меня, что страшно ходить мимо ихъ, и безъ крайности никто не ходитъ. Говорятъ, что-то нечистое да есть тутъ. Я увѣрю, что они боятся пустяковъ; но простой народъ разочаровываться не любить. Одинъ изъ нашихъ дворовыхъ предложилъ мнѣ, если я не боюсь, идти на курганъ ночью одному, и въ доказательство, что я тамъ былъ, принести черепъ издохшей лошади, валявшійся между дубовыхъ пней. Люди наши повѣсили его на сукъ. Я предложеніе принялъ и въ 12 часовъ ночи, въ это время всѣхъ духовидѣній, я отправился. Бодро перешелъ оврагъ; домъ еще былъ виденъ, однако, сердце билось; я безпрестанно оглядывался и пѣлъ громко пѣсню, чтобъ ободрить себя. Вхожу я въ перелѣсокъ; вѣтеръ дуетъ сильный, деревья безпрестанно мѣняють свой видъ, шумятъ—темно. Я спотыкаюсь; кажется, бѣгутъ за мной; кажется, деревья не стоятъ на одномъ мѣстѣ, а переходятъ. Страшно было, страшно, смерть; но мнѣ и въ мысль не приходило возвратиться безъ лошадиного черепа. Вотъ и курганъ, я осмотрѣлся. Звѣзды горѣли на небѣ. То листь колыхнется, то ночная птица перепорхнетъ. «Гдѣ же страшное»,—думалъ я, схватилъ свой призь и быстро побѣжалъ домой; по счастью, въ черепѣ не было мѣши, какъ въ извѣстномъ черепѣ Олегова коня, и я принесъ его, при громкихъ рукоплесканіяхъ Левки-цырюльника съ братіей. Не сердись, пожалуйста, что я останавливаюсь на этихъ подробностяхъ».

Вотъ какъ Сапа описывалъ мнѣ возвращеніе изъ деревни въ Москву.

«Глубокая осень, грязь по колѣно; утромъ морозы; работы оканчиваются, одинъ цѣль стучитъ въ тактъ. Сборы, инструкции, какъ окончить работу, какъ собирать оброкъ. Все готово. Является священникъ съ вынутой просвирой; является священника жена съ пирогомъ и бутылкой сливокъ. На дворѣ суета. Староста провожаетъ за десять верстъ, на мірской соврасой лошади, господъ, чтобы убѣдиться въ ихъ отъѣздѣ. Карета вязнетъ въ грязи. Батюшкинъ камердинеръ выходитъ каждый разъ изъ кибитки, когда карета склоняется немного на бокъ, и поддерживаетъ ее, а самъ такой тѣлешный, что десяти фунтовъ не подниметъ. Вотъ Вязема, русская деревня, крытая по-голландски.

Вотъ дрогомилевскій мостъ трещить подъ колесами, освѣщенные лавочки, освѣщенные кабаки; калачи горячіе! сайки! и мы дома. Повара жена увидала первая, и суетится, не можетъ найти то отъ того-то ключа, то того, что было подъ ключомъ. Опять развертываются учебныя книги, опять являются учителя — новые учителя, что тебѣ о нихъ сказать? Разумѣется, всѣ они вмѣстѣ хуже Маршала. Но скажемъ и о нихъ слово-другое.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

1. Василій Ипатьевичъ Запольскій—учитель словесности.
2. Иванъ Ѳедоровичъ Волковъ—учитель математики.
3. Василій Ивановичъ Оболенскій—латинскаго языка.
4. Карлъ Ивановичъ Мессъ—нѣмецкаго языка.
5. Францъ Николаевичъ Тирье—французскаго языка.
6. Василій Васильевичъ Богодѣповъ—Закона Божія.

Большинство изъ нихъ не заслуживаетъ многихъ рѣчей.

Мессъ ужасно пахнетъ водкой, можетъ-быть, оттого, что издалъ нѣмецко-русскій лексиконъ, очень плохой, и до того близорукъ, что всегда ѣздитъ носомъ по тетрадкѣ, когда поправляетъ переводъ. Тирье знаетъ всѣ московскія сплетни, кто съ кѣмъ въ интригѣ, есть, будетъ, былъ бы. Даже и для француза онъ слишкомъ болтливъ. Запольскій самъ интриговалъ всю жизнь. Онъ заставляетъ меня дѣлать выписки изъ Остолопова поэтическаго словаря, множество переводить, щепетильно чистить мой слогъ, разсуждаетъ лагарповски о русской литературѣ и, между прочимъ, говоритъ: «великіе люди часто пренебрегаютъ законами, принятыми всѣми; знаете ли, что Карамзинъ нерѣдко употреблялъ въ словахъ вы, вашъ—маленькое в; ну что-жъ послѣ этого говорить о запольскомъ, вотъ ему на зло маленькое з». Волковъ и Оболенскій интересны особенно по наружности. Въ нихъ повторилась противоположность Бушо и Эка. Иванъ Ѳедоровичъ Волковъ, учитель гимназій, знаетъ математику до коническихъ сѣченій, и больше ничего не знаетъ. Василій Ивановичъ Оболенскій, магистръ университета, знаетъ латинскій языкъ, да сверхъ того *omne scibile*, кромѣ математики. Не смотря на то, что я учусь уже охотно и не боюсь учителей, невольный трепетъ пробѣжалъ по членамъ, когда я увидалъ Ивана Ѳедоровича; онъ подавилъ меня важ-

ностью и пышностью своей фигуры, онъ подавилъ меня вышиной, толщиной и шириной; настоящий математикъ, онъ стереометрически огроменъ, огроменъ во всѣ три измѣренія. Когда онъ садится на кушетку, на которой я могу свободно протянувшись лежать, то мнѣ не остается мѣста на ней. Одѣвается онъ всегда съ удивительною тщательностью; тангенсомъ, по его жилету виситъ цѣпь, перехваченная какимъ-то обручемъ, обитымъ бирюзою; на этой цѣпи держитъ онъ нортоновскіе каретные часы, превратившіеся въ карманные, взявъ въ разсужденіе содержаніе массы; отъ часовъ идетъ другая цѣпь по отвѣсной линіи, а на ней болтается цѣлая кунстъ-камера. Въ манишкѣ у него, между прочими рѣдкостями, булавка съ надписью: «Bruto non numerant», изъ чего я заключаю, что Ивану Ѳедоровичу очень не хочется быть Брутомъ, и боюсь, чтобы кто-нибудь его таковымъ не счелъ, онъ, съ своей стороны, счелъ за нужное сдѣлать вывѣску. Въ обоихъ карманахъ у него лежатъ по платку, стало-быть, у него платка нѣтъ. Въ карманѣ у него помѣщается серебряный патронташъ съ табакомъ (табакъ Иванъ Ѳедоровичъ называетъ мерехлюндіумъ). Сверхъ математики Иванъ Ѳедоровичъ преподаетъ анекдоты изъ своей жизни, въ продолженіе которой онъ былъ даже сержантомъ Преображенскаго полка, и это преподаваніе очень пространно, могу сейчасъ написать стопы полторы походовъ Ивана Ѳедоровича. Впрочемъ, онъ человѣкъ добрый и я очень обрадовался, увидавъ нечаянно въ газетахъ, что ему дали Станислава. Въ заключеніе скажу, что Иванъ Ѳедоровичъ, для вѣщней ясности, посвятилъ два урока на вырѣзку изъ картона разныхъ многоугольниковъ и своей рукой надписалъ по надобности «иносаедеръ, додекаедеръ». Ну, гдѣ же бы безъ этого понять мнѣ! Совсѣмъ иное дѣло магистръ Оболенскій. Какъ полиція позволяетъ ему ходить по улицамъ — непостижимо, crime de lèse nation! онъ столько же мало человѣкъ, сколько Иванъ Ѳедоровичъ много человѣкъ. Представьте себѣ филистра вершковъ въ пять, который проглотить аршинъ вершковъ въ шесть, и не можетъ ни наклониться, ни согнуться настолько, насколько это желаетъ деревянный Пимперле въ кукольной комедіи; онъ наматываетъ себѣ около шеи салфетку или какую-то простыню, оставляя

пространство между нею и шеей; такимъ образомъ случается, что онъ повернется и простыни нѣтъ, только кончики ея, завязанные розеткой, выглядываютъ изъ-подъ воротника фрака, будто у него тамъ спрятанъ кроликъ и хлопаетъ ушами. Жилетъ у него имѣетъ обыкновеніе застегиваться первой петлей на вторую пуговицу, отъ этого теряется послѣдняя симметрія и разстраивается всякая возможность узнать въ магистрѣ чело-вѣка, особенно когда онъ надѣваетъ сверхъ фрака длинный сюртукъ, цвѣта горохового киселя съ пылью. Онъ похожъ на нѣмецкаго университетскаго ученаго и на горячечнаго въ тихую минуту. Медленные движенія, померкшіе глаза (*des yeux ternes*), наносный педантизмъ, невѣдѣніе всего міра реальнаго изъ-за превосходнаго знанія латинскаго и греческаго языковъ и остермановская разсѣянность. Онъ бездну переучилъ, перечиталъ; но ему рѣшительно наука не пошла въ пользу; онъ какъ скупецъ чашетъ надъ трудно собранными деньгами, не употребляя ни копейки изъ нихъ. Магистру я обязанъ многимъ, но это случилось помимо его воли, и потому не знаю, долженъ ли я его благодарить. Я беру у него книги, книги у него все дѣльныя, особенно по части новой исторіи и нѣмецкой литературы. Онъ принесъ мнѣ Шеллинга,—онъ его уважаетъ, но понимаетъ мало, больше вѣрить на слово Михаилу Григорьевичу Павлову.

Отецъ Василій восторженный мистикъ, съ душой, раскрытой всему таинственно-изящному. Въ немъ можно понять служителя церкви христовой. Я видѣлъ огонь въ его глазахъ во время преподаванія, видалъ слезы на его глазахъ во время литургіи. При всемъ этомъ, онъ на меня дѣйствуетъ меньше, нежели этого можно было ожидать. Виною этого частью матеріалистическіе софизмы учителей (исключая Маршала), которые хвастались своимъ *esprit fort*, занимавшій меня міръ политическій, непониманіе отношеній религіи къ государству, наконецъ, его мистицизмъ. Я вижу въ Васильѣ Васильевичѣ чело-вѣка отличнаго, высокаго, но увлеченнаго.

Если бы онъ принималъ христіанство евангельски просто, если бы онъ не столько объяснялъ мнѣ мистическій характеръ религіи, я увѣренъ, онъ сократилъ

бы путь, которымъ я достигъ бы до религіознаго возрѣнія; я смотрю на Василья Васильевича, какъ на блестящій метеоръ, люблю его, слушаю et je passe outre. Не насталъ еще часъ религіи въ душѣ моей...»

Вскорѣ по возвращеніи изъ Васильевскаго, Саша писалъ мнѣ:

«Я читаю «Confessions de J. J. Rousseau», эту исповѣдь страдальца, энергической души, выработавшейся черезъ мастерскія часовщиковъ, переднія, пороки до высшаго нравственнаго состоянія, до всепоглощающей любви къ человечеству...»

Я еще не читала Руссо, но слыхала, что въ его «Исповѣди» есть грязныя страницы, и отвѣчала Сашѣ:

«Не слишкомъ ли ты еще молодъ для того, чтобы нечистыя картины, которыхъ, я слышала, много въ «Исповѣди» Ж. Ж. Руссо, прошли передъ твоей душой, не брызгавши грязью».

По несчастію, это письмо попало въ руки Ивана Алексѣевича. Онъ имъ остался чрезвычайно доволенъ и тотчасъ же написалъ мнѣ:

«Любезная Танюша! я прочелъ твое письмо къ Шушкѣ, во всемъ, что ты пишешь относительно Ивана Яковлевича Руссо, я съ тобой согласенъ и тебя за письмо благодарю. Кто моему ребенку открываетъ глаза, тотъ меня одолажаетъ. Сегодня пишу твоему батюшкѣ и прошу его отпустить тебя къ намъ пользоваться уроками вмѣстѣ съ Шушкой. Съ ученицами можетъ заняться твоя мачеха, а для тебя довольно и болѣе можетъ быть вредно. Обнимаю тебя

Иванъ Яковлевъ».

Сашѣ письмо мое не понравилось. Онъ взбѣсился и писалъ мнѣ, между прочимъ:

«Что это у васъ за страсть читать морали, я теперь по милости вашего письма, выслушиваю цѣлые дни повѣди отъ паленки...»

Иванъ Алексѣевичъ объявилъ, что меня привезутъ къ нимъ на нѣсколько мѣсяцевъ, учиться вмѣстѣ съ Сашей у новыхъ учителей. «Можно себя представить, — вспоминалъ въ послѣдствіи Саша объ этомъ времени: — съ какимъ восторгомъ услышалъ я, что ее привезутъ къ намъ. Я на своемъ столѣ надаривалъ числа до ея приѣзда и, смарывая, промедлялъ иногда, намѣренно за-

бывая дня три, чтобы имѣть удовольствіе разомъ вычеркнуть побольше, и все-таки время тянулось очень долго, потомъ и срокъ прошелъ, и новый былъ назначенъ, и тотъ прошелъ».

Наконецъ у насъ рѣшили отпустить меня осенью, и какъ только выпалъ снѣгъ, меня отправили въ сопровожденіи жившей у насъ старушки-нѣмки m-me Брантъ, въ кибиткѣ, на тройкѣ, нанятой у моего кума Игната, ямщика изъ Машковичей.

Дѣти, провожая меня, плакали навзрыдъ, Мама заливалась слезами. Мнѣ было жаль ихъ и я поплакала, видя ихъ горе, но въ глубинѣ души было такъ хорошо, какъ будто плита упала съ груди и открылось небо.

Вблизи Москвы, на одной изъ станцій, мнѣ очень понравилась красивая, игривая кошечка, и я выпросила ее себѣ у хозяевъ. М-me Брантъ возстала и руками и ногами. «Кошка, — говоритъ: — въ дорогѣ бѣду накличетъ и лошади станутъ».

Я промолчала, когда же вышли садиться въ кибитку, спрятала кошку подъ шубу. Согрѣвшись, кошка пропала до Москвы.

Вечеромъ подъ Москвой насъ застала мятель. Снѣгъ валилъ валомъ. Несмотря на то, что ночь была мѣсячная, сквозь бѣлую движущуюся завѣсу, искрившуюся отъ проникавшихъ ее лучей мѣсяца, ничего нельзя было разсмотрѣть. Меня это забавляло, кумъ тревожился, онъ шелъ подлѣ кибитки, погонялъ лошадей и высматривалъ дорогу. Я всматривалась вдаль, чтобы увидеть Москву; по мѣрѣ приближенія къ ней, нетерпѣніе мое возрастало. Наконецъ, сквозь сыпавшійся снѣгъ блеснули звѣздочки. «Москва», — сказалъ кумъ, садясь бодро на облучокъ, тройка полетѣла, и мы у заставы; мелькають фонари, лавки, въ окнахъ домовъ свѣтятъ огни. У заставы насъ записали, и мы въ Москвѣ.

— Вотъ и кошечка съ нами пріѣхала, — сказала я, вытаскивая изъ-подъ шубы кошку: — и доѣхали благополучно.

М-me Брантъ только руками всплеснула: «да гдѣ же это вы ее припрятали? ну, счастье наше, что Господь донесъ безъ бѣды; ужъ не хвалитесь, пожалуйста, съ вашей кошкой».

— Скорѣй, скорѣй,—просила я кума:—теперь нечего искать дороги.

Вотъ и старая Конюшенная, и церковь Власія, куда Иванъ Алексѣевичъ каждый праздникъ усердно отправляетъ насъ къ обѣдѣ.

— Ахъ! вотъ и лавочка,—говорю я:—смотрите m-me Брантъ, мы съ Сапей посылаемъ въ эту лавочку за яблоками, ягодами и пряниками, намъ вѣрять въ долгъ.

За лавочкой показалась рѣшетка, отдѣлявшая широкій дворъ отъ улицы. Въ глубинѣ двора домъ, похожій на фабрику. Ворота еще не заперты.

— Къ которому крыльцу прикажете? — спрашивалъ кумъ.

— Къ большому подъѣзду.

Въ залѣ и въ гостиной бель-этажа свѣтитъ огонь.

— А вотъ это горитъ свѣча у Саши въ комнатѣ.

Видъ дома мраченъ, некрасивъ, но мнѣ онъ нравится такъ, какъ есть.

Скрипятъ полозья, кибитка подъѣхала къ крыльцу и остановилась.

Сердце у меня сильно бьется отъ радости и нетерпѣнія.

Навстрѣчу намъ выбѣжали изъ кухни и изъ комнатъ дворовые люди съ фонаремъ и свѣчами. Снѣгъ сыпалъ ключьями и залѣплялъ глаза, порывистый вѣтеръ задувалъ огонь. Насилу мы выбрались изъ кибитки. Только что я вошла въ переднюю и не успѣла еще снять шубы, шарфовъ, въ которыхъ была закутана, и бѣлыхъ мохнатыхъ сапогъ, какъ въ переднюю стремглавъ вбѣжалъ Саша и бросился мнѣ на шею.

Весело было мнѣ съ друзьями послѣ долгой разлуки; пріятно въ свѣтлой, теплой комнатѣ, послѣ ночи въ полѣ, кибитки и мятели! Мы говорили чуть не всѣ вмѣстѣ, наперерывъ хотѣлось высказаться, шутили смѣялись, бранились, пили горячій чай и ѣли московскіе калачи. М-me Брантъ съ восклицаніями рассказывала событіе съ кошкой, кошка была налицо—кошку ласкали, кормили. Улыбка умная, тихая, полная счастья, почти не сходила съ лица Саши. Въ немъ виденъ былъ уже юноша; онъ выросъ (онъ былъ роста средняго), возмужалъ, во взорѣ свѣтилась опредѣлившаяся мысль и какая-то томность; въ голосѣ слышалась перемѣна.

Я шутила надъ его скруточкомъ зеленоватаго цвѣта,

изъ рукавовъ котораго руки его значительно выросли; онъ отшучивался и смущался нѣсколько. Рукава были на вершокъ короче рукъ, воротъ его рубашки былъ еще раскнутъ и безъ галстука, несмотря на то, что надъ верхней губой начиналъ пробиваться едва замѣтный пухъ, и онъ, краснѣя, безпрестанно щипалъ его рукою.

— Что же мы нейдѣмъ на верхъ къ деръ-Геру. Онъ, должно-быть, всталъ уже, — сказала я: — пойдѣмте къ нему.

— Нѣтъ, онъ еще не вставалъ, — отвѣчалъ Саша: — и что вы такъ торопитесь, успѣете. Вѣрно думаете, что за Жанъ-Жака Руссо онъ такъ вамъ благодаренъ, что и гонки не будетъ — успокойтесь!

Образъ жизни въ домѣ Ивана Алексѣевича ни на волосъ не измѣнился и текъ такъ правильно и тихо, какъ часы, обозначая каждую минуту. Въ видѣ развлеченія, между дѣломъ, старикъ журилъ Сашу, а когда я тамъ находилась, то кстати и меня, шпынялъ Егора Ивановича и прислугу, ворчалъ на Луизу Ивановну, но главнымъ пациентомъ былъ его камердинеръ Никита Андреевичъ. Маленькій, вспыльчивый, сердитый, онъ точно нарочно созданъ былъ для того, чтобы сердить Ивана Алексѣевича. Каждый день у нихъ происходили оригинальныя сцены, и все это дѣлалось серьезно.

Если бы у Никиты Андреевича не было своего рода развлеченій, то едва ли бы онъ былъ въ состояніи долго вынести эту жизнь, говорилъ Саша. По большей части къ обѣду онъ былъ навеселѣ. Баринъ это замѣчалъ, но ограничивался только совѣтомъ закусывать чернымъ хлѣбомъ съ солью, чтобы не пахло водкой.

Камердинеръ бормоталъ что-нибудь въ отвѣтъ и спѣшилъ выйти. Баринъ его останавливалъ и спокойнымъ голосомъ спрашивалъ, что онъ ему говорить.

— Я не докладывалъ ни слова, — отвѣчаетъ камердинеръ.

— Это очень опасно, — замѣчаетъ баринъ: — съ этого начинается безуміе.

Камердинеръ выходилъ изъ комнаты взбѣшенный. Чтобы отвести сердце, онъ начинаетъ свирѣпо нюхать табакъ и чихать.

Баринъ зоветъ его.

Камердинеръ бросаетъ работу и входитъ.

— Это ты чихаешь?—говорилъ баринъ.

— Я-съ.

— Желаю здравствовать.

Затѣмъ даетъ знакъ рукою, чтобы онъ удалился.

Когда камердинеръ выходилъ изъ спальни, Иванъ Алексѣвичъ приказывалъ ему дверь немного недотворять. Сколько ни старался Никита Андреевичъ недотворять по вкусу барина, никакъ не удавалось. Каждый разъ баринъ вставалъ съ своего мѣста и поправлялъ дверь. Тогда камердинеръ рѣшился на отчаянное средство. Онъ принесъ въ карманѣ кусочекъ мѣлу, и какъ только баринъ поправилъ дверь, мѣломъ провелъ черту по полу около двери. Иванъ Алексѣвичъ не озадачился. Онъ приказалъ позвать всю прислугу и, указывая имъ на проведенную черту, сказалъ: «Будьте осторожны, не сотрите этой черты, ее провелъ Никита Андреевичъ, должно-быть, она ему на что-нибудь нужна». Камердинеръ вышелъ отъ барина внѣ себя отъ досады.

Обѣдали въ домѣ Ивана Алексѣвича ровно въ четыре часа, немного закусивши передъ обѣдомъ тертой рѣдкой, зернистой икрой, которую ежегодно доставлялъ ему съ Урала П. К. Эссенъ. Послѣ обѣда, выпивши кофе, Иванъ Алексѣвичъ ложился отдохнуть, большей же частью въ это время онъ читалъ на постели, по преимуществу книги, относящіяся къ литературѣ XVIII столѣтія—особенно мемуары и путешествія, или лѣчебники. Лѣчебникъ Енгальцева былъ его настольной книгой,—онъ постоянно лежалъ на его ночномъ столикѣ. Мы спускались въ нижній этажъ, часть прислуги расходилась по трактирамъ и полпивнымъ, остальные дремали на залавкахъ въ передней, въ дѣвичьей, у кого была постель—тѣ ложились спать. Луиза Ивановна, затворившись, читала въ своей спальнѣ, Егоръ Ивановичъ бралъ газеты, и въ домѣ распространялась такая глубокая тишина, что слышно было, какъ вѣтеръ осыпалъ снѣгъ съ деревьевъ въ палисадникѣ. Мы съ Сашей, оставшись одни,—устраивались въ диванной Луизы Ивановны, читали вмѣстѣ или вели продолжительные разговоры. Незамѣтно надвигались сумерки—любимое время дня мое и Саши—и разговоръ стано-

вился задушевнѣе. Что за свѣтлыя, что за прекрасныя минуты проводили мы тогда! жизнь раскидывалась передъ нами лучезарно. Это доля юношескаго возраста. Мы вѣрили во все.

Чистота чувствъ и понятій придавала необыкновенную прелесть нашей дружбѣ того времени. Взаимная симпатія, множество возбужденныхъ интересовъ вызывали изъ насъ самихъ столько жизни, что утомительное однообразіе охватывавшей насъ среды какъ бы не смѣло касаться насъ; окруженные ею—мы жили своей отдѣльной жизнью, она развивалась изъ этого отжившаго міра, какъ свѣжій цвѣтокъ въ пустынѣ.

Почти каждый день часовъ въ восемь вечера прѣзжалъ сенаторъ и обычные посѣтители. Сверхъ того, по воскресеньямъ приходилъ на цѣлый день добродушнѣйшій старичокъ—Дмитрій Ивановичъ Пименовъ, который отъ каждого слова Ивана Алексѣевича, закрывши лицо руками, помиралъ со смѣха, — это тѣшило Ивана Алексѣевича, развлекало его, и онъ съ самымъ безстрастнымъ лицомъ смѣшилъ Пименова чуть не до истерики; едва только тотъ успокаивался, какъ, взглянувши на неподвижное лицо Ивана Алексѣевича, снова показывался истеричнымъ смѣхомъ.

Отдохнувши послѣ обѣда, часу въ девятомъ Иванъ Алексѣевичъ выходилъ неслышными шагами въ залу и садился на свое обычное мѣсто на диванѣ у стола, вокругъ котораго уже бесѣдовали посѣтители, кипѣлъ самоваръ и Луиза Ивановна готовилась разливать чай. Мы также присутствовали при чаѣ, хотя и не пили его вечеромъ.

Если Иванъ Алексѣевичъ вставалъ въ благопріятномъ настроеніи духа — бесѣда становилась интересною. Если же выходилъ не въ духѣ, разговоръ шель вяло, всѣ стѣснялись, опасались сказать слово невольно, обмолвиться. Иванъ Алексѣевичъ все видѣлъ, понималъ и ничего не дѣлалъ, чтобы развязать это всеобщее натянутое состояніе.

Послѣ чая мы съ Сашей уходили въ его комнату готовить уроки къ слѣдующему дню. Приготовившись, принимались читать и радовались, когда одно и то же мѣсто насъ трогало до слезъ или приводило въ восторгъ, когда нравилась одна и та же мысль. Въ та-

кія минуты мы давали клятвы въ дружбѣ и обѣты во всемъ прекрасномъ. Но такъ какъ хроническая восторженность невозможна, то и мы, часто сидя у своего учебнаго стола, болтали всякій вздоръ. Саша острилъ, говорилъ анекдоты, декламировалъ стихи, дѣлалъ опыты на электрической и пневматической машинахъ, вмѣстѣ съ этимъ мы ѣли яблоки, черносливъ, миндаль, которые каждый вечеръ давались намъ на особой тарелочкѣ.

12-го января, въ день моихъ именинъ, Саша подарилъ мнѣ альбомъ, въ немъ на послѣднемъ листочкѣ было написано:

Скатившись съ горной высоты
Лежалъ во прахѣ дубъ, перунами разбитый,
А съ нимъ и гибкій плющъ, кругомъ его обвитый,
О *дружба!* это ты!

А—ръ Г—нъ.

Москва, 12 января
1829 года.

Зимой Иванъ Алексѣевичъ не выходилъ изъ комнатъ. Намъ отпускали кататься въ саняхъ и иногда въ театръ, или смотрѣть прибывшую въ столицу панораму, большей же частью мы оставались дома. Такъ время прошло до весны. Весна наступила ранняя, май стоялъ такой теплый и прекрасный, что даже Иванъ Алексѣевичъ рѣшился выйти изъ комнатъ и за городомъ подышать воздухомъ весны; по большей части мы ѣздили въ Лужники, разъ въ Кунцевѣ навѣстили родственника Ивана Алексѣевича, сенатора П. Б. Огарева. Пока на его дачѣ они бесѣдовали, мы осмотрѣли живописный паркъ съ его столѣтними деревьями, глубокими оврагами и рѣкой. Однажды Иванъ Алексѣевичъ собрался въ Архангельское, — выѣхали мы съ утра, осмотрѣли въ Архангельскѣ картинную галерею и скульптурныя произведенія. Передъ мраморной группой Кановы — Амура и Душеньки — стояли, какъ очарованные. Оранжереи, съ рѣдкими тропическими растеніями и фруктами привели насъ въ восторгъ. Отъобѣдавши въ отведенныхъ намъ комнатахъ, мы пошли на знаменитый скотный дворъ, чтобы купить тамъ масла и сливокъ. Накрапывалъ мелкій дождь, поэтому Иванъ Алексѣевичъ остался въ комнатахъ и ожидалъ насъ за кипящимъ самоваромъ. Пока мы пили чай, надвинулись тем-

ныя тучи; мелкій дождь превратился въ проливной, по-видимому продолжительный, и мы, не окончивши прогулки, отправились домой. Дождь, слякоть, духота въ каретѣ съ закрытыми окнами въ Иванѣ Алексѣевичѣ произвели дурное расположеніе духа и досаду, зачѣмъ никому ничего не понадобилось изъ запаса бѣлья и платья, взятаго имъ съ собой на всякій случай. Обыкновенно въ поѣздки наши за городъ онъ бралъ съ собой нѣсколько паръ носковъ, сорочки, теплое пальто и пары двѣ-три сапогъ. Луиза Ивановна замѣтила ему, что такого рода предусмотрительность его бесполезна и нелѣпа. Это замѣчаніе вызвало цѣлый рядъ колкостей и ворчанья до самаго дома—даже и дома отзывалось еще, какъ отдаленный громъ.

Большей частью загородныя прогулки наши завершались драматическими сценами.

Въ половинѣ мая стали говорить о поѣздѣ въ Васильевское.



ГЛАВА XV.

Н и н ъ.

Они дѣтьми встрѣчались часто,
И будущность вдали свѣтила имъ;
И создали
Они себѣ сонъ жизни золотой,
И поклонись младыхъ сердецъ надежды
Осуществить урочною порой...

Отъ времени до времени Ивана Алексѣевича навѣщалъ его родственникъ, П...ъ Б....ъ О—въ. Иногда онъ приводилъ съ собою своего сына—мальчика лѣтъ 12—13, котораго обыкновенно называли «Никъ». Кроткій, тихій, онъ во все время посѣщенія сидѣлъ въ гостиной на стулѣ и невнимательно смотрѣлъ на окружавшіе его предметы своими печальными глазами. Сашѣ онъ нравился тѣмъ, что нисколько не походилъ на мальчиковъ, которыхъ ему случалось видать.

Въ то время, какъ Карла Ивановича спасли отъ по-

топленія, онъ оканчивалъ физическое воспитаніе какихъ-то двухъ молодыхъ людей. Иванъ Алексѣевичъ посоветовалъ отцу Ника взять къ нему Зонненберга въ качествѣ меніи, что и приведено было въ исполненіе.

Принявшись воспитывать Ника, Зонненбергъ сталъ часто заходить вмѣстѣ съ нимъ, съ утреннихъ прогулокъ, къ Ивану Алексѣевичу. Саша и Никъ чувствовали взаимную симпатію, но, несмотря на это, не смѣли высказаться другъ другу; сверхъ того, Карлъ Ивановичъ своимъ присутствіемъ мѣшалъ ихъ сближенію окончательно. Онъ совался въ ихъ разговоры, дѣлалъ замѣчанія, поправлялъ у Ника то рукава, то воротники рубашки, надѣдалъ, какъ осенняя муха, не давши Нику осмотрѣться, торопился уходить и, сказавши рѣшительнымъ тономъ: «es ist Zeit» — уводилъ его. Семейное горе въ домѣ О—хъ помогло сблизиться юношамъ, или, точнѣе сказать, отрокамъ. Въ то самое время, какъ меня увезли въ Корчеву, у Ника умерла бабушка, жившая вмѣстѣ съ нимъ. Матери онъ лишился въ ребячествѣ. Въ домѣ у нихъ поднялись хлопоты, суета. Зонненбергъ, до котораго это нисколько не касалось, самъ во все впутывался, хлопоталъ больше всѣхъ, предлагалъ свои услуги и, представляя, что онъ сбить съ ногъ до того, что ему некогда наблюдать за Никомъ, съ утра привелъ его Ивану Алексѣевичу и просилъ позволенія оставить его у него на весь день. Никъ былъ огорченъ, встревоженъ. Онъ бабушку любилъ и въ послѣдствіи поэтически вспомнулъ объ ней въ одномъ изъ своихъ милыхъ стихотвореній, съ отпечаткомъ его грустно-задумчиваго характера, не удовлетворявшагося обыденной жизнью, постоянно искавшаго чего-то лучшаго. Эта преобладающая черта его души легла въ основу всей его жизни и положила на нее свою грустную печаль. Вотъ это стихотвореніе:

И вотъ теперь въ вечерній часъ,
Заря блеститъ стезею длинной,
Я вспоминаю, какъ у насъ
Давно обычай былъ старинный:
Предъ воскресеньемъ каждый разъ
Ходилъ къ намъ попь сѣдой и чинный
И передъ образомъ святымъ
Молился съ причетомъ своимъ.

* *

Старушка бабушка моя,
На кресло опершись, стояла,
Молитву шопотомъ твоя,
И четки все перебирала;
Въ дверяхъ знакомая семья
Дворовыхъ лицъ молебъ внимала,
И въ землю кланялись они,
Прося у Бога долги дни.

* *

А блескъ вечерній по окнамъ
Межъ тѣмъ горѣлъ
По загъ изъ камина дымъ
Носился клубомъ голубымъ.

* *

И все такую тишиной
Кругомъ дышало; только чтенье
Дьячковъ звучало, и съ душой
Дружилось тайное стремленье.
И смутно съ дѣтскою мечтой
Ужъ грусти тихой ощущенье
Я бессознательно обижалъ
И все чего-то такъ желалъ.

Сапа пригласилъ огорченного товарища въ свою комнату. Оставшись съ нимъ вдвоемъ, по неспособности развлекать или утѣшать кого бы то ни было, поговоривши о томъ, о семъ, онъ предложилъ ему читать вмѣстѣ Шиллера. Читая, они были удивлены сходству вкусовъ. Тѣ мѣста, которыя любилъ Сапа—любилъ и Никъ; которыя зналъ наизусть Сапа, тѣ зналъ и Никъ, только гораздо лучше, нежели онъ. Непонятной силой они влеклись другъ къ другу; сложили книги—и стали вызывать одинъ у другого мысли, чувства, стремленья, стали высказывать самихъ себя. Не прошло мѣсяца, какъ Сапа привязался къ Нику со всей порывистостью своей натуры и увлекался все сильнѣе и сильнѣе. Никъ любилъ его тихо и глубоко. Не проходило двухъ дней, чтобы они не видались или не переписывались. Въ основу ихъ дружбы легло не пустое товарищество; сверхъ симпатіи ихъ связывала общая религія — возбужденный общечеловѣческій интересъ, такъ облагораживающій отроческій возрастъ, и, несмотря на то, что лѣта брали свое, что они порой играли, ребячески дурачились, дразнили Зонненберга, во дворѣ стрѣляли въ цѣль изъ лука, они уважали другъ въ другѣ будущее, смотрѣли другъ на друга какъ на из-

бранныхъ для чего-то лучшаго. Иногда они ходили вмѣстѣ за городъ, гдѣ у нихъ были любимыя мѣста: поля за Дорогомилловской заставой, Воробьевы горы. Никъ всегда приходилъ за Сапшей часовъ въ шесть утра, и если не видалъ Саши у окна его комнаты, то, предполагая, что онъ спитъ еще, бросалъ въ окно камушки и будилъ его. Разъ они запоздали на Воробьевыхъ горахъ до сумерекъ, солнце закатывалось, потопляя въ пурпуровомъ разливѣ зари дивную панораму Москвы. Они стояли на мѣстѣ закладки храма Спасителя, въ восторгѣ взяли другъ друга за руки и въ виду Москвы дали клятву въ дружбѣ и борьбѣ за истину.

«Мы стали неразлучны,—такъ говорилъ о Никѣ Сапа:—въ каждомъ воспоминаніи того времени, общемъ и частномъ, вездѣ на первомъ планѣ—онъ съ своими отроческими чертами, съ своей любовью ко мнѣ. Рано виднѣлось на немъ то помазаніе, которое достается немногимъ, на бѣду ли, на счастье ли—не знаю, но навѣрное не на то, чтобы не быть въ толпѣ».

На портретѣ, снятомъ съ Ника въ отрочествѣ, онъ представленъ съ раскинутымъ воротникомъ рубашки; отроческія, еще не установившіяся черты окаймляютъ густые каштановые волосы, въ большихъ сѣрыхъ глазахъ просвѣчиваетъ грусть, чрезвычайная кротость и душевная широта.

«Не знаю почему,—замѣчалъ всегда Сапа:—даютъ какой-то монополю воспоминаніямъ первой любви надъ воспоминаніями первой дружбы. Первая любовь потому такъ благоуханна, что она забываетъ различіе половъ, что она—страстная дружба; съ своей стороны, дружба между юношами имѣетъ всю горячность любви и весь ея характеръ: та же застѣнчивая боязнь касаться словомъ своихъ чувствъ, то же недовѣріе къ себѣ, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желаніе исключительности».

Слова симпатіи мало-по-малу стали врывать въ ихъ отношенія. Они долго не рѣшались сказать другъ другу ты и другъ, придавая этимъ словамъ слишкомъ святое значеніе. Никъ, посылая Сапѣ изъ Кунцева, гдѣ онъ проводилъ лѣто, небольшое письмецо и при немъ идиллію Гесснера, подписалъ: «другъ ли вашъ, еще не знаю», и первый сталъ говорить ему ты.

Передъ отъѣздомъ Ивана Алексѣевича въ Васильевское, Никъ пріѣхалъ проститься съ Сашей и привезъ томъ Шиллера, въ которомъ: «philosophische Briefe». Они стали читать ихъ вмѣстѣ, мысленно примѣняя эти письма къ предстоявшей разлукѣ. На глазахъ у нихъ наворачивались слезы при чтеніи мѣстъ, выражавшихъ состояніе ихъ души. Когда Никъ читалъ письмо Юлія къ Рафаилу, гдѣ онъ говоритъ: «одинокъ брожу по печальнымъ окрестностямъ, зову моего Рафаила и больно, что онъ не откликается мнѣ»,—Саша схватилъ Карамзина и прочиталъ въ отвѣтъ: «нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга».

Спустя много лѣтъ, вспоминая это время, Саша сказала: «такъ-то, Никъ, рука въ руку входили мы съ тобою въ жизнь,—отвѣчали всякому призыву, искренно отдаваясь увлеченію. Мы не покидали избраннаго пути,—и вотъ я дошелъ... не до цѣли, а до того мѣста, гдѣ дорога идетъ подъ гору и—ищу твоей руки... чтобы пожать ее и сказать, грустно улыбаясь: «вотъ и все!»

1873 года 6 апрѣля, находясь въ Вѣнѣ, получила я отъ Ника письмо. «Наконецъ-то,—писалъ онъ,— пришло твое посланіе изъ Вѣны, старый другъ Таня, и пришло наканунѣ дня его рожденія. Также пришло сегодня и отъ Марьи Касперовны письмо изъ Берна, съ твоимъ адресомъ, и съ извѣстіемъ, что они сегодня въ Цециліенферейнѣ поютъ, въ день его рожденія, реквиемъ Херубини. Странное дѣло! не могу удержаться отъ нервнаго плача; что же дѣлать!» *).

При этомъ письмѣ Никъ прислалъ мнѣ стихи: «Памяти друга».

Другъ дѣтства, юности и старческихъ годовъ,
Ты умеръ вдалекѣ, уныло, на чужбинѣ,
Не я тебѣ сказалъ послѣднихъ, вѣрныхъ словъ
Не я пожалъ руки въ безвыходной кручинѣ.
Да! сердце замерло!... Быть-можетъ даже намъ
Иначе кончить бы почти-что невозможно.
Такъ многое прошло по тощимъ суетамъ,
Успѣхъ былъ не великъ, а жизнь ушла тревожно.
Но я не сѣтую на строгія дѣла,
Мнѣ только слезъ жаль, гдѣ не достигла цѣли,
Иначе бы борьба побѣдою была
И мы бы преданно надолго уцѣлѣли.

*) Саша уже не было на свѣтѣ.

Въ стихахъ слышится горе и, кажется, талантъ ослабѣлъ.

1877 г., въ июнѣ, не стало и Ника. Жалѣть ли о немъ? Жизнь его была рядъ лишеній, страданій, утратъ. Все было разбито: и душа, и сердце, и здоровье. Кто виноватъ въ его неудавшейся жизни?—другіе—да; но что же онъ самъ? горячее, чистое, привязчивое сердце, онъ вѣрилъ во все и во всѣхъ, и жизнь во всемъ обманула его. Онъ не блестялъ, какъ другъ его Саша: скромный, тихій, онъ нигдѣ не выдвигался и не искалъ славы; но былъ человѣкомъ во всемъ значеніи этого слова.

Въ этомъ же 1873 году была я въ Женевѣ, гдѣ жилъ въ то время Никъ, и навѣстила его. Я нашла, что онъ состарился, опустился, но прежняя магнитность, тишина и даже что-то юное сохранялось еще въ выраженіи его лица. Здоровье его было видимо разстроено. Бѣдный Никъ пристрастился къ вину. Это ему вредило. Когда я вошла къ Нику въ комнату, увидя меня, онъ залился слезами, обнялъ и долго нервно рыдалъ, говоря: «ты знаешь нашу несчастную исторію».

— Оставимъ это, другъ мой, Никъ,—сказала я:—я рада, что вижу тебя.

Я провела у Ника весь день. Зная, что я пишу мои воспоминанія, для пополненія ихъ Никъ далъ мнѣ нѣсколько писемъ Саши, писанныхъ имъ къ нему въ продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ его жизни, которыя они провели розно,—Никъ въ Женевѣ, Саша съ семействомъ переѣзжая изъ мѣста въ мѣсто. Изъ писемъ Саши видно, что жизнь передвижная и толпа начинаютъ утомлять его. «Я мечтаю,—писалъ онъ къ Нику:—о кабинетѣ, о домашнемъ тихомъ уголкѣ. Я ужасно люблю тишину, я счастливъ въ деревнѣ. Устаю отъ шума, отъ людей, отъ слуховъ, отъ невозможности сосредоточиться, устаю отъ неестественности этой жизни».

Далѣе онъ говорить:

«Съ лѣтами странно развивается потребность одиночества, а главное—тишины. Знать, что никто васъ не ждетъ, никто къ вамъ не войдетъ, что вы можете дѣлать, что хотите, умереть, пожалуй—и никто не помѣшаетъ, никому нѣтъ до васъ дѣла, разомъ страшно и хорошо».

«Я рѣшительно начинаю дичать».

Вечеромъ Никъ игралъ на фортепіано съ такой душой, что въ игрѣ его выразилась вся его поэтическая натура. Я была растрогана.

На другой день, разговаривая со мной, Никъ грустно сказалъ, что онъ пьетъ отъ тоски и отъ нечего дѣлать.

— Примись за свои записки—онѣ могутъ быть чрезвычайно интересны по событіямъ и людямъ, среди которыхъ прошла твоя жизнь,—сказала я.

— Едва ли буду въ состояніи,—отвѣчалъ онъ печально.—Видишь мое здоровье.

— Дѣло отвлечетъ тебя отъ вина, и здоровье поправится. Явятся силы, энергія, жизнь. Излишекъ вина не только вредитъ твоему здоровью, но и сокращаетъ жизнь.

Пока я это говорила, Никъ сидѣлъ подлѣ своего письменнаго стола, опустил голову на руку, облокотившись ею на столъ, а правой рукой, молча, писалъ на клочкѣ бумаги; когда я перестала говорить, онъ подаль мнѣ эту бумажку, на ней было написано:

Напиваясь влагой кроткой,
Напиваясь виномъ,
Напиваясь просто водкой—
Шелъ я жизненнымъ путемъ
И склонялъ себѣ я ногу—
И хромающій поэтъ,
Все же дожилъ понемногу
До шестидесяти лѣтъ.

— Что это—Никъ, и только?

— И только, другъ мой Таня.

Вотъ что говорилъ мнѣ Никъ о своемъ дѣтствѣ:

«Я родился въ 1813 году, по крайней мѣрѣ, по моему возрасту, такъ вѣроятно. Стало-быть, мои воспоминанія начинаются около 20-хъ годовъ. До семи лѣтъ дѣтство мое было, быть-можетъ, очень мило, но мало интересно. Вдобавокъ мнѣ не хочется припоминать разныя людскія отношенія въ разныя времена и ихъ различныя измѣненія.

«Время около 1820 года было странное время, время общественной разладицы, которая подвигалась медленно и не знала, куда придеть. Большинство еще торже-

ствовало побѣду надъ французами, меньшинство начинало вѣрить въ возможность переворота и собирало силы. Крестьянство, забитое чиновниками и многими помѣщиками, въ страхѣ молчало. Себя я помню въ это время ребенкомъ, въ большомъ домѣ, въ Москвѣ; помню отца съ двумя крестами на груди; помню бабушку большого роста и бабушку роста маленькаго. Помню старую няню, съ повязаннымъ на головѣ платкомъ. Няня эта была при мнѣ неотлучно, почти до моего десятилѣтняго возраста. Такимъ образомъ все дѣтство мое прошло на попеченіи женскомъ. Няня меня любила, несмотря на то, что мужа ея отдали въ солдаты за какой-то проступокъ противъ барскихъ приказаній, а ее, какъ одинокую, приставили ко мнѣ. Кромѣ няньки, былъ приставленъ ко мнѣ еще и старый дядька. Должность его состояла въ томъ, чтобы забавлять меня игрушками и учить читать и писать. Ходилъ онъ всегда въ сѣромъ фракѣ. Я считалъ дядьку своимъ лучшимъ другомъ за то, что онъ дѣлалъ мнѣ отличныя игрушки. Несмотря на то, что онъ былъ крѣпостной человѣкъ, онъ былъ до того нравствененъ, что не сказалъ при мнѣ ни одного грязнаго слова. Весь недостатокъ его состоялъ только въ томъ, что временами, подъ вечеръ, дядька бывалъ въ полъ-пьяна, и тогда на него нападала страсть доказывать моему отцу, что меня воспитываютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Остановить старика не было возможности. Иногда случалось, что его настойчивыя разсужденія заканчивались трагически. Дядька уходилъ опечаленный, а я дрожалъ отъ страха и негодованія. Онъ вредилъ мнѣ лишь однимъ, совокупно со всей окружавшей меня жизнью—безсмысленнымъ отношеніемъ къ религіи. Въ комнатѣ моей стоялъ огромный кіотъ съ образами въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, передъ которыми отецъ мой приходилъ каждый вечеръ молиться, какъ только меня укладывали спать. Одна изъ бабушекъ то и дѣло разѣзжала по монастырямъ и задавала пышные обѣды архіереямъ. Съ семилѣтняго возраста меня стали заставлять въ великій постъ говѣть. Я слезно каялся въ грѣхахъ, которые, разумѣется, придумывалъ, и даже плакалъ отъ раскаянія въ своихъ небывалыхъ прегрѣшеніяхъ; каждое утро и каждый вечеръ безсознательно молился, клалъ земные поклоны пе-

редъ кѣотомъ и усердно читалъ указанныя молитвы по толстому молитвеннику, ничего не понимая въ нихъ.

«Такъ какъ это настроеніе было безотчетно и искусственно, то оно скоро и растаяло подъ вліяніемъ чтенія Вольтера и Байрона, какъ только мнѣ дали ихъ въ руки, и мало-по-малу увлекло въ противоположную сторону. Когда мнѣ было около тринадцати лѣтъ, добраго дядьку моего услали на житье въ деревню, а ко мнѣ приставили теіпін нѣмца, котораго я возненавидѣлъ съ первой минуты. Нѣмецъ этотъ небольшой ростомъ, тщедушный, рябой, плѣшивый, съ золотистой накладкой на головѣ, считалъ себя неотразимо увлекательнымъ; онъ былъ мнѣ полезенъ только тѣмъ, что развилъ во мнѣ физическую силу, и я подъ его надзоромъ изъ болѣзненного мальчика вышелъ такимъ здоровымъ юношей, что разъ, выведенный имъ изъ терпѣнія, — схватилъ его на руки и хотѣлъ грохнуть объ полъ. Нравственно вліять на меня онъ не могъ по ограниченности и неразвитости своего духа. Его нравственное воспитаніе меня состояло въ одномъ: пока я былъ ребенкомъ, онъ позволялъ себѣ, за дѣтскіе проступки, драть меня за волосы. Отецъ мой этого не зналъ, а если бы зналъ, то никогда не допустилъ бы его до этого, не потому, чтобы дранье за волосы находилъ вреднымъ, а потому, что, въ его мнѣніи, простой нѣмецъ не долженъ смѣть бить русскаго дворянина.

«Нѣмецъ мой взять былъ ко мнѣ моимъ отцомъ по рекомендаціи нашего родственника Ивана Алексѣевича Яковлева. Помимо своей воли, онъ имѣлъ сильное вліяніе на всю мою жизнь; онъ, случайно, сблизилъ меня съ меньшимъ сыномъ Ивана Алексѣевича, Александромъ. Александръ былъ почти моего же возраста, кажется, года на два старше, но несравненно развитѣе. Мы полюбили другъ друга и подружились на всю жизнь.

«Около того же времени, т.-е. все же около 1825 года, ко мнѣ стали ходить разные учителя, изъ нихъ о многихъ я сохранилъ память до старости, какъ святыню.

«Чувствую, что нельзя не рассказать кое-чего объ нихъ, тѣмъ болѣе, что теперь это для нихъ безопасно; вѣроятно, уже ни одного изъ нихъ нѣтъ болѣе въ живыхъ.

«На первомъ планѣ—мой учитель математики, Вол-

ковъ, преподаватель въ гимназіи. Онъ училъ меня отъ начала ариеметики до конца геометріи. Онъ же потомъ давалъ уроки ариеметики и моему другу. вмѣстѣ съ математикой, онъ сообщалъ и разъяснял намъ направленіе декабристовъ. Мы его понимали и скоро стали ему сочувствовать, за что онъ полюбилъ насъ, какъ дѣтей своихъ.

«Учителемъ французскаго языка былъ у меня французъ, М. Кюри, воспитатель декабриста Васильчикова. Да, я этихъ людей вспоминаю съ любовью и уваженіемъ. Васильчиковъ служилъ въ уланахъ. Въ то время лучшіе люди служили въ военной службѣ. Это было слѣдствіемъ войны 12 года. Послѣ хорошіе люди пошли служить по статской. Придетъ время,—разсказывая свою жизнь, сказалъ Никъ:—будутъ служить по народному выбору, съ опредѣленными цѣлями народнаго благосостоянія и улучшенія общественнаго строя.

«Мнѣ другихъ людей называть не хочется. Не хочется кого-нибудь обидѣть. Все же я былъ съ ними близокъ, хотя и по-дѣтски. Сказать мое настоящее слово объ комъ-нибудь изъ нихъ я не могу. Миръ праху усопшихъ, не сдѣлавшихъ въ жизни ни хорошаго, ни дурного».

Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ оставался при Никѣ до его шестнадцатилѣтняго возраста.

Пріѣхавши изъ Корчевы, я нашла Сашу и Ника въ разгарѣ дружбы, и была довольна, что нашъ кружокъ увеличился, хотя Никъ вносилъ въ него не столько жизни, сколько застѣнчивости. Онъ становился собою только наединѣ съ Сашей. Избѣгая встрѣчи и сарказмовъ Ивана Алексѣевича, Никъ приходилъ всегда прямо въ нижній этажъ, въ комнаты Луизы Ивановны, и когда Иванъ Алексѣевичъ ложился отдыхать, пробирался наверхъ въ комнату Саши, гдѣ и запирался съ нимъ.

Я видала Ника съ его семи-восемилѣтняго возраста, когда все семейство О—хъ пріѣзжало на лѣто въ ихъ тверское имѣніе, находившееся недалеко отъ Корчевы. Помню ихъ богатый домъ, полы, устланные мягкими коврами, высокую, строгую бабушку, съ зеленымъ зонтикомъ на глазахъ, и другую—низенькую и кроткую. Помню Ника въ пунцовой лейбъ-гусарской курточкѣ съ

золотыми шнурками, торжественную тишину и чинность въ домѣ, отношенія всѣхъ къ Нику и его молоденькой сестрѣ, какъ къ чему-то священно хранимому для великой будущности.

Бывала я у О—хъ и въ Москвѣ съ тетусшкой Лизаветой Петровной, почему-то бывшей въ дружбѣ съ одной изъ бабушекъ Ника. Въ Москвѣ помню въ торжественные дни ихъ роскошные обѣды съ трюфелями, пѣтушиными гребешками, дорогими рыбами и птицами, со множествомъ нарядныхъ, чинныхъ гостей, съ важными духовными лицами и со страшной, томительной тоской. Изъ всей этой толпы выдѣлялся двѣнадцатилѣтній отрокъ, съ раскинутымъ воротомъ рубашки, съ печальнымъ взоромъ, неподвижно, молчаливо сидѣвшій у окна подлѣ Карла Ивановича Зонненберга. Такимъ я застала его и по возвращеніи моемъ изъ Корчевы въ 1828 г.

Въ домѣ Ивана Алексѣевича я не нашла никакой перемены. Попрежнему онъ портилъ жизнь всему, что соприкасалось съ нимъ. Разумѣется, онъ и самъ несчастливъ не былъ; всегда насторожѣ, всѣмъ недовольный, онъ видѣлъ непріятныя чувства, вызываемыя имъ у домашнихъ, онъ видѣлъ, какъ улыбка пропадала съ лица, какъ останавливалась рѣчь, когда онъ входилъ; онъ говорилъ объ этомъ съ насмѣшкой, съ досадой, но не дѣлалъ ни одной уступки и шелъ съ величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмѣшка, иронія—холодная, язвительная, полная презрѣнія—было орудіе, которымъ онъ владѣлъ артистически и употреблялъ его равно противъ своего семейства, противъ слугъ, случалось, противъ родныхъ и даже противъ посѣтителей. Это отдаляло отъ него всѣхъ. Онъ это понималъ, но не уступалъ ни шага и создавалъ себѣ жизнь одинокую, въ ней ждала его скука, незанятая сила дѣлала нравъ тяжелымъ, рождала капризы, меланхолія въ немъ росла, вмѣстѣ съ меланхоліей росла и мелочная бережливость. Береглись салныя свѣчи, тогда какъ въ деревнѣ сводили лѣсъ или продавали ему его же собственный овесъ. Старосты и довѣренные грабили и барина, и мужиковъ. У Ивана Алексѣевича были привилегированные воры; крестьянинъ Шкунтъ, котораго онъ посылалъ каждое лѣто ревизовать старосту, огородъ,

лѣсъ, работы и собирать оброкъ, послѣ десяти лѣтъ службы купилъ себѣ въ Москвѣ домъ.

Сапа терпѣть не могъ этого министра финансовъ. Разъ, увидавши, какъ онъ во дворѣ билъ какого-то стараго крестьянина, вышелъ изъ себя, вцѣпился ему въ бороду и чуть не упалъ въ обморокъ. Послѣ этого Сапа всегда говорилъ отцу, что Шкунъ его обкрадываетъ, и на возраженія Ивана Алексѣевича замѣчалъ ему: откуда же Шкунъ взялъ деньги на покупку дома?

— А вотъ что значить трезвость!—отвѣчалъ Иванъ Алексѣвичъ:—онъ капли вина въ ротъ не беретъ.

Кромѣ сенатора и обычныхъ посѣтителей, у Ивана Алексѣевича въ это время бывалъ его пріятель Н. Н. Бахметевъ, а изъ дамъ—жена Николая Павловича Голохвастова, княгиня Елизавета Ростиславовна Долгорукая и княгиня Марья Алексѣевна Хованская. Посѣщенія княгини Марьи Алексѣевны рѣдко обходились благополучно. Изъ-за какихъ-нибудь пустяковъ они начинали говорить другъ другу колкости, прикрываясь ласковыми словами. «Голубчикъ», говорила княгиня, «голубушка сестрица», отвѣчалъ братъ, и ссора глухо кипѣла. Въ одинъ пріѣздъ княгини мы услышали, что ссора идетъ горячѣе обыкновеннаго. Это возбудило общее любопытство, мы подошли къ дверямъ спальни.

— Что у васъ за страсть сватать,—холодно говорилъ Иванъ Алексѣвичъ.

— Никакой нѣтъ страсти, — отвѣчала княгиня: — я интересуюсь ею, любила ея мать... она сирота, отецъ всѣхъ ихъ бросилъ...

— Хорошо же вы ею интересуетесь, хотите выдать за помѣшаннаго.

— Какъ ты странно выражаешься, голубчикъ: гдѣ это помѣшанный? У князя меланхолія, нервы разстроены, но онъ молодъ, имѣетъ пятнадцать тысячъ душъ... Это ей дастъ независимость и общественное положеніе...

— Какъ вы не сообразите, — холодно возразилъ братъ: — кругомъ родные, наследники... Это ее на жертву отдать; его богатства ждуть. Меланхоликъ! сумасшедшій!

— Ты все преувеличиваешь,—раздраженно говорила княгиня.—Ты не въ духъ сегодня. На жертву!... Я ей добра желаю.

— Все это несчастная страсть сватовства, — прервалъ ее Иванъ Алексѣевичъ. — Оставьте ее въ покоѣ! Не смотря на свой возрастъ, она ребенокъ, ни о какихъ женихахъ не помышляетъ, любить учиться, а вы ей жениховъ подсовываете, да еще помѣшанныхъ.

Изъ этого разговора мы догадались, что княгиня пріѣзжала сватать мнѣ князя Г...., челоуѣка очень молодого, богатаго, умственное разстройство котораго проявлялось меланхоліей. Сватовство это хранили отъ насъ въ тайнѣ. Иногда княгиня привозила съ собой свою компаньонку, пожилую подполковницу Марью Степановну Макашеву и одиннадцатилѣтнюю воспитанницу Наташу.

Еще въ пріѣздъ мой въ Москву, во время коронаціи, увидала я въ домѣ княгини дѣвочку лѣтъ 8—9, съ темно-голубыми глазами, блѣдную до синеватости, съ довольно правильными, нѣсколько крупными чертами лица, выражавшими спокойствіе и хладнокровіе, одѣтую въ длинное черное шерстяное платье. Это была дочь Александра Алексѣевича Яковлева—Наташа. Алексѣй Александровичъ, по кончинѣ отца, всѣхъ своихъ братьевъ и сестеръ вмѣстѣ съ ихъ матерями отправилъ изъ Петербурга въ свое шадское имѣніе, до его дальнѣйшихъ относительно ихъ распоряженій. Прѣзжая черезъ Москву, они остановились на короткое время на Тверскомъ бульварѣ, въ домѣ Алексѣя Александровича.

Княгиня, услышавши объ этомъ, отправила Марью Степановну провѣдать дѣтей и узнать, не нуждаются ли они въ чемъ-нибудь. Марья Степановна, возвратившись домой, привезла съ собой двухъ хорошенькихъ дѣвочекъ показать княгинѣ. Одна была—Наташа, другая—Катя. Компаньонка рассказала княгинѣ, что дѣтей везутъ въ Шацкъ въ простыхъ кибиткахъ, тѣсно и неудобно, что они во многомъ нуждаются, и по общимъ рассказамъ видно, что въ деревнѣ ихъ ждетъ участь незавидная. Пока все это говорили, Наташа не отходила отъ княгини. Приласкавши дѣтей и подаривши имъ какія-то бездѣлицы, княгиня приказала Марьѣ Степановнѣ отвезти ихъ обратно. Наташа, облокотившись на ручку креселъ княгини и не сводя съ нее глазъ, не трогалась съ мѣста.

— Ваше сіятельство, — сказала компаньонка: — из-

вольте взглянуть на Наташу: она точно просит васъ о покровительствѣ. Жаль этого ребенка. Въ деревнѣ ее запропасть. Оставьте ее у себя, сжальтесь надъ нею.

Княгиня была удивлена такимъ неожиданнымъ оборотомъ дѣла и отвѣчала, что при ея слишкомъ семидесяти годахъ и огорченіяхъ ей невозможно взять на себя трудную обязанность воспитанія. Сверхъ того, ребенокъ еще въ такомъ возрастѣ, что ей надобенъ присмотръ: кому же всѣмъ этимъ заняться?

— Я готова взять на себя попеченіе о Наташѣ,—со слезами сказала Марья Степановна:—а когда придетъ время учить ее, то, при участіи родныхъ, Алексѣй Александровичъ будетъ принужденъ помѣстить ее въ хорошее учебное заведеніе.

Послѣ долгаго колебанія, княгиня согласилась оставить у себя Наташу до тѣхъ поръ, какъ она подрастетъ. Она уступила не столько слезамъ и просьбамъ Марьи Степановны, сколько взору ребенка и тайной мысли—отплатить покойному брату добромъ за сдѣланное имъ ей однажды глубокое оскорбленіе и горе.

Что и говорить! Этотъ отжившій домъ, эта печальная, отсталая среда были плохими условіями для жизни ребенка; да лучшаго-то ей не предстояло ничего. Выбора дѣлать было не изъ чего.

Княгиня, стягощенная лѣтами и болѣзнями, убитая потерю мужа и обѣихъ дочерей, конечно, не могла обращать должнаго вниманія на ребенка, такъ случайно попавшаго къ ней. Ребенокъ же нуждался въ тепломъ привѣтѣ и, оторванный отъ привычной среды—тосковалъ. Видя, какъ она неподвижно сидитъ у окна съ своей куклой, или цѣлые часы вышиваетъ въ маленькихъ пальцахъ, княгиня говорила: «что ты не порѣзвись, не пробѣжишь»,—и, смотря на ея спокойное лицо, шутя, съ улыбкой, называла ее хладнокровной англичанкой. Наташа, слушая это, улыбалась и продолжала сидѣть на своемъ мѣстѣ; княгиня оставляла ее въ покоѣ. Ни притѣсненія, ни оскорбленія Наташа въ домѣ княгини не видала, но не видала также ни ласки, ни развлеченія, другимъ дѣтямъ дарили и игрушки, и обновки—Наташѣ ничего. Княгиня находила, что дѣвочку безъ средствъ не слѣдуетъ приучать къ баловству и роскоши.

Наташу помѣстили въ мезонинѣ, въ комнатѣ, кото-

рую прежде занимала меньшая княжна. Рядомъ была комната Марьи Степановны; она смотрѣла за бѣльемъ, платьемъ и одѣваньемъ Наташи и, занимаясь ея нравственнымъ воспитаніемъ, ненамѣренно, грубымъ образомъ прикасалась до нѣжнѣйшихъ струнъ дѣтской души. Когда Наташѣ кто-нибудь изъ родныхъ дарилъ какую-нибудь бездѣлицу, то она, думая развить въ ней духъ смиренія, говорила: «вотъ что дарятъ тебѣ, Наташа, ты еще этого не заслужила». Ребенокъ сквозь слезы соглашался. Чтобы возбудить въ Наташѣ сильнѣе чувство благодарности, Марья Степановна часто напоминала ей: «помни всю жизнь свою, что княгиня твоя благодѣтельница; моли Бога продолжить дни ея; что бы ты была безъ нея?... въ крестьянскую избу везли»... Выбѣсть съ этими наставленіями, при которыхъ я не разъ присутствовала, она поила ее въ своей комнатѣ, сверхъ общаго чая, своимъ чаемъ, съ калачами и баранками, покупала ей на свои деньги мятные пряники и леденецъ, шила изъ своего полубатиста пелеринки и, давая все это, непремѣнно приговаривала: «будешь ли ты это помнить, Наташа?»—«Конечно, буду»,—машинально отвѣчалъ ребенокъ.

Раннее ученіе княгиня находила вреднымъ; первое время Наташу учили только читать, писать и священной исторіи. Для этого приглашенъ былъ дьяконъ небогатаго прихода, обремененный семействомъ, обязанный княгинѣ, вслѣдствіе чего не смѣлъ дѣлать условій и доволенъ былъ предложенной ему небольшой платой. Дьяконъ, мечтатель и мистикъ, съ любовью давалъ уроки ученицѣ. Развивая въ ней мистицизмъ, возбуждалъ теплоту въ ея довольно холодной натурѣ и открывалъ ей иной религіозный міръ, нежели тотъ узкій, въ которомъ религія сводится на посты и хожденіе по церквамъ. До этого времени ея религіозныя понятія заключались въ молитвѣ утромъ и отходя ко сну, передъ кѣотомъ съ образами въ спальнѣ княгини. Разъ полуспящий ребенокъ, кладя земные поклоны, поклонясь въ землю, заснулъ; ее хватились, искали по всему дому, беспокоились, и, войдя въ спальню, едва освѣщенную лампадкой, чуть не раздавили ее, спокойно спавшую на полу передъ образами.

Дальнѣйшее образованіе Наташи состояло изъ наруж-

ной выправки. Съ утра она должна была быть одѣта, причесана, держаться прямо, смотрѣть весело, хотя бы на душѣ было и грустно, безразлично быть ко всѣмъ внимательной и строго держаться общественныхъ приличій. Правила эти вытекали изъ взгляда того времени на воспитаніе. На иныхъ оно только наружно клало печать свою, другимъ заражало душу лицемѣріемъ.

Единственной подругой Наташи была молоденькая горничная княгини, дочь повара, Саша. Княгиня съ дѣтства приблизила Сашу къ себѣ, научила грамотѣ,— это дѣвочку облагородило. Она привязалась къ Наташѣ и вмѣстѣ съ нею отдавалась религиозному увлеченію, доходившему до того предѣла, гдѣ онъ дѣлаетъ перегибъ въ сентиментальность. Когда Сашѣ исполнилось 22 года, къ ней посватался хорошій женихъ. Княгиня нѣсколько времени противилась этому браку, вслѣдствіе того, что все семейство Саши подвержено было наследственной чахоткѣ; но по настоятельнымъ просьбамъ согласилась, взявши съ жениха, по обычаю того времени, за Сашу выкупъ. Послѣ перваго ребенка у Саши открылась чахотка, и она умерла.

Съ дѣтства моего и до кончины княгини я довольно часто бывала у нея въ домѣ и никогда не видала, чтобы она когда-нибудь, кого-нибудь притѣсняла, отягощала работою или наказывала. Обращалась она съ прислугою милостиво, но держала ее на значительномъ разстояніи, иныхъ же по году не видала въ глаза. Жалованье давалось небольшое, зато и работы, можно сказать, не было никакой; всѣ, какъ мужчины, такъ и женщины, брали работы со стороны и зарабатывали очень много. Тѣ изъ горничныхъ дѣвушекъ, которыя желали выйти замужъ, вносили за себя выкупъ, кажется, около 200 р. ассигн., и ихъ отпускали. Когда компаньонка княгини стала завѣдывать хозяйствомъ, то, находясь ближе къ прислугѣ, нежели когда-либо была княгиня, она замѣчала нѣкоторые безпорядки, мелочную кражу и поднимала войну. Услыхавши шумъ, княгиня звала ее къ себѣ, просила ее унять, говоря, что все это пустяки и не стоитъ вниманія, а шумъ и крикъ ее тревожатъ и неприличны.

Во второй пріѣздъ мой въ Москву я нашла, что Наташа держала себя въ домѣ княгини свободнѣе и поль-

зовалась въ домѣ большимъ значеніемъ. Кромѣ дьякона, она занималась французскимъ языкомъ съ старушкой-француженкой, которая, будучи безъ мѣста, около двухъ лѣтъ прожила у княгини. Когда она уѣхала, княгиня замѣнила ее гувернанткой изъ институтокъ. Егоръ Ивановичъ Наташѣ давалъ уроки на фортепіано, но къ музыкѣ у нея не было способности.

По желанію княгини, иногда праздники и воскресенья я проводила у нея; я любила княгиню съ моего дѣтства, любила и Наташу и привозила ей книги, краски, карандаши, учила ее красиво писать, рисовать,—учила всему, что сама знала и даже чего не знала. Наташа встрѣчала меня съ восторгомъ, провожала со слезами. Княгиня не меньше Наташи бывала довольна моимъ пріѣздомъ. Со мной вступалъ въ ихъ домъ элементъ свѣжій, болѣе современный, это оставалось не безъ вліянія на Наташу; сверхъ того, мой живой, открытый характеръ одушевлялъ ихъ однообразную жизнь. Когда мнѣ случалось оставаться лишній день у княгини, Саша присылалъ отчаянныя письма: «утѣшайте, утѣшайте другихъ, а другъ вашъ умираетъ съ тоски,—пишетъ онъ разъ:—если бы не Оома Кемпійскій, то не знаю, что бы со мной было—въ немъ я нашелъ успокоеніе и отраду. Ради Бога, возвращайтесь скорѣй».

При полученіи отчаянныхъ записокъ, я говорила княгинѣ, что у насъ урокъ, который нельзя пропустить. Приказывали заложить карету, и я уѣзжала.

Не знаю, какъ попалъ Сашѣ въ руки Оома Кемпійскій. Мы долго читали его вмѣстѣ, съ религиознымъ благоговѣніемъ.

12 января былъ день моихъ именинъ. Проснувшись по утру, я увидала подлѣ себя на столикѣ, въ хорошемъ переплетѣ, оба тома «Освобожденнаго Іерусалима», переводъ Райча. Я взяла первую часть, раскрыла и прочла надпись, сдѣланную рукою Саши: «Новый Армидѣ, одинъ изъ рыцарей».

Всѣ шутили надъ этой надписью; но я не шутила—я была тронута. Увидавши меня, Саша, краснѣя, робко спросилъ, что я думаю о надписи на подаренной имъ мнѣ книгѣ. Я отвѣчала, что какъ въ этой надписи, такъ и во всемъ относительно меня, я вижу его чувство

дружбы, сквозь которое онъ смотритъ на меня лучше, нежели я есть въ самомъ дѣлѣ.

У Саши навернулись на глазахъ слезы; онъ молча и горячо обнялъ меня.

Саша нравился тогда «Освобожденный Иерусалимъ», онъ иногда читалъ намъ изъ него громко нѣкоторыя мѣста и отмѣтилъ карандашомъ, гдѣ говорится о розѣ:

Она мила, пока мала,
Пока не развернулась,
Глядишь—покровъ разорвала
И смѣло улыбнулась,
Глядишь—и роза ужъ не та,
Которой межъ цвѣтами
Искала не одна чета
Влюбленными очами.

Прѣтъ нашей жизни съ каждымъ днемъ
Примѣтно блекнетъ, вянетъ,
Весну не разъ переживемъ,
Не разъ къ намъ май проглянетъ,
Любовь веснуетъ только разъ,
Разъ въ жизни сердце грѣетъ,
Рви розу въ свѣтлый утра часъ,
Пока не поблѣднѣетъ.

~~~~~

## ГЛАВА XVI.

1828—1829.

«Les premières amours».

Vaudeville en un acte.

.....  
Было холодное зимнее утро. День едва пробивался сквозь замерзшія окна. Они выходили на двѣ противоположныя стороны, въ палисадники, и были до половины запущены снѣгомъ, что придавало комнатамъ блѣдный, холодный оттѣнокъ. Ни одинъ изъ учителей нашихъ не приходилъ. Около полудня Саша спустился внизъ и вошелъ въ гостиную, гдѣ я сидѣла на диванѣ, закутавшись въ теплую шаль, и перенизывала съ одной нитки на другую гранаты, только-что подаренныя мнѣ однимъ родственникомъ.

Саша остановился у стола против дивана и, смотря на мою работу, съ видомъ соболѣзнованія сказалъ:

— Охота тратить время на вздоръ. Отдайте кому-нибудь донизать ваши бусы. Неужели нѣтъ занятія подѣльнѣе. Вотъ мы начали читать. «Wahlverwandschaft», не можемъ одолѣть и начала. Я принесъ Гёте, хотите продолжать? Да бросьте эту дрянь.

— Работа не помѣшаетъ мнѣ слушать. Садись и читай.

— Вы знаете, что я терпѣть не могу мелкія женскія работы, особенно въ вашихъ рукахъ. Онѣ вамъ не къ лицу.

— Что же мнѣ къ лицу, по-твоему?

— Мало ли что! платьѣ малиновое, локоны по плечамъ.

— Кажется, вопросъ былъ о занятіяхъ? Не хочу слушать Гёте. Убирайся.

— Ну, полноте сердиться! Богъ съ вами, нижите гранаты; онѣ вамъ будутъ къ лицу. Изгонять Гёте не за что, онъ ни въ чемъ не виноватъ. Слушайте, я буду читать.

Саша вынулъ изъ кармана небольшого формата томъ сочиненій Гёте, сѣлъ на диванъ и, медленно развертывая книгу, говорилъ:

— По широтѣ и глубинѣ генія, Гёте сравниваютъ съ моремъ, на днѣ котораго сокровища; но я лучше люблю Шиллера—эту германскую рѣку, льющуюся между феодальными замками и виноградниками, отражающую Альпы и облака, покрывающія ихъ вершины. Быть-можетъ, я еще не доросъ до Гёте? Но нѣтъ, у него въ груди не бьется такъ нѣжно-человѣчески сердце, какъ у Шиллера. Шиллеръ со своимъ «Максомъ», со своимъ «Донъ-Карлосомъ» всегда будетъ мнѣ ближе.

— Посмотримъ, что намъ скажетъ Гёте о «Wahlverwandschaft».

Только-что мы прочитали начало разговора между Эдуардомъ, Шарлотой и архитекторомъ о химическомъ сродствѣ, какъ въ гостиную вошла Луиза Ивановна и объявила, что Иванъ Алексѣевичъ собирается ѣхать съ нами во французскій театръ и уже отправилъ Егора Ивановича взять ложу въ бель-этажѣ, поближе къ сценѣ. Я этому очень обрадовалась и выразила свою радость;

Саша же, не отнимая глазъ отъ книги, сказалъ тономъ пренебреженія:

— Какая это тамъ такая пьеса идетъ, что и папенька собирается ее смотрѣть?

— А вотъ, если желаешь знать, — отвѣчала Луиза Ивановна: — прогуляйся на верхъ, — тамъ у папеньки лежать газеты, ты и посмотри.

— Благодарю покорно, — сказалъ Саша: — ужъ пусть лучше это будетъ мнѣ сюрпризомъ. Не понимаю, — продолжалъ онъ съ недовольнымъ видомъ: — что за охота разѣзжать по театрамъ въ такой холодъ. Папенька круглый годъ сидитъ безвыходно въ жаркихъ комнатахъ, въ тепломъ халатѣ, въ валенкахъ, — и вдругъ, откуда рысь взялась, не боится ночью ѣхать въ театръ и на морозѣ ждать экипажа. Удивляюсь! и кто это натравилъ его на театръ. Ложи въ маленькомъ театрѣ тѣсны, насъ толпа — духота будетъ страшная.

— Да ты не ѣзди, сдѣлай милость, — возразила Луиза Ивановна на ворчанье Саши: — плакать не будутъ. Обойдутся безъ твоего драгоценнаго присутствія, — и, обратясь ко мнѣ, продолжала: — утромъ былъ у насъ сенаторъ, хвалилъ французскую труппу и пьесу, которую сегодня дають. Онъ совѣтовалъ свозить насъ посмотрѣть ее. А вышей милости, — сказала она Сашѣ: — сенаторъ возьметъ кресло рядомъ съ собою.

Это извѣстіе примирило его съ поѣздкой въ театръ.

Когда Луиза Ивановна ушла въ свою комнату, Саша принялъ строгій видъ, какой обыкновенно принималъ, готовясь сдѣлать мнѣ поученіе или отдать приказъ, и сказалъ:

— Нарадовались поѣздкѣ въ театръ, — ну, и довольно. Теперь удѣлите вниманіе Гёте.

Всеобщее баловство, развивавшее самолюбіе и эгоизмъ, постоянные примѣры капризовъ и деспотизма, не безслѣдно прошли для Саши; они запали въ его душу и, едва ли сознаваемые имъ самимъ, временами проявлялись сквозь всѣ его хорошія свойства и замѣчательный умъ и въ жизни его были виною значительныхъ ошибокъ и огорченій.

— Мы остановились на томъ, — сказалъ Саша, принимаясь за книгу: — что въ природѣ есть тѣла родственныя и тѣла чуждыя другъ другу. И сталъ читать:

«— Вызвавши насъ на разговоръ, ты такъ легко не отдѣлаешься, — говорилъ Эдуардъ. — Въ этомъ явленіи сложные случаи интереснѣе всего, по нимъ изучаются степени родства болѣе или менѣе близкія, отдаленныя, крѣпкія. Но всего любопытнѣе ихъ разьединенія.

— Неужели это печальное слово, которое, къ сожалѣнію, слишкомъ часто слышится въ обществѣ, явилось и въ естественныхъ наукахъ? — замѣтила Шарлота.

— Конечно, — отвѣчалъ Эдуардъ. — Въ прежнія времена слово «Scheiden-Künstler» было почетный титулъ, которымъ опредѣляли химиковъ.

— Хорошо, что его уничтожили, — возразила Шарлота: — соединять — великая наука, великая заслуга. Eigenschaftlehrs будетъ всегда, вездѣ желаннымъ гостемъ. И такъ какъ идетъ объ этомъ рѣчь, то представьте мнѣ хотя два такихъ случая.

— Если вы этого желаете, — сказалъ архитекторъ: — вотъ вамъ примѣръ: то, что мы называемъ известковымъ камнемъ, есть, въ болѣе или менѣе чистомъ видѣ, известковая земля, тѣсно соединенная съ нѣжной кислотой, которая намъ извѣстна въ воздухообразной формѣ. Едва только известковый камень придетъ въ соприкосновеніе съ разжиженной сѣрной кислотой, какъ тотчасъ съ ней соединится, и оба вмѣстѣ являются гипсомъ, а нѣжная, воздушная кислота отлетаетъ прочь. Тутъ было разьединеніе и новое соединеніе. Видя такія явленія, химики считали себя въ правѣ опредѣлить ихъ словами: выборъ (Wahl) и выборъ по средству (Wahlverwandschaft) и, дѣйствительно, предпочтеніе одного тѣла другому дѣлается какъ будто по выбору.

— Извините меня, — сказала Шарлота: — въ этомъ явленіи я вижу не выборъ, а естественную необходимость, и то едва ли; легко быть можетъ, что все это — дѣло случайности. Когда рѣчь идетъ о вашихъ тѣлахъ природы, мнѣ все кажется, что выборъ одного тѣла другимъ находится въ рукахъ химиковъ. Разъ соединены — и Богъ съ ними. Жаль только нѣжную, воздушную кислоту, которая снова должна блуждать въ безконечномъ пространствѣ.

— Отъ нея зависить, — замѣтилъ архитекторъ: — соединиться съ водой и явиться въ образѣ минеральнаго, цѣлебнаго источника.

— Хорошо гипсу,—возразила Шарлота:—онъ готовъ, онъ тѣло, онъ насыщенъ; а бѣдному изгнаннику придется, можетъ-быть, много перестрадать, прежде нежели онъ достигнетъ новаго соединенія.

— Если я не ошибаюсь,—сказалъ Эдуардъ, улыбаясь:—у тебя за этими словами таятся задняя мысль. Признайся, ты представляешь себѣ меня известью, архитектора—сѣрной кислотой, которая насыщаетъ меня; я превращаюсь въ гипсъ и лишаюсь твоего милаго присутствія.

— Если совѣсть заставляетъ тебя дѣлать такое предположеніе—нечего и объясняться,—отвѣчала Шарлота:—сравненія милы, нравятся, ими любятъ играть, но человѣкъ на столько градусовъ выше простыхъ элементовъ, что, роскошно надѣливши эти явленія красивыми названіями: «Wahl» и «Wahiverwandschaft», хорошо сдѣлаетъ, если обратится къ себѣ и подумаетъ объ истинномъ значеніи этихъ словъ».

— Значеніе этихъ словъ ясно,—сказалъ Сапа, опуская книгу:—химическое сродство есть основное начало симпатіи и антипатіи въ людяхъ. Вѣроятно, потребность симпатіи ведетъ къ тому высокому братству, которое должно быть въ конечной эпохѣ человечества.

— Для меня симпатія свята уже тѣмъ, что прямо противоположна эгоизму; подъ словомъ эгоизмъ я понимаю не врожденное чувство самосохраненія, а любовь къ самому себѣ, доведенную до преступнаго холода ко всему, кромѣ себя, готовую поглотить все и всѣхъ во имя своихъ наслажденій и даже прихотей.

— Эгоизмъ и любовь въ душѣ нашей,—сказалъ Сапа:—представляются мнѣ, если ужъ дѣло пошло на естественно-научные термины, совѣтомъ и тяжестью. Эгоизмъ мраченъ, холоденъ, стремится къ сосредоточію, къ своему я, какъ центръ тяжести,—онъ точка, нуль. Любовь свѣтла, огненна, расширяетъ наше бытіе; она, какъ солнце, свѣтитъ и грѣетъ.

— Для эгоизма нѣтъ ничего на свѣтѣ, кромѣ своего глупешаго я, зато нѣтъ ему и вѣчности; для любви же нѣтъ я, это—мы, мы—двоихъ, мы—всего рода человеческаго, мы—всего творенія, и нѣтъ ей предѣловъ въ мірѣ конечномъ; она гостя—оттуда.

— И, конечно, какъ свѣтъ побѣждаетъ тьму, такъ и

любовь должна побѣдить эгоизмъ. Тогда только человѣкъ совершить свое земное, тогда природа совершить свое матеріальное назначеніе.

— Если бы....

— Счастье мое,—прервалъ меня Сапа:—что судьба послала мнѣ тебя, а «Wahlverwandschaft» насъ сблизило. Безъ тебя я былъ бы весь сосредоточенъ на себѣ и въ себѣ. Съ тобой я научился заботиться о другихъ, любить, высказываться. Когда тебя увозятъ отъ насъ, невысказанныя думы и чувства подавляютъ меня.

— Тогда пиши свой дневникъ.

— Пробовалъ; но перо такой холодильникъ, сквозь который рѣдко проходитъ истинное, горячее чувство не замерзнувши.

— Все же лучше—выскажешься.

— Да неужели ты думаешь, что мысли тѣсно въ душѣ моей? Мнѣ надобно подѣлиться ею, а не выкинуть изъ головы.

— Писать,—подѣлиться съ читателями.

— Кто же будетъ читать? ты! тебѣ я лучше передамъ мою мысль, мое чувство—живымъ словомъ. Такимъ образомъ рождается магнетическое соотношеніе. Сверхъ того, когда писанное слово попадаетъ въ чужія руки въ часы досуга, то является какой-то круглой сиротой; тутъ мою исповѣдь начнутъ разбирать по законамъ здраваго смысла, который составляетъ такую неотъемлемую собственность слоновъ, порядочныхъ людей и нью-фаундленскихъ собакъ.

— Если писанное искренно и съ талантомъ, оно всегда встрѣтитъ сочувствіе.

— Видалъ я это сочувствіе. Сколько разъ я бывалъ боленъ душой въ театрѣ при представленіи Шекспира и Шиллера. Разъ давали «Разбойниковъ»; я, задыхаясь, смотрѣлъ на эту юношескую поэмку, на это страданіе Шиллера, принявшее плоть въ Карлѣ Морѣ, на этотъ развратъ его вѣка, принявшій плоть во Францѣ,—какъ почтенный сосѣдь мой, черезъ меня, громко спросилъ своего товарища:

— Какъ вы думаете, неужели столько ружей принадлежать дирекціи?

— Помилуйте,—отвѣчалъ другой:—развѣ вы не видите по погонамъ, что это солдатскія ружья.



Я взглянулъ на моего сосѣда съ полной ненавистью; но онъ такъ добродушно, такъ спокойно сидѣлъ на своемъ креслѣ, такъ пользовался своимъ правомъ въ силу пяти рублей ассигнаціями, что я, вмѣсто проклятія, попросилъ у него понюхать табаку, хотя въ жизнь мою не нюхалъ.

— Ворошиловскій,—сказалъ онъ мнѣ, поднося табакерку съ раствореннымъ ртомъ.

Куда какъ пріятно послѣ этого писать!

— Приведенный тобою примѣръ ничего не доказываетъ,—это исключеніе. Встрѣтилъ же авторъ сочувствіе въ тебѣ и, конечно, не въ одномъ тебѣ.

— Да, но отнесемте и это къ исключеніямъ.

— Меньше, чѣмъ приведенный тобою примѣръ.

— Странное дѣло, вы слышите за стѣною пѣсню—и вамъ сейчасъ воображеніе представляетъ дѣву, которая поетъ, непремѣнно прекрасную, одушевленную; а когда читаете книгу, оттого ли, что ужъ есть матеріальная опора—эта бумажная подкладка для мысли,—о писавшемъ никто не думаетъ, словно книга, какъ плѣсень, выросла изъ воздуха. Мало того: если пѣсня грустна, вы вѣрите, что поющей грустно, а сочинителю никогда не дозволяютъ имѣть въ самомъ дѣлѣ тѣхъ чувствъ, которыя онъ высказываетъ. Если же находятся люди, которые дають себѣ трудъ представить автора, то представляютъ его по своему вкусу, и его же послѣ винять, если онъ не таковъ.—У насъ есть знакомый, который пламенно любилъ Гюго до поѣздки своей въ Парижъ, а какъ увидалъ, что лицо его не покрыто блѣдностью и взоръ не восторженъ, такъ и пересталъ въ него вѣрить;—а ужъ какъ дойдетъ до того, что я восторгъ свой, мысль свою буду продавать за 5 рублей ассигнаціями, т. е., безъ вычета лажа, за 5 рублей 75 копеекъ, тогда всякая охота писать пропадаетъ. Разумѣется, чловѣкъ, который покупаетъ фунтъ сыру и мою книгу, имѣетъ полное право требовать, чтобы сыръ и книга были по его вкусу, имѣетъ право обругать лавочника и меня, ежели ему на его 5 рублей дано не то, чего ему хочется. Дивятся, зачѣмъ адепты прятали свою науку. Я больше дивлюсь рѣшительности поэтовъ, которые внутреннѣйшую мысль свою дають толпѣ, а

толпа, какъ обезьяна Крылова, понюхаетъ, перевернетъ и бросить.

— Нѣтъ, ужъ это слишкомъ, Саша...

— Куда какъ пріятно послѣ этого писать, а ты еще совѣтуешь. Слово живое—то ли дѣло; оно свободно, вольно; это мое врожденное право, какъ пѣснь для солдья,—оно несется въ воздухъ, ему не нужно ни сплюснуться въ тискахъ, ни втѣсниться на бумагу. Между книгой и рѣчью такое же различіе, какое между нотами и музыкой... Между словомъ живымъ и мертвой книгой есть среднее—это письмо.

На этомъ мѣстѣ разговоръ нашъ прерванъ былъ приходомъ горничной дѣвушки Марины. Она накрыла скатертью столъ передъ диваномъ, поставила на него бутылку люнеля и стала готовить къ завтраку.

Я съ юныхъ лѣтъ, отъ времени до времени, писала свой дневникъ. Перебирая бумаги, мнѣ попались давно заброшенные листки дневника, и это давнопрошедшее утро прошло передъ моимъ внутреннимъ взоромъ со всѣми его впечатлѣніями.

Когда завтракъ былъ готовъ, въ гостиную вошла мать Саша, а за ней братъ его, Егоръ Ивановичъ, еще румяный отъ мороза. Потирая руки, онъ объявилъ, что билетъ въ театръ взять и переданъ деръ-Геру (такъ мы называли Ивана Алексѣевича за-глаза), ложа № 4-й отъ сцены: пьеса — комедія-водевиль Скриба: «*Les prestiges amours*» \*) Сашѣ показалось чрезвычайно забавнымъ, что выборъ палъ на такую наивную пьесу. Глаза у него заблестали и въ нихъ показалась та плутовская улыбка, которая является у дѣтей, когда они собираются выкинуть какую-нибудь шалость. Онъ вообще быстро переходилъ отъ серьезнаго состоянія къ ребячеству, повидимому, не зная, куда дѣвать переполняющую его энергію. За завтракомъ онъ говорилъ безъ умолку, острилъ; потомъ налилъ рюмку люнеля и, держа въ одной рукѣ рюмку, въ другой—бутылку, запѣлъ во всю комнату:

Le grenadier qui partagea sa vie  
Entre l'amour, le vin et la folie,  
Allons bouteille paie à son tour  
Le grenadier de ton amour.

\*) Этотъ водевиль давали первый разъ въ Парижѣ въ 1825 г., 12-го ноября, на театрѣ «Gymnase Dramatique».

Съ послѣднимъ словомъ куплета выпилъ вино и, не выпуская изъ рукъ рюмки и бутылки, затанулъ другой куплетъ такимъ отчаяннымъ голосомъ, что Макбетъ, лежавшій спокойно свернувшись у печки, вскочилъ и страшно сталъ лаять, отыскивая взоромъ причину тревоги.

— Да замолчи, пожалуйста,—сказала Сапѣ мать:— оставь вино и рюмку; точно что найдешь на него — вдругъ взбѣсится.

Сквозь смиренную мину, съ которой Сапа повиновался, видно было, что онъ придумывалъ, какую бы штуку еще выкинуть. Соображеніе у него было чрезвычайно быстро, мгновенно рождалась острота, а иногда и дерзкая выходка, безъ малѣйшаго намѣренія обидѣть — просто отъ повадки дѣлать и говорить что взбрело на умъ, не стѣсняясь. Такъ, разъ, когда Сапѣ было лѣтъ 10 или 11, Иванъ Алексѣевичъ при немъ пригласилъ отобѣдать одного хорошаго знакомаго, человѣка добраго и уважаемаго; тотъ, поблагодаривши, отказался, говоря, что теперь постъ, а онъ скромнаго не ѣстъ. Вдругъ Сапа провозгласилъ: «привыкъ ословъ смиренный родъ сухоядѣніемъ питаться»; ему показалось кстати привести этотъ стихъ. Всѣ остолбенѣли отъ изумленія и досады. Гость нашелся: улыбаясь, онъ отнесъ эту дерзость къ ребячеству и остроумію. Такъ ему потворствовали и спускали все и всѣ. Конечно, съ возрастомъ онъ сталъ сдержаннѣй, но склонность никого и ничего не падить для остраго слова удержалась.

Въ четыре часа мы пошли наверхъ обѣдать. Иванъ Алексѣевичъ, съ видомъ человѣка озабоченнаго дѣлами, ускоренными шагами ходилъ рундомъ по комнатамъ, курия свою коротенькую трубочку и притворяясь, что насъ не замѣчаетъ, нѣсколько разъ пробѣжалъ мимо.

Когда поставили на столъ кушанье, тогда только, принимаясь разливать супъ, онъ сдѣлалъ видъ, что насъ увидалъ, и раскланялся. Мать Саши, досадуя на эту комедію, сказала:

— Что вы здороваетесь съ нами, точно мы въ первый разъ видимся сегодня.

— Ахъ, извините, пожалуйста, глупъ, старъ,—началъ было обычную исторію старикъ. По счастью, Сапа пре-

рвалъ начинавшуюся комическую драму, заговоривши о театрѣ, и объѣдъ кончился благополучно, что не всегда удавалось.

Въ шесть часовъ я была уже въ бѣломъ мериносовомъ платьѣ, съ гранатами на шеѣ и съ любимой прической Саша. Онъ строго наблюдалъ за моимъ туалетомъ. Я же относительно своего туалета всегда была чрезвычайно небрежна.

Чтобы не попасть въ толпу, мы приѣхали въ театръ, когда онъ былъ еще пустъ. При насъ стали освѣщать его. Мало-по-малу партеръ наполнился. Ложи, одна за другой, открывались. Въ бель-этажѣ показались дамы, дѣвушки, почти въ бальныхъ платьяхъ, дѣти въ кудряхъ, съ голыми плечиками. Между полувоздушными нарядами дамъ блестѣли эполеты, аксельбанты, чернѣли фраки. Отъ смѣшанныхъ голосовъ и шороха шаговъ шелъ по театру гулъ. Изъ партера наводили на ложи лорнеты. Строился оркестръ. Занавѣсъ, изображавшій храмъ, временами слегка колебался. Мы съ Сашей, въ полголоса, обмѣнивались замѣчаніями насчетъ входившихъ въ ложи и въ партеръ. Бездѣлица возбуждала въ насъ смѣхъ, тѣмъ сильнѣе овладѣвавшій нами, что мы старались его сдерживать.

Передъ поднятіемъ занавѣса, въ партеръ вошелъ сенаторъ, такъ у насъ въ домѣ звали Льва Алексѣевича Яковлева, съ видомъ дипломата; какъ-то однимъ плечомъ впередъ, онъ проходилъ ряды креселъ, слегка кланаясь съ знакомыми, посылая намъ въ ложу улыбки и какой-то гіероглифъ рукой, должно-быть, очень забавный, по крайней мѣрѣ, такъ слѣдовало думать. Садясь на свое кресло, онъ указалъ Сашѣ на другое—рядомъ. Черезъ минуту Саша былъ въ партерѣ.

Занавѣсъ поднялся.

Шелъ водевиль «*Les premières amours*», содержаніе самое простое. Эвелина, единственная дочь богатаго землевладѣльца, любить своего двоюроднаго брата Шарля, съ которымъ вмѣстѣ росла и шесть лѣтъ какъ рассталась. Отецъ Эвелины желаетъ выдать ее замужъ за молодого сосѣда, сына своего друга Ренвиля, котораго ни отецъ, ни дочь никогда не видали. Эвелина отказывается. Отецъ уступаетъ ея волѣ, но молодой Ренвиль не уступаетъ и является къ нимъ подъ именемъ Шарля.

Эмелина, увидавши его, вглядывается, вскрикиваетъ:  
«Шарль, я узнаю тебя!» бросается къ нему на шею и  
они поютъ:

Beaux jours de notre enfance  
Les voilà revenus...  
Renvil: De ta douce présence  
Tous mes sens sont émus.

Саша быстро обернулся на нашу ложу, взглянул на  
меня и улыбнулся.

Оставшись вдвоемъ, Эмелина и Ренвиль возобновля-  
ютъ короткость дѣтскихъ лѣтъ, говорятъ другъ другу  
ты, и въ наивныхъ куплетахъ, вспоминая прежнее  
время, поютъ:

Ainsi que moi tu te souviens  
De nos jeux, de nos entretiens,  
De ces romans si pleins de charmes,  
Qui nous faisaient verser des larmes.

И кончаютъ дѣтской пѣсней, подъ которую Эмелина  
дѣлаетъ нѣсколько па, говоря:

Puis Charles en cadence  
M'embrassait, je crois.

Шарль, цѣлуя ее:

C'est comme autrefois.

Раздаются рукоплесканія: на сцену летятъ букеты;  
слышится bis; граціозная сцена повторяется.

Мы съ Сашей въ восторгъ, мѣняемся взглядами, мѣ-  
няемся улыбками.

Сенаторъ уѣхалъ послѣ перваго акта на какое-то  
агрономическое засѣданіе, мы отправились домой съ по-  
ловины второй пьесы, чтобы не тѣсниться при разъѣздѣ.

«Les premières amours» былъ любимый водевиль Саши,  
онъ купилъ себѣ эту пьесу и часто повторялъ изъ нея  
куплеты.

Наступило 25-е марта, день рожденія Саши. Въ этотъ  
день мы обмѣнялись желѣзными кольцами, въ видѣ  
змѣи, держащей во рту хвостъ. Внутри колецъ, на се-  
ребряной подкладкѣ вырѣзаны были наши имена, годъ  
и число. Впослѣдствіи эти кольца у насъ обоихъ куда-  
то запропалились, такъ что мы и не замѣтили ихъ  
утраты. Вечеромъ съѣхались родные и знакомые поздра-

вить Ивана Алексѣевича съ новорожденнымъ и вмѣстѣ отпраздновать этотъ день. Мы же настоящимъ образомъ отпраздновали его въ комнатахъ Луизы Ивановны. Туда явились и Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ, и Карлъ Ивановичъ Кало, и дѣти сенатора, и Никъ, и чай на просторѣ, десертъ, ужинъ, фортепіано, пѣніе. Торжество окончилось сюрпризомъ, устроеннымъ Сашей самому себѣ. Онъ продекламировалъ со мною приготовленную нами къ этому дню сцену изъ трагедіи Озерова: «Фингалъ».

Онъ былъ Фингалъ, я—Моина.

Въ этотъ годъ мы часто навѣщали дѣтей сенатора, а въ дни именинъ его и его дѣтей у него обѣдали. Въ торжественные дни обѣдъ всегда готовилъ его знаменитый поваръ Алексѣй. Поваръ этотъ служилъ въ англійскомъ клубѣ, нажилъ хорошее состояніе, женился, жилъ по-барски, но постоянно мучился мыслью, что онъ крѣпостной, и предложилъ за себя выкупъ; сенаторъ отказалъ.

Поваръ съ горя принялся пить, спустилъ весь свой капиталъ, сталъ служить по домамъ, нигдѣ не могъ ужиться. По смерти господина, онъ получилъ вольную, но было уже поздно. Такъ онъ и пропагъ безъ вѣсти.

Одно изъ грустныхъ воспоминаній оставили во мнѣ два крѣпостные художника: живописецъ и скульпторъ. Живописецъ, по фамиліи Летуновъ, давалъ уроки рисованія мнѣ и Сашѣ; кроткій, тихій, онъ былъ постоянно грустенъ и, видя наше сочувствіе, иногда высказывалъ намъ свое безпокойство относительно сыновей своихъ, которымъ давалъ нѣкоторое образованіе. О выкупѣ нечего было и думать. Онъ имѣлъ большое семейство и былъ бѣденъ. Какъ окончилась судьба его—не знаю; но, спустя много лѣтъ, услыхала, что старшій сынъ его кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ на медицинскомъ факультетѣ и впослѣдствіи былъ ординаторомъ въ клиникѣ.

Скульпторъ, ученикъ Витали, обращалъ на себя вниманіе замѣчательнымъ талантомъ. Онъ страстно любилъ свое искусство, болѣзненно жаждалъ видѣть лучшія произведенія рѣзца, учиться подъ голубымъ небомъ Италіи, мечталъ о славѣ и, можетъ-быть, былъ бы славою Россіи, но, постоянно страдая чувствомъ своей неволи,

умеръ въ молодости — мученикомъ своей несчастной участи.

Да будетъ благословеніе Божіе надъ императоромъ Александромъ-Освободителемъ.

Вскорѣ послѣ Благовѣщенія наступила Святая недѣля, съ гуляньемъ подъ Новинскимъ, и Саша первый разъ обѣдалъ въ ресторанѣ. Денегъ ему почти вовсе не давалось, а если и давалось, то въ самыхъ гомеопатическихкихъ приѣмахъ. Такимъ образомъ, на Святой недѣлѣ 1829 года, при освидѣтельствѣ казны, у него оказался полуимперіаль, а праздничныхъ дней предстояло довольно. Обсудивъ, онъ рѣшился на третій день праздника прогулять его разомъ. Повязавши тщательно платокъ съ бантомъ *papillonnée*, надѣвши новый сюртукъ, въ первомъ часу, отправился онъ съ бадинкой въ рукѣ, съ лорнетомъ въ другой и полуимперіаломъ въ карманѣ, подъ Новинское.

Halte-là!

Какое сердце не дрожить,  
Тебя благословляя!

Ежели въ прозаической жизни Москвы есть что-нибудь фантастическое и поэтическое, то это ея — гулянье, ея Подновинское, ея 1-е мая. Люди, усталые отъ зимы, городъ, перемерзнувшій отъ стужи, идутъ подъ Новинское встрѣтить весну; люди, усталые отъ поста, идутъ подъ Новинское встрѣтить праздникъ. Тамъ гуртомъ торжествуютъ Святую недѣлю; тамъ все, отъ князя Д. В. Голицына до дворника Ивана Алексѣевича Бучкина, пируетъ, веселится, радуется празднику Божію и празднику природы. Экспромптомъ выстроенный городъ, съ кабакомъ вначалѣ, рестораціей «Яра» въ концѣ и комедіями въ срединѣ, зоветъ всѣхъ: кого весной, кого барабаномъ и музыкой, кого дорожкой, посыпанной желтымъ пескомъ. Тамъ вы увидите, какъ нашъ добрый мужичокъ, отдѣленный перегородкой отъ посыпанной пескомъ дорожки, выпивши стаканчикъ вина, съ дѣтской простотой души хохочетъ надъ паяцомъ и обезьяной. Увидите, бывало, писцовъ, забывшихъ о существованіи канцелярій, секретарей, экзекуторовъ, — въ бархатныхъ галстукахъ и жилетахъ, въ панталонахъ съ лампасами и съ шляпою на бекрень; бывые московскіе ще-

голи, — дурныя изданія щеголей парижскихъ, нѣчто въ родѣ брюссельскихъ контрафакцій; beau monde, въ итальянскихъ соломенныхъ шляпкахъ въ корсетахъ madame Ка, — блѣдный, кружевной, блондовый; тамъ встрѣчались люди эполетъ, аксельбантъ, выпушекъ, петличекъ, правительствующій сенатъ и медико-хирургическая академія. Споконъ вѣка мы любили Подновинское. Сначала его выдали издали, изъ кареты, подъ охраною нянюшекъ и мамушекъ; карета останавливалась противъ каждой комедіи, гдѣ комедіанты выходили на балконъ. Какіе наряды, какой языкъ у этого чудовища въ медвѣжьей шкурѣ! и паяцъ въ бѣлой рубашкѣ, въ конической шапкѣ—выпачканной сажей! о, какъ бы мы были счастливы, если бы могли заглянуть туда — въ балаганъ; мы вздыхали и не смѣли надѣяться. Прошли эти времена, и мы стали обхаживать всѣ комедіи: и Турнье, и Молдуано, и три панорамы, каждая съ Ниагарскимъ водопадомъ, съ экспедиціей Россіи и съ мадамой у входа. Наконецъ, комедіи стали менѣе занимать насъ. Мы уже посѣщали ихъ не всѣ, а на выборъ, дрѣтри, но страсть къ Подновинскому не уменьшалась, и мы чуть не плакали, когда дождь уменьшалъ днемъ или двумя Святую недѣлю.

Итакъ, въ четвергъ на Святой, съ новой тросточкой и полуймперіаломъ, Саша отправился гулять подъ Новинское; тамъ встрѣтился съ Никомъ; посидѣвши вмѣстѣ на жердочкѣ, какъ попугаи, они пошли обѣдать къ «Яру». Юношѣ, въ первый разъ отъ роду, обѣдать въ ресторанѣ—равняется первому выѣзду въ собраніе шестнадцатилѣтней барышни, танцовавшей до того въ танцъ-классахъ подъ фортепіано и подъ визгъ одной скрипки. Чтобы показаться настоящими гоуэ, они потребовали карту и, блуждая по номенклатурѣ, гораздо менѣе имъ извѣстной, нежели Вернерова минералогическая, остановились на *oucha au sterled* и *au Champagne* и на трюфеляхъ, какъ на самомъ дорогомъ, и по той же причинѣ потребовали бутылку Іоганнисберга, старѣе самого Меттерниха... Другіе товарищи ихъ, также явившіеся къ «Яру», смиренно спросили обѣдъ въ 5 р. ассигнаціями и въ 5 р. лафитъ; наѣлись досыта, напились досыта, а для Саши съ Никомъ обѣдъ кончился не такъ благополучно. Ухи,—разсказывали они намъ:—не могли



они въ ротъ взять, раковинкой съ трюфелями не могъ бы быть сытъ и бедуинъ въ степи. А между тѣмъ оказалось, что не только завѣтный полуимперіаль, но и деньги Ника были истреблены; закуривши натошакъ сигары, они поглядывали d'un oeil de convoitise на сосѣдей, облизывавшихся послѣ бифтекса и рябчиковъ.

Съ наступленіемъ весны Иванъ Алексѣевичъ сталъ заговаривать о поѣздѣ въ свое имѣніе—Васильевское, а пока, чтобы пользоваться прелестной погодой, которая стояла въ томъ году, почти каждый день возилъ насъ въ Лужники.

Лужники находились на низменной сторонѣ Москвы-рѣки, противъ Воробьевыхъ горъ. Съ вершины этихъ горъ, за триста лѣтъ тому назадъ, молился трепещущій и блѣдный царь-юноша, смотря на пожаръ Москвы, гдѣ, какъ ангелъ, какъ посланникъ Божій, явился къ нему Сильвестръ и указалъ путь, по которому Провидѣніе хочетъ вести Россію. Эти же горы колоссальная мысль художника хотѣла превратить въ храмъ Божій.

Съ нихъ мы не разъ засматривались на величественную картину Москвы. Безконечный городъ стлался подъ горою на необозримое пространство и исчезалъ въ неопредѣленной дали, пышно освѣщенной заходящимъ солнцемъ, лучи его вонзались въ золотые куполы церквей... Дивный видъ, кто его не знаетъ въ Москвѣ?! Императоръ Павелъ приводилъ сюда madame Lebrun, чтобы она его сняла. Lebrun простояла часъ, съ благоговѣніемъ сказала: «не смѣю», и бросила свою палитру. Императоръ Александръ хотѣлъ тутъ молиться за спасеніе отечества. Разъ передъ вечеромъ, на самомъ мѣстѣ закладки храма, передъ красотой картины, озаряемой прощальными лучами солнца, Саша и Никъ поклялись въ вѣчной дружбѣ и въ любви къ человѣчеству.

Ребачество, ребачество! скажу и я, и прибавлю слова Христа: «о, будьте дѣтьми»!

Конечно, спустя много лѣтъ, иначе понялась жизнь, но подниметесь выше, взглянете на начало, изъ котораго истекала дѣтская восторженность того времени,—неужели не видно въ этомъ того высокаго инстинкта, по которому человѣкъ стремится разлить во вселенную духъ свой; неужели не видно всемогущей, всепоглощающей любви, связующей людей въ человѣчество! И

какая откровенность! какое безкорыстіе въ мечтахъ! Да будутъ онѣ благословенны! Сколько разъ послѣ того они всходили на эту гору и примѣривали, такъ ли, впору ли ихъ душѣ и видѣ, и солнце, и гора. Сколько разъ они ходили туда, чтобы смыть съ души насѣдавшую на нее пыль, и возвращались чистыми.

Спустя десять лѣтъ, Сапа съ женою вѣзжалъ въ Москву по Можайской дорогѣ, огибая ее. Весьма многіе знаютъ этотъ лабиринтъ проселочныхъ дорогъ, пересѣкающихся, узенькихъ, грязныхъ, которыя окружаютъ Москву. Дождь изъ проливного превратился въ осенній, похожій на мокрое облако. Глубоко врѣзывались колеса въ глинистую землю. Городъ былъ въ верстѣ или много въ двухъ, но его почти не было видно изъ-за тумана; нѣсколько зданій неопредѣленно пробивались изъ-за влажной завѣсы, большею частью старые знакомые, родные, давно невиданные... «Сердце билось, глядя на нихъ,—разсказывалъ Сапа.—Симоновъ монастырь, гдѣ мы такъ часто бродили между надгробными памятниками, Крутицкія казармы, Донской монастырь, густыя массы Нескучнаго сада, Дѣвичій монастырь и Лужники—нижняя ступенька Воробьевыхъ горъ...» Они шагомъ вѣхали по совершенно непроѣзжаемой дорогѣ въ гору. Сапа не узналъ горы, такъ какъ никогда не подѣзжалъ съ этой стороны. Колокольня Дѣвичьяго монастыря указала, что это именно Воробьевы горы. Онъ миновать ихъ не могъ, не могъ проѣхать подлѣ, не посѣтивши мѣста закладки двухъ храмовъ: храма во имя Спасителя и храма во имя любви, которую проповѣдывалъ Спаситель.

Сапа велѣлъ ямщику остановиться, подаль руку женѣ и вмѣстѣ пошли на святое мѣсто.

Дождь не унимался, они скользили по глинѣ, вѣтеръ дулъ прямо въ лицо. Чувство, наполнявшее душу, было то, съ которымъ мы приближаемся къ могилѣ друга, къ единственному осязаемому видимому знаку прошедшей жизни, нѣкогда близкой намъ. Вотъ тропинка, по которой такъ часто всходили, вотъ Москва-рѣка, опоясавшая гору, отдѣлявшая отъ толпы... Посѣщеніе это носило печать чего-то литургическаго, важно-таинственнаго и священнаго.

Много лѣтъ прошло, какъ Сапа не видалъ горы; онъ

вспомнилъ нашу прогулку, вспомнилъ клятвы, произнесенныя полу-ребяческими устами, и исповѣдывался на этомъ мѣстѣ—не измѣнился ли онъ, не измѣнило ли его счастье, и созналъ, что онъ все тотъ же, только пошелъ дальше, поднялся въ болѣе обширную сферу духа, но что любовь не изсякла и частная жизнь не поглотила универсальной, и что съ многими погибшими юными мечтами не погибли всѣ надежды его.

Но какъ перемѣнилась гора! гдѣ то торжественное солнце, тотъ городъ-исполинь, то ликованье свѣта, воздуха, растений, гдѣ каменный ковчегъ, въ которомъ хранились зародыши храма? гдѣ мѣсто, благословенное царемъ-благословеннымъ, художникомъ и народомъ, — мѣсто обѣта? Разбросанные камни лежали около ямы, дождь сѣялся, вѣтеръ уродовалъ форму деревьевъ, которыя едва могли стоять. Тяжелое чувство грусти тѣснилось въ грудь отъ могильнаго вида и всплывало надъ восторгомъ. Вспомнился ему художникъ-страдалецъ \*), который не разъ склонялъ на его грудь голову, убѣленную не лѣтами, а горестями, изъ устъ котораго онъ слышалъ его дивную жизнь, въ которой сочетались апоэозъ художника съ анаэмой. На этой горѣ каждому невольно представляются образы изъ этой поэмы, живо и ясно. Представляется юноша съ голубыми глазами, вдохновенный творческою властью призванія; юноша говоритъ: «да будетъ онъ тутъ». Онъ еще безвѣстный, еще царь не знаетъ его, но онъ знаетъ себя, онъ уже утвердилъ свой проектъ тѣмъ чувствомъ: «добрь бо есть», которымъ Господь сопровождаетъ свое твореніе. Для него храмъ совершенъ, онъ въ этомъ увѣренъ, какъ въ своемъ существованіи. Передъ нимъ храмъ высится торжественный, крестообразный, увѣнчанный ротондой. Юноша видитъ свой храмъ, болѣе того, онъ самъ превращается въ него! Его черепъ раздвинулся въ гигантскій куполъ колоссальной мысли; иконы, статуи—это его фантазія; эти звуки мѣди—его пѣснь,—пѣснь призыва и ликованья; эти колоннады—его объятія; въ этихъ капителяхъ, барельефахъ, фрескахъ—его плоть, его душа, тайна его бытія,—тайна, которую онъ самъ

---

\*) Академикъ Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ—геніальный художникъ, строитель храма Христа Спасителя въ Москвѣ.

иначе понять не могъ, какъ выводя ее изъ цѣлой горы, написавъ мраморомъ, гранитомъ и поставивъ въ виду цѣлаго города.

Но вотъ идетъ царь великаго народа, смиренно Богу отдать побѣду; тихо восходитъ онъ по излучистой тропинкѣ,—за нимъ его православный народъ. Развѣваются хоругви, раздаются псалмы; народъ, рукою царя, идетъ положить первый камень будущаго храма. Кто встрѣчаетъ царя? юноша. Юноша уже не безвѣстный. Онъ стоитъ свѣтлый, радостный, кладетъ второй камень, и съ трепетомъ и молитвою приступаетъ къ таинству созданія. Счастливъ ты, юноша, въ тебѣ узнали того, кого ты проявилъ въ себѣ, и склонились передъ тобою. Ты жилъ для того, чтобы прославить Его храмомъ, и тебя славятъ: ты—храмъ Его.

Потомъ воображеніе переноситъ въ дальній край. Нужда матеріальная давитъ художника. Онъ униженъ, сосланъ, очерненъ. Обремененный большимъ семействомъ, онъ бѣденъ. Сынъ его души—его храмъ, убить во чревѣ матери, а на рожденіе его онъ употребилъ всѣ силы души своей. Но художникъ и теперь живетъ въ своемъ великомъ чертежѣ, въ своемъ храмѣ. Храмъ—это его объективы, его теодицея, исполненіе всѣхъ мечтаній, выраженіе всѣхъ фантазій, отвѣтъ на всѣ вопросы и... и храмъ существуетъ,—что за дѣло, въ чертежѣ или въ художникѣ. Онъ отдѣливаетъ его части,—здѣсь прибавляетъ ударъ рѣзца, тамъ барельефъ. Вездѣ является онъ сильнымъ, великимъ и вмѣстѣ дѣтски довѣрчивымъ, полнымъ свѣжихъ, юныхъ чувствъ. Онъ страдалъ, но не былъ несчастенъ... нѣтъ, одна толпа несчастна отъ внѣшняго. Человѣкъ силенъ, когда оторвется отъ душевныхъ, низкихъ заботъ полуживотной жизни и поднимается въ область духа. Въ этой области нельзя быть несчастнымъ.

Но возвратимся къ 1829 году.

Послѣ прогулки на Воробьевы горы, Саша и Никъ сдѣлались неразлучны. Въ эти свѣтлые дни юношескихъ мечтаній и симпатій, чертились колоссальные планы, они отдавались сильно занятіямъ и вѣрилось съ восторженностью первой любви. Когда же Никъ уѣхалъ въ деревню, то они переписывались. «Любопытно бы было сравнить эти письма,—говорилъ впоследствии Саша:—

съ тѣми письмами, которыя онъ писалъ ко мнѣ въ 20-хъ годахъ; взглянуть, какъ росла душа, какъ и что въ ней измѣнялось, взвѣсить въ тѣхъ и другихъ долю ребенка и долю будущаго человѣка, постепенное исчезновеніе одной доли души и постепенное возрастаніе другой.

Характеры Саши и Ника были совершенно противоположны. Никъ, флегматическій по сложенію, безъ энергій по наружности, но глубоко-чувствующій въ душѣ, нѣжный, поэтическій, былъ вѣчно задумчивъ; говорилъ мало, двигался еще меньше; отъ тѣхъ мѣстъ въ чтеніи, отъ которыхъ Саша приходилъ въ восторгъ, Никъ, молча, отиралъ слезы. Несмотря на это, между ними не было никогда ни спора, ни разногласія.

Профессоръ Морошкинъ, говоря о Сашѣ и Никѣ, сказалъ: «Саша—это вѣчно дѣятельный европеецъ, живущій экспансивной жизнью, который принимаетъ идеи съ тѣмъ, чтобы ихъ уяснить, развить, разбрасывать. Никъ—квѣтическая Азія, въ душѣ которой почилъ глубокая мысль, ей самой неясная».

Вечерами, сидя вмѣстѣ съ Сашей въ его маленькомъ кабинетѣ ихъ стараго дома, они читали, говорили, заступая одинъ другому въ жизнь.

Спустя нѣсколько лѣтъ, когда домъ этотъ былъ оставленъ семействомъ Саши, Никъ посѣтилъ его и, вдохновенный поэтическимъ воспоминаніемъ, написалъ:

Старый домъ, старый другъ! посѣтилъ я  
Наконецъ въ заустыни тебя,  
И бывшее опять воскресилъ я,  
И печально смотрю на тебя.

\* \*

Дворъ лежалъ предо мной не метеный,  
Да колодезь валялся гнилой,  
И въ саду не шумѣлъ листъ зеленый,  
Желтый тлѣлъ онъ на почвѣ сырой.

\* \*

Домъ стоялъ обветшалый уныло,  
Штукатурка обилась кругомъ,  
Туча сѣрая сверху ходила  
И все плакала, глядя на домъ.

\* \*

Я вошелъ... тѣ же комнаты были,  
Здѣсь ворчалъ недовольный старикъ,

Мы бесѣды его не любили,  
Насъ страшилъ его черствый языкъ.

\* \*

Вотъ и комнатка, съ другомъ, бывало,  
Здѣсь мы жили умомъ и душой,  
Много думъ золотыхъ возникало  
Въ этой комнаткѣ прежней порой.

\* \*

Въ нее звѣздочка тихо свѣтила,  
Въ ней остались слова на стѣнахъ,  
Ихъ въ то время рука начертила,  
Когда юность кипѣла въ душахъ.

\* \*

Въ этой комнаткѣ счастье было!  
Дружба свѣтлая выросла тамъ,  
А теперь запустѣнье глухое,  
Паутины висятъ по стѣнамъ...

\*

И мнѣ страшно вдругъ стало! дрожалъ я,  
На кладбищѣ я будто стоялъ,  
И родныхъ мертвецовъ вызывалъ я,  
Но изъ мертвыхъ никто не возсталъ



## ГЛАВА XVII.

### В а с и л ь е в с к о е .

..... сердце бьется  
При имени моемъ, пустынное село,  
И ясной думою внезапно расцвѣло.  
Растопчина.

Это было въ маѣ 1829 года. Погода стояла великолѣпная. Деревья распускались, траву осыпали золотистые цвѣты цикорія.

Точно ли мы скоро ѣдемъ въ Васильевское? еще поѣдемъ ли? вопросъ этотъ тревожно занималъ насъ. Мы робко вѣрили, робко надѣялись.

Иванъ Алексѣвичъ каждый годъ говорилъ, что уѣдетъ рано, и иногда уѣзжалъ только въ іюль. А иной

разъ такъ опаздывалъ, что и вовсе не уѣзжалъ. Каждую зиму онъ писалъ въ деревню приказы, чтобы протапливали и готовили домъ, но все это дѣлалось больше для того, чтобы староста и земскій, опасаясь барскаго пріѣзда, были внимательнѣе къ хозяйству.

Намъ страстно хотѣлось въ деревню.

Когда пришли изъ деревни подводы и загромоздили поддвора, мы съ восторгомъ смотрѣли на нихъ, на крестьянъ, хлопотавшихъ около лошадей, и на лошадей, какъ онѣ, фыркая, ѣли сѣно.

Въ домѣ поднялась страшная суета. Прислуга начала таскать барскія вещи, свои пожитки и укладываться на воза. Всѣ были раздражены, ссорились за болѣе удобныя мѣста на подводахъ для своихъ мѣшковъ, подушекъ, коробковъ. Камердинеръ Ивана Алексѣевича былъ разстроенъ до того, что рвалъ на себѣ волосы съ досады и со всѣми бранился; какъ что онъ ни положить, все ему кажется не такъ, да не этакъ, выкидаетъ и перебрасываетъ. Тѣ изъ прислуги, которые отправлялись съ подводами, ходили одѣтые и подпоясанные по дорожному, улаживали себѣ на подводахъ помѣщенія и прощались съ остававшимися въ Москвѣ.

Когда подводы, нагруженные гора-горой, съѣхали со двора, все стихло и опустѣло. Всѣ были утомлены до того, что, убравши валявшіеся по комнатамъ клокчи сѣна, солому, веревки, оставшіяся отъ укладки, разошлись отдыхать. Даже Макбетъ, высунувши языкъ, растянулся на заднемъ крыльцѣ съ видомъ такого изнеможенія, какъ будто и онъ участвовалъ во всеобщей суетѣ и отправлялъ подводы.

Въ однѣхъ курахъ появилось больше прежняго хлопотливости; онѣ суетились по двору, торопясь другъ передъ другомъ подбирать остатки овса и кой-гдѣ просыпавшуюся крупу.

День стоялъ жаркій, на небѣ ни облачка.

Сапа спустился сверху по лѣстницѣ и, оставаясь на предпоследней ступенькѣ, позвалъ меня.

Я подошла къ нему.

— Какая тоска и пустота во всемъ домѣ,—сказалъ онъ, держась за поручья лѣстницы:—точно всѣ вымерли; въ довершеніе этого удовольствія—наверху духота невыносимая, папенька не позволяетъ открыть ни одного

окна—боятся простудиться въ 20 градусовъ жара. Погода прелестная, непростительно оставаться въ комнатахъ. Пойдемте въ палисадникъ.

— Пойдемъ,—отвѣчала я:—подожди меня, я сейчасъ приду, только возьму зонтикъ.

— На что это зонтикъ, три шага отъ дома—не бойтесь, не загорите.

— Я думала, мы будемъ ходить по палисаднику,—тамъ тѣни мало, а солнце такъ и палить.

— Прогуливаться мы не будемъ, а пройдемъ прямо въ бесѣдку и станемъ читать. Вы что хотите?

— Мнѣ все равно, бери что тебѣ нравится.

— Если такъ — я возьму «philosophische Briefe» Шиллера. Онѣ подходятъ къ настроенію моего духа.

Палисадникъ, въ который мы пошли, начинался отъ самаго дома. Рѣшетка, густо опушенная подстриженной акаціей, отдѣляла его отъ двора. Среди палисадника было нѣсколько клумбъ съ цвѣтами и съ десяткомъ кустовъ сирени, жимолости и бузины, среди которыхъ стояла бесѣдка. Но что же это была за бесѣдка.

Это было что-то въ родѣ комнаты безъ оконъ, выстроенной изъ сосноваго теса, мѣстами расщеливагося. Сквозь расщелины тонкими нитями пробирались солнечные лучи и наполняли бесѣдку золотисто-туманнымъ полусвѣтомъ; когда мы, входя въ бесѣдку, растворили настежь дверь, солнце хлынуло черезъ всю комнату широкимъ потокомъ и ярко освѣтило ее. Мы помѣстились подлѣ низенькаго столика, на широкой деревянной лавкѣ, стоявшей вдоль всей внутренней стѣны.

Сама положилъ на столикъ книгу и, приготовляясь читать, сказалъ:

— Я чрезвычайно люблю эти письма. Въ нихъ такъ много чувства, широкихъ идей, пониманія молодой души.

— Ты любишь ихъ потому,—замѣтила я:—что этими письмами объяснялся съ Никомъ въ своихъ чувствахъ.

— Быть-можетъ, и потому. Мнѣ надобенъ былъ другъ—юноша, въ объятіяхъ котораго мнѣ было бы вольно, съ которымъ я могъ бы рука объ руку идти въ жизнь. На требованіе души моей онъ и явился такимъ, какъ я мечталъ его, какимъ представилъ его въ



этихъ письмахъ Шиллеръ. Мы сблизились... какъ — и самъ не знаю, — сблизились и навсегда.

Помолчавши немного, онъ вздохнулъ, сказалъ нѣсколько театрално: «Поза, Поза! Гдѣ ты?» и сталъ читать первое письмо Юлія къ Рафаилу:

«Ты уѣхалъ, Рафаиль, и природа утратила свою прелесть. Желтые листья валятся съ деревъ, мгла осенняго тумана, какъ гробовой покровъ, лежитъ на умершей природѣ; одинокъ блуждаю я по задумчивымъ окрестностямъ, громко зову моего Рафаила, и больно мнѣ, что мой Рафаиль мнѣ не отвѣчаетъ. Здѣсь въ первый разъ мы разъяснили основныя духовныя начала и Юлій открылъ свое близкое родство съ Рафаиломъ...»

Саша остановился и пристально посмотрѣлъ на меня.

У меня навертывались на глазахъ слезы, мнѣ казалось, что отъ меня что-то отнимаютъ.

До этого времени у Саши не было ни друга, ни товарища, кромѣ меня, и у меня никого, кромѣ его; видя, какой страстный характеръ принимаетъ его дружба къ Нику, я его къ Нику ревновала.

Сдѣлалъ ли Саша видъ, что не замѣчаетъ происшедшаго во мнѣ, или дѣйствительно не замѣчалъ, только онъ письма Юлія продолжать не сталъ; облокотясь на столъ, онъ медленно переворачивалъ листокъ за листкомъ въ книгѣ, — миновалъ мыслящія существа и идеи и остановился на любви.

«Теперь, мой Рафаиль, — продолжалъ читать Саша, — позволь мнѣ остановиться. Высота достигнута, туманъ упалъ, я стою среди безконечности, точно среди цвѣтущаго ландшафта. Чистѣйшій солнечный свѣтъ расширяетъ всѣ мои понятія; итакъ, любовь — лучшее явленіе одушевленнаго міра, всемогущій магнитъ вселенной, источникъ вдохновенія и высшаго блага. Любовь — проявленіе единой, нераздѣльной силы, образъ прекраснаго, чувство, основанное на переливѣ одной личности въ другую, на размѣнѣ своей сущности. Въ одинъ вечеръ, — ты помнишь, Рафаиль, — души наши соприкоснулись въ первый разъ. Всѣ твои высокія качества, всѣ твои совершенства сдѣлались моими. Любовью къ тебѣ я становлюсь тобою...»

Относя всѣ эти слова къ Нику, я грустно думала, вспоминая «Wahlverwandschaft»: «Хорошо известно — она

насыщается сѣрной кислотой; каково-то бѣдной воздухообразной частичкѣ, которой приходится одиноко отлетать въ безконечность! Придется ли еще ей когда проявиться въ образѣ цѣлебнаго источника».

Не смотря на меня, Саша опустил на столъ книгу, тихо взялъ мою руку и сжалъ съ такимъ огнемъ, что мнѣ показалось, будто воздухъ вспыхнулъ вокругъ насъ. Мгновенье продолжалось молчаніе. Я взглянула на Сашу: по лицу его катились слезы... Изъ тихаго, спокойнаго взора моего онъ все понялъ—и огорчился. Впослѣдствіи онъ оцѣнилъ то чувство, которое я имѣла къ нему, и сохранилъ ко мнѣ привязанность брата.

Быть-можетъ, у него и загоралась привязанность болѣе живая, какъ это и показалось ему, вѣроятно же юношескій возрастъ, полное отсутствіе женскаго общества, пылкость, создали въ его воображеніи чувство, котораго, въ сущности, и не было никогда. По своему страстному характеру, онъ относился къ Нику такъ же горячо, какъ и ко мнѣ, если еще не горячѣе.

Мое тихое, спокойное чувство, дружба съ Никомъ, далѣе, университетскіе товарищи, наука и проч. способствовали тому, что и его привязанность ко мнѣ приняла характеръ болѣе ровный. Впослѣдствіи онъ говорилъ объ этомъ періодѣ времени: «Моя пламенная дружба къ Корчевской кузинѣ мало-по-малу приняла характеръ болѣе ровный».

Съ ребячества привыкнувши быть единственнымъ товарищемъ Саши, естественно, что я, временами, тосковала, видя, какъ другой заступаетъ мое мѣсто, и какъ, ради этого другого, онъ оставляетъ меня одну цѣлые часы, чего прежде не бывало.

Наконецъ, наступилъ день отъѣзда въ деревню. Съ нами ѣхали Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ и восьмилѣтній сынъ сенатора, Сережа \*). Въ этотъ день Иванъ Алексѣевичъ, какъ нарочно, всталъ позднѣе обыкновеннаго и пилъ кофе продолжительнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Въ первомъ часу къ крыльцу была подана ка-

---

\*) Нашъ знаменитый художникъ-фотографъ Сергій Львовичъ Левитскій.

рета, за каретой ѣхала коляска, за ней бричка, фура и двѣ или три телѣги, все биткомъ набитое поклажей и прислугой до того, что сидѣть всѣмъ было прескверно.

Въ заброшенномъ барскомъ домѣ Перхушкова, похожемъ на фабрику, мы обѣдали, передъ домомъ шла пыльная большая дорога, за ней тоскливыя поля сливались съ далекимъ горизонтомъ; по шаткой лѣстницѣ мы подыались на верхній этажъ, въ комнатахъ стояла старинная мебель, покоробленные полы скрипѣли подъ ногами. Пока старшіе отдыхали въ ожиданіи обѣда, мы обѣгали въ одичалый садъ, находившійся позади дома; проходя сѣнями мимо кухни, сквозь растворенныя двери видѣли, какъ поваръ наскоро готовить обѣдъ и толкуетъ съ бурмистромъ, который сидѣлъ тамъ въ ожиданіи барскаго приказа. Такъ какъ все это выходило изъ обычнаго порядка, то все намъ чрезвычайно нравилось, начиная отъ безмѣрной ширины лопуховъ и высокой крапивы, заглушавшихъ въ саду куртины малины, черной и красной смородины, до супа изъ курицы и жареныхъ цыплятъ, поданныхъ на сервизѣ изъ англійской жесты.

При отѣздѣ въ передней и сѣняхъ насъ дружно осаждала прислуга, проживавшая въ Покровскомъ на чистомъ воздухѣ. Старухи лѣзли поздороваться съ старымъ бариномъ, босые ребятишки совались подъ ноги, неожиданно появляясь то справа, то слѣва; старшіе, порываясь впередъ, дергали ребятишекъ назадъ и ловили поцѣловать у барина ручку. Цѣловать руки Иванъ Алексѣевичъ не давалъ, сказалъ нѣсколько привѣтливыхъ словъ, и мы уѣхали. Ночевать остановились въ Покровскомъ, въ новомъ барскомъ домѣ съ свѣтлыми комнатами. Послѣ чая, Иванъ Алексѣевичъ легъ отдохнуть, а мы еще долго сидѣли на широкомъ крыльцѣ и не могли насмотрѣться на дремучій лѣсъ, рѣку, лугъ, осыпанный весенними цвѣтами, на широкий дворъ, не могли надышаться чистымъ полевымъ воздухомъ.

На другой день, напившись кофе, отправились далѣе. За Вяземой насъ встрѣтилъ васьлевскій староста и просекомъ проводилъ вплоть до барскаго дома, стоявшаго на Марьинской горѣ, почти противъ села Васильевского.

Васильевское \*) находится противъ того берега Москвы-рѣки, на которомъ стоитъ Кунцево и Архангельское. Иванъ Алексѣевичъ, объѣхавшій почти всю Европу, говорилъ, что мало видалъ мѣстъ живописнѣе Васильевскаго.

Съ Марьинской горы и изъ нѣкоторыхъ комнатъ стоявшаго на ней новаго дома виднѣлись: рѣка, за ней село, церковь среди зелени, старый, полуразрушенный домъ съ садомъ и на нѣсколько верстъ кругомъ деревеньки, усадьбы, горы, засѣянные поля, пересѣченные рощами и лѣсами; новый домъ стоялъ на Марьинской горѣ одиноко, около него не было ни двора, ни надворныхъ строеній. Съ одной стороны его огибалъ глубокой оврагъ, поросшій тальникомъ, крапивой и чертополохомъ, по окраинамъ котораго лѣпились, свѣсившись надъ нимъ, старыя ветлы да небольшая кухня. Противоположно оврагу, передъ фасадомъ дома, гора отлогой покатостью тянулась до столѣтней липовой рощи. Съ правой стороны дома она крутымъ обрывомъ спускалась къ рѣкѣ, а противъ всего низменнаго берега, на которомъ стоитъ Васильевское, простиралась горной возвышенностью, мѣстами поросшей лѣсомъ.

Передъ домомъ, по такъ-называемому двору, росло нѣсколько большихъ кустарниковъ и развѣсистыхъ деревьевъ; въ густой, цвѣтущей травѣ, покрывавшей гору, виднѣлись протоптанныя узенькія тропинки.

Домъ былъ новый, выстроенный изъ крупнаго сосноваго лѣса, ни снаружи, ни внутри не оштукатуренный. Въ немъ пахло смолой, мѣстами вытекавшей изъ стѣнъ янтарными каплями и нитями. Комнаты были свѣтлы и довольно просторны. Онѣ казались еще просторнѣе отъ того, что въ нихъ было очень мало мебели, и то самой простой. Комната Саши была въ мезонинѣ, тамъ

---

\*) Васильевское продано было Иваномъ Алексѣвичемъ Яковлевымъ племяннику его, Николаю Павловичу Голохвастову, потомъ перешло къ графинѣ Александрѣ Сергѣевнѣ Паниной, супругѣ графа Александра Никитича Панина.

Когда эта часть моихъ записокъ была уже передана въ редакцію «Русской Старины», я получила печальное извѣстіе, что графиня Александра Сергѣевна кончила жизнь, исполненную добра и любви къ ближнему. Васильевское она передала внуку своему и крестнику, князю Щербатову, старшему сыну своей дочери.

прега М.  
рхатель  
сю Евр.  
нѣе В.

комнатъ  
за ней  
ценный  
дер.  
енны  
нскою  
и на  
глу.  
рто.  
инъ  
Гро.  
гло.  
пи.  
из.  
на  
о.

стояла его некрашенная кровать съ сыромѣтнымъ тюфякомъ, широкая липовая лавка и такой же столъ, да два-три стула и полка для книгъ. Я помѣщалась внизу, въ небольшой комнатѣ съ итальянскимъ окномъ, подлѣ котораго стоялъ сосновый столикъ и стулъ. За неимѣніемъ кровати, я спала на полу, на двухъ сложенныхъ вмѣстѣ тюфякахъ.

Пока выбирали изъ экипажей наши вещи, а съ подвѣдомъ съѣстные запасы и поклажу, мы всѣ собрались въ чайную комнату, выходящую изъ коридора. Тамъ, на длинномъ липовомъ столѣ, уже кипѣлъ самоваръ, стояли разныя принадлежности къ чаю и большой горшокъ холоднаго молока съ густыми майскими сливками. Все это, вмѣстѣ съ чистымъ воздухомъ и живописной мѣстностью, возбуждало сильный аппетитъ и восторженное настроеніе духа. Мы съ наслажденіемъ пили чай и сливки, съ увлеченіемъ говорили о прелестяхъ деревни и составляли проекты прогулокъ и занятій. Иванъ Алексѣевичъ сидѣлъ въ концѣ стола, на диванѣ, молча пилъ чай, кидая наблюдательные взгляды, холодно слушая наши страстные рѣчи, и вдругъ, оглянувши всѣхъ, сказалъ:

— Удивительно, какъ прекрасная природа и деревенскія сливки располагаютъ къ чувствительности; у меня такъ и вертятся на умѣ стихи да романсы, особенно нейдетъ изъ головы одинъ трогательный романсъ: «Ахъ, батюшки, бѣлы козель!» выразительнѣе всего повторяется припѣвъ «бѣлы козель!» Не поетъ ли кто изъ васъ «бѣлаго козла»?

— Никто не поетъ и не знаетъ,—съ досадою отвѣтилъ Саша.

— Ну, такъ, можетъ, кто-нибудь знаетъ одну извѣстную чувствительную пѣсню,—и, улыбаясь, речитативомъ пропѣлъ, или, скорѣе, проговорилъ:

Какъ на рѣчкѣ, на Казанкѣ,  
Дѣвка, стоя, фартукъ мыла;  
Мывши, фартукъ обронила,  
Бѣлы ноги замочила;

На фартучкѣ пѣтушки,  
Золотые гребешки.

Неподвижный взоръ, съ которымъ все это было сказано, улыбка, не живая, вытекающая изъ внутренняго

состоянія духа, а безжизненная, какъ бы наложенная снаружи,—обдавали холодомъ.

Всѣ поняли, что воспоминаніе о бѣломъ козлѣ и пѣсня сказаны на смѣхъ нашему лирическому настроенію и комедія сыграна, чтобы убить его,—съ недоумѣніемъ переглянулись и отвѣтили Ивану Алексѣвичу горькой, натянутой усмѣшкой, на которую онъ не обратилъ никакого вниманія, и, довольный тѣмъ, что понизилъ общій восторгъ до нуля, спокойно продолжалъ пить свой чай.

Назовите луналика по имени—и онъ упадетъ: такъ и мы упали съ неба въ бѣдную сферу жизни. Одни пошли хлопотать устраниваться, другіе—разбирать свои вещи.

Меня Сапа позвалъ пройтись къ рѣкѣ.

По тропинкѣ, сбѣгавшей съ обрыва, мы спустились прямо къ водѣ на небольшую песчаную площадку, мѣстами поросшую мелкой травкой и низенькими желтыми цвѣточками. Подъ горой насъ обдало влагой и теплотой. Вода стояла неподвижно и была до того прозрачна, что сквозь нее виднѣлся на днѣ песокъ, и вблизи берега можно было пересчитать камешки.

Пополоскавшись въ водѣ руками, подивившись ея теплотѣ, побрызгавши ею другъ на друга и порадовавшись на виды, открывавшіеся изъ-за рѣки, мы устроились по близости воды. Я помѣстилась на широкомъ камнѣ, на которомъ, купаясь, клали бѣлье; Сапа, облокотясь на руку, прилегъ на травѣ.

Солнце крылось, бросая на землю прощальные лучи, день преображался въ задумчивый вечеръ. Легкій вѣтерокъ тронулъ воду, воздухъ, потянулъ съ горы запахомъ ночныхъ фіалокъ и затихъ. И какъ-то молодо и чудно

На сердцѣ было, и кругомъ  
Шептался въ рождѣ листь съ листомъ,  
И тихо вѣялъ воздухъ сонный,  
Какой-то нѣгой благовонной,  
И громко пѣлъ во тѣмъ вѣтвей  
Печаль и счастье соловей.

Мало-по-малу, мы совсѣмъ устроились въ деревнѣ и распредѣлили время прогулокъ и занятій. Сапа писалъ статью о «Валленштейнѣ» Шиллера и читалъ ее мнѣ, писалъ письма къ Нику, которыхъ мнѣ не читалъ.

Сверхъ того, готовился къ экзамену для поступленія въ университетъ, несмотря на то, что отецъ его былъ противъ университета.

Въ липовой рошѣ находилось одно мѣсто, до того красивое, что Сапа его называлъ Эрменонвилемъ, въ память Жанъ-Жака Руссо. Это была четырехугольная площадка, съ одной стороны открытая на рѣку, а съ остальныхъ затѣненная густыми вѣтками липъ. Эрменонвиль всѣмъ до того нравился, что въ немъ устроили скамейки, столъ и ходили туда съ работой, книгами и даже съ завтракомъ.

Много прошло времени послѣ моего правоучительнаго посланія Сапѣ, по поводу исповѣди Жанъ-Жака, многое измѣнилось и въ нашихъ понятіяхъ. По совѣту Сапи, я прочитала нѣкоторые мѣста изъ знаменитой «Исповѣди», и хотя многого не поняла и не выразумѣла, исполнивъ эту исповѣдь страдальца, эту энергическую душу, которая выработалась черезъ мастерскія часовщиковъ, переднія, порочныя паденія, до высшаго нравственнаго состоянія, до всепоглощающей любви къ человечеству, но растрогалась и, въ знакъ раскаянія въ своемъ поспѣшномъ приговорѣ, перевела съ французскаго языка какую-то небольшую статью, гдѣ проводилась параллель между Руссо и великими страдальцами за истину. Сапа предложилъ мнѣ прочитать вмѣстѣ съ нимъ въ Эрменонвилѣ всѣ сочиненія Руссо. Мы начали съ «Contrat social»; имъ Руссо надолго покорилъ насъ своему авторитету—такъ сильно и увлекательно онъ излагалъ свои идеи; а его поэтическое бѣгство отъ людей въ Эрменонвиль привязало насъ къ нему лично. Намъ казалось, что онъ несъ на себѣ всѣ скорби VIII столѣтія и выразилъ собою все, что содержалось теплаго и энергическаго въ основѣ французской философіи того вѣка. Послѣ «Contrat social» мы стали читать «Discours sur l'inégalité de l'homme» и, минуя «Эмиля», принялись за «Новую Элоизу». Мы еще не знали жизни, смотрѣли на нее издали съ высоты фантазмагоріи, знали по теоріи ея расчеты, отношенія, маленькую мораль и нигдѣ не попадали въ водоворотъ этой жизни. Мы судили о людяхъ по героямъ и дѣвамъ Шиллера, имѣющимъ образъ человѣческій, но безтѣлесный, какъ абстрактная идея. Потому-то Шиллеръ и есть по преимуще-

ству поэтъ юности, что его фантазія выразила не полный человѣческій элементъ, какъ у Шекспира, а одинъ юношескій со всѣми увлеченіями и мечтами его. Письма Юлія къ Сень-Пре насъ утомляли однообразіемъ и мало нравились физической, порывистой любовью. Самый слогъ этихъ писемъ намъ былъ мало симпатиченъ. Мы долго тянули первую часть, а на второй бросили.

Несмотря на наше пристрастіе къ энциклопедистамъ, мы не предавались имъ вполне. Какой-то внутренній голосъ, больше инстинктуальный, нежели сознательный, возставалъ противъ сенсуализма этой школы. Духъ требовалъ свои права и отталкивалъ узкія истолкованія всего духовнаго: мысль Бога, *par la raison naturelle*, человѣка безъ души, отталкивала и самый деизмъ ихъ—мелкій, холодный. Можетъ, чтеніе Шиллера направляло выше направленія энциклопедистовъ, можетъ, духъ вѣка будилъ этотъ голосъ въ душахъ нашихъ.

Сашѣ очень хотѣлось кататься по рѣкѣ въ лодкѣ,—отецъ ни подъ какимъ видомъ не позволялъ,—тѣмъ сильнѣе влекло его это удовольствіе, и онъ достигъ его украдкой. При помощи одного пріятели изъ прислуги, онъ добылъ лодку и утрами, пока отецъ еще спалъ, плавалъ въ ней съ Ларькой и Левкой-цирюльникомъ (такъ ихъ называли въ домѣ всѣ вообще). Накатавшись до-сыта, они прятали лодку въ прибрежномъ тростникѣ, привязавши веревочкой къ колышку, вколотенному въ дно рѣки.

Выучившись управлять лодкой, Саша сталъ уговаривать меня покататься съ нимъ, пока всѣ еще спали. Не довѣряя его искусству въ управленіи лодкою, я долго не рѣшалась, наконецъ, уступила его просьбамъ. Въ назначенный день, какъ только разсвѣло, я встала съ постели, одѣлась, вышла на балконъ и сѣла на ступенькѣ лѣстницы.

Всходило утро. Небеса  
Румянцемъ розовымъ сіяли,  
Какъ первой юности краса,  
..... роса  
Кой-гдѣ блистала. Люди спали,  
И только бѣлый голубокъ  
Кружился въ небѣ одинокъ.

Тишина длилась долго. Наконецъ, на селѣ показалось



движеніе. Изъ-за горизонта брызнули лучи солнца и сотни радугъ, перекрещиваясь, перекинулись черезъ цвѣтушій лугъ, надъ которымъ опаловымъ моремъ стояла роса.

На балконъ вышелъ Саша. Онъ всегда вставалъ очень рано.

По мокрой травѣ, пробираясь мокрыми кустами, мы пришли къ рѣкѣ:

Рѣка была тиха, ясна,  
Вставало солнце, птички пѣли,  
Тянулося за рѣкою докъ,  
Спокойно, пышно зеленѣя,  
Вблизи шиповникъ алый цвѣлъ.

Мы вывели изъ тростника лодку и вдвоемъ сѣли въ нее. Весла тронули воду, лодка скользнула и пошла по теченію, оставляя за собой струистый слѣдъ; село, домъ, лѣсъ, берега отразились въ рѣкѣ и, отодвигаясь, безпрестанно мѣняли физіономію. Одно голубое небо оставалось неизмѣннымъ.

Тишина царствовала глубокая. Все было неподвижно. Самое солнце, казалось, стало на пути своемъ и высилось въ лазури волшебствомъ. Только весла всплескивали воду, да иногда чайка, вскрикнувъ, пронеслась надъ нами, или куличокъ, чуть слышно чивкая, выбѣгалъ изъ тростника на прибрежный песокъ.

И хорошо такъ было намъ,  
И мы забыли про печали,  
Безпечно ввѣрся волнамъ,  
Терялись взоры въ синей дали,  
Иль утопали въ глубинѣ,  
Иль въ небѣ дальнемъ исчезали.

Подъ прелестью этого кроткаго утра мы, какъ очарованные, плыли молча, сливаясь душой со всеобщимъ покоемъ. Когда же вышли изъ-подъ обаянія, насъ охватила безотчетная радость и раздолье. Мы говорили, смѣялись, пѣли, перекликались съ эхомъ; приставши къ берегу, легко выпрыгнули изъ лодки, привязали ее и весело, беззаботно вбѣжали въ домъ. Всѣ еще спали. Мы стали пробираться въ комнату Саши; противъ нея, изъ двери въ дверь, выходила комната Егора Ивановича. Услыша наши шаги и голоса, онъ пробудился и сквозь дверь сердито крикнулъ:

«Экъ вась нелегкая носить спозаранку, утомона на вась нѣтъ, сами не спите и другимъ спать не даете».

Мы притихли, молча пробрались въ комнату Саши и раскрыли среднее окно. Въ лѣсу куковала кукушка.

— Долго ли мы будемъ жить такъ дружно?—спросилъ Саша, и стали считать: «разъ-два-три», кукушка умолкла.

— Ну, что-жъ?—нетерпѣливо спросилъ Саша.—Только-то?—и посмотрѣлъ на меня.

— Должно-быть, только,—отвѣтила я.

Иногда Иванъ Алексѣевичъ приглашалъ насъ съ собою погулять; обыкновенно это случалось въ самый палящій зной, въ два или три часа пополудни. Для этихъ прогулокъ онъ всегда надѣвалъ новый длинный сюртукъ, бралъ круглую шляпу, трость съ золотымъ набалдашиникомъ и водилъ насъ по широкой проѣзжей дорогѣ среди засѣянныхъ полей, или по открытому берегу рѣки, между громадныхъ обломковъ мрамора.

Комиссія строеній храма Спасителя въ Москвѣ, на Воробьевыхъ горахъ, узнавши, что въ Васильевскихъ горахъ находится мраморъ, просила у помѣщика разрѣшенія выломать нѣсколько кусковъ на пробу. Иванъ Алексѣевичъ согласился. Комиссія, вмѣсто того, чтобы мраморъ ломать—нашла удобнѣе дѣйствовать порохомъ. Горы взорвали на довольно значительное пространство. Мраморъ въ отдѣлкѣ оказался красивъ, сколько помнится, шоколаднаго цвѣта, съ пунцовыми жилками. Глыбы взорваннаго мрамора рѣшено было купить для постройки храма Спасителя. Чтобы удобнѣе была его доставка, присланы были въ Васильевское инженеры строить на рѣкѣ шлюзы. Когда инженерныя работы были готовы, тогда до 30-ти барокъ нагрузили мраморомъ и отправили по Москвѣ-рѣкѣ къ Воробьевымъ горамъ, но онѣ едва тронулись съ мѣста, какъ и потонули. Былъ слухъ, что эти барки съ намѣреніемъ были просверлены.

Такъ какъ построеніе храма на Воробьевыхъ горахъ не состоялось, то много обломковъ мрамора осталось разбросанными на мѣстѣ, занимая по берегу рѣки пространство больше чѣмъ на версту. Эти разорванныя горы, эти громадныя каменные глыбы представляли видъ дико-живописный, но прогуливаясь въ полуденный зной

среди раскаленныхъ камней—было истиннымъ наказаніемъ. Когда спадаль жаръ, мы, уже безъ Ивана Алексѣевича, ходили къ старому дому въ садъ собирать клубнику и смотрѣть, какъ старый поваръ Сафонычъ трюить мятную и розовую воду, или шли въ Полушкинскій боръ за ягодами и грибами. Сапа въ этихъ прогулкахъ намъ сопутствовалъ рѣдко. Онъ больше любилъ, послѣ обѣда, съ книгой лежать подъ развѣсистой липой, стоявшей среди такъ-называемаго двора, и читать, или сумерками смотрѣть на трепетное мельканіе зарницы.

Одна изъ нашихъ прогулокъ, въ которой участвовалъ и Сапа, оставила такое свѣтлое впечатлѣніе, что онъ вспомнилъ о ней въ своихъ запискахъ объ Италіи.

Это было на закатѣ солнца; возвращаясь изъ лѣса, мы выбрались на полянку къ рѣкѣ и остановились, пораженные волшебной красотой открывшейся намъ картины. Вся панорама, видимая съ Марьинской горы, съ опускавшимся солнцемъ тонула въ тумано-знойномъ пурпурѣ вечерней зари: очертанія предметовъ скрадывались, воздухъ и легкій паръ надъ рѣкою алѣли, а надъ нами и за нами синѣло холодное небо. Вдругъ, среди безмолвія, раздался пастушескій рожокъ и звонъ бубенчиковъ, и изъ-за деревьевъ, медленно выступая, другъ за другомъ показалось небольшое стадо, а за нимъ милостивый крестьянскій мальчикъ лѣтъ четырнадцати. Это явленіе до того стройно совпало съ цѣлымъ, что на всѣхъ лицахъ вызвало улыбку безконечнаго счастья.

Въ исходѣ іюля Иванъ Алексѣевичъ собрался посѣтить племянника своего, Дмитрія Павловича Голохвастова, въ его селѣ Покровскомъ, лежащемъ верстахъ въ двухъ отъ Новаго Іерусалима. Поѣздкѣ этой больше всѣхъ радовался Сапа; онъ надѣялся черезъ посредство Дмитрія Павловича склонить отца на согласіе къ поступленію его въ университетъ.

Въ Савинѣ монастырѣ, расположенномъ въ самой живописной мѣстности, мы обѣдали. Не доѣзжая Покровскаго, Ивану Алексѣевичу разсудилось еще отдохнуть въ небольшой деревушкѣ. Экипажи остановились у плетня, подъ тѣнью березъ. Сквозь плетень виднѣлся огородъ и стоявшія тамъ колодки пчелъ посреди подсолнечниковъ и краснаго мака.

— Вотъ что прекрасно,—сказалъ Иванъ Алексѣевичъ, указывая на пчельникъ: — трудолюбивыя пчелы, запахъ меда, воска, цвѣты,—все это преполезно. Пока лошади отдохнутъ, мы въ пчельникъ понаберемся здоровья.

Всѣ вышли изъ экипажа, разсуждая о трудолюбивыхъ пчелахъ и о приносимой ими пользѣ и удовольствіи.

Изъ ближней избы показался старикъ, хозяинъ пчельника; онъ привѣтливо пригласилъ насъ въ огородъ и отворилъ калитку.

По тропинкѣ, протоптанной между грядъ огурцовъ и моркови, пробираясь другъ за другомъ, мы достигли пчельника. Около ульевъ, жужжа, вились пчелы и окружили насъ со всѣхъ сторонъ. Мы стали отъ нихъ отмахиваться, хозяинъ просилъ насъ стоять покойно, но было уже поздно. Раздраженные пчелы изступленно стали нападать на насъ. Одна изъ нихъ забила мнѣ въ волосы, запуталась въ нихъ, визжала и рвалась вонъ. Я трясла своими длинными, густыми кудрями, чтобы освободиться отъ пчелы, но она, выпутываясь изъ нихъ, ужалила мнѣ ухо. Движенія мои взбѣсили пчелъ окончательно. Они напали на насъ съ такимъ неистовствомъ, что мы, отмахиваясь отъ нихъ чѣмъ ни попало, опрометью бросились изъ огорода. Нѣсколько пчелъ гнались за нами до экипажей. Торопливо отворивши дверь кареты, мы выпрыгнули въ нее и подняли окна. Тутъ только увидали, что всѣ были пережалены.

— Вотъ какъ понабрались здоровья,—говорили мы печально, прикладывая сырую землю къ болѣвшимъ мѣстамъ.

Иванъ Алексѣевичъ еще долго оставался на пчельникѣ, толковалъ съ хозяиномъ и, къ нашему удивленію, ни одна пчела его не тронула.

Въ Покровское мы пріѣхали около вечера: Дмитрій Павловичъ встрѣтилъ насъ чрезвычайно радушно. Онъ помѣщался во флигелѣ и уступилъ намъ лучшія комнаты.

Мы прогостили въ Покровскомъ около недѣли, осмотрѣли бібліотеку Дмитрія Павловича, поля, луга, за сѣянныя клеверомъ, тирольскихъ коровъ, конскій заводъ, земледѣльческія машины, привезенныя имъ изъ-за границы, пробовали стоявшую на пруду водоподъемную машину, но она не подѣйствовала.

Въ праздникъ ѣздили въ Новый Іерусалимъ, гдѣ осматрѣли всю церковь и ризницу.

Саша переговорилъ съ Дмитріемъ Павловичемъ насчетъ своего поступленія въ университетъ. Дмитрій Павловичъ былъ согласенъ съ мнѣніемъ Саши, далъ слово урезонить дядюшку и сдержалъ его.

Несмотря на то, что Иванъ Алексѣевичъ согласился на поступленіе Саши въ университетъ, когда мы возвратились въ Васильевское, онъ позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ и задавъ ему жестокий нагоняй, говоря, что онъ натравилъ на него Дмитрія Павловича, что всѣ во всемъ ему перечать, и кончилъ словами:

— Хотя я и не желаю, чтобы ты поступалъ въ университетъ, но такъ какъ этого желаешь ты и Митя, то принужденъ согласиться.

Саша, выслушавши съ покорнымъ видомъ нотацию до конца, прибѣжалъ къ намъ въ радостномъ изступленіи и объявилъ, что онъ чуть не студентъ.

Раздѣляя радость Саши, я въ то же время почувствовала, что меня какъ будто что-то кольнуло въ сердце: боль эта сказала, что для товарища моего дѣтства и юности начинается новый періодъ жизни и что скоро между нами, кромѣ Ника, протѣснится многочисленная толпа товарищей и наука.

Что же сказать еще объ утрѣ жизни моей и Саши въ Васильевскомъ? Она была полна, но однообразна. О чемъ бы еще вспомнить? Да вотъ: вспомнился мнѣ случай съ огромной величины филиномъ. Въ одинъ темный-претемный осенній вечеръ филину этому вздумалось прилетѣть къ барскому дому и усѣсться на рябинѣ, которая росла подлѣ одного изъ оконъ чайной комнаты, и раскричаться что есть мочи. Саша сидѣлъ со мной у этого окна за столикомъ и читалъ вслухъ. На столикѣ горѣла свѣча. Услыхавши крикъ филина почти надъ нами, мы вздрогнули; Саша бросился вонъ изъ комнаты, схватилъ ружье и въ сопровожденіи нѣсколькихъ челоуѣкъ прислуги отправился на охоту за филиномъ. Минуть черезъ десять мы услышали, какъ во дворѣ грянуль выстрѣлъ, а вслѣдъ затѣмъ появился и стрѣлокъ, держа за лапу огромную птицу, застрѣленную имъ. Взоръ стрѣлка былъ дикъ, глаза лихорадочно горѣли. Филина разсмотрѣли, подивились его величинѣ

и не знали, что съ нимъ дѣлать. Когда волненіе Саши утихло, онъ сталъ жалѣть, зачѣмъ убилъ филина. И точно, зачѣмъ—жилъ бы онъ себѣ да жилъ въ трущобахъ Полушкинскаго бора, да не подпускалъ своимъ крикомъ робкихъ крестьянъ къ курганамъ. А и то сказать, кто же его звалъ къ барскому дому? Ну, и попался. По дѣломъ,—не въ свои сани не садись.

Вспоминается мнѣ еще случай съ бѣлкой. Въ одно прекрасное утро шли мы изъ лѣса домой; по пути намъ встрѣчается много бѣлокъ, прыгавшихъ по деревьямъ. Съ Сашей было заряженное ружье, но онъ не тронулъ ни одной изъ нихъ. Подходя къ дому, мы увидали еще одну бѣлку; она, весело промчавшись между листьевъ по деревьямъ, усѣлась прямо противъ насъ на вѣткѣ и накрылась пушистымъ хвостомъ. Мгновенно раздался выстрѣлъ, и бѣлка, распутивши хвостъ, кувырккомъ покатилась къ нашимъ ногамъ. Саша бросилъ ружье и залился слезами.

Приближалась осень. Вечера становились холодны и длинны. Наступала пора отъѣзда въ Москву. Иванъ Алексѣевичъ большую часть времени оставался въ своемъ кабинетѣ, пересматривалъ отчеты писаря Епифанча и толковалъ о хозяйствѣ со старостой.

Въ концѣ сентября все было готово къ отъѣзду. Большая часть прислуги и вещей уже были отправлены. Утрами слегка морозило. Полевые работы прекратились, ихъ замѣнилъ мѣрный звукъ цѣпа. Инструкции по хозяйству были отданы. Староста, верхомъ на пѣгой лошади, ждалъ во дворѣ отъѣзда господъ. Въ воздухѣ пахло опавшими листьями и дымкомъ овиновъ. Сквозь рѣдкіе пурпуровые и золотистые листья деревъ сверкали бѣлые стволы березъ и капли утренняго тумана, задержанныя въ свернувшихся листочкахъ.

Въ Покровскомъ мы ночевали, въ Перхушковѣ обѣдали, вечеромъ въѣхали въ Москву. Опять гремѣть мостовая, въ окнахъ домовъ горять огни, въ лавочкахъ торгуютъ. Мы дома, точно и не выѣзжали никогда.

Это было наканунѣ Покрова.

Въ Покровъ выпалъ снѣгъ и стала зима.



## ГЛАВА XVIII.

### Университетъ.

1829 — 1830.

Наука и симпатія.

Немедленно принялись хлопотать о поступленіи Саши въ университетъ. Университетскій совѣтъ, узнавши, что онъ числится на службѣ, отказалъ ему въ правѣ держать экзаменъ. Отецъ снова предложилъ Сашѣ слушать комитетскія лекціи, но онъ отъ нихъ наотрѣзъ отказался.

Раздосадованный этимъ отказомъ, Иванъ Алексѣевичъ поѣхалъ просить князя Юсупова, подъ начальствомъ котораго Саша считался служащимъ. Князь приказалъ своему секретарю написать, что онъ командировать его слушать университетскія лекціи для усовершенствованія въ наукахъ.

Спустя нѣсколько дней, Саша выдержалъ вступительный экзаменъ и явился домой студентомъ физико-математическаго отдѣленія. Замѣчательнъ былъ отпускъ Саши на первую лекцію. Карлу Ивановичу Зонненбергу поручалось сопровождать его. Передъ отпускомъ Иванъ Алексѣевичъ давалъ Зонненбергу инструкцію, какъ бережно доставить Шушку (подъ названіемъ Шушка значился Саша) въ школу (подъ школой подразумѣвать слѣдовало университетъ) и обратно домой; предписывалось лично присутствовать на лекціи; смотрѣть, чтобы Шушка, уѣзжая изъ школы, садясь въ санки, былъ закутанъ, а то-де онъ, пожалуй, думая, что теперь студентъ—шамку на бекрень, шубу на одно плечо. Зонненбергъ, проникнутый достоинствомъ роли ментора, почтительно слушая, рисовался передъ Иваномъ Алексѣевичемъ, шаркалъ и съ видомъ человѣка, готоваго постоять за себя и за другихъ, закидывалъ ногу за ногу. Саша торопился уѣхать, глаза его горѣли радостью освобождающагося плѣнника и вмѣстѣ съ тѣмъ выходилъ изъ себя съ досады на распоряженія, которыя дѣлались относительно его.

Мы проводили ихъ до передней, потомъ смотрѣли изъ окна, какъ они выѣзжали со двора, оберегаемые сидѣвшимъ на облучкѣ, рядомъ съ кучеромъ, камердинеромъ Саши, Петромъ Ѳедоровичемъ; они, торжественно улыбаясь, кланялись намъ изъ широкихъ саней, застегнутые медвѣжьей полостью.

Зонненбергъ сопровождалъ Сашу въ школу и присутствовалъ на лекціяхъ, въ качествѣ ментора, около трехъ мѣсяцевъ; а Петръ Ѳедоровичъ сопровождалъ и оберегалъ его въ продолженіе всего курса, въ теченіе котораго передружился со всѣми университетскими солдатами, узналъ имена всѣхъ профессоровъ и студентовъ физико-математическаго факультета и зналъ, по какимъ днямъ какія лекціи читаются.

Когда санки съ Сашей, повернувъ за уголъ, скрылись, въ домѣ какъ будто опустѣло. Онъ уѣзжалъ и вчера, и прежде, но это было не обязательно, а теперь онъ долженъ уѣзжать съ утра и быть внѣ дома до двухъ часовъ пополудни; и такъ годы и поѣздки эти—основа новаго порядка жизни, который долженъ удалить его изъ родительскаго дома. По отъѣздѣ Саши всѣ разошлись по своимъ дѣламъ. Я вошла въ его комнату, сѣла на диванъ, за тотъ столъ, за которымъ мы нѣсколько лѣтъ учились и читали вмѣстѣ, взяла книгу, хотѣла читать, но не читалось, а думалось, думалось... Какъ будто ничего не измѣнилось, но безотчетно чувствовалось, что внутреннее содержаніе жизни уже не то. Повидимому, то же самое чувствовалъ и отецъ Саши. Закуривши свою коротенькую трубочку, онъ задумчиво ходилъ вдоль амфилады комнатъ до учебнаго стола своего Шушки. Мы молча понимали другъ друга, мнѣ было жаль старика, жаль уходившей жизни, и слезы, одна за другой, скатывались по лицу моему на книгу. Въ домѣ тишина была глубокая. Въ два часа въ ворота быстро влетѣли санки съ Шушкой, Зонненбергомъ и Петромъ Ѳедоровичемъ, сіявшими удовольствіемъ.

Точно въ волшебной сказкѣ, домъ вдругъ какъ бы пробудился отъ очарованнаго сна,—все пришло въ движеніе, заговорило. За обѣдомъ Зонненбергъ сохранялъ самодовольный видъ человѣка, сознающаго, что онъ отлично выполнилъ возложенную на него важную обязанность, и только отъ времени до времени коротко ска-



зывать Ивану Алексѣвичу, какъ онъ выслушалъ всю лекцію, какъ закутывалъ Сашу и не давалъ кучеру Авдѣю нестись стремглавъ по Москвѣ.

Новый студентъ былъ одушевленъ до высшаго градуса, весь обѣдъ говорилъ, не умолкая. Описалъ профессоръ, студентовъ, аудиторію, даже швейцара Михаила и вкратцѣ передалъ содержаніе лекцій. Послѣ же обѣда, въ комнатахъ матери, представилъ всѣхъ въ лицахъ, не забывъ и Зонненберга, и Петра Федоровича съ Авдѣемъ.

Саша поступилъ въ университетъ семнадцати лѣтъ, въ 1829 г., въ октябрѣ мѣсяцѣ, и пробылъ въ немъ четыре года; изъ этихъ лѣтъ одинъ принадлежитъ холерѣ и потому былъ исключенъ изъ числа лѣтъ курса.

Воспитанный въ одиночествѣ и уединеніи, онъ страстно увлекался всякой новостью и готовъ былъ броситься на шею каждому, кто ему былъ симпатиченъ, до того откровенно, что невольно вызывалъ горячій отвѣтъ: такой отвѣтъ себѣ онъ встрѣтилъ въ университетѣ.

Однажды Саша, будучи уже женатымъ на Наташѣ, при мнѣ вмѣстѣ съ Вадимомъ Пассекомъ вспоминалъ о временахъ ихъ студенческой жизни. «Жизнь эта, — говорилъ одинъ изъ нихъ: — оставила у насъ память одного продолжительнаго пира дружбы, пира идей, пира науки и мечтаній, непрерывнаго, торжественнаго, иногда бурнаго, иногда мрачнаго, разгульнаго, но никогда порочнаго». Наташа попросила ихъ сдѣлать намъ полный очеркъ того періода ихъ жизни. Саша отвѣчалъ, «что оживить это прошедшее время, сдѣлать вполне понятнымъ въ разсказѣ, невозможно; чтобы вспомнить всѣ мечты, всѣ увлеченія, — продолжалъ онъ: — надобно очень многого не знать, очень многого не испытать, надобно перезабывать бездну фактовъ, стереть съ души бездну пыли, соскоблить пятна, заживить рубцы, освѣтить весь міръ алымъ свѣтомъ востока, всѣмъ предметамъ дать положительныя тѣни, утреннюю свѣжесть и разительную новость. Мало того, надобно, чтобы друзья юности собрались вмѣстѣ въ той же комнатѣ, обитой красными обоями, съ золотыми полосками, передъ тѣмъ же мраморнымъ каминомъ и въ томъ же дыму отъ трубокъ».

— Да, — замѣтилъ Вадимъ: — никто изъ насъ не за-

будетъ этой завѣтной комнатки. Когда, возвратясь въ Москву, я ѣхалъ мимо того дома, въ которомъ она находится, то былъ грустно пораженъ, увидавши вывѣску портного надъ ея окномъ, а на вывѣскѣ красовались ножницы съ раскрытымъ ртомъ, зовущія проходящихъ снять мѣрку. Мнѣ было смертельно жаль и досадна эта профанація храма юности.

— Я увѣренъ, — шутилъ сказалъ Саша: — что если существуютъ духовные міазмы, то этотъ портной пьетъ мечтательные фраки, энциклопедическіе жилеты и фантастическіе сюртуки; увѣренъ, что его работники мечтаютъ сдѣлаться великими портными и пересоздать фасоны; увѣренъ, что онъ самъ «ein Bügeleisenes Held», но не пойду къ нему заказывать платья, чтобы не увидать утюга на мѣстѣ бюстика Наполеона и мѣрки на мѣстѣ Фауста, чтобы не увидать его самого на мѣстѣ Ника.

Воспоминая и перебирая эпоху студенческой жизни, они сдѣлали изъ нея тотъ выводъ, что все это прошедшее группируется около двухъ началъ, составляющихъ сущность тогдашней жизни. Начала эти — наука и симпатія, остальное — обстановка, рамки, полу-внѣшнее, полу-постороннее.

Въ величественномъ храмѣ науки индивидуальность Саши не могла проявиться ни особенно рѣзко, ни особенно самобытно; онъ тутъ былъ ученикомъ, — положимъ, хорошимъ ученикомъ, но все-таки ученикомъ. Зато товарищество представляло ему самое многостороннее поприще выразить всѣ изгибы тогдашней души; тутъ была жизнь, совершенно свойственная и его нраву, и его фантазіямъ, и его убѣжденіямъ. Въ университетѣ онъ встрѣтилъ, и не могъ не встрѣтить, между попутчиками, плывшими, какъ и онъ, по морю человеческого вѣдѣнія, людей, близкихъ душѣ. Онъ страстно бросился въ ихъ объятія, и они страстно открыли ихъ ему.

— На нашемъ факультетѣ, — говорилъ намъ Саша: — царилъ почти такой же беспорядокъ, какъ и въ моемъ домашнемъ воспитаніи. Физико-математическій факультетъ распадался, по своему составу, на два различныя, вмѣстѣ соединенныя, отдѣленія. Обѣ отрасли преподавались не полно; но такъ какъ математическія науки шли лучше, то большая часть студентовъ занималась исключительно математикой, значительно умножая собою

число занимающихся ею дѣйствительно по призванію. Первымъ—математика ничего не принесла, — замѣтилъ онъ:—кромѣ учительскаго званія по окончаніи курса; строгая метода ея можетъ сдѣлать пользу только хорошо организованной головѣ; посредственные люди не сумѣютъ перенести этой методы въ другія области вѣдѣнія; для нихъ мощныя средства анализа и синтеза, геометріи и алгебры, совершенно бесполезны.

— Кто были у васъ и считались лучшими профессорами математики?—спросила Сашу его жена.

— Профессоръ Щепкинъ, читавшій дифференціальныя и интегральныя счисленія, былъ не безъ достоинствъ; онъ имѣлъ хорошій даръ изложенія, въ чемъ состоялъ недостатокъ у весьма знающаго профессора Перевощикова. Жаль только, что это былъ человѣкъ, мало слѣдившій за движеніемъ науки. Высшую алгебру читалъ Ив. Ив. Давыдовъ, философъ, филологъ, историкъ, критикъ, латинистъ, эллинистъ и математикъ; въ математикѣ, къ несчастію, мудрено отдѣлываться кудрявыми фразами, алгебра неумолима. Преподаваніе физическихъ наукъ представляло разнохарактерный дивертисментъ.

Во главѣ профессоровъ природовѣдѣнія стоялъ въ то время Михаилъ Григорьевичъ Павловъ, человѣкъ отъ природы одаренный сильной логикой и убѣдительною рѣчью. Онъ своимъ преподаваніемъ началъ новую эпоху въ жизни университета. Въ Германіи Павловъ сроднился съ натуръ-философіей, съ многообъемлющими взглядами на науку и въ особенности съ ея динамической физикой. Онъ открылъ студентамъ сокровищницу германскаго мышленія и направилъ ихъ умъ на несравненно высшій способъ изслѣдованія и познанія природы, нежели тотъ, которымъ они могли почерпнуть что-нибудь въ наукѣ изъ преподаванія до Павлова; но чтѣ еще важнѣе, Павловъ своей методой навелъ на самую философію. Вслѣдствіе этого многіе принялись за Шеллинга и за Окена, и съ тѣхъ поръ московское юношество стало все больше и больше заниматься философіей, заниматься отчетливо и успѣшно. Павлову принадлежитъ честь начала и споспѣшествованія развитію философіи въ московскомъ университетѣ.

Когда Саша вступилъ въ университетъ, Павловъ

былъ въ полномъ блескѣ своей славы. Польза его лекцій была существенная, возрѣніе натуръ-философіи уяснялось, взглядъ становился шире, мышленіе привыкало къ логической формѣ, методу Павлова стали примѣнять къ другимъ отраслямъ естествознанія, онѣ оживились, сочленились въ одно цѣлое, органическое, лишаась своего странно-разбросаннаго характера, въ которомъ являлись у атомистовъ.

— Павлову вторилъ, — продолжалъ Сапа: — одинъ Максимовичъ, читавшій органографію растений, остальные профессора естественныхъ наукъ съ ожесточеніемъ пользовались каждымъ случаемъ сослать надъ натуръ-философіей и бросить смѣшное на преподаваніе физики. Съ своей стороны и Павловъ не оставался въ долгу и платилъ имъ съ процентами и рекамбіями. Такимъ образомъ преподаваніе на физико-математическомъ отдѣленіи были чисто-полемическое. На эти полемическія лекціи студенты стекались со всѣхъ отдѣленій. Разумѣется, я ратовалъ подъ знаменами «Idealitetsche Lehre» и рѣзался съ нападавшими профессорами.

«Къ числу профессоровъ, нападавшихъ на Павлова, принадлежалъ и Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ, извѣстный своею ученостію всей Европѣ. Профессора московскаго университета начала 1830-хъ годовъ представляли два стана: одинъ—изъ нѣмцевъ, другой—изъ не-нѣмцевъ. Въ числѣ первыхъ были люди ученые и кромѣ Фишера — Лодеръ, Гильдебрандтъ и, пожалуй, Геймъ. Они отличались незнаніемъ русскаго языка и нежеланіемъ его знать, равнодушіемъ къ студентамъ, духомъ западнаго кліентизма, ремесленничества, неумѣреннымъ куреніемъ сигаръ и множествомъ крестовъ, которыхъ никогда съ себя не снимали».

Вскорѣ Сапа занялъ первое мѣсто въ аудиторіи по естественнымъ наукамъ и послѣднее въ обществѣ естествоиспытателей, гдѣ считался élève de la société. Мало-по-малу, онъ сдѣлался студентомъ съ вѣсомъ и шагнулъ въ высшую аристократію аудиторіи. Занявши мѣсто на вершинѣ зеленыхъ талантовъ и раздѣляя его съ весьма немногими, онъ, еще отчасти ребенокъ, видѣлъ въ этомъ сбывающіяся мечты о славѣ, какъ вдругъ одно обстоятельство поставило его еще выше.

Для того, чтобы рассказать это обстоятельство, надобно, вздохнувши, признаться, что въ то время нѣкоторые изъ студентовъ держали себя съ такимъ недостаткомъ самодостойнства относительно профессоровъ, что нѣкоторые профессора позволяли себѣ бранить цѣлую аудиторію самыми дерзкими выраженіями. Наступала пора окончить этого рода непріятности.

Лѣта 1832-го, весной, студенты политическаго отдѣленія, долго перенося грубости одного изъ профессоровъ, рѣшились публично показать ему свое неудовольствие: при первой дерзости освистать его и выгнать изъ аудиторіи.

Приготовивши такой дѣтскій праздникъ, они кликнули кличъ въ разные факультеты. Само собой разумѣется, на зовъ всѣ явились и не остались праздными зрителями. Дѣтскій праздникъ былъ веселъ до безконечности. Профессоръ, по привычкѣ, не замедлилъ сказать дерзость, и его изгнали не только изъ аудиторіи, но и съ университетскаго двора.

Когда же это событіе дошло до свѣдѣнія императора Николая Павловича, онъ приказалъ этому профессору оставить университетъ.

На другой день вышеупомянутаго дѣтскаго праздника, въ домъ къ Ивану Алексѣевичу явился, не совсѣмъ въ трезвомъ видѣ, университетскій солдатъ (Саша увѣрялъ, что университетскіе солдаты никогда не бываютъ трезвы, оттого, что чадъ юныхъ мечтателей переходитъ въ ихъ головы); онъ принесъ Сашѣ записку отъ ректора, съ приглашеніемъ явиться къ нему въ пять часовъ послѣ обѣда. Саша былъ увѣренъ, что ректоръ приглашаетъ его не за тѣмъ, чтобы свистать и топать, и потому *il se hâtaient lentement*; однако, не теряя бодрости, отправился, нарочно опоздавши часомъ.

Возвратясь домой, Саша прежде всего описалъ намъ наружность ректора: «Видъ его, — говорилъ онъ: — до того теократически назидателенъ, что одинъ студентъ изъ семинаристовъ, пришедши къ нему за табелью, подошелъ подъ благословеніе и постоянно называлъ его ваше преподобіе, отецъ ректоръ». Потомъ рассказалъ, что ректоръ началъ бесѣду съ нимъ выговоромъ, продолжавшимся добрыхъ полчаса, сказаннымъ, — добавилъ онъ шутливо, — очень дурнымъ слогомъ, тѣмъ самымъ,

которымъ написана его физика. Затѣмъ слѣдоваль фирманъ—написать, что происходило на шумной лекціи, что дѣлалъ онъ и что дѣлали другіе, и что, вѣроятно для поощренія, ректоръ заключилъ рѣчь тѣмъ, что никакъ не теряетъ надежды, что Сашу и подобныхъ ему карбонарій, пользуясь сей вѣрной оказіей, отдадутъ въ солдаты. Имѣя такую перспективу, ежели не блестящую обстоятельствомъ, то блестящую пуговицами, онъ счелъ за благо отъ всего отпереться, сказать, что на лекціи былъ, желая употребить на пользу свободный часъ, что шумъ слышалъ, но кто, какъ, для чего шумѣлъ—знать не знаетъ. Ректоръ взбѣсился,—говорилъ Саша:—разругалъ дѣвчонку, подававшую въ это время чай, и велѣлъ ему явиться на другой день въ совѣтъ.

Въ совѣтъ явилось подсудимыхъ четверо, Саша пятый. На допросѣ ничего не узнали и поѣхали къ попечителю; тамъ, обсудивши, рѣшили: всѣхъ пятерыхъ посадить на недѣлю въ карцеръ, на хлѣбъ и на воду.

Въ семействѣ Саши всѣ были встревожены и на слѣдующій день съ волненіемъ ожидали его возвращенія съ лекціи, но вмѣсто его явился экипажъ съ однимъ Петромъ Ѳеодоровичемъ. Онъ подалъ Ивану Алексѣвичу записку отъ Саши, въ которой тотъ извѣщалъ, что его посадили въ карцеръ на недѣлю.

Вслѣдъ за Петромъ Ѳеодоровичемъ пріѣхалъ Никъ и сообщилъ подробности ареста.

— Саша,—говорилъ онъ:—спокойно явился въ аудиторію и встрѣченъ былъ товарищами съ громкимъ привѣтомъ. Среди лекціи пришелъ за нимъ въ аудиторію унтеръ-офицеръ; толпа студентовъ, въ томъ числѣ и онъ, Никъ, встала съ лавокъ, окружила его и триумфально проводила до карцера—родъ подвала въ нижней части университета. Входъ къ нимъ,—добавилъ Никъ:—запрещенъ, и потому товарищи въ продолженіе дня ограничиваются только тѣмъ, что подходятъ къ рѣшетчатому окну карцера.

При этомъ извѣстіи всеобщая тревога за Сашу перешла въ огорченіе, досаду на него и безпокойство за его здоровье. Отправлены были записки къ сенатору и Дмитрію Павловичу съ приглашеніемъ немедленно пріѣхать. По прибытіи ихъ, составилъ родственныи совѣтъ, что предпринять для скорѣйшаго освобожденія

изъ подвала, вѣроятно сырого и нечистаго, — слабаго здоровья — Шушки. Рѣшено было, чтобы сенаторъ и Дмитрій Павловичъ обратился къ вліятельнымъ лицамъ и объяснили, какъ это событіе разстроило стараго, немощнаго отца Саши, и что недѣля въ подвалѣ на хлѣбѣ и водѣ должна сильно повредить слабому здоровью молодого человѣка. Ходатайство было успѣшно, приказано было Сашу освободить послѣ трехдневнаго заключенія. По прошествіи этого срока Сашѣ объявлено было, что онъ свободенъ; вмѣстѣ съ тѣмъ Петръ Ѳеодоровичъ, ежедневно являвшійся къ окну карцера узнавать, все ли обстоитъ благополучно, принесъ ему изъ дома записку отъ Ивана Алексѣевича, въ которой сообщалось, что за нимъ отправляется экипажъ. Саша этимъ оскорбился, ко всеобщему неудовольствію домашнихъ, отъ своего преждевременнаго освобожденія отказался и присланныя за нимъ дрожки отправилъ обратно домой, съ запиской, что онъ не желаетъ воспользоваться тѣмъ, чего лишены товарищи его по заключенію.

— Сидите себѣ, пожалуй, если есть охота, — сказалъ ему ректоръ на его отказъ и оставилъ его досидѣть недѣлю.

Саша понималъ, какую глорію разольетъ на него это семидневное заключеніе, и потому, оставляя мысль о будущихъ репримандахъ, съ самоотверженіемъ оставался въ подвалѣ.

Когда онъ появился домой, нельзя сказать, чтобы его приняли съ восхищеніемъ, несмотря на то, что онъ предсталъ цвѣтушій здоровьемъ, улыбающійся.

По выслушаніи продолжительной нотации и репримандъ на половинѣ отца, Саша спустился внизъ на половину матери и тамъ разсказалъ намъ до подробности, какъ провелъ время въ карцерѣ; изъ его разсказа мы узнали, что онъ не былъ лишенъ ни пріятнаго общества, ни хорошаго продовольствія.

— Какъ только наступала ночь, — разсказывалъ онъ: — Никъ и еще четверо товарищей, съ помощью четвертакъ и полтинниковъ, являлись къ намъ; у кого въ карманѣ ликеръ *au quatre fruits*, у кого паштетъ, у кого рябчики, у кого подъ шинелью бутылка клико. Разумѣется, мы встрѣчали съ восторгомъ и друзей, и ихъ сѣѣстные знаки дружбы. Свѣчей зажигать намъ не по-

звоялось. Опрокинувши стулья, мы дѣлали около нихъ юрту изъ шинелей, высѣкали огонь, зажигали принесенную свѣчу и ставили ее подъ стулъ такимъ образомъ, чтобы изъ оконъ нельзя было ее видѣть, потомъ ложились на каменный полъ, и начинался пиръ до поздняго вечера, тутъ, кажется, и засыпали, а ночью опять праздники. И такъ—всѣ семь дней».

Къ числу замѣчательныхъ событій въ продолженіе пребыванія Саши въ университетѣ принадлежитъ посѣщеніе московскаго университета Гумбольдтомъ и министромъ народнаго просвѣщенія Уваровымъ. При министрѣ вѣчно было избрать на каждомъ факультетѣ по студенту, которые публично прочитали бы по лекціи изъ какого-нибудь предмета своего факультета. Саша избранъ былъ по части естественныхъ наукъ и первый разъ долженъ былъ выйти публично на сцену, притомъ при министрѣ и московской аристократіи. Самый предметъ, о кристаллизаціи, далъ ему возможность перейти отъ Раппе-де-Пилля и Гайю къ философскимъ воззрѣніямъ; лекція его шла превосходно. Министръ подвелъ его къ генералъ-губернатору.

Далѣе жизнь шла обычнымъ образомъ: экзамены, ночи за лекціями, ночи у товарищей, видимое возрастаніе души, видимое расширеніе взгляда на міръ Божій, ученыя споры, стремленіе помирить матеріализмъ съ германскимъ мышленіемъ и аспираціи къ политической дѣятельности.

При поступленіи Саши въ университетъ, характеръ московскаго университета былъ частью патріархальный. Начальство обращало на него не слишкомъ большое вниманіе, лекціи читались и не читались; студенты физико-математическаго отдѣленія жаловались на это, говорили, что Фишеръ, преподававшій зоологію, читаетъ лѣниво, разсѣянно, недостаточно, объ однѣхъ *Radiata*, руководясь своей системой. Рейсъ—во весь годъ прочелъ только предисловіе Берцелія и двѣ главы перваго тома «*Oxigene Hydrogene*», и то на французскомъ языкѣ, котораго, говорили студенты, и самъ хорошо не зналъ. Ему помогаль Геймъ. А. Л. Ловецкій преподавалъ минералогію по собственному руководству,—сколько прочтется; М. П. Павловъ, при всѣхъ достоинствахъ, о



которыхъ сказано выше, прочиталъ одно введеніе въ физику. Можно ли было при такихъ условіяхъ выучиться чему-нибудь основательно, въ связи и съ нѣкоторой параллельностью усвоить себѣ разныя отрасли естественныхъ наукъ? Конечно, нѣтъ. Но, несмотря на все это, Саша говорилъ, что онъ много приобрѣлъ въ университетѣ и глубоко ему благодаренъ.

Въ этотъ періодъ времени при университетѣ было три ученыхъ общества: любителей россійской словесности, естествоиспытателей природы и исторіи, географіи и древней Россіи. Всѣ эти общества издавали свои журналы на счетъ университета, подъ редакціей профессоровъ. Каченовскій издавалъ: «Вѣстникъ Европы», Двигубскій—«Магазинъ естественныхъ наукъ», Гавриловъ—«Словарь исторіи, географіи и древней Россіи». Изданіе «Московскихъ Вѣдомостей» и постороннихъ книгъ помогало изданію этихъ журналовъ, распространенію и умноженію учебныхъ пособій и постройкѣ новыхъ зданій.

Въ 1827 году попечителя московскаго учебнаго округа, князя Оболенскаго, замѣнилъ — Писаревъ; съ окончаніемъ попечительства кн. Оболенскаго характеръ университета нѣсколько измѣнился.

Профессора и студенты носили вицъ-мундиры съ малиновыми воротниками и гербовыми пуговицами, въ торжественные дни были при шпагѣ и въ треуголкѣ. Явился карцеръ. Но, несмотря на это, многіе студенты приходили на лекціи, какъ и въ чемъ хотѣли: на иныхъ видѣлись эксцентрическія платья, волосы чуть не до плечъ, прикрытые крошечными фуражками, едва державшимися на юныхъ головахъ. На шеяхъ пестрѣли разноцвѣтные шарфы. Сумерками студенты шеренгами прохаживались по Тверскому бульвару, съ такимъ рѣшительнымъ, вызывающимъ видомъ, что гуляющіе давали имъ дорогу.

~~~~~

ГЛАВА XIX.

Нагорное. — Демьяново.

1830 г.

По удаленіи непріятеля Москва стала быстро воскресать изъ развалинъ и расти, съ нею вмѣстѣ росъ и московскій университетъ. Со всѣхъ сторонъ Россіи въ него втекало юношество и облагораживалось въ аудиторіяхъ и товарищескихъ кружкахъ.

Въ университетѣ Сашѣ открылась жизнь новая, она до того втягивала его, что дома онъ чувствовалъ себя точно въ клѣткѣ и рвался изъ нея вонъ. Онъ страстно подалъ руку и сердце товарищамъ, страстно слушалъ лекціи и съ такимъ же увлеченіемъ съ лекцій завертывалъ въ кондитерскую Пера, хотя бы ему вовсе не хотѣлось ни пить, ни ѣсть, ни читать газеты. Въ промежуткахъ между лекціями онъ ораторствовалъ съ товарищами о философіи, о политикѣ, о литературѣ. Шеллингъ стоялъ на первомъ планѣ. Вскорѣ Саша занялъ среди товарищей первое мѣсто по краснорѣчію, блеску идей и остроумію.

Иногда съ лекцій, или съ трудомъ отпросясь у отца, вечеромъ, онъ заѣзжалъ къ Нику.

Никъ въ это время жилъ одинъ въ домѣ своего отца на Никитской. Онъ занималъ тамъ одну комнату въ нижнемъ этажѣ, свѣтлую, просторную, съ широкими диванами и мраморнымъ каминомъ, обитую пунцовыми обоями съ золотыми полосками.

Никъ привлекалъ къ себѣ своей мягкой поэтической натурой; товарищи приходили къ нему отдыхать отъ домашнихъ непріятностей, бесѣдовали душа нараспашку, иногда шумно, напролетъ ночи. Это брало у него много времени; онъ страдалъ отъ непрерывныхъ посѣщеній, но встрѣчалъ каждого своей кроткой улыбкой. Сашѣ еще не допускалось проводить ночи внѣ дома, что сильно возмущало и даже бѣсило его.

Кромѣ комнаты Ника, кругъ ихъ собирался еще въ скромной квартирѣ другого товарища, Вадима Пассека.

Саша не разъ восторженно говорилъ намъ о Вадимѣ; рассказывалъ, что онъ принадлежитъ къ многочисленному семейству, недавно возвращенному изъ Сибири...

Иванъ Алексѣевичъ, слыша это, сказалъ намъ, что знаетъ Петра Богдановича Пассека, а еще короче его побочнаго сына Петра Петровича, которому онъ далъ фамилію Пассека *) и оставилъ все свое состояніе...

Разказы Саша о Вадимѣ и его семействѣ нѣсколько времени очень занимали насъ, потомъ новыя впечатлѣнія почти изгладили ихъ изъ памяти.

Саша былъ точно въ чаду, въ угарѣ отъ университета, товарищей и производимаго имъ вліянія. Когда онъ оставался дома, или бралъ книгу, чтобы, какъ бывало, почитать вмѣстѣ со мною, то видно было, что душа его не тутъ, а гдѣ-то тамъ... у Ника... въ университетѣ... въ кондитерской у Пера... у Яра...

Мало-по-малу я стала привыкать къ одиночеству. Занималась, читала одна. Брала уроки на фортепіано у Александры Николаевны Каризны. Иногда оставалась на пѣлый день у княгини; давала урокъ Наташѣ, которая все больше и больше ко мнѣ привязывалась. Въ это время сдѣлавъ мнѣ предложеніе одинъ инженеръ черезъ своего дядю, инженернаго генерала. Иванъ Алексѣевичъ всѣхъ насъ разбранилъ, зачѣмъ въ его домѣ заводятъ сватовство, и что я за невѣста, и не зачѣмъ я у него въ домѣ, чтобы замужъ выходить, а чтобы учиться. Я молодого человѣка знала очень мало, онъ бывалъ въ домѣ рѣдко и потому отнеслась ко всему равнодушно. Дѣло это такъ и угасло въ самомъ началѣ.

Незадолго до Рождества пріѣхалъ въ Москву мой отецъ, просилъ Ивана Алексѣевича отпустить меня съ нимъ домой, говорилъ, что я совсѣмъ отвыкла отъ своихъ и что родные желаютъ меня видѣть. Иванъ Алексѣевичъ согласился, съ условіемъ, чтобы къ веснѣ меня привезли обратно.

Праздникъ Рождества я встрѣтила въ Корчевѣ и въ продолженіе святокъ участвовала во всѣхъ увеселеніяхъ, которыя давались въ нашемъ городѣ и у сосѣднихъ помѣщиковъ. Обѣды, вечера съ танцами и фантами,

*) Женатый на Натальѣ Ивановнѣ Олениной, былъ отчасти замѣшанъ въ дѣлѣ 14 декабря, умеръ, кажется, въ 1826 году. Дѣтей не было.

съ домашними спектаклями, поѣздки, наряды, суета, казалось мнѣ, болѣе утомляли меня, нежели занимали, несмотря на то, что все было радушно, по-домашнему, между помѣщиками, съ давнихъ лѣтъ между собою знакомыми. Разговоры въ гостинныхъ казались мнѣ ни на что ненадобными. Молодыхъ дѣвушекъ, которыхъ знала съ дѣтства, я чуждалась, въ иныхъ видѣлась мнѣ натянутая застѣнчивость, въ другихъ—излишняя развязность. Онѣ повѣряли мнѣ свои сердечныя тайны, толковали о молодыхъ людяхъ нашего круга; въ числѣ ихъ было много егерскихъ офицеровъ, полкъ которыхъ стоялъ въ окрестностяхъ нашего городка. Когда же я обращала разговоръ на привычные мнѣ интересы, онѣ равнодушно говорили: «охота тебѣ, Танечка», или что-нибудь въ этомъ родѣ.

Я не замѣчала, что въ моемъ настроеніи была своего рода крайность, мѣшавшая мнѣ относиться ко всему просто и находить наслажденіе въ удовольствіяхъ, свойственныхъ моему возрасту; мнѣ казалось, что дома я отдыхала отъ сѣздовъ. Въ моей комнатѣ меня всегда ждала Маша и затопленная печка. Мы садились съ Машей къ огоньку, я рассказывала ей, какъ что было, или посвящала ее въ высшіе интересы жизни. По привызанности ко мнѣ, она старалась уяснить себѣ мои, вѣроятно, мнѣ самой не совсѣмъ ясныя, фразы. Потомъ, вѣруя въ меня безусловно, своими сужденіями приводила въ недоумѣніе и страхъ свою мать, которой высшіе интересы составляло хозяйство и искусство печь булки и круглые пироги съ яйцами и курицей, которыми мы у нея объѣдались.

Маша проводила у меня цѣлые дни, а иногда и ночи, несмотря на то, что домъ ихъ былъ заборъ о заборъ съ нашимъ домомъ, а огороды раздѣляли только легкой плетень.

Саша писалъ мнѣ часто, попрежнему, но тонъ и содержаніе его писемъ были иные. Всѣ письма его были наполнены рассказами объ университетѣ, товарищахъ, ихъ сходахъ, его вліяніи; о чувствахъ же дружбы, о тоскѣ по мнѣ—ни слова. Передъ новымъ годомъ Саша писалъ мнѣ:

«Это было 31-го декабря 1829 года или, если хотите, 1-го января 1830 года.

«Нику хотѣлось, и мнѣ не меньше, встрѣтить вмѣстѣ новый годъ. Сдѣлать это, ты можешь понять, было не легко. Во-первыхъ, какъ ты знаешь, благословивши меня на сонъ грядущій, папенка имѣетъ обыкновеніе обойти по комнатамъ, а мнѣ надлежитъ во время этого рунда лежать въ постели. Во-вторыхъ, 31-го декабря я обыкновенно въ 12 часовъ ночи являюсь къ нему съ поздравленіемъ. Проситься со двора на первомъ часу ночи, безъ уважительныхъ причинъ, значить начать новый годъ не съ Никомъ, а съ длинной проповѣдью. Чтѣ дѣлать, каюсъ передъ тобой и передъ цѣлымъ свѣтомъ—я перевелъ часы, начиная отъ большихъ англійскихъ съ курантами до маленькихъ карманныхъ получасомъ впередъ и такимъ образомъ встрѣтилъ новый годъ очень чинно и благочестиво дома, потомъ потихоньку сѣлъ на извозчика и отправился къ Нику. Первый разъ посіягнулъ я на столь дерзостный поступокъ. У Ника была приготовлена цѣлая бутылка шампанскаго во льду. Въ ней былъ участникомъ сверхъ насъ двоихъ еще какой-то преуморительный нѣмецъ. Этотъ преуморительный нѣмецъ занялъ роль Пьеро и зарабатывалъ своими глупостями вполнѣ данное вино. Между прочимъ началъ онъ толковать о литературѣ. Я похвалилъ Шиллера. Нѣмецъ, вѣроятно по наслышкѣ, сталъ хвалить Гёте, а Шиллера бранить. Я замѣтилъ, что поэтъ, создавшій Вильгельма Телля, заслуживаетъ большого уваженія. «Чтѣ такое Вильгельмъ Телль,—закричалъ онъ:—можно ли сравнить его съ Вильгельмомъ мейстеромъ!» Этой выходки только и недоставало, чтобы развеселить насъ до сумасшествія. Послѣ этого не было уже ни разговора, ни мыслей, только одинъ хохотъ. Глубокомысленный литераторъ не сконфузился, а началъ читать на память какой-то водевиль. Мы съ Никомъ чуть не умерли со смѣха и устали не меньше этого бѣднаго чудака. Окончивши свой, какъ онъ называлъ, рецитативъ, онъ отиралъ крупныя капли пота. Я возвратился домой въ четыре часа. На другой день, т.-е. въ тотъ же, въ 9 часовъ утра, я проснулся. Голова болѣла страхъ. Глазамъ было больно смотрѣть на всѣ предметы, точно будто лучи зрѣнія изъ проволоки и толкаясь въ предметы колютъ глаза.

«Такъ вотъ что Katzenjammer, подумалъ я—и вспо-

мнилъ бѣднаго кота Мурра; а между тѣмъ надобно было надѣвать черный фракъ, надобно было ѣхать туда, сюда, къ княгинѣ Марѣ Алексѣевнѣ, отъ которой у меня и всего прочаго всякій разъ болѣла голова и пр.

И—рѣ».

Въ домѣ у насъ было тяжело. Чувствовалась близость грозы, несмотря на увеселенія. Дѣла отца моего шли нехорошо. Привыкнувши къ роскоши и независимой жизни, онъ тяготился семейными обязанностями и необходимостью себя сдерживать. Это его раздражало до того, что, несмотря на врожденную доброту и снисходительность, дѣлало нетерпѣливымъ и взыскательнымъ. Съ женой своей, женщиной умной и образованной, но сухого, тяжелаго нрава, у него выходили безпрестанныя непріятности.

Весной такое нравственное состояніе разрѣшилось тѣмъ, что они разошлись окончательно. Отецъ мой переехалъ въ Тверь, нанялъ тамъ домъ и купилъ подъ Тверью землю съ барской усадьбой, перевезъ къ себѣ лучшую мебель, серебро, посуду, большую часть прислуги и перевелъ туда весь конскій заводъ.

Жена моего отца собиралась ѣхать съ маленькой дочерью въ деревню къ своей матери, укладывала и убирала свои вещи. Всѣ были въ такомъ раздраженномъ состояніи, такъ заняты собою, что обо мнѣ, какъ будто, позабыли, какъ будто я сама должна была позаботиться о себѣ при всеобщемъ разгромѣ. Всего бы проще было отправить меня въ Москву, гдѣ меня ждали, но, должно-быть, было не до меня. Остаться у тетюшки я не могла: отецъ былъ въ непріятныхъ отношеніяхъ съ дядей. Вѣроятно, онъ располагалъ, устроившись въ Твери, перевезти меня къ себѣ, а до того времени попросить мою бабушку побыть со мною въ нашемъ корчевскомъ домѣ; но ничего такого не говорили. Меня не только не тревожило мое положеніе, но мнѣ даже и въ голову не приходило подумать или позаботиться о себѣ. Судьба сама обо мнѣ позаботилась. Какъ бы нарочно, въ это время понадобилось пріѣхать въ Корчеву княжнѣ Варварѣ Александровнѣ Волхонской *) изъ своего клинскаго

*) Княжна Варвара Александровна Волхонская до сихъ поръ живетъ въ своемъ имѣніи, Клинскаго уѣзда, сельцѣ Нагорномъ.

имѣнія — сельца Нагорнаго, чтобы посовѣтоваться насчетъ своего здоровья съ моимъ дядею. Княжна много лѣтъ была въ дружескихъ отношеніяхъ съ моею тетушкой. Узнавши отъ нея, что дѣлается въ нашемъ домѣ, она предложила взять меня къ себѣ въ деревню, съ тѣмъ, чтобы лѣтомъ отвезти самой въ Москву, куда ей надобно было ѣхать по дѣламъ.

Черезъ три дня послѣ предложенія, сдѣланнаго княжною, я уже ѣхала съ нею въ коляскѣ въ Нагорное. На разсвѣтѣ коляска остановилась у довольно большого барскаго дома. Я спала, когда отстегнули кожаный фартукъ коляски. Холодный утренній воздухъ пахнулъ мнѣ въ лицо и разбудилъ меня. При блѣдно-фіолетовомъ освѣщеніи занимавшагося утра мы вошли въ домъ; княжна заботливо помогла мнѣ раскутаться и рядомъ просторныхъ комнатъ провела въ чайную. Въ домѣ было все просто и все смотрѣло такъ же добродушно, какъ и сама княжна. Княжна была тогда въ среднемъ возрастѣ, съ чертами лица, выражавшими безконечную доброту и снисходительность. Всѣмъ у нея жилось легко и свободно, такъ чувствовала себя у нея и я, и теперь, послѣ многихъ лѣтъ, съ благодарностью вспоминаю о времени, которое провела подъ ея покровительствомъ.

Въ чайной насъ встрѣтила невысокаго роста, уже не первой молодости, дѣвушка, съ умнымъ выраженіемъ лица и сдержанными манерами порядочнаго круга общества. Она была воспитанницею одного изъ родственниковъ княжны и гостила у нея это лѣто.

— Вотъ, Катенька, — сказала княжна, обращаясь къ ней: — рекомендую тебѣ: племянница нашего друга Карла Карловича; полюби ее и займись, пожалуйста, ея устройствомъ.

Катенька не только что полюбила меня, но все время, что я провела у княжны, обо мнѣ заботилась и баловала меня.

Когда мы вошли въ назначенную мнѣ комнату, Катенька сказала:

— Раздѣвайтесь и ложитесь въ постель, я сяду подлѣ васъ и поговоримъ, пока вы напьетесь чаю, согрѣетесь и уснете. Еще очень рано; сонъ на зарѣ самый пріятный.

Я легла въ постель, Катенька взяла кресло и помѣ-

стилась подлѣ меня у маленькаго столика, на который подали намъ горячій чай.

Я сейчасъ поняла, какую нравственную власть могу имѣть надъ Катенькой и не замедлила воспользоваться ею, удержавши ее подлѣ себя до тѣхъ поръ, пока уснула.

Въ это утро я узнала отъ Катеньки, что у княжны въ оранжереѣ бываетъ много персиковъ; недалеко отъ дома есть лѣсъ, гдѣ течетъ рѣчка, въ которой хорошо купаться, а на рѣчкѣ стоитъ мельница; въ дѣвичьей до пятнадцати дѣвушекъ-кружевницъ плетутъ кружева; кружева покупаютъ всѣ сосѣди, сверхъ того, княжна много и раздариваетъ; узнала, что княжна есть центръ своего семейства, состоящаго изъ нѣсколькихъ братьевъ и одной сестры, которые у нея собираются каждое лѣто.

— Есть ли у княжны сосѣди?—спросила я.

— Сосѣдство здѣсь большое, много помѣщиковъ богатыхъ и образованныхъ. На первомъ планѣ семейство Варвары Марковны Мертваго и Сергѣя Павловича Фонъ-Визина. Княжна очень дружна съ Мертваго и часто бываетъ у нихъ запросто, кромѣ определенныхъ приемныхъ дней.

— А много ли собирается посѣтителей въ приемные дни у Мертваго?

— Какъ случится. Въ иные дни съѣзжаются почти всѣ сосѣди и многіе изъ Клина, да инженеры. Инженеры ведутъ работы канала около Подсолнечной, подъ начальствомъ полковника Николая Николаевича Загоскина; Загоскинъ съ нѣкоторыми изъ инженеровъ часто бываетъ у Варвары Марковны и иногда проводить у нихъ по нѣскольку дней сряду. Онъ имъ сродни.

Придется бывать и мнѣ у Мертваго, подумала я, хотѣлось бы знать, что это за люди, и стала еще спрашивать Катеньку.

— А какъ называется имѣніе Мертваго?

— Демьяново.

— Велико ли это семейство?

— У Варвары Марковны три сына и четыре дочери. Одна замужемъ, а три живутъ съ нею, еще молодыя дѣвушки. Это очень образованное семейство; оно принадлежитъ къ высшему кругу общества. Варвара Марковна замѣчательно умная, добрая и дѣятельная ста-

рушка. Она сама завѣдываетъ всѣмъ хозяйствомъ и обширной фабрикой, на которой работаютъ миткаль, кисей и холстинки; встаетъ рано и каждое утро въ легкой таратаечкѣ, въ одну лошадку, объѣзжаетъ всѣ работы, а за непорядки строго взыскиваетъ.

Слушая Катеньку, я заснула.

Солнце стояло высоко, когда я вошла въ гостиную, гдѣ нашла княжну и Катеньку за пальцами. Онѣ вышивали яркими берлинскими шерстями коверъ. Это была любимая работа княжны.

Мнѣ у княжны жилось хорошо, я была изъ юныхъ одна, меня любили, не стѣсняли, мной утѣшались, я дѣлала, что хотѣла: читала, гуляла, купалась; сумерками бѣгала съ горничными по широкому двору въ горѣлки и качалась на качеляхъ. Княжна, сидя у раствореннаго окна, забавлялась, глядя, какъ я стремглавъ неслась въ горѣлкахъ, или едва не перекидывали меня черезъ перекладину качелей; а Катенька въ страхъ часто кричала въ открытое окно:

— Уймись, ради Бога, истерзалась, глядя на тебя.

Страхъ ея забавлялъ меня, я бѣжала быстрѣй и просила качать меня выше.

Недѣли черезъ двѣ княжна собралась ѣхать въ Демьяново и меня брала съ собою.

День былъ праздничный и пріемный.

Сердце у меня сильно билось, когда мы подъѣхали къ крыльцу большого каменнаго дома, стоявшаго во дворѣ; за домомъ виднѣлся паркъ, вдали фабрика.

Изъ залы мы вошли въ широкій коридоръ, въ концѣ его тремя широкими ступенями спустились въ лѣтнюю гостиную. Въ раскрытыя окна этой комнаты виднѣлись деревья парка, въ растворенныя стеклянныя двери, въ уровень съ паркетомъ, пестрѣлъ цвѣтникъ, затопленный цвѣтами, наполнявшими своимъ ароматомъ всю комнату.

Въ гостиной было много посѣтителей. На двухъ ломберныхъ столахъ играли въ карты и слышались разговоры, большею частью на французскомъ языкѣ.

Когда мы вошли въ гостиную, изъ-за одного зеленого стола приподнялась съ дивана небольшого роста полная старушка, въ распашномъ капотѣ изъ англійской холстинки, безъ чепчика, съ коротко остриженными волосами, уже посѣдѣвшими.

Это была Варвара Марковна Мертваго.

Веселый, проницательный взоръ ея показывалъ доброту, просвѣтленную умомъ, выходящимъ изъ ряда умовъ обыкновенныхъ, и самостоятельный характеръ.

Положивши на столъ карты, которыя держала въ рукахъ, она пошла намъ навстрѣчу такъ просто, такъ пріятельски, что съ перваго взгляда на нее я почувствовала къ ней уваженіе и душевную близость.

Княжна представила ей меня, шутя называя своей дочерью. Варвара Марковна, ласково улыбаясь мнѣ, отвѣчала княжнѣ: «право? какъ же это такъ, княжна?» Потомъ, показывая мнѣ рукою на сидѣвшую подлѣ нея на диванѣ высокую, стройную дѣвушку, брюнетку, съ нѣсколькими рѣзкими, выразительными чертами лица, одѣтую въ бѣлое платье, сказала:

— Дочь моя, Катерина Дмитріевна.

Молодая дѣвушка, вставши съ дивана, привѣтливо, но какъ бы покровительственно подала мнѣ руку и, обратясь къ княжнѣ, смѣясь, сказала:

— Откуда это вы, ваше сіятельство, пріобрѣли себѣ дочку?

Княжна ей отвѣчала какой-то шуткой. Поговоривши съ княжной, Катерина Дмитріевна предложила мнѣ идти въ садъ, гдѣ находилось молодое общество.

Никогда не робѣла я такъ, какъ проходя цвѣтниками, аллеями, пробираясь между деревьями къ этому молодому обществу. Вскорѣ до слуха моего донесся говоръ нѣсколькихъ голосовъ, смѣхъ, и замелькали изъ-за густыхъ липъ бѣлыя и цвѣтныя платья, мундиры инженеровъ, блеснули серебряныя эполеты, и открылась, среди тѣнистыхъ деревьевъ, лужайка, на которой молодые дѣвушки и молодые люди—одни сидѣли на скамейкахъ, другіе стояли; дѣти бѣгали, играли въ серсо, волапъ. Два очень молодые инженера пробовали прыгать на веревочной сѣткѣ, натянутой на четырехугольный деревянный срубъ, четверти на двѣ вышиною отъ земли. Не удерживая равновѣсія, они часто падали, что возбуждало всеобщее удовольствіе.

Катерина Дмитріевна представила мнѣ двухъ меньшихъ сестеръ своихъ, переименовала всѣхъ присутствующихъ, потомъ, указывая на меня, добавила:

— А ее зовутъ Танюшей, теперь знакомьтесь.

Сказавши это, она опустила мою руку и стала весело говорить то съ тѣмъ, то съ другимъ, съ какимъ-то авторитетомъ. Приемы ея были благородны и до того самобытны, что рельефно выдвигали ее изъ числа всѣхъ.

Мнѣ оставалось вмѣшаться въ веселую толпу, взоры которой на мгновеніе сосредоточились на мнѣ.

Я была смущена, чувствовала себя въ средѣ мнѣ чуждой, новой, и, не зная, какъ въ ней найтись, сочла за лучшее отнестись ко всѣмъ холодно.

На всѣ вопросы я отвѣчала такъ коротко и сухо, что вскорѣ меня оставили въ покоѣ и только изрѣдка, какъ бы вспоминая о моемъ присутствіи, кто-нибудь изъ вѣжливости принужденно обращался ко мнѣ съ ничтожной фразой.

Чтобы понять характеръ и главные интересы этого общества, я на досугѣ стала прислушиваться къ разговорамъ и, къ удивленію, не могла уловить ихъ содержания, только чувствовала игривость, легкость, грацію, — ароматъ свѣтской образованности, — недоступныя мнѣ. Я смутно понимала, что сблизиться съ этимъ кругомъ мнѣ будетъ трудно; понимала, что все то, къ чему я привыкла, что приводитъ меня въ восторгъ, отъ чего наворачиваются слезы и захватываетъ духъ, будетъ тутъ неумѣстно, странно, смѣшно, и что интересы, передъ которыми я благоговѣю, плохія нитки, чтобы вышивать ими въ границахъ свѣтскихъ палецъ.

Когда насъ позвали обѣдать, многіе, проходя цвѣтниками, рвали цвѣты и прикалывали ихъ себѣ къ поясу, къ волосамъ. Я очень любила цвѣты, но не рѣшалась сорвать ни одного цвѣтка; «на что онъ мнѣ», — подумала я печально. Кто-то подаль мнѣ вѣточку; войдя въ комнаты, я ее бросила на окно.

Въ залѣ былъ накрытъ длинный столъ, съ блестящимъ серебромъ, хрусталемъ, цвѣтами и фруктами. Обѣда была роскошнѣе и шелье долже; я скучала, томилась и рада была, когда встали изъ-за стола. Всѣ шумной толпой пошли въ гостиную, выходившую въ коридоръ, дверь изъ двери противъ залы.

Спустя полчаса въ залѣ раздались звуки органа; мальчикъ, одѣтый казачкомъ, наигрывалъ французскую кадрили. Инженеры бросились приглашать дамъ. Я замѣ-

тила, что одного кавалера посылали пригласить меня, а онъ оттоваривался; наконецъ, нехотя, подошелъ ко мнѣ; танцуя, сказалъ мнѣ нѣсколько словъ и завелъ рѣчь съ близъ стоявшей дамой.

Наступалъ вечеръ.

Комнаты освѣтились лампами и восковыми свѣчами *). Офиціанты, въ бѣлыхъ перчаткахъ, подавали десертъ и чай. Въ освѣщенномъ коридорѣ встрѣчались горничныя въ шелковыхъ и раскрахмаленныхъ кисейныхъ платьяхъ, съ подобранными подъ сѣтку волосами.

Старшіе расположились въ гостиной: одни сѣли за карты, другіе, раздѣлившись на группы, вели разговоры. Самый оживленный разговоръ шелъ тамъ, гдѣ находилась Варвара Марковна.

Между тѣмъ, въ раскрытыя окна вступила тихая, ясная ночь.

Молодой кружокъ собрался въ лѣтней гостиной.

— Ахъ, какая славная ночь!—сказала Катерина Дмитриевна, стоя въ дверяхъ, растворенныхъ въ цвѣтникъ.— Дѣти! пойдѣте въ садъ!

Живая, игривая толпа высыпала въ цвѣтникъ и притихла, охваченная ароматомъ цвѣтовъ и блескомъ мѣсяца.

Спустя нѣсколько минутъ, всѣ, разговаривая, перенгой ходили вдоль длинной, широкой аллеи изъ липъ.

Катерина Дмитриевна ходила поодаль, подъ руку съ бѣлокурнымъ инженеромъ въ штабъ-офицерскихъ эполетахъ. Онъ былъ средняго роста, плотенъ, съ пріятнымъ, веселымъ лицомъ, выражавшимъ открытую, добрую душу. Они разговаривали съ жаромъ въ полголоса.

— Кто это?—спросила я шедшую рядомъ со мною молоденькую дѣвушку, указывая на этого инженера.

— Николай Николаевичъ Загоскинъ, — отвѣчала она: — начальникъ инженерныхъ работъ въ Подсолнечной.

— Родственникъ Варвары Марковны?

— Да, —и братъ писателя Загоскина; вамъ его называли.

— Право, я всѣхъ перемѣшала, —я слушала безъ вниманія.

*) Стеариновыхъ свѣчей еще не было въ то время.

Загоскинъ и Катерина Дмитриевна долго ходили от дѣльно, вдругъ, какъ бы опомнившись, что они не одни, прервали жаркій разговоръ и въ полголоса стали напѣвать:

Прекрасный день, счастливый день,
И солнце и любовь,
Съ ночныхъ полей обѣжала тѣнь,
Свѣтитъ сердце вновь.

Вслѣдъ за этимъ романсомъ, смѣясь и какъ бы приглашая всѣхъ къ участию, громко запѣли:

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,
Совсѣмъ сталъ не такой.
Какъ бывало холостой,
Какъ бывало холостой.

Рѣчи не веселы, грубы,
Что ни скажешь,
Все сквозь зубы.

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ,
Совсѣмъ сталъ не такой,
Какъ бывало холостой,
Какъ бывало холостой.

Мгновенно нѣсколько свѣжихъ, молодыхъ голосовъ подхватили живую пѣсню, и все слилось въ куда-то уносящій душу хоръ. Подъ эти игривые звуки чувство одиночества до того тяжело овладѣло мною, что я только и думала, какъ бы поскорѣе уѣхать въ Нагорное, гдѣ мнѣ легко жилось.

Мы уѣхали послѣ ужина.

Мнѣ показалось, что я очулась отъ роскошнаго, но гнетущаго сна, и отдохнула въ воляскѣ среди тишины полей и перелѣсковъ, облитыхъ голубоватымъ свѣтомъ полной луны.

Въ Нагорномъ, отъ радости, я такъ сильно стиснула въ объятіяхъ Катеньку, что та отъ боли и изумленія вскрикнула:

— Помилосердуй, мать моя, что съ тобой? задушила. Пустя душу на покаяніе.

Я смѣялась и снова принималась душить Катеньку.

— Ну, что, Танечка, — спросила меня на другой день княжна: — какъ тебѣ показались Мертваго?

— Что же я могу сказать — я ихъ почти не знаю, не сошлись еще.

— Ничего, скоро сойдется. Вчера народу у нихъ было пропасть,—сказала княжна:—ты не дичись ихъ—семейство достойное. Варвара Марковна умнѣйшая женщина и истинная христіанка, много добра дѣлаетъ такъ, что лѣвая рука не знаетъ, что творитъ правая. Молодыхъ-то я зову: вѣтеръ въ полѣ, молодо-зелено, любить посмѣяться—но безобидно, добры и рады услужить. Здѣсь всѣ дорожатъ ихъ знакомствомъ и многое спускаютъ—это ихъ балуетъ. Если дойдетъ до нихъ, что за стѣной ихъ осудятъ—оставляютъ безъ вниманія,—стоятъ выше пересудовъ и живутъ, какъ имъ нравится—лѣто въ деревнѣ, зиму въ Москвѣ или Петербургѣ; молодымъ дана воля-вольная—и не во вредъ. Отецъ ихъ былъ также добрейшій и честнѣйшій человекъ. Онъ занималъ мѣсто сенатора, все родство у нихъ знатное: Полторацкіе, Оленины. Варвара Марковна сама урожденная Полторацкая; повѣрь, узнаешь ихъ короче—полюбишь.

— Врядъ ли,—подумала я:—во мнѣ недостаетъ чего-то для этого сближенія. Я сознавала, что чуждыя мнѣ формы свѣтской жизни женскаго общества для меня недоступны, и что онѣ, несмотря на то, что кажутся легки, даже какъ будто ихъ вовсе и нѣтъ, но непривычныхъ къ нимъ вяжутъ: и не тяжело, да какъ-то несвободно.

Мы стали бывать у Мертваго довольно часто. Иногда молодыя дѣвушки пріѣзжали къ княжнѣ. Катерина Дмитриевна всегда верхомъ на своей любимой лошади, въ сопровожденіе Николая Николаевича. Она ѣздила смѣло, ловко и въ своей длинной синей амазонкѣ, съ черной шляпой на головѣ, подъ зеленымъ вуалемъ, была прекрасна. Катерина Дмитриевна первая приблизилась ко мнѣ тепло, но какъ-то покровительственно; потомъ дружески сошлись со мной и ея сестры, особенно меньшая, только что выпедшая изъ Смольнаго монастыря. Варвара Марковна показывала ко мнѣ большое расположеніе и участіе. Сблизившись со всѣми, я стала иногда высказываться и до того забиралась въ либерализмъ и высшіе взгляды, что не могла и концовъ свести. Варвара Марковна, слушая меня, добродушно смѣялась и говаривала княжнѣ:

— Что это, княжна, Танечка-то у тебя какія страсти рассказываетъ,—настоящій студентъ-карбонари.

Я краснѣла, потупляла глаза и останавливалась.

— Затѣмъ это вы, маменька, сконфузили ее,—замѣчала иногда Катерина Дмитріевна:—продолжай, Танюша, не смущайся, выберешься какъ-нибудь.

Но я не продолжала, а становилась осмотрительнѣе и проще. Мало-по-малу, самыя манеры мои и тонъ сдѣлались женственнѣе и болѣе подходящими къ тону ихъ дома.

Въ августѣ княжнѣ понадобилось куда-то ѣхать по дѣламъ; Мертваго предложили ей оставить меня у нихъ до ея возвращенія.

Сосѣди, видя ко мнѣ дружбу дома Мертваго, сдѣлались внимательнѣе, тѣмъ болѣе, что я никому не заступала дороги. Они стали приглашать меня къ себѣ.

Шестого сентября я была приглашена вмѣстѣ съ Мертваго на именины къ супругѣ помѣщика Алмазова; мужъ и жена были молоды, красивы и съ хорошимъ состояніемъ.

Мы пріѣхали къ обѣду. Изъ толпы гостей рѣзко выдавался худощавый молодой человѣкъ, съ пристальнымъ взглядомъ красивыхъ карихъ глазъ, съ тихими, крайне сдержанными манерами. Это былъ Ваксель, извѣстный охотникъ-стрѣлокъ, знатокъ иностранныхъ языковъ и мастеръ рисовать карикатуры. Онъ былъ еще тѣмъ замѣчательнѣе, что писалъ и рисовалъ лѣвой рукой; кистью правой руки не владѣлъ съ дѣтства.

Ваксель былъ пріятель съ Алмазовымъ, также охотникомъ, и пріѣхалъ къ нему на осень охотиться въ его болотахъ по дупелямъ и вальдшнепамъ. Говорили, что Ваксели были когда-то богаты, но отецъ разстроилъ состояніе до того, что сынъ существовалъ только охотою.

Алмазовъ представилъ Вакселя Варварѣ Марковнѣ, она радушно пригласила его къ себѣ.

Послѣ продолжительнаго обѣда съ жареными дупелями, мороженымъ и фруктами, при свѣтѣ люстръ и канделябровъ, въ залѣ раздался оркестръ музыки и открылся балъ. На этомъ балѣ всего замѣчательнѣе была одна дама среднихъ лѣтъ, одѣтая не по возрасту молодого, съ небольшимъ чепчикомъ на головѣ, убранному длинными лентами. Она пустилась въ танцы съ такимъ азартомъ, что всѣхъ озадачила. Толпа окружала мазурку, въ которой она носилась по залѣ, закинувъ на-

задъ голову, сбивая съ ногъ всѣхъ, кто попадался навстрѣчу, увлекала за собой своего кавалера.

Ваксель не танцовалъ. Стоя у двери гостиной, онъ смотрѣлъ на танцующихъ такимъ пристальнымъ взоромъ, что это многихъ непріятно стѣсняло. Говорили, что онъ рисуется, разыгрываетъ Чайльдъ Гарольда и отчасти Онѣгина. Отъ времени до времени Ваксель выходилъ вмѣстѣ съ Алмазовымъ въ другую комнату; возвратясь, становился на прежнее мѣсто. Распространился слухъ, что на всѣхъ присутствующихъ рисуется карикатура. То тутъ, то тамъ стали шептаться, волновались, недовѣрчиво взглядывали на Вакселя. Слухъ о карикатурѣ возмущалъ всеобщее веселье, но не помѣшалъ танцовать до утра.

Мы возвратились домой на разсвѣтѣ.

Въ первый пріемный день у Мертваго, спозаранку, явился Алмазовъ съ Вакселемъ и карикатурой. Она была нарисована на клеенномъ продолговатомъ листѣ бумаги водяными красками; изображена была комедія собачекъ. Лица собачекъ были поразительно схожи съ подлинниками. Помѣщикъ, имѣвшій авторитетъ въ уѣздѣ, представлялъ хозяина собачекъ; стоя на возвышеніи, онъ держалъ въ рукѣ обручъ, сквозь который проносилась, въ растяжку, азартно танцовавшая дама, въ видѣ легкой левретки. У подножія виднѣлся поѣздъ собачекъ различныхъ породъ: однѣ везуть повозочки, другія ими правятъ, третьи сидятъ въ экипажахъ, инныя стоятъ на запяткахъ, нѣкоторыя, въ мундирѣ, каскѣ, съ ружьемъ ихъ конвоируютъ. Самъ Алмазовъ, въ костюмѣ Пьерро, въ противоположномъ углу, играетъ на шарманкѣ и показываетъ кукольную пляску и обезьяну.

Карикатура была очень хороша, ею любовались; Катерина Дмитріевна взяла ее себѣ и спрятала.

Кромѣ насъ никто не видалъ карикатуры. На Вакселя стали смотрѣть непріязненно и отстранялись его. Когда возвратилась княжна, ей показали карикатуру. Она отъ души смѣялась, узнавши въ бѣломъ пуделѣ, стоявшемъ на запяткахъ повозочки, своего любимаго брата; въ лавреткѣ, сидящей на этой повозочкѣ, сестру, а въ марширующемъ воинѣ—пріятельницу.

Дѣла удерживали княжну въ деревнѣ. Варвара Марковна собиралась въ Москву и предлагала отвезти меня

туда, какъ заболѣла ея меньшая дочь, такъ сильно, что задержала всѣхъ въ деревнѣ почти всю осень. Только незадолго до Рождества мы оставили Демьяново.

Рождество и новый годъ я встрѣтила уже съ Сашей и прочими моими друзьями.

Саша относился къ университету поспокойнѣе, но къ товарищамъ горячѣе прежняго, такъ что, несмотря на радость свиданія со мною, большую часть времени проводилъ съ ними. Они собирались то у Ника, то у Вадима, а иногда и у Саши, къ великому неудовольствію его отца, и это было постояннымъ поводомъ къ непріятностямъ между ними. Въ досадѣ, Иванъ Алексѣевичъ называлъ фамиліи товарищей Саши по-своему: Сатина—Сакенымъ, Сазонова—Сназинымъ, Ника изъ уваженія къ родству не трогалъ. Зато укорялъ Сашу за длинные волосы Ника. Все это возмущало Сашу, и онъ не рѣдко жаловался.

— Да неужели вы не сумѣете отвѣта держать,—говаривала ему Вѣра Артамоновна.—Наше холопское дѣло, поневолѣ молчишь передъ нимъ, извѣстно, не смѣешь, зато выйдешь за дверь и выругаешь вдвое. А вамъ-то что! Паленька-то вапъ считаетъ себя умнѣе всѣхъ, думаетъ, его никто и провести не сумѣетъ, а его вся дворня надуваетъ.

Но, несмотря на жалобы, Саша переносилъ ворчанье и нагоняи довольно терпѣливо.

Я бывала довольно часто у Мертваго и у княгини. Варвара Марковна иногда сама отвозила меня обратно, это было ей по дорогѣ къ Михаилу Николаевичу Загоскину. Онъ жилъ тогда по сосѣдству Ивана Алексѣевича въ старой Конюшенной, въ приходѣ Власія, съ женой и дѣтьми, въ антресоляхъ небольшого дома, принадлежавшаго, кажется, Новосильцеву.

Однажды Варвара Марковна вмѣстѣ со мною заѣхала къ Михаилу Николаевичу; мы вошли въ гостиную. Это была довольно широкая комната, съ низкимъ потолкомъ; въ ней находился диванъ и нѣсколько креселъ, обитыхъ потертой, зеленой кожей, передъ диваномъ стоялъ краснаго дерева столъ.

Въ гостиной никого не было. Спустя нѣсколько минутъ въ нее вошелъ Михаилъ Николаевичъ. Онъ напоминалъ своего брата, Николая Николаевича, ростомъ,

наклонностью къ полнотѣ и открытымъ, добродушнымъ выраженіемъ лица. Цѣлый лѣсъ каштановыхъ волосъ осѣнялъ его свѣжее, румяное лицо; прекрасные, темные глаза смотрѣли живо и весело. На красивомъ ртѣ играла пріятная улыбка. Приемы его были просты, разговоръ быстръ, въ голосѣ слышалась задушевная струна. Онъ съ увлеченіемъ разсказалъ намъ о своемъ дѣтствѣ и воспитаніи, о томъ, какъ, желая выучиться французскому языку, онъ вытѣрдыжилъ наизусть французскій лексиконъ отъ доски до доски. Съ восторгомъ говорилъ о Россіи и обо всемъ отечественномъ; бранилъ нѣмцевъ и французовъ и обозвалъ нѣкоторыхъ изъ иностранныхъ писателей свиньями.

Въ это время онъ писалъ своего Юрія Милославскаго, не ожидая такого блестящаго успѣха, какой имѣлъ этотъ романъ. Съ перваго знакомства со мною, Михаилъ Николаевичъ расположился ко мнѣ тепло, съ большимъ участіемъ и до конца жизни своей сохранилъ эти чувства.

Въ началѣ весны заболѣла сильнымъ ревматизмомъ средняя дочь Варвары Марковны. Медики совѣтовали везти ее въ деревню и дѣлать ей сухія ванны изъ молодыхъ березовыхъ листочковъ.

Варвара Марковна не могла съ нею ѣхать: меньшая дочь ея еще лѣчилась въ Москвѣ. Оставалось отправить заболѣвшую съ старшей сестрою; Варвара Марковна попросила меня ѣхать съ ними вмѣстѣ. Послѣ вниманія и участія, оказаннаго мнѣ этимъ семействомъ, отказаться я не могла, съ чѣмъ согласенъ былъ и Иванъ Алексѣевичъ, несмотря на то, что мой неожиданный отъѣздъ огорчалъ все его семейство и разрушалъ надежду вмѣстѣ провести лѣто въ Васильевскомъ.

Въ концѣ апрѣля мы были уже въ Демьяновѣ. Больной стали дѣлать березовыя ванны, которыя ей быстро помогали. Кромѣ сестры при ней постоянно находилась жившая у нихъ съ дѣтьми своими полковница Глазенацъ, такъ что во мнѣ и надобности не было, поэтому я почти все время оставалась одна. Съ утра я уходила въ садъ съ моими книгами. Тамъ у меня было избранное мѣсто, у пруда, въ бесѣдкѣ изъ каприфоліи. Въ это время я сильно чувствовала свое сиротливое, зависимое положеніе, и мнѣ становилось такъ грустно, такъ

одинок, что я оставляла книгу и горько плакала. Душевная пустота томила меня, дружба Саши, отчасти охладѣвшая, уже не пополняла ее, несмотря на то, что мы попрежнему продолжали переписываться. Первое письмо его, полученное мною по прїѣздѣ въ Демьяново, начиналось стихами графини Растопчиной:

Прости же мнѣ, прости, о другъ мой милый,
Холодный мой прїемъ, несладъ моихъ рѣчей;
Повѣрь, что чувствую я съ той же силой,
Что дружба прежняя живетъ въ душѣ моей,
Но выражаться я, какъ прежде, не умѣю!

Стихи графини Растопчиной, еще не напечатанные, въ рукописи приносилъ намъ ея родственникъ Никъ.

Далѣе въ письмахъ шли объясненія, потомъ Никъ, студенческія сходки, его ораторскія рѣчи, Шеллингъ и проч.

Дружба моя къ Сашѣ не измѣнилась, но не удовлетворяла меня, какъ когда-то; мнѣ было этого недостаточно; образъ, созданный моимъ воображеніемъ, носился въ туманной дали и манилъ меня къ себѣ.



ГЛАВА XX.

Холерный годъ.

1831—1832.

... тѣни милыя передо мной
Въ причудливомъ несутся сновидѣньи.
Гр. Растопчина. (Фантазія).

Вскорѣ по прїѣздѣ Варвары Марковны въ Демьяново, было объявлено, что Катерина Дмитриевна выходитъ замужъ за Николая Николаевича Загоскина.

Въ одно воскресное утро, Катерина Дмитриевна, одѣтая въ простое бѣлое платье, вмѣстѣ съ женихомъ своимъ, пошла въ ихъ сельскую церковь, гдѣ ихъ ждали мать, сестры, два или три инженера—шаферы, и послѣ обѣдни обвѣнчалась.

Ни свиты провожатыхъ, ни парада, ни празднества—ничего этого не было. Весь день прошелъ обычнымъ порядкомъ, только на лицахъ новобрачныхъ выражалось безконечное счастье.

Отношенія мои къ дому Мертваго становились все ближе и ближе. Варвара Марковна стала принимать во мнѣ такое живое участіе, что, узнавши о хорошихъ отношеніяхъ Катерины Валерьяновны съ Петромъ Хрисанфовичемъ Оболяниновымъ, съ которымъ и сама была пріятельски знакома, задумала черезъ Оболянинова уговорить Катерину Валерьяновну удѣлить мнѣ что-нибудь изъ имѣній, полученныхъ ею послѣ своего мужа. Она рѣшила начать это дѣло осенью, по пріѣздѣ въ Москву, гдѣ располагала провести зиму.

По случаю распространившагося слуха, что въ Москвѣ холера, отъѣздъ былъ отсроченъ.

Вскорѣ я получила письмо отъ Саши, только что пріѣхавшаго въ Москву изъ Васильевского; оно было все исколото и подтвердило этотъ слухъ.

Слухи о холерѣ стали распространяться и доходить до насъ все больше и больше. Съ ужасомъ читали въ газетахъ, какія опустошенія производила эта болѣзнь, самый характеръ ея леденилъ душу. Пока не были учреждены карантинныя, многіе изъ жителей Москвы поспѣшили удалиться въ свои имѣнія или переселились въ города, въ которыхъ еще не обнаружилось эпидеміи.

Нѣкоторые изъ клинскихъ помѣщиковъ, переѣхавшіе въ Москву на зиму, возвратились въ свои деревни. Рассказывали, что, по слухамъ, холера занесена въ Москву бурлаками изъ Нижняго и обнаружилась въ университетѣ. Одинъ студентъ упалъ въ университетскомъ коридорѣ въ корчахъ и вскорѣ умеръ. Университетское начальство объявило, что университетъ закрывается и всѣ студенты распускаются по домамъ; казеннокоштные же отдѣляются карантинными мѣрами. Приказъ читалъ профессоръ Денисовъ. Онъ былъ блѣденъ, унылъ, встревоженъ,—и къ вечеру умеръ.

Какъ только было объявлено официально, что въ Москвѣ холера, то стали издаваться бюллетени о ходѣ болѣзни, о числѣ заболѣвавшихъ и умершихъ. Сообщались и предохранительныя мѣры; иныя изъ этихъ мѣръ стояли самой болѣзни. Вообще же совѣтовали ды-

пать воздухомъ, напитаннымъ запахомъ хлористой извести, пить красное вино, дегтярную воду, курить уксусомъ въ комнатахъ, наблюдать умѣренность въ пищѣ, не ѣсть сырыхъ овощей. Но, несмотря ни на что, болѣзнь со дня на день усиливалась, распространяя всеобщій страхъ и смятеніе. Даже и внѣ Москвы только и слышалось: умеръ, заболѣлъ, заразителна, незаразителна, корчи, хлоръ, уксусъ четырехъ разбойниковъ. Въ передней гостямъ подавали уксусъ обтереться, въ гостиной не подавали руки, родные со страхомъ и опасеніемъ навѣщали заболѣвавшихъ родныхъ, знакомые, пріятели сторонились другъ отъ друга. Наконецъ, мы узнали, что Москва оцѣплена, по свѣжному валу разставлены пикеты изъ солдатъ, и черезъ цѣпь никто не пропускается. Вozy съ свѣтными припасами пріѣзжаютъ съ одной стороны цѣпи, покупатели подѣзжаютъ съ другой стороны. Составился комитетъ. Москву раздѣлили на части. Московскій военный генералъ-губернаторъ, князь Дмитрій Владиміровичъ Голицынъ, всѣми любимый и уважаемый, увлекъ общество къ великодушнымъ пожертвованіямъ. На суммы, пожертвованныя большею частью московскимъ купечествомъ, немедленно было открыто двадцать больницъ. Одѣяла, бѣлье, теплая одежда, все было въ изобиліи. Другимъ порывомъ великодушія почти весь медицинскій факультетъ и, сверхъ того, много молодыхъ людей другихъ факультетовъ предложили себя въ распоряженіе холернаго комитета и отъ начала эпидеміи до ея окончанія съ полнымъ самоотверженіемъ исполняли въ больницахъ должности ординаторовъ, фельдшеровъ, письмоводителей, сидѣлокъ, дни и ночи не отходили отъ постелей больныхъ и умирающихъ, не рассчитывая на вознагражденіе, и все это въ то время, когда болѣзнь считалась заразителною. Зараза лучше всего обнаруживаетъ самоотверженіе и великодушіе людей благородныхъ и холодный эгоизмъ людей ничтожныхъ. Тутъ трудно скрыть страхъ свой, когда дѣло идетъ на жизнь и смерть. Конечно, смерть страшна для всякаго, переходъ отъ бытія въ тѣлѣ къ бытію безтѣлесному, неизвѣстность одного, прелесть другого, инстинктивное влеченіе поддерживать жизнь, все ведетъ къ тому, что смерть ужасаетъ, но человѣкъ благородный сумѣетъ, когда надобно, побѣ-

дить это чувство, жизнь ему будетъ презрительна, если онъ купитъ ее низостью. Платонъ называетъ естественнымъ чувство, которое заставляетъ насъ предпочитать гибель позору. Платонъ язычникъ! такъ ли разсуждаютъ эгоисты. Между тѣмъ болѣзнь достигла ужасающихъ размѣровъ и обнаружилась во многихъ мѣстахъ Россіи. Въ Демьяновѣ получались газеты и письма исколотыя и изрѣзанныя. Родственники и знакомые Мертваго сообщили, что жители Москвы почти не оставляли домовъ своихъ; по улицамъ рѣдко видны экипажи, только по перекресткамъ собираются толпы простого народа, толкуютъ о холерѣ и съ ужасомъ сторонятся, какъ покажутся на улицѣ тихо двигающіяся кареты съ больными, отвозимыми въ больницы, или черныя фуры, отправляющіяся съ трупами на кладбище, сопровождаемыя полицейскими.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ преосвященный митрополитъ Филаретъ учредилъ крестный ходъ и молебствіе «да мимо идетъ скорбная чаша». Въ назначенный день для молебствія погода стояла мрачная, туманная; изъ сѣрыхъ облаковъ, заволакивавшихъ небо, сѣялся мелкій дождь, но, несмотря на это, погосты всѣхъ церквей были покрыты народомъ. Въ церквахъ раздавался унылый звонъ колоколовъ, призывавшій всѣхъ на молитву міромъ. Въ каждомъ приходѣ священники съ причтомъ, съ крестомъ, образами и хоругвями, молились, преклонивши колѣна; народъ, рыдая, падалъ ницъ на землю. Кончивши молебствіе у церкви, священники обходили свой приходъ, кропя святой водою, а за ними шли толпы народа; остальные жители выходили изъ домовъ, мимо которыхъ шелъ крестный ходъ, и въ слезахъ, падая на землю, молили о защитѣ Небо. Вотъ онъ тѣ процессіи среднихъ вѣковъ, о которыхъ мы читаемъ съ такимъ восторгомъ и которыя въ нашъ холодный вѣкъ такъ рѣдки. Блаженъ и благословенъ народъ, умѣющій вѣровать! Священники одного прихода, сходясь съ другими, шли вмѣстѣ; толпы народа сливались, хоругви развѣвались въ воздухъ,—и они шли далѣе. Часть процессіи и народа вливалась въ Кремль, и тамъ также подъ открытымъ небомъ, на высокомъ мѣстѣ, передъ вѣковыми соборами митрополитъ и черное духовенство, преклонивши колѣна, молили объ отвращеніи карающей десницы

Божіей, просили пощады. Говорили объ опасности многолюдныхъ сборищъ и—справедливо, но чумный годъ показать, какъ опасно предписывать мѣру религиозному чувству.

Это была трогательная минута въ жизни русскаго народа.

Саша писалъ мнѣ изъ Москвы:

«Множество законнѣлыхъ московскихъ жителей, лѣтъ двадцать не ѣздившихъ дальше Дѣвичьяго монастыря и Нескучнаго сада, еще до учрежденія карантинныхъ мѣръ разѣхались по деревнямъ и городамъ, въ числѣ ихъ уѣхалъ Платонъ Богданычъ Огаревъ и увезъ съ собою Ника. Грустно было прощаться съ другомъ — грустнѣе обыкновеннаго; почему знать, возвратится ли онъ, почему знать, возвратившись, найдетъ ли онъ меня въ живыхъ. Одинъ внутренній голосъ говорить сквозь грустные возгласы: «увидимся». Вообще холера страшила меня немного издали, но когда она явилась лицомъ къ лицу въ Москвѣ, ходила по университетскому коридору, таскалась по улицамъ, ѣздила въ каретахъ въ больницы, а въ фурахъ изъ больницъ, наконецъ, когда страхъ прошелъ, увѣренность въ будущее поглотила меня совершенно.

«Сначала суета, рассказы, все это занимало, потомъ надоѣло, скучно стало слушать одно и то же; кромѣ двухъ-трехъ родныхъ, къ намъ почти никто не ѣздитъ, съ товарищами видаюсь рѣдко, зато гуляю часто, что-то тяжелое видно на улицахъ: холерныя кареты, фуры, чернь, толкующая объ отравкахъ. Замѣчательно, что во всѣ времена, во всей Европѣ простой народъ во время заразительныхъ болѣзней не вѣрилъ, что это эпидемія, а твердо былъ увѣренъ, что его нарочно отравляютъ, такъ какъ въ голодные годы думаютъ, что его нарочно морятъ съ голоду.

«Иногда въ моихъ прогулкахъ я доходилъ до заставы и долго смотрѣлъ на необыкновенное зрѣлище оцѣпления. Эти пикеты, разставленные по снѣжному валу, эти солдаты, лежащіе вкругъ разведенныхъ огней, возы, пріѣзжающіе съ одной стороны, возы, пріѣзжающіе съ другой стороны, и все вмѣстѣ — страшная рамка страшной болѣзни. Университетъ закрытъ, весь медицинскій факультетъ приглашенъ къ участію въ помощи

несчастливымъ заболѣвающимъ въ 20-ти вновь учрежденныхъ больницахъ на пожертвованія купечества, съ какой-то роскошью, съ избыткомъ удобства. Сверхъ медицинскаго факультета, юноши другихъ отдѣленій предложили себя въ эти больницы, расстаются съ мечтами о будущемъ, разрываютъ связи съ обществомъ и семействами, дружатся съ мыслью о смерти, прощаются съ жизнью, и все это, чтобы помочь страждущимъ, чтобы помочь въ бѣдствіи. Вся Москва отзывалась съ горячимъ сочувствіемъ. Москва всегда становится въ уровень съ обстоятельствами, когда надъ Россіей гремитъ гроза, какъ въ 1612 и въ 1812 гг.; явилась холера и народный городъ снова явился полный энергіи и любви».

Къ новому году холера въ Москвѣ стала уменьшаться и въ февралѣ совсѣмъ прекратилась; тогда Варвара Марковна наняла въ Москвѣ домъ, и мы всѣ перѣехали туда. Въ Москвѣ Варвара Марковна горячо принялась за исполненіе своего плана относительно меня. Она переговорила съ Оболяниновымъ. Петръ Хрисанфовичъ вызвалъ Катерину Валерьяновну изъ ея Шумнова, гдѣ она постоянно проживала, и согласилъ ее отдать мнѣ изъ части, доставшейся ей въ имѣніяхъ мужа, седьмую часть въ Васильевскомъ; она состояла, сколько помнится, изъ 120 десятинъ земли, 25-ти десятинъ строевого лѣса и 30-ти душъ крестьянъ. Все это, какъ говорили, будучи меньшей частью, должно было быть мнѣ выдѣлено въ лучшихъ частяхъ въ селѣ Васильевскомъ и прилежащихъ къ нему деревняхъ: Марьинѣ, Агаоновѣ и Полушкинѣ.

Иванъ Алексѣевичъ всегда жаловался, что эта седьмая часть, точно пятно, портитъ все имѣніе и выдѣломъ ея затруднялся. По окончаніи процесса между Катериной Валерьяновной и братьями ея мужа, тянувшегося нѣсколько лѣтъ и который она выиграла, Иванъ Алексѣевичъ торговалъ у нея эту часть въ Васильевскомъ, но она, не желая сдѣлать ему пріятное, просила страшно дорого, а Иванъ Алексѣевичъ, въ досаду ей, давалъ слишкомъ дешево. Такъ дѣло и не ладилось.

Эта седьмая часть въ значительномъ имѣніи, дѣйствительно, не только что портила его цѣльность и выдѣлъ былъ затруднителенъ, но и препятствовала его про-

дажѣ, а продать его было необходимо и откладывать опасно. Здоровье Ивана Алексѣевича видимо слабѣло; въ случаѣ же его кончины, всѣ его имѣнія должны были поступить къ законнымъ наслѣдникамъ: брату его—сенатору Льву Алексѣевичу Яковлеву и сыну другого его брата—Алексѣю Александровичу Яковлеву, между тѣмъ Иванъ Алексѣевичъ желалъ продажей имѣнія обезпечить двухъ сыновей своихъ.

Какъ скоро рѣшена была передача мнѣ седьмой части, Николай Николаевичъ Загоскинъ, по расположению своему ко мнѣ, взялся немедленно за совершение дарственной записи, и это маленькое имѣние какъ бы съ неба упало мнѣ изъ дружескихъ рукъ этого почтеннаго семейства, которое отрадно, съ признательностью восприняло въ моей памяти.

Дружба Саши ожила ко мнѣ съ оттѣнкомъ дѣтскаго, прежняго времени до того, что разъ вечеромъ, когда онъ читалъ мнѣ вслухъ только что вышедшую драму Виктора Гюго «Негнату», оба мы плакали надъ нею такъ, какъ плакали надъ драмами Коцебу—давно когда-то—какъ плакать чуть не позабыли.

Иногда въ мое отсутствіе Саша писалъ въ моемъ альбомѣ прозой и стихами. «Ей-то,—сказано имъ,—писать я разъ двадцать въ альбомъ по-французски, по-нѣмецки, по-русски и даже по-латыни».

Однажды, возвратясь отъ княгини, я раскрыла альбомъ, зная, что въ мое отсутствіе въ немъ всегда написано что-нибудь новое, и прочитала:

«Первая любовь на все свѣтитъ, все равно освѣщаетъ, счастлива дѣва, на которую падаетъ первый взоръ любви, какою пределью облакаетъ ее молодое воображеніе, какъ пламенны о ней пѣсни, какъ нѣжно юноша влечетъ. Это лучшая минута въ жизни.

a priori

Jean Paul Richter».

Жанъ-Поль Рихтеръ былъ одинъ изъ любимыхъ писателей Саши.

Характеръ нашей дружбы не измѣнился. Время шло впередъ—увлекая съ собою юношескія мечты, рождая новыя явленія.

Въ одинъ изъ февральскихъ вечеровъ Саша сказалъ матери:

— Хотите видѣть Вадима Пассека? онъ сегодня вечеромъ будетъ у меня.

— Конечно,—отвѣчала она:—ты такъ много натолковалъ намъ о немъ.

— Вы все пишете о Вадимѣ Новгородскомъ,—сказалъ Саша, обращаясь ко мнѣ:—вотъ вамъ Вадимъ живой и очень интересный. Не влюбитесь въ него!

— Отчего не влюбиться?—отвѣчала я:—что онъ у тебя зачарованъ?

— Быть-можетъ.

— Нѣтъ, не увлекусь; у меня съ молодыми людьми есть что-то однозвучащее, это хорошо для дружбы, для любви души должны гармонировать.

— Какъ у васъ съ Николаемъ Алексѣвичемъ?

— Что за вздоръ ты говоришь?—возразила я:—ты понимаешь, что тамъ не было ни дружбы, ни любви въ ихъ истинномъ значеніи. Былъ ребенокъ, у котораго воображеніе настроено романами, и свѣтскій молодой человѣкъ, не знавшій, чѣмъ наполнить праздный досугъ, а что это нѣсколько интересовало его—понятно, кому ни пріятно, если имъ увлекаются, да еще чистымъ дѣтскимъ сердцемъ.

— Успокойтесь, вѣрю, что вы не можете влюбиться. Въ домъ Мертваго вы видали много молодыхъ людей и никто не увлеклись.

— Можетъ, потому, что ни одинъ изъ нихъ не только что не пробовалъ увлечь меня, но даже никто не обращалъ на меня и вниманія.

Въ залу принесли двѣ свѣчи и поставили на круглый столъ передъ диваномъ. У стола помѣстился Саша, мать его, Егоръ Ивановичъ и я. Спустя полчаса, за ширмами, отдѣлявшими входъ изъ передней, тихо скрипнула дверь, и въ залу вошелъ стройный молодой человѣкъ средняго роста—это былъ Вадимъ Пассекъ. Онъ поклонился застѣнчиво, по приглашенію взялъ стулъ и сѣлъ къ столу. Вначалѣ разговоръ шелъ несвязно, какъ ни старался Саша оживлять его, говоря за четверыхъ, а Егоръ Ивановичъ, заводя рѣчь о концертахъ и о музыкѣ. Вадимъ нѣсколько робѣлъ и стѣснялся. Я всматривалась въ него, заинтересованная предисло-

віемъ Саша. Въ темно-карихъ, умныхъ глазахъ Вадима, полузакрытыхъ густыми рѣсницами, была какая-то магнитность, и на всемъ на немъ лежала печать благородства и той породистости, которая выше всякой красоты. Когда разговоръ мало-по-малу ожилъ и перешелъ въ интимный, Вадимъ весь отдался задушевности; голосъ его былъ чрезвычайно пріятенъ и тихъ; рѣчь ясна, проста, спокойна, съ полнымъ обладаніемъ предмета, о которомъ говорилось.

При живости и подвижности Саша, спокойствіе Вадима особенно ярко бросалось въ глаза. Когда разговоръ перешелъ къ современной литературѣ, Саша продекламировалъ нѣсколько стихотвореній и двѣ или три сцены изъ «Горя отъ ума». По поводу «Горя отъ ума» сказали Вадиму, что черезъ недѣлю мы ѣдемъ въ Большой театръ смотрѣть новый балетъ. Къ концу вечера всѣ обращались съ Вадимомъ свободно и пріятельски. Между имъ и нами оказалось много общаго.

Когда Вадимъ ушелъ, Саша спросилъ меня, какъ я нахожу его.

— Симпатичнымъ, — отвѣчала я: — имъ можно увлечься.

— Не совѣтую, — съ живостью возразилъ Саша: — Вадиму жениться нельзя и не должно. Семейная жизнь мѣшаетъ, сосредотачиваетъ на себѣ, на мелочахъ, отвлекаетъ отъ общаго.

— Напротивъ, — сказала я: — мнѣ кажется, семейная жизнь не только не отвлекаетъ отъ общаго, то-есть отъ общечеловѣческихъ интересовъ, но вноситъ въ нихъ теплоту, а грандіозность общечеловѣческой дѣятельности облагораживаетъ семейство. Такимъ-то людямъ, какъ Вадимъ, и слѣдуетъ жениться; я не говорю — на мнѣ, а вообще.

— Ну, больше не покажу васъ другъ другу, — шутилъ замѣтилъ Саша: — вы его у насъ отнимете.

— Почему ты такъ думаешь?

— Онъ тоже говорилъ что-то въ родѣ этого.

— Вадимъ еще въ университетѣ? — спросила Сашу мать.

— Нѣтъ, онъ уже кончилъ курсъ кандидатомъ, съ серебряной медалью. Ему слѣдовала золотая, но вмѣсто

золотой медали за науку, Вадимъ получилъ чинъ титулярнаго совѣтника за холеру.

— А что, онъ медикъ?—спросилъ Егоръ Ивановичъ.

— Вотъ это-то и замѣьте, что не медикъ,—отвѣчалъ Саша:—онъ юристъ; но, несмотря на то, что юристъ, одинъ изъ первыхъ предложилъ себя въ распоряженіе холернаго комитета и съ рѣдкимъ самоотверженіемъ дѣйствовалъ во все время эпидеміи. Онъ завѣдывалъ въ больницѣ канцеляріей, хозяйственной частью, ухаживалъ за больными; мало того, съ нѣкоторыми изъ медиковъ на себѣ дѣлалъ опыты прилипчивости холеры. Опытъ показалъ, что она не прилипчива. Послѣ этого стали смѣлѣе относиться къ болѣзни и явилось больше желающихъ помогать въ общественномъ бѣдствіи.

— Такъ вотъ каковъ твой Вадимъ,—замѣтила я:—и не упомянулъ даже о холерѣ.

— А будь ты на его мѣстѣ,—сказалъ Егоръ Ивановичъ Сашѣ:—не утерпѣлъ бы, не только рассказалъ бы всю подноготную, передразнилъ бы и медиковъ, и ординаторовъ, и хожалоу, не спустилъ бы и больнымъ.

Мы съ Сашей покатались со смѣха.

Егоръ Ивановичъ улынулся и добавилъ:

— Ну, конечно такъ.

Отъ Саши мы узнали, что Вадимъ меньшей изъ четырехъ старшихъ братьевъ Пассекъ, живетъ въ Москвѣ съ матерью, сестрами и меньшими братьями, а трое старшихъ живутъ въ Петербургѣ; что Вадимъ даетъ уроки и вмѣстѣ съ старшими братьями трудами своими поддерживаетъ семейство.

Незадолго передъ этимъ Саша познакомился съ семействомъ Вадима и съ увлеченіемъ рассказывалъ намъ о ихъ взаимной любви, силѣ духа, съ которымъ они переносили страданія въ Сибири и жестокою крайностью по возвращеніи въ Москву; рассказывалъ, какъ молодые люди, несмотря на затрудненія съ приготовленіемъ, поступили въ университетъ и кончили курсъ кандидатами.

— Теперь имѣете понятіе о семействѣ Пассековъ?—спросилъ Саша, кончивши рассказъ.

— Да,—отвѣчала я:—имѣю,—и задумалась.

— Есть о чемъ подумать,—замѣтилъ Саша.

Въ театрѣ, какъ предполагали, мы не поѣхали.

Спустя нѣсколько дней, я увидѣла у Мертваго Михаила Николаевича Загоскина. Онъ, по обыкновенію, дружески подошелъ ко мнѣ и вдругъ, среди разговора, неожиданно спросилъ меня:

— Отчего вы не были на представленіи новаго балета, какъ предполагали?

— Какъ это вы узнали, что мы хотѣли тамъ быть?—спросила я съ удивленіемъ.

— Я встрѣтилъ въ театрѣ, — отвѣчалъ Загоскинъ: — одного знакомаго мнѣ молодого человѣка, который сообщилъ, что вы будете въ театрѣ, и такъ тревожно осматривалъ ложи и бенуары, съ такимъ жаромъ говорилъ о васъ, что чуть не загорѣлся театръ.

— Вотъ какъ, — сказала я, смѣясь и чувствуя, что мѣняюсь въ лицѣ. — Кто же это?

— Вадимъ Пассекъ, — съ притворной небрежностью отвѣтилъ Загоскинъ: — вы его коротко знаете?

— Напротивъ, очень мало.

— Какъ же это онъ такъ много говорилъ мнѣ объ васъ?

— Не знаю. Онъ товарищъ моего родственника, съ которымъ я почти вмѣстѣ росла. Вѣроятно, слышалъ что-нибудь отъ него, — отвѣчала я, стараясь придать своему голосу сколько можно больше равнодушія.

Загоскинъ взялъ мою руку и, крѣпко сжимая ее, сказалъ съ своей ласковой улыбкой:

— Полноте отрекаться отъ Вадима — это прекрасный юноша, я держу его руку, будьте къ нему благосклонны, онъ вами увлеченъ.

— Какъ можно такъ шутить, — сказала я, живо обратясь къ Загоскину.

— Кто это Вадимъ, — подойдя къ намъ, спросила меньшая дочь Мертваго: — n'est ce pas l'homme de predilection?

— Это мой хорошій пріятель, — спокойно отвѣтилъ Загоскинъ.

Слова Саши «не влюбитесь въ Вадима» заставили меня внимательнѣе всмотрѣться въ него, а его тихая, глубокая натура была мнѣ такъ симпатична, что съ перваго свиданія сдѣлала на меня нѣкоторое впечатлѣніе. Шутки Михаила Николаевича поддерживали и усиливали его. Мало-по-малу впечатлѣніе это стало ослабѣ-

вать и, вѣроятно, незамѣтно совсѣмъ бы изгладилось, если бы судьба не рѣшила иначе и не облизила меня съ семействомъ Вадима.

Однажды, на страстной недѣлѣ, Саша таинственно сказалъ мнѣ:

— Не можешь ли дать мнѣ твою нитку гранатъ и брильянтовая сережки на нѣсколько дней. Вадимъ просилъ достать денегъ для семейства. Я общалъ. Закладываю свои часы, но это недостаточно; цѣпочку надобно оставить: видя ее, не догадаются, что часовъ нѣтъ. Вещи твои я прибавлю въ залогъ къ часамъ.

Я принесла мои вещи и, отдавая ихъ Сашѣ, сказала:

— Развѣ у нихъ крайность?

— Къ празднику ничего нѣтъ. Послѣ святой недѣли Вадимъ получить за уроки, да Діомидъ Пассекъ вышлетъ изъ Петербурга, и намъ отдадутъ. Если бы ты знала, чтѣ это за семейство и какъ хорошо себя чувствуешь въ ихъ небольшихъ комнатахъ. Тамъ я первый разъ узналъ, чтѣ такое семейная любовь, и понялъ, что не проза, не скука царствуетъ около дивана, на которомъ сидитъ мать, окруженная дѣтьми, а милая поэзія домашняго очага. Они знаютъ о тебѣ и очень хотятъ тебя видѣть. Я общалъ на святой привезти къ нимъ тебя и маменьку.

Въ четвергъ на святой недѣлѣ Саша, вмѣстѣ съ матерью своей и со мною, отправляясь подъ Новинское, уговорилъ насъ напередъ заѣхать къ Пассекамъ.

Какъ бьется сердце мое, приступая къ этой половинѣ моей жизни! Какъ горячо вызываетъ умолкнувшее въ вѣчности!

Сдвинувшіяся десятки лѣтъ разступаются...

И вотъ вы, милые, опять со мною, никто не отошелъ отъ этого міра... ничто не измѣнилось... всѣ живы... всѣ юны... всѣ полны будущности и вѣры въ себя... и мы живемъ, какъ бывало... и мнѣ такъ хорошо съ вами. Прижмитесь же съ прежней любовью къ груди моей... Я оболью васъ слезами, и мы снова переживемъ вмѣстѣ и счастье прежнее, и прежнія печали...

Передо мною небольшой деревянный домъ съ мезониномъ. Что за свѣтлыя картины, что за чистые образы тѣснятся мнѣ въ душу при видѣ этого дома!

Карета наша вѣзжаетъ на довольно просторный

дворъ, мѣстами поросшій мелкой травкой... вотъ и низенькое крылечко... и я опять легко всхожу на него, одѣтая въ сѣренькое платье съ закрытымъ воротомъ, въ пастушеской, соломенной шляпкѣ съ бѣлыми лентами. Отворяется дверь, предо мною небольшая зала съ свѣтло-палевыми обоями, нѣсколько плетеныхъ стульевъ, два ломберные стола и фортепіано. Въ дверяхъ гостиной встрѣчаетъ насъ матушка *). Какъ станъ ея преждевременно согнуть заботами и вынесенными страданіями! На блѣдномъ, истощенномъ лицѣ ея прорѣзались легкія морщины, а въ спокойныхъ, умныхъ глазахъ свѣтится юность души, сила воли и столько пролитыхъ слезъ! Какъ трогательна она въ своемъ простомъ черномъ капотѣ и бѣломъ чепчикѣ! Я съ благоговѣніемъ останавливаю на ней взоръ свой.

Въ гостиной, съ итальянскимъ окномъ и небогатой мебелировкой, подошли ко мнѣ двѣ молодыя дѣвушки, сестры Вадима. Въ грустномъ, ласковомъ взорѣ старшей видна безропотная покорность судьбѣ и самоотверженная преданность семейству. Въ карихъ глазахъ и улыбкѣ второй играетъ жизнь. Вскорѣ вошелъ Вадимъ, а за нимъ миловидная блондинка съ пепельными кудрями до плечъ.

— Это моя третья дочь, — сказала матушка, рекомендуя намъ блондинку: — у меня есть еще дочь въ институтѣ, да малютка, привезенная изъ Сибири съ кормилицей. Она взята на воспитаніе Катериной Александровной Офросимовой **).

Говоря это, матушка вздохнула, въ глазахъ ея мелькнула печаль и навернулись слезы.

Прощаясь, насъ пригласили на слѣдующій день вечеромъ.

На другой день, послѣ обѣда, мы отправились къ Пассекамъ. Насъ приняли уже по-пріятельски, запросто, въ диванной, гдѣ всѣ домашніе проводили большую часть времени. Тамъ обыкновенно пили чай, туда вносили раздвижной столъ, на которомъ обѣдали. Ночью, на ту-

*) Катерина Ивановна Пассекъ, мать Вадима Васильевича Пассека, а по немъ впоследствии и моя мать.

**) Урожденная Римская-Корсакова, впоследствии, овдовѣвши, она вышла замужъ за Александра Александровича Алябьева.

рецомъ диванѣ, занимавшемъ всю внутреннюю стѣну, спали двѣ меньшія дочери, старшая спала у матушки въ небольшой спальнѣ, съ однимъ окномъ, выходившимъ во дворъ.

Вадимъ занималъ комнату въ мезонинѣ съ полукруглымъ окномъ. Кроватью ему служилъ диванъ, полуразрушенный натискомъ товарищей. Два-три соломенные стула сомнительной крѣпости рѣдко были въ употребленіи. Товарищи предпочитали пожиматься на столѣ, на окнѣ, валяться безъ куртокъ по дивану или на полу, на сброшенныхъ съ дивана подушкахъ, между книгъ, бумагъ, золы изъ трубокъ. Противоположную комнату занималъ товарищъ Вадима, студентъ Миллеръ.

Въ диванной, кромѣ матушки, Вадима, его сестеръ и двухъ меньшихъ братьевъ-гимназистовъ, мы нашли: Миллера, студента медицинского факультета Эка (сына И. И. Эка, бывшаго учителя музыки Егора Ивановича Герцена) и высокаго молодого человѣка, брюнета, въ очкахъ, кончившаго курсъ въ медико-хирургической академіи. Онъ былъ у Пассековъ какъ-то по-домашнему: широко шагалъ по комнатѣ, говорилъ громко и обращался со всѣми своеобразно хорошо. Вслѣдъ за нами, какъ бы крадучись, вошелъ Никъ съ шестнадцатилѣтнимъ студентомъ Сатинымъ, налюминавшимъ своей идеальной красотой Байрона: онъ и прихрамывалъ, какъ Байронъ, и краснѣлъ, какъ дѣвушка.

Матушка, разговаривая съ матерью Сани по-нѣмецки и по-русски, сообщая съ нею хлопотала за чайнымъ столомъ и угощала молодой кружокъ, среди котораго шелъ оживленный разговоръ.

Разговоръ былъ прерванъ приходомъ молодого человѣка, бѣлокурого, нѣсколько блѣднаго, съ кроткимъ взоромъ, какъ бы сосредоточеннымъ внутри самого себя.

— Что это, Алексѣй Николаевичъ, васъ совсѣмъ не видно, гдѣ вы пропадаете?—сказала матушка.

— Всѣ на своей квартирѣ, Катерина Ивановна, съ математикой,—отвѣчалъ онъ, едва улыбаясь, тихимъ голосомъ, съ малороссійскимъ акцентомъ.

Матушка представила его намъ, говоря:

— Алексѣй Николаевичъ Савичъ.

Алексѣй Николаевичъ Савичъ по факультету товарищъ Леонида и Діомида, былъ сверстникъ и любимый

товарищъ Вадима. Въ настоящее время академикъ и известный нашъ астрономъ, занимающій почетное имя въ мѣрѣ наукъ.

Со дня нашего знакомства съ Алексѣемъ Николаевичемъ, мы въ продолженіе года бывали очень часто вмѣстѣ. Въ этотъ годъ онъ кончилъ курсъ въ университетѣ, защитилъ диссертацию на магистра, потомъ поступилъ на службу въ петербургскій университетъ профессоромъ астрономіи. Ко мнѣ Алексѣй Николаевичъ такъ дружески расположился, что когда мы опять увидались съ нимъ черезъ тридцать пять лѣтъ, измѣненные годами, испытанные несчастіями, то сквозь длинный рядъ годовъ узнали другъ въ другѣ знакомыя черты, знакомую душу и радостно обнялись послѣ долгой разлуки.

— Здравствуй, Вадимъ! — сказалъ Алексѣй Николаевичъ, подавая ему руку, и, кланяясь всѣмъ, прибавилъ: — что это вы всѣ въ сборѣ сегодня?

— А вотъ, рѣши задачу, — обратился къ нему, началъ Саша: — можно ли жить вмѣстѣ съ такой женщиной, которая ниже васъ стоитъ по умственному развитію?

— Это, братецъ, смотря... Впрочемъ, нѣтъ, неравенство, то-есть неравенство въ развитіи, дѣйствительно, должно-быть, не хорошо.

— Конечно, вѣдь это все равно, что люди изъ разныхъ историческихъ эпохъ, — замѣтилъ Саша.

— Руссо прожилъ всю жизнь съ Терезой и не жаловался, — сказалъ кто-то.

— Хорошую же и жизнь она создала великому человеку, — замѣтилъ тихо Никъ.

— Я нахожу это тѣмъ не хорошо, что низшая натура въ непрерывномъ соприкосновеніи съ высшей подавляетъ высшую, — сказалъ Вадимъ: — низшая не такъ чувствительна къ диссонансу.

— Зачѣмъ братъ свысока, — подымая вверхъ брови, говорилъ брюнетъ: — возьмемъ Германію...

— Тамъ въ бракѣ раздѣленіе труда, — возразилъ Алексѣй Николаевичъ: — если при этомъ развито сердце.

— Что сердцу! — прервалъ его Саша: — кромѣ хозяйства, дѣлъ и нѣжностей, много остается празднаго времени, — тѣмъ его наполнить!

Разговоръ переходилъ отъ предмета къ предмету;

когда коснулся университета, Сапа представилъ въ лицахъ профессоровъ, читалъ лекціи съ ихъ приемами, подражая ихъ голосамъ.

Остроты, серьезныя идеи, шутки, сужденія о новыхъ произведеніяхъ литературы сыпались со всѣхъ сторонъ; юная жизнь кипѣла. Молодыя дѣвушки держали себя съ такимъ тактомъ, что всѣ, не стѣсняясь, оставались въ строгихъ границахъ приличія. Это придавало всему эстетическую прелесть.

Когда стали пить чай, въ диванную вбѣжалъ мальчикъ лѣтъ восьми—младшій изъ Пассековъ. Онъ привлекъ мое вниманіе своею странностью. Красивые, темно-каріе глаза его нѣсколько косили и какъ-то растерянно смотрѣли изъ-подъ густыхъ темныхъ волосъ, въ безпорядкѣ падавшихъ ему на глаза. Одѣтъ онъ былъ въ поношенный сюртучокъ не по росту, остальные части его туалета соотвѣтствовали сюртучку. Нисколько не смущаясь, мальчикъ молча остановился посреди комнаты: откинувъ назадъ голову, разиня ротъ, нѣсколько минутъ безмолвно осматривалъ все общество—и скрылся. Никто не обратилъ на него вниманія; видно было, что появленіе его въ этомъ видѣ дѣло обыкновенное. Только когда онъ вбѣжалъ, одна изъ сестеръ совершенно спокойно сказала ему:

— Ты бы хотѣ умылся; явился такимъ страшлищемъ.

На это замѣчаніе мальчикъ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія и докончилъ свой обзоръ.

Меня этотъ ребенокъ привлекъ къ себѣ своей оригинальной дикостью и простодушнымъ выраженіемъ всѣхъ чертъ лица. Когда онъ опять появился, я его приласкала.

Замѣчательно, что присутствіе маленькаго, плохо одѣтаго дикаря никого изъ семейства не затрудняло и не смущало: такъ они высоко стояли надъ всѣми мелочами чувствомъ своего собственнаго достоинства и съ гордостью носили свою бѣдную одежду.

ГЛАВА XXI.

Семейство Пассенъ.

1832 г.

Святые дни воспоминанья
Въ своей душѣ читаю я.

Рѣдкій день проходилъ, чтобы мы не побывали у Пассековъ. Иногда тамъ удерживали меня и Сашу до вечера.

Взаимная дружба этого семейства, ихъ любовь къ матери, сама мать, испытанная страшными страданіями и горестями,—все это придавало имъ что-то благородное, трогательно-патріархальное и влекло къ себѣ. Несчастье не ожесточило ихъ, а раскрыло для любви къ ближнему: такъ оно вліяетъ на натуры возвышенныя; это всего больше отражалось на матери.

Какъ я любила слушать ее, когда она говорила о дѣтихъ своихъ, о жизни ихъ въ Сибири, или читала мнѣ письма сыновей своихъ голосомъ, въ которомъ дрожали слезы; любила смотрѣть на нихъ, когда они были всѣ вмѣстѣ, юные, полные силъ и вѣры въ себя; когда шумно, весело садились за свой простой обѣдъ или собирались около чайнаго стола, около котораго находился и тотъ, къ кому уже влеклась душа моя. Развитію этого влеченія помогало сходство характеровъ, понятій, отсутствіе стѣснительныхъ формъ жизни, исключительное положеніе, молодость; сверхъ всего, матушка была за любовь нашу, какъ я узнала впоследствии.

Чувство къ Вадиму, заронившись мнѣ въ душу, какъ бы исчезло въ ней, оставя едва замѣтную память. Среди большого семейства, подъ множествомъ впечатлѣній, я не могла сосредоточиться на одномъ Вадимѣ; съ увлеченіемъ юности я отдавалась всѣмъ.

Сверхъ того, Вадимъ держалъ себя осторожно; только разъ вечеромъ, играя со мной въ четыре руки на фортепіано, нѣсколько измѣнилъ себѣ, да узнавши, что у меня есть альбомъ, въ которомъ пишетъ одинъ Саша,

попросилъ позволенія написать въ немъ, и въ стихахъ высказалъ тамъ свои чувства. Я этого не знала: Вадимъ передалъ альбомъ Александру, а тотъ, не показавши мнѣ, спряталъ его у себя.

Въ маѣ пріѣхалъ изъ Петербурга старшій братъ Вадима—Евгеній. Онъ замѣнялъ въ семействѣ отца.

Евгеній *) былъ человекъ развитой, религіозный, страстный патриотъ, но въ предѣлахъ отчетливой разумности, съ стремленіями къ истиннымъ пользамъ своей родины. Любимымъ предметомъ его занятій была отечественная исторія, постоянною мечтою—величіе и благосостояніе отечества. При его энергической дѣятельности было бы произведено многое, и даже многое было уже въ зрѣло обдуманнхъ проектахъ и программахъ, въ числѣ которыхъ особеннаго вниманія заслуживаетъ его проектъ объ уничтоженіи откуповъ, представленный имъ еще въ 30 годахъ министру внутреннихъ дѣлъ, въ которомъ обложеніе акцизомъ онъ еще тогда предлагалъ перенести на заводы; но принятая имъ на себя и благотворно выполненная забота о многочисленныхъ братьяхъ и сестрахъ съ престарѣлой матерью, безъ всякихъ средствъ, отнимала у него много времени и спокойствія духа, и, наконецъ, скоропостижно прервала жизнь разрывомъ сердца, среди тяготящихъ, убивающихъ обстоятельствъ.

Чтобы приготовить къ университету младшихъ братьевъ **), онъ безъ всякихъ средствъ самъ образовалъ себя предварительно, вслѣдствіе чего вступилъ въ университетъ годомъ позднѣе ихъ.

Меньшихъ братьевъ своихъ Евгеній провелъ черезъ гимназію и университетъ. Также заботился и объ образованіи сестеръ своихъ.

Болѣе тридцати лѣтъ прошло послѣ его кончины, но и теперь сердце бьется признательностью, при воспоминаніи о немъ, у каждаго изъ членовъ этого семейства.

Отрадно вспоминать, какъ не только Евгеній, но и каждый изъ братьевъ и сестеръ его, соотвѣтственно своему возрасту и характеру, стремился выразить вза-

*) Евгеній Васильевичъ Пассекъ родился въ 1802 году, скончался 1842 г. 15-го января; кончилъ курсъ въ петербургскомъ университетѣ кандидатомъ юридическаго факультета и поступилъ на службу въ министерство внутреннихъ дѣлъ.

**) Вслѣдствія моряка Леонида и убитаго на Кавказѣ Дюмиды.

именную привязанность другъ къ другу и любовь къ матери, оставившей намъ, ея дѣтямъ, самую свѣтлую и вѣстѣ съ тѣмъ самую грустную память.

Евгеній прїѣзжалъ въ Москву съ тѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ Вадимомъ отправиться въ харьковское имѣніе, село Спасское, оставленное за четверыми старшими братьями, рожденными до ссылки въ Сибирь ихъ родителей. Они хотѣли сдѣлать раздѣлъ этого имѣнія, съ тѣмъ, чтобы обезпечить существованіе всего остального семейства. Старшіе братья считали права свои нравственно равными правамъ меньшихъ братьевъ и сестеръ своихъ, несмотря на то, что тѣ были лишены ихъ юридически.

Вадимъ сказалъ Евгенію о своей привязанности ко мнѣ и намѣреніи на мнѣ жениться. Это озадачило Евгенія. Онъ сильно возсталъ противъ женитьбы Вадима, представляя ему его молодость, неопредѣленность положенія и проч.; когда же онъ узналъ, что и матушка желаетъ этого брака, тогда совѣтовалъ только не спѣшить и хорошенько обдумать.

Со мной Евгеній старался дружески сблизиться и былъ ко мнѣ такъ внимателенъ, что, спустя нѣсколько дней, матушка сказала ему шутя:

— Ты что-то очень ухаживаешь за Таней, должно-быть, она самому тебѣ нравится.

— Я хотѣлъ испытать ея чувство къ Вадиму,—отвѣчалъ Евгеній:—она къ нему расположена, но время терпитъ, подождутъ. Пускай Вадимъ съѣздитъ прежде въ Харьковъ, да устроить семейныя дѣла.

Предъ отъѣздомъ въ Харьковъ, Евгеній просилъ у меня позволенія, себѣ и Вадиму, писать ко мнѣ и хотя изрѣдка отвѣчать имъ. Какъ бы въ оправданіе этой переписки, онъ говорилъ, что согласіе мое они будутъ считать большимъ одолженіемъ, такъ какъ черезъ меня могутъ вѣрнѣе знать о здоровьи матери и о положеніи всего семейства.

— Съ вами,—прибавилъ онъ таинственно:—матушка будетъ откровеннѣе; отъ дѣтей она скрывается, боясь ихъ огорчить.

Въ половинѣ мая 1832 г., въ тихій, теплый вечеръ, Евгеній и Вадимъ простились съ родными, сопровождае-

мые слезами и благословеніями, сѣли на почтовую тележку и покатали въ Харьковъ.

Уѣзжая, они обѣщали матушкѣ и сестрамъ купить въ Тулѣ подарки. Узнавши, что я потеряла свою записку, предложили мнѣ взамѣнъ ея прислать изъ Тулы стальную. Первое письмо отъ нихъ было получено изъ Харькова вмѣстѣ съ тульскими вещицами.

— Вотъ это вамъ,—сказала матушка, подавая мнѣ листочекъ почтовой бумаги, стальное перо и чугунное кольцо въ золотой оправѣ.

Я взяла письмо, а отъ вещей отказалась, говоря, что вѣроятно, тутъ ошибка.

— Нѣтъ, не ошибка, точно вамъ,—продолжала матушка, и, видя, что я затрудняюсь, прибавила:—что за вздоръ, берите, надѣвайте кольцо, оно отъ Вадима, а перо посылаетъ вамъ Евгений, чтобы вы писали къ нимъ.

Я молча взяла вещи, надѣла кольцо на руку и много лѣтъ не снимала его.

Вадимъ писалъ мнѣ:

«Харьковъ, 1832 года, мая...

«Немного было для меня болѣе пріятнаго въ жизни, какъ позволеніе писать вамъ...

«Въ шесть дней перенеслись мы изъ родной Москвы въ благословенную Украину. Здѣсь вся природа нова для сибиряка, который видалъ только дикость и колоссальность снѣговыхъ пустынь, непроходимыхъ лѣсовъ и громаднхъ скалъ Урала. Холмистыя обработанныя поля, дубовые лѣса, фруктовыя деревья, глубокая синева неба, пѣсни соловьевъ—приводятъ меня то въ восторгъ, то въ грусть, пробуждая воспоминанія о быломъ и мысль о будущемъ. Въ прошедшемъ немного радостей, страданія родной семьи, стремленіе къ знанію, къ раздѣлу мыслей, чувствъ; въ будущемъ—все неопредѣленно...

«Мнѣ всегда было страшно замкнуться въ самомъ себѣ. Я искалъ людей, которымъ могъ бы вѣриться, и часто ошибался. Немного чистыхъ людей, доставшихся теперь на мою долю, моя отрада, но это не удовлетворяетъ меня, душа стремится перелиться въ другую душу, это ея жизнь, ея двойное наслажденіе. Вы понимаете меня, вы знаете и цѣли, которыя обняли все

бытіе мое; я не отрекусь отъ нихъ до моего послѣдняго часа. Вадимъ».

Р. С. «Мы съ Евгеніемъ общали вамъ прислать за-
понку—запонокъ нѣтъ. Взамѣнъ ея Евгеній посылаетъ
вамъ перо, а я—колечко; увѣренъ, что вы будете его
носить такъ, какъ думали носить запонку».

На это письмо Вадима я не отвѣчала, только попро-
сила матушку поблагодарить отъ меня за вещи.

Кромѣ того, что я не находила предмета о чемъ пи-
сать, Саша съ неудовольствіемъ смотрѣлъ на эту пере-
писку.

По отъѣздѣ Евгенія и Вадима, мы продолжали бывать
у Пассековъ еще чаще, еще больше сблизились съ ними
и многое узнали изъ жизни этого семейства.

Изъ рассказаннаго намъ стало извѣстно, что покой-
ный отецъ этого семейства, Василій Васильевичъ Пас-
секъ, былъ сынъ слободско-украинскаго подполковника
Василія Богдановича Пассека и двоюродной сестры его,
Обруцкой, которую онъ увезъ тайно и тайно обвиня-
лся на ней въ своемъ селѣ Спасскомъ, что было из-
вѣстно только брату его, Петру Богдановичу Пассеку.
Василій Богдановичъ умеръ, когда сыну его было только
пять лѣтъ. Умирая, онъ оставилъ духовное завѣщаніе
и назначилъ опекунами надъ малолѣтнимъ сыномъ
своимъ сосѣда своего графа Гендрикова и родного брата
своего генералъ-адъютанта, генералъ-аншефа, бѣлорус-
скаго генералъ-губернатора Петра Богдановича Пассека.
Графъ Гендриковъ скончался скорѣ послѣ Василія Бог-
дановича, и Петръ Богдановичъ остался единственнымъ
опекуномъ своего пятилѣтняго сироты-племянника. Поль-
зуясь малолѣтствомъ Василія Васильевича, онъ скрылъ
завѣщаніе, присвоилъ себѣ его имѣнія и ребенкомъ за-
писалъ его въ Преображенскій полкъ подъ чужимъ име-
немъ—дворянина Паскова.

Войдя въ возрастъ, Василій Васильевичъ началъ тре-
бовать свои права и свои имѣнія отъ могущественнаго
дяди. Съ этого времени начались его несчастія. Въ 1796
году онъ былъ заключенъ въ Динаминдскую крѣпость,
гдѣ пробылъ до 1801 года, вытерпѣлъ жестокия стра-
данія, при выпускѣ былъ объявленъ невинно по-
страдавшимъ и за претерпѣнныя страда-

нія переименованъ изъ маіоровъ въ надворные совѣтники.

Еще содержась въ крѣпости, Василій Васильевичъ успѣлъ доказать права свои на имѣнія, оставшіяся послѣ его отца, и въ царствованіе императора Павла Петровича, по разсмотрѣніи дѣла, въ 1799 году, послѣдовало высочайшее повелѣніе, которымъ Василій Васильевичъ былъ признанъ сыномъ своего отца, а завѣщаніе—завѣщаніемъ (Петръ Богдановичъ называлъ завѣщаніе письмомъ), несмотря на выходки Петра Богдановича противъ этого акта, который онъ скрывалъ слишкомъ 20 лѣтъ. Такимъ образомъ Петръ Богдановичъ долженъ былъ возвратить своему племяннику всѣ принадлежащія ему имѣнія; но онъ употребилъ противъ этого слѣдующее средство: при восшествіи на престолъ императора Александра Павловича, онъ подалъ прошеніе, 1801 г. 20-го апрѣля, которымъ просилъ дать Василю Васильевичу, какъ воспитаннику его брата, фамилію и гербъ Пассековъ (тѣмъ Василій Васильевичъ и такъ всегда пользовался) и утвердить за нимъ частичку изъ его же имѣній — село Спасское, Харьковской губерніи, Волчанскаго уѣзда; согласно этому прошенію, послѣдовало высочайшее повелѣніе 20-го мая 1801 года; тогда Василій Васильевичъ рѣшился доказать передъ государемъ, что прошеніе Петра Богдановича противно истинѣ, совѣсти, законамъ и изложенному высочайшему повелѣнію 1799 года.

Петръ Богдановичъ, хорошо понимая, что такой протестъ приметъ силу свою и для него будутъ непріятныя послѣдствія, сталъ немедленно искать случая погубить племянника. Поводъ къ этому скоро представился. Дворяродный братъ Василя Васильевича, князь Дмитрій Константиновичъ Кантеміръ, обвинчался въ концѣ сырной недѣли, поэтому бракъ его былъ разрушенъ и дѣти признаны незаконно-рожденными; самъ же князь Дмитрій Константиновичъ, за сумасбродство просидѣвъ семнадцать лѣтъ въ Ревельской крѣпости, помышлялъ на томъ, что онъ владѣтель Молдавіи и Валахій, такъ какъ онъ происходилъ родомъ отъ Палеологовъ и придурнайскихъ господарей. Изъ этого заключенія Кантеміръ былъ освобожденъ стараніемъ и просьбами Василя Васильевича въ 1801 г. Эстляндскій гра-

жданскій губернаторъ Лангеръ, желая сдѣлать угодное двоюродной сестрѣ князя Кантемира и Василя Васильевича Пассека, генералъ-фельдмаршалъшъ графинѣ Аннѣ Родіоновнѣ Чернышевой, сталъ настаивать у Кантемира, чтобы онъ просилъ императора узаконить его дѣтей. Василій Васильевичъ совѣтовалъ съ помѣшаннымъ не спѣшить и не настаивать; и дѣйствительно, настойчивость Лангера такъ ожесточила князя, что онъ и слышать не хотѣлъ объ этомъ дѣлѣ. Чтобы достигъ желаемой цѣли, Василій Васильевичъ видѣлъ одно средство: съ вѣдома Лангера и прочаго начальства Эстляндіи, онъ написалъ къ помѣшанному Кантемиру полушуточное письмо, въ которомъ сказалъ, что государь императоръ возвратитъ ему его достояніе, если бы изволилъ увѣриться въ его добродушія, а для убѣжденія въ этомъ его величества, лучшее средство просить объ узаконеніи его дѣтей, и подписаль: П. Волконскій, не измѣняя своего почерка. Единственнымъ слѣдствіемъ этого письма было то, что Кантемиръ черезъ генералъ-прокурора подалъ прошеніе объ узаконеніи своихъ сыновей.

Василій Васильевичъ, въ увѣренности, что этимъ письмомъ дѣлаетъ только доброе дѣло безъ малѣйшаго вреда кому-либо, не придавалъ ему другого значенія, до того, что въ продолженіе шести недѣль оно валялось на столѣ, стоявшемъ между кроватей князя Кантемира и Василя Васильевича. Своякъ Петра Богдановича, сенаторъ Обрѣсковъ, воспользовался этою небрежностью и незнаніемъ Василя Васильевича возможныхъ послѣдствій, такъ какъ онъ всю молодость провелъ въ военной службѣ, а потомъ былъ заключенъ въ крѣпость.

Обрѣсковъ письмо Василя Васильевича взялъ и донесъ на него. Началось слѣдствіе.

Василій Васильевичъ не отрекался отъ письма. Сенать въ докладѣ выразилъ, что письмо, видимо, писано шутливо, явно для помѣшаннаго. Почеркъ свой Пассекъ не измѣнялъ, поддѣлки подписи не было, видно, что писавшій имѣлъ въ предметѣ сдѣлать добро, но, несмотря на все это, такъ какъ онъ поступилъ противозаконно, то осуждается на удаленіе въ Сибирь, съ лишеніемъ чиновъ, дворянства, знаковъ отличія.

Василій Васильевичъ Пассекъ былъ лучший изъ людей,

какъ я слышала объ немъ не только отъ его семейства, благоговѣнно чтущаго память этого страдальца, но и отъ многихъ людей, достойныхъ уваженія, коротко знавшихъ его, какъ-то: графа Александра Никитича Панина, князя Е. А. Баратова, Александры Васильевны Кирѣевой, князя Юрія Владиміровича Долгорукова и другихъ... Всѣ вспоминали съ любовью объ его умѣ, благородствѣ, любви и добросердечіи.

Я уже не застала въ живыхъ Василія Васильевича, но еще застала живыя воспоминанія о немъ всѣхъ, которые его знали, и горячія слезы его семейства.

Осужденный несчастливецъ, съ женой и двумя малолѣтними сыновьями: Евгениемъ и Леонидомъ, отправился въ Сибирь, гдѣ и протерпѣлъ слишкомъ двадцать лѣтъ.

Когда Евгений и Леонидъ достигли юношескаго возраста, тогда тайно отъ родителей написали прошеніе императору, въ которомъ просили освободить ихъ родителей и рожденныхъ отъ нихъ въ Сибири дѣтей, предлагая самимъ остаться за нихъ на всю жизнь въ Сибири. Узнавши, что государя ожидаютъ въ Екатеринбургѣ, они отправились туда частью пѣшкомъ, несмотря на пятьсотъ верстъ разстоянія, достигли до Екатеринбурга и лично подали государю прошеніе, въ домѣ Растргуева, гдѣ государь останавливался. Прошеніе ихъ принялъ и докладъ сдѣлалъ флигель-адъютантъ Соломка.

Вслѣдствіе ходатайства и личнаго доклада генералъ-губернатора западной Сибири Капцевича, въ 1824 году, всемілостивѣйшимъ повелѣніемъ Василій Васильевичъ Пассекъ со всѣмъ своимъ семействомъ былъ возвращенъ изъ Сибири по прошенію его дѣтей.

О томъ, что мнѣ сколько-нибудь извѣстно о жизни этого дорогого мнѣ семейства въ Сибири, я буду говорить въ слѣдующихъ главахъ моихъ воспоминаній, а пока возвращаюсь къ 1832 г. Въ началѣ іюня я получила второе письмо отъ Вадима:

«Харьковъ, 1832 года, мая...

«Еще не получившій отъ васъ отвѣта, рѣшаюсь опять писать вамъ; неужели это покажется вамъ страннымъ? Das Herz ist voll, der Mund ist über, а здѣсь намъ не съ кѣмъ подѣлаться ни мыслью, ни чувствомъ. Каж-

дый шагъ надобно размѣрять, каждое слово взвѣшивать. Привѣтъ, улыбка—все должно быть рассчитано, все соображено съ цѣлью, съ обстоятельствами.

«Большая часть людей, съ которыми мы должны соприкасаться, лишены образа человѣческаго. Иногда весь городъ представляется мнѣ коралловымъ островомъ, на которомъ кой-гдѣ мелькаютъ люди. Каждый домъ мнѣ кажется клѣточкой, изъ которой животное безъ разбора хватается все, что проплываетъ мимо: о такіе-то острова разбиваются самыя высокія созданія мысли, самыя жаркія стремленія.

«Деньги, чины—вотъ магическіе талисманы расположенія, почета, родства. Это я испытываю. Всѣ достоинства измѣряются значительностью чиновъ и количествомъ душъ, которыя можно продать и заложить...

«Гдѣ же мой міръ людей? неужели это мечта? не можетъ быть! Какая судьба, какая власть можетъ остановить то движеніе, которое даютъ міру люди, рожденные для дѣятельнаго проявленія своихъ идей? Увижу ли я хотя часть его? Я, жаждущій съ дѣтства дѣлиться душой съ цѣлымъ міромъ.

«Быть-можетъ, эта жажда душевнаго раздѣла родилась во мнѣ вслѣдствіе того, что я съ колыбели былъ отлученъ отъ родного крова.

Я, какъ безродный, выросъ въ семьѣ чужой,
Я сладкаго не зналъ любви привѣта.

«Я родился въ то время, когда безпощадно тѣснили и терзали родную семью, поэтому былъ надолго отдаленъ отъ нея, росъ среди чужихъ, сталъ рано думать и чувствовать и долженъ былъ сосредотачиваться, замыкаться самъ въ себѣ. Вадимъ».

Подъ этимъ письмомъ приписалъ Евгений:

«Строчки, только написанныя вашей рукой, уже доставляютъ намъ удовольствіе. Ваше дружеское расположеніе къ нашему семейству дѣлаетъ васъ навсегда незабвенной мнѣ. Я знаю, вы считаете визиты ни во что, можетъ ли это быть распространено и на переписку? пишите, пожалуйста, хотя къ Вадиму, или, по крайней мѣрѣ, дозвоьте намъ писать къ вамъ. Не лишите насъ, среди хлопотъ, отнимающихъ почти все наше время, удовольствія, утѣшенія, отрады—видѣть ваши строчки, ваши мысли, васъ видѣть въ нихъ. Евгений».

Никъ и Сапа писали Вадиму, но отъ него получали короткіе отвѣты—это ихъ раздражало и огорчало, а мнѣ было непріятно.

На второе письмо Вадима я отвѣтила ему нѣсколькими строчками, и, между прочимъ, сказала:

«Вы говорите, что вамъ хочется дѣлиться душой съ цѣлымъ міромъ, и не можете раздѣлиться настолько, чтобы, писавши къ роднымъ и ко мнѣ, написать теплый отвѣтъ тѣмъ, которыхъ называете друзьями».

Вадимъ отвѣчалъ:

«...неужели вы думаете, что я мало пишу Никѣ и Сашѣ отъ того, что у меня неостало на раздѣлъ души? странное понятіе о душѣ! развѣ душа черезъ раздѣлъ уменьшается? напротивъ, она становится ко-моссальнѣе. Храните ли вы въ себѣ мысли и чувства, передаете ли другимъ,—въ томъ и другомъ случаѣ—они ваша неистощимая собственность. Въ первомъ—они остаются безраздѣльно и почти всегда ослабляются временемъ; во второмъ—раздѣлъ даетъ наслажденіе, пополнить вась, область души вашей будетъ обширнѣе. Счастливы, кто можетъ всегда облекать мысли и чувства свои въ слова, а еще счастливѣе тотъ, кто можетъ слова свои превращать въ дѣло. В а д и м ѣ».

Р. С. «Я передѣлалъ извѣстную пѣсню «Тройку» и прилагаю ее. Тамъ путникъ видитъ во снѣ родину и пробуждается на чужбинѣ; у меня наоборотъ.

«Когда увидите Михаила Николаевича Загоскина, покажите ему мою «Тройку», не назначить ли онъ ее пѣть вмѣсто прежней».

Т р о й к а.

Луна привѣтно такъ сіяла.
И вѣтеръ листьями игралъ,
Мечта мнѣ что-то навѣвала,
И сонъ меня очаровалъ.

Вотъ вижу я—страна чужая
Вдали отъ родины святой,
Дорога также столбовая,
Но мой ящикъ ужъ не лихой.

Меня не мчитъ онъ, припѣвая
Про очи дѣвнцы-души,
И не летитъ, бичомъ махая,
Въ часы полуночной души.

Простите вы, мѣста родина,
Я здѣсь одинъ съ моею тоской;
Какъ сладко вспомнить дни былые,
Какъ жить мнѣ грустно сиротой.

Мнѣ чуждо все: чужія лица,
Чужой народъ, и всѣмъ чуждъ я—
Какъ далеко краса-дѣвица,
И далеко мои друзья.

Ахъ, сердцу грустно, сердцу больно
Въ краю далекомъ жить безъ васъ!
Вотъ грудь стѣснилася неволью,
И слезы канули изъ глазъ.

Но слышу голосъ, мнѣ знакомый,
И сердцу сладкія слова:
«Проснися, баринъ, мы ужъ дома,
«Вотъ наша матушка-Москва».

Москва! такъ это сонъ, лелѣя,
Тоску на душу мнѣ навелъ,
Лети-жъ, ямщикъ, лети скорѣе,
Несись живѣй, пошелъ, пошелъ...

Вотъ, вотъ она, Москва родная,
Вотъ онъ, души отрадный край,
Здѣсь вы, друзья, здѣсь дѣвы рай,
И весь онъ, весь мой свѣтлый рай.

В а д и м ѣ.

«Тройку» Вадима я передала Михаилу Николаевичу Загоскину, онъ ее распространилъ, и ее пѣли во многихъ домахъ.

По обыкновенію, я проводила каждое воскресенье у княгини. Наталія было уже пятнадцать лѣтъ; она больше понимала меня и больше сближалась со мною. Княгиня старѣлась, слабѣла, выѣзжала только въ церковь, гдѣ всю обѣдню сидѣла, а потомъ цѣлый день отдыхала. Отъ времени до времени она прокатывалась въ каретѣ, для воздуха, иногда заѣзжала къ братьямъ, большею частью не выходя изъ кареты, посылала человека узнать о здоровьѣ того и другого братца. Когда подъѣзжала къ дому сенатора и человекъ бѣжалъ спросить о его здоровьѣ, то почти всегда приносилъ отвѣтъ: «братецъ-де не изволятъ быть дома, выѣхали; слава Богу, въ добромъ здоровьѣ». Когда же карета останавливалась у дома Ивана Алексѣевича, то отвѣтъ былъ: «братецъ изволятъ благодарить, а они-де все попреж-

нему изволять каплять и чувствовать разные недуги. Дверцы кареты захлопывались, два высокіе лакея, равнаго роста, въ ливреѣ съ галунами и треугольныхъ шляпахъ, становились на запятки, и экипажъ, запряженный четверней, съ фореиторомъ-малюткой, трогался и ѣхалъ далѣе. Посѣщать многочисленныхъ знакомыхъ княгиня была уже не въ силахъ. Она отправляла вмѣсто себя Наташу съ Марьей Степановной. Жизнь Наташи въ домѣ княгини и туалетъ ея значительно улучшились. Княгиня къ ней, видимо, была привязана и положеніе Наташи все больше и больше становилось положеніемъ дочери, а не воспитанницы.

Каждое послѣобѣда княгиня часа два отдыхала; Наташа въ это время садилась у окна въ диванной, съ книгой или работой. Когда я бывала у нихъ, то мы у окна вмѣстѣ читали, или я давала Наташѣ изъ чего-нибудь урокъ. Съ нѣкотораго времени порядкомъ этотъ былъ прерванъ посѣщеніями одного молодого человѣка, моего родственника по отцу, Ивана Егоровича Рагозина. Онъ сталъ бывать у княгини каждое воскресенье въ то время, какъ она отдыхала, и иногда уѣзжалъ, не дождавшись ея, поговоривши со мной около часа въ гостиной. Мы знали другъ друга съ моего дѣтства, но видались рѣдко. Онъ кончилъ курсъ въ университетѣ и занималъ порядочное мѣсто.

Въ одно воскресенье разговоръ у насъ томился, какъ ни старалась я оживлять его. Рагозинъ отвѣчалъ разсѣянно, былъ смущенъ и вдругъ спросилъ меня, согласна ли я выйти за него замужъ. Непрigотовленная къ этому, я была поражена и нѣсколько минутъ молчала. Рагозинъ повторилъ вопросъ.

— Можно ли рѣшить такъ скоро, — отвѣчала я взволнованнымъ голосомъ: — я не ожидала...

— Можеть, вамъ нравится другой?

— Почему вы сдѣлали мнѣ этотъ вопросъ?

— Выпа нерѣшительность... вы такъ встревожены.

— Вы знаете... я почти нигдѣ не бываю... кого же я могла видать?

— А домъ Мертваго? Пассеки... Вадимъ?...

— Что за идея? — прервала я его съ неудовольствіемъ.

— Успокойтесь, пожалуйста, — остановилъ онъ меня,

дружески взявши за руки:—не давайте сейчасъ отвѣта; подумайте, я готовъ ждать сколько хотите. Повѣрьте, жизнь моя будетъ посвящена вашему счастью.

Его вниманье, его кротость трогали и стѣсняли меня.

— Насъ не будутъ вѣнчать,—сказала я, чтобы сказать что-нибудь:—мы въ слишкомъ близкомъ родствѣ.

— Обвинчаютъ. Я справлялся у архіерея. Скажите мнѣ искренно: вы никого не любите, никому не давали слова?

— Никому не давала.

— Такъ что же? я ждать буду, если вы этого хотите; но неужели намъ надобно еще узнавать другъ друга?

Поговоривши и помолчавши около часа, мы дружески простились, ничего не рѣшивши.

Рагозинъ отъ княгини поѣхалъ къ Яковлевымъ.

Я вошла въ диванную разстроенная.

Наташа все слышала и была страшно взволнована. Щеки ея горѣли.

— Что же вы, душенька,—спросила она меня неровнымъ голосомъ:—пойдете за него?

— Ничего не знаю... не понимаю...—отвѣчала я и залилась слезами.

Глядя на меня, расплакалась и Наташа.

Княгиня, узнавши о сдѣланномъ мнѣ предложеніи, совѣтовала принять его; также и у Яковлевыхъ говорили съ большой похвалой о Рагозинѣ, представляли мнѣ мое затруднительное положеніе вслѣдствіе разъединенія моего отца съ его женою и совѣтовали не поступать очертя голову, а серьезно обдумать.

Наконецъ и Саша спросилъ меня, отчего я не рѣшаюсь и такъ грустна.

— Надобно время, обдумать, сообразить,—отвѣчала я.—Я понимаю справедливость всего, что мнѣ говорить, но не могу рѣшиться, не могу дать себѣ отчета въ самой себѣ; только чувствую, что надобно любить иначе, нежели я люблю Рагозина, для того, чтобы идти замужъ.

— Это все романы. Ты Рагозина знаешь съ дѣтства, дружески расположена къ нему, человѣкъ отличный, красавецъ—чего же еще?

— Любви.

— Какой любви?... или ты любишь кого-нибудь другого?

— Не знаю. Быть-можетъ.

— Кого же? Вадима,—недовольнымъ тономъ замѣтилъ Сапа:—изъ этого не можетъ выйти ничего. Вадиму жениться нельзя и не должно. Кромѣ того, что онъ еще слишкомъ молодъ, онъ не имѣетъ ни состоянія, ни общественнаго положенія. Семейная жизнь запутаетъ его въ заботахъ, мелочахъ и отвлечетъ отъ предназначенія. Ты знаешь, что ему нравишься, но этого недостаточно, чтобы жениться. Сверхъ того, нравиться еще не значитъ любить.

— Это правда, Сапа,—отвѣчала я печально.

— Подумай о себѣ, Таня, съ Рагозинымъ ты будешь счастливѣе, чѣмъ съ Вадимомъ, это человекъ, рожденный для семейной жизни; Вадимъ не то: ему предстоитъ дорога шире, семейная жизнь не удовлетворитъ его, а только собьетъ съ пути. Навѣрно онъ и самъ это чувствуетъ.

Дни проходили за днями; Рагозинъ раза три былъ у насъ, писалъ мнѣ. Чтобы окончить такое тяжелое положеніе, Сапа вздумалъ призвать на помощь Катерину Ивановну, зная мое высокое понятіе о ней, и отправился къ Пассекамъ, у которыхъ мы не были уже нѣсколько дней.

Увидавши матушку, Сапа сказалъ:

— Катерина Ивановна, къ Танѣ сватается прекрасный женихъ. Если вы любите ее и желаете ей добра, уговорите ее идти за него: она не рѣшается. Виною—романы. Я проклиная Жанлисъ, Котень и всю ихъ компанію.

— Можно ли вмѣшиваться въ такого рода дѣла,—отвѣчала матушка съ неудовольствіемъ.—Если она не рѣшается, стало-быть, не любить.

Александръ удивился тону, которымъ это было сказано, и робко произнесъ:

— А я-было надѣялся, Катерина Ивановна, что вы ее образумите.

— Напрасно, я и своихъ дѣтей въ такомъ дѣлѣ уговаривать не стану; какъ знаютъ сами, пусть такъ и дѣлаютъ.

Сказавши это, матушка вышла изъ комнаты.

Саша, недовольный неудачами, какъ только пришелъ домой, то и отдалъ мнѣ мой альбомъ. Оставшись одна, я тотчасъ раскрыла его, прочитала написанное Вадимомъ. Судьба моя была рѣшена. Будь что Богу угодно,—сказала я сама себѣ:—онъ любить меня—этого довольно. Въ душѣ моей распространилось спокойствіе и возникла какая-то новая сила.

Когда мы увидались съ Пассеками, матушка тревожно спросила меня:

— Поздравить васъ?

— Съ чѣмъ, Катерина Ивановна?

— Невѣстой.

— Я не выхожу замужъ,—отвѣчала я.

Спустя нѣсколько дней, Александръ получилъ отъ Вадима письмо слѣдующаго содержанія:

Харьковъ, 1832 года, іюня...

«Другъ Александръ! Рагозинъ человѣкъ съ умомъ, красивъ собой, занимаетъ хорошее мѣсто—много достоинствъ для жениха, но стоитъ ли онъ твоей сестры? на этотъ вопросъ отвѣчать не мнѣ. Должна ли она ввѣрить ему свою судьбу? это можетъ рѣшить только она. Велико желаніе дѣлать людей счастливыми насильно; но правильно ли оно? къ чему принуждаютъ, того не хочетъ принуждаемый; чего онъ не хочетъ, а ему даютъ, на то онъ будетъ смотрѣть безъ наслажденія, еще болѣе—какъ на притѣсненіе. Все это я говорю насчетъ брака твоей сестры. Я ее люблю,—и вотъ мое право на подобный разговоръ съ тобою. Я пишу ей и дѣлаю такое же предложеніе. Предоставь выборъ на ея волю, а самъ прочти письмо, которое я приготовилъ тебѣ уже больше недѣли тому назадъ, но еще не рѣшался его къ тебѣ отправить».

Въ приложенномъ, прежде писанномъ, письмѣ Вадимъ говорилъ Сашѣ, что любить меня и хочетъ на мнѣ жениться; но не увѣренъ въ моихъ чувствахъ къ нему, а если я и отвѣчаю ему, то рѣшусь ли выйти за человѣка, лишеннаго правъ дворянства, состоянія, безъ опредѣленнаго положенія, и что семейство ихъ хотя и будетъ теперь обезпечено, но его собственность состоятъ только въ книгахъ и планахъ души. Далѣе онъ дѣлаетъ очерки своего характера, плановъ жизни, дѣя-

тельности и просить Александра быть не посредникомъ, а только передать мнѣ все, все это, и спросить меня.

«Вотъ что я писалъ тебѣ, Александръ (продолжалъ Вадимъ), вскорѣ по пріѣздѣ моемъ въ Харьковъ; теперь же пишу прямо къ ней. Твои поступки мнѣ странны, Александръ, ты съ первыхъ дней моего знакомства съ твоей сестрой говорилъ со мной о ней и не могъ не замѣтить моего къ ней расположенія. Ты читалъ мои стихи, которые я написалъ въ ея альбомѣ, и ты ни слова не написалъ мнѣ о послѣднихъ обстоятельствахъ. На это могли быть двѣ причины: или ты не хотѣлъ этого видѣть, или не отсталъ въ этомъ случаѣ отъ обыкновенныхъ формъ до того, что не могъ говорить даже со мною о твоей сестрѣ, о моей любви къ ней. Вадимъ».

Одновременно съ письмомъ Вадима къ Сашѣ получила письмо и матушка, въ которое вложено было письмо и ко мнѣ. Вадимъ просилъ мать свою передать его мнѣ и дать ему свое благословеніе.

Я находилась въ это время у Пассековъ.

— Теперь ты наша, Таня,—сказала матушка растроганнымъ голосомъ, со слезами на глазахъ, отдавая мнѣ письмо Вадима.—Помолимся вмѣстѣ Богу, чтобы Онъ благословилъ васъ.

Матушка не спрашивала меня, согласна ли я, она знала мой отвѣтъ.

Тоненькій листочекъ голубой почтовой бумаги трепеталъ въ рукѣ моей; слова мелькали, путались, горѣли. Я все поняла, залилась безотчетными слезами, обняла матушку и прижалась къ ея груди. Сердце мое уже давно назвало ее матерью.

Въ той же комнатѣ, въ которой я стала невѣстой Вадима, мы передъ образомъ помолились Богу; матушка призывала Его благословеніе на судьбу нашу и, вѣроятно, молитва ея была услышана—десять лѣтъ безграничнаго счастья были удѣломъ нашимъ.

Какъ хорошъ, какъ тихъ былъ наступавшій вечеръ этого дня; сколько счастья, сколько любви было въ небольшомъ домикѣ, по низенькому крыльцу котораго я вошла первый разъ на Святой недѣлѣ.

Солнце закатывалось ясно, лучи его какъ-то празд-



Діомидъ Васильевичъ Лассекъ.



нично освѣщали всѣ предметы,—или это было отраженіемъ состоянія души моей?

Все и всѣ казались мнѣ прекрасными, очастливими.

— Пиши скорѣе отвѣтъ Вадиму, моя Таня, — говорила матушка: — я знаю, онъ теперь мучится неизвѣстностью.

На другой день, утромъ, коротенькій отвѣтъ полетѣлъ въ село Спасское.

~~~~~

## ГЛАВА XXII \*).

Діомидъ Васильевичъ Пассень.

1832 г.

Я была объявлена невѣстой Вадима Пассека. Всѣ родные отнеслись къ этому сочувственно, кромѣ Саши. Въ немъ виденъ былъ отбѣнокъ того недовольства и грусти, съ которымъ я смотрѣла на его дружбу съ Никомъ и на его страстное увлеченіе университетомъ. Былъ ли это страхъ утратить въ Вадимѣ полезнаго общественнаго дѣятеля, опасеніе ли потерять во мнѣ друга, къ нераздѣльной привязанности котораго онъ привыкъ съ дѣтства,—не знаю; знаю только, что нѣсколько времени онъ былъ печаленъ, холоденъ въ письмахъ къ Вадиму и со мною. Мнѣ жаль было Сашу и самой тяжело. Я старалась вразумить его, что не могу отвлекать Вадима отъ полезной дѣятельности и что дружбѣ моей къ нему нѣтъ возможности измѣниться,

---

\*) Глава эта, напечатанная въ «Русской Старинѣ», нѣсколько измѣнена и дополнена. Все, что въ ней добавлено, сообщено мнѣ братомъ Діомидомъ Васильевичемъ Помпеемъ Васильевичемъ Пассекъ, который, будучи съ нимъ въ самой тѣсной дружбѣ, внимательно слѣдилъ за его дѣятельностью и постоянно собиралъ о немъ свѣдѣнія отъ лицъ, непосредственно участвовавшихъ съ нимъ въ экспедиціяхъ на Кавказѣ, или близко знакомыхъ съ его военными дѣйствіями, какъ напримѣръ, князь В. И. Васильчиковъ, графъ Бенкендорфъ, Шварцъ, Бѣлявскій, Вранкенъ, Зарудный, бывший при немъ ординарцемъ въ Кака-Шуринскомъ дѣлѣ, супруга покойнаго генерала Клюки-фонъ-Клюгенау и многіе другіе.

какъ нѣтъ возможности человѣку оторваться отъ своего прошедшаго; но что чувство другого рода увлекаетъ меня еще сильнѣе, нежели его увлекаютъ Никъ и университетъ.

Оставаться долго въ холодныхъ отношеніяхъ мы не могли. Мало-по-малу, теплая дружба вступила въ свои права. Точно камень упалъ съ души моей, мѣшавшій мнѣ жить вполне. Кромѣ того, что отчужденіе Саша огорчало и тяготило меня, чувство счастья было такъ велико, что не вмѣщалось въ груди — мнѣ необходимо было дѣлиться имъ, и именно съ Сашей. Никто не могъ такъ понимать меня, такъ мнѣ сочувствовать, какъ онъ. Съ нимъ я говорила о Вадимѣ, ему читала его письма.

Все, что было сдержаннаго въ душѣ до объясненія, горячимъ потокомъ выливалось въ этихъ письмахъ.

Письмо — это что-то среднее между живымъ словомъ и мертвой книгой, отъ любимаго человѣка — жизнь. Бумага въ рукахъ исчезаетъ, исчезаютъ слова; мысли, чувства становятся невещественною рѣчью, аккордами раздаются въ душѣ. Рѣчь, — порой безъ связи, огнемъ пробѣгаетъ по душѣ, молитвой уносится въ небо. Читаешь не одно то, что написано, но и то, чего ни земнымъ языкомъ, ни земной музыкой и выразить невозможно. Видишь между строкъ взглядъ любви и останавливаешь на немъ душу свою.

Изъ переписки моей съ Вадимомъ я стала его понимать настоящимъ образомъ. Впослѣдствіи всю жизнь стремилась подняться до его нравственной высоты и никогда не могла до нея достигнуть.

Дѣла по раздѣлу имѣнія удержали Вадима въ деревнѣ до половины октября.

Въ іюлѣ ожидали въ Москву Діомиды. Я знала, что Вадимъ дружнѣе всѣхъ братьевъ съ Діомидомъ, понимала, что впечатлѣніе, которое произведетъ на него, отзовется на Вадимѣ, и прибытія его боялась, несмотря на то, что уже имѣла о немъ понятіе — какъ изъ разсказовъ родныхъ, такъ и изъ его писемъ, и то, что узнала, должно было бы меня успокоить.

Въ письмахъ Діомиды, еще юноши, сквозитъ его характеръ, поэтому я нашла небезынтереснымъ помѣстить

въ моихъ воспоминаніяхъ небольшіе отрывки изъ нѣкоторыхъ \*).

4-го ноября 1830-го года онъ писалъ роднымъ:

«Здравствуйте, родители, братья и сестры!

...  
«Какъ различна ступень, на которой стою, отъ той, на которой стоялъ! давно ли за три тысячи верстъ и горе, и рубище, и мракъ невѣдѣнія были моею долей!...

«Когда прощался съ вами, слезы градомъ невольно покатились. Оставшись одинъ, не могъ ни плакать, ни думать, смотрѣлъ вдаль и не видѣлъ ничего... Москва скрылась. Закатился и день, встрѣтившій меня въ домѣ родномъ. Ночь налегла на окрестности. Промчали Клины, — боль души усиливалась и — я лишился чувствъ \*\*), думая: умру — и ни одно родное слово не утѣшить въ послѣднюю минуту, ни одна слеза... Мнѣ помогли. Слезы облегчили душу. Снова помчался.

«Дальніе пѣтухи прокричали полночь. Переменяли лошадей. Была еще ночь... На разсвѣтъ миновали Тверь, къ обѣду — Торжокъ, и снова холодная ночь.

Недвижна блѣдная луна,  
На поле легъ туманъ,  
Душа моя грустна....

«Новгородская природа рѣзкой чертой отдѣлилась отъ смежныхъ губерній. Отъ границы идутъ грядами одні надъ другими возвышенности. Холмы усыяны кустами и деревьями. Каждый холмъ можетъ служить крѣпостію и служилъ нѣкогда оградой вольности новгородской. За Валдаемъ начинается плоскость — скатомъ къ морю; на ней Новгородъ. Неужели эти слабыя стѣны могли противостоять ливонцамъ, литовцамъ, полчищамъ московскимъ? Конечно, нѣтъ! сильный духъ гражданъ хранилъ ихъ, а не эти слабыя ограды. Онѣ древни, но не дряхлы. Груды разрушенныхъ зубцовъ напоминаютъ послѣдній роковой ударъ. Обширныя ворота стоятъ, какъ эмблема гостепріимства и свободы Новгорода.

---

\*) Сообщено родной сестрой Діомидомъ Васильевичемъ, Людмилею Васильевною Пасекою.

\*\*) Діомидъ Васильевичъ былъ очень впечатлительнъ: при сильномъ душевномъ движеніи падалъ въ обморокъ; также и при сильныхъ умственныхъ занятіяхъ.

Боже мой! стѣны эти видѣли славу древняго города и не могутъ передать ее, а наводятъ уныніе, какъ памятникъ на гробъ великаго; но это перерождается въ чувство возвышенное.

«Огромныя слободы прилегаютъ къ городу. Образованіе ихъ не есть ли остатокъ прежняго духа? Древніе монастыри стоятъ одиноко по пажитямъ. За Новгородомъ вездѣ виднѣтся сосновый лѣсъ. Съ границы Петербурга сосновый лѣсъ начинаетъ оспаривать береза, ольха и переспариваютъ.

«За семь верстъ отъ Новгорода начинаются военныя поселенія».

(Отрывокъ изъ описанія поѣздки въ дилижансѣ).

«Одинъ изъ товарищей моею поѣздки съ самаго выѣзда не переставалъ напѣвать итальянскія и нѣмецкія фантазіи и пѣсни; раскланивался съ народомъ, веселился на его счетъ и, смѣясь, выпивалъ водку у ѣхавшаго съ нами купца. Разъ ему вздумалось посидѣть со мною и пѣть разгульныя пѣсни. Ну, я испортилъ его здоровый желудокъ, и послѣ этихъ пѣсень мы оба успокоились.

«Гостиница Померанія. 90 верстъ отъ Петербурга. Я заснулъ. Проснулся—ѣдемъ. Снова заснулъ. Проснулся. Вотъ огромные дома, каменные мосты,—Петербургъ. Я проспалъ 90 верстъ. На улицахъ—никого. По тротуарамъ зажужжали желѣзныя лопатки и—мы въ конторѣ.

«Въ Петербургѣ каждый домъ вытянутъ въ линію и стѣсненъ другими зданіями, такъ что красоты его видѣть нельзя. Повидимому, заботятся не столько о красотѣ, сколько о выгодахъ.

«Созданіе выгодъ и расчета—непріятное созданіе.

«Конечно, въ Петербургѣ есть зданія, какихъ не сыщешь въ Москвѣ, но отдѣльныя части не условія красоты цѣлаго.

«Въ Москвѣ каждое зданіе обрисовывается само по себѣ и вмѣстѣ съ окрестными зданіями представляетъ прелестную картину.

«Что можетъ быть прекраснѣе Кремлевской горы, съ ея древними башнями, зубцами, золотыми куполами! А видъ съ Царской площади на обширное Замоскворѣчье, съ садами, смѣющимися рощами, скатами Воробьевыхъ



горь! Этому виду уступить очаровательная Невская набережная, съ крѣпостью, дворцами, кораблями и дальнимъ синимъ взморьемъ. Кто забудетъ Москву съ ея безыскусственною прелестью, радушіемъ, открытой душой.

«Красавецъ Петербургъ суетливъ, холоденъ, всѣмъ недосугъ, у всѣхъ свои виды, всѣмъ до себя.

«Въ Петербургъ—служить.

«Въ Москвѣ—жить».

8-го ноября.

«Бьетъ девять часовъ. Уже двѣ недѣли я безъ васъ! двѣ недѣли взоръ мой не встрѣчаетъ зора родного! не слышу родного голоса! порой мнѣ кажется, я слышу васъ, обнимаю, плачу. Сердце ноетъ, а душа не приноситъ утѣшительной вѣсти съ родины».

10-го ноября.—Воскресенье.

«Ровно пять мѣсяцевъ, какъ я держалъ экзаменъ въ университетѣ. Порадуйтесь, друзья мои! Порадуйтесь! Я самъ радуюсь за себя. 30 человѣкъ офицеровъ окружало и слушало меня, и я былъ одобренъ экзаменаторами. Благословите меня, родители, друзья—и благословеніе Бога будетъ надо мною».

11-го ноября.

«Сейчасъ получилъ отъ васъ письмо и читалъ, какъ кто проводить время.

«Милые, милые! объ чемъ, родимые, ваши слезы? Плачьте, но пусть слезы ваши будутъ слезами радости. Въ бездѣйствіи я бы изнылъ, не отъ одного недостатка дѣятельности,—нѣтъ, малѣйшее противъ... я рвался бы; а теперь что ни будетъ, есть опора, надежда на счастливую службу. Теперь служба моя счастлива или, лучше сказать, счастье въ ней зависитъ отъ меня; а я не потеряю его, не буду безумно растрчивать время, какъ растрчивалъ нѣкогда. Нѣтъ! лучше не плачьте, не смущайте души моей, и путь мой будетъ твердъ.

«Я плакалъ, уѣзжая изъ Москвы, а теперь радуюсь, что здѣсь. Я думалъ, что утратилъ счастье жизни, теперь думаю, что нашелъ его; но да не смущаетъ васъ мысль, что, оставя васъ, я радуюсь, какъ будто я люблю васъ меньше, какъ будто забылъ васъ. Нѣтъ, я люблю васъ болѣе, нежели когда-нибудь; удаливъ

пись—цѣню болѣе, нежели прежде. Узнавши опытомъ, безпристрастно смотрю на то, къ чему бы стремился не выдавши.

«Насъ называютъ несчастливцами... Мы несчастливцы! Имѣя такихъ родителей, братьевъ, сестеръ, друзей! Вашъ Діомидъ».

Въ 1831 году Діомидъ Васильевичъ писалъ Вадиму:

Петербургъ \*) 26-го сентября 1831 г.

«Другъ и братъ Вадимъ!

«... Въ Петровскомъ паркѣ я сказалъ тебѣ послѣднее прости, и тройка понеслась по московской дорогѣ. Былъ прекрасный полдень. Москва рисовалась во всемъ величїи. Какъ лампады, горѣли надъ ней златыя главы церквей и монастырей. Еще... еще... видна... исчезла.

Прости Москва, прїютъ родимый!

Прости!..

«Мы скакали, мѣняли лошадей; въ мысляхъ, въ чувствахъ былъ хаосъ. Наконецъ, изъ хаоса созданъ стройный міръ. Забытая радость проснулась въ груди, какъ будто я восторжествовалъ надъ всѣмъ, какъ будто перенесся въ новую жизнь. День вечерѣлъ. Въ дальней мглѣ тонуло заходящее солнце; поднимался туманъ; ночь была холодная. Взошелъ мѣсяцъ и свѣтлой пеленой раскинулъ лучи свои надъ горизонтомъ».

8-го ноября.

«Тверь. Кто, смотря здѣсь на Волгу, скажетъ, что это тотъ исполинъ, который орошаетъ многолюдныя губерніи—прекрасную часть Россїи. Тысячи рѣкъ впадаютъ въ нее, какъ средство явиться въ своемъ величїи. Не такъ ли геній, обладающій средствами для своего развитія, объемлетъ все, соображая, выводитъ новыя средства, способствующія достигнуть цѣли. Если же желѣзная рука обстоятельствъ стѣснить его—онъ погибнетъ въ толпѣ. Пусть кипятъ благородныя страсти, пусть творческій умъ слѣдитъ окружающее, погружается въ соображенія, страстность замретъ подъ угнетающей бѣдностью, силы упадутъ, вырываясь изъ тяготящихъ рукъ ея; умъ, лишенный средствъ развиваться образованіемъ, погрязнетъ въ предразсудкахъ; стремясь

---

\*) Подлинное письмо находится у Т. Пассека.

къ новому, будетъ дѣлать ложные выводы, или найдетъ то, что давно уже было извѣстно. Такъ, смотря на Волгу, мысль моя невольно перенеслась къ генію. Да, геній, имѣющій средства развиться, подобенъ Волгѣ, вмѣщающей въ берегахъ своихъ обширную массу втекающихъ въ нее водъ.

«Цѣль генія не слава, а удовлетвореніе внутренняго чувства и блага человѣчества.

«Мѣдное. Ходилъ на кладбище. Это родъ мостовой: на каждой могилѣ два-три сѣрыхъ камня—признакъ, гдѣ прахъ утраченного.

«Съ какой тоской, съ какимъ влеченіемъ идешь къ могилѣ любимаго существа, гдѣ хранится прахъ тебѣ священный...

«Такъ бродилъ я съ тоской у могилы моего отца. Горячія слезы лились на дернъ, подъ которымъ хранятся его останки. Онъ и теперь льются при воспоминаніи о немъ.

«Со мной ѣхалъ испанецъ. Онъ горячился на дождь: «если бы можно было, я бы закололъ его кинжаломъ»,—говорилъ онъ. Бѣсился на дорогу, на экипажъ, на то, что ѣхали, на день, на ночь, на то и на то, ну, словомъ,—на все. Наконецъ, ему пришла идея посердиться на меня. Я однимъ взглядомъ оледенилъ его испанскую кровь, и онъ цѣлую станцію молчалъ и ни на кого не сердился.

«Тверскія равнины очаровательны! мѣстами, какъ острова, темнѣютъ рощи, виднѣются берега Тверцы. Дальѣе лѣса увеличиваются, равнина превращается въ цѣпь холмовъ; центръ ихъ и главная возвышенность подъ Ижорской станціей. Тутъ видно какъ бы послѣднее усиліе природы восторжествовать надъ низменностью, холмы исчезаютъ, однообразныя болота тянутся на сотни версты. Утомительно тяжело! и вдругъ Петербургъ, рожденный геніемъ Петра.

«За Валдаемъ гряда холмовъ образуетъ пространную ложбину, по которой, извиваясь, струится источникъ.

«Я помню другія рѣки. Рѣка съ шумомъ несетъ подъ ногами и, дробясь, сыплется въ бездну. Надъ ней гулъ тысячи молотковъ сливается съ шумомъ воды. Вдали подернутыя мохомъ скалы упираются въ скалы, образуя цѣпи горъ. Эти горныя цѣпи высятся надъ

облаками, оковываютъ сводъ неба и сливаются съ дальней синей мглою. Душа скоро утомляется такимъ величьемъ—хочется отдыха и болѣе кроткихъ видовъ.

«Я люблю осень. Шелестъ падающихъ листьевъ, пожелтѣвшія поля, шумъ осенняго вѣтра—отрадны мнѣ. Можетъ, уныніе природы и вой вѣтра родственны моей душѣ; вѣрно на ней остался отпечатокъ моей печальной юности...

Твой навсегда Діомида».

«Р. С. Можетъ-быть, скоро выплю тебѣ, другъ и братъ, журналъ моего московскаго житья. Извини меня за поспѣшность, за все, за все и за дурной почеркъ».

По желанію матушки, иногда я оставалась у нея ночевать. Спала я въ ея комнатѣ, на одной постели съ старшей сестрой Вадима—Оленькой, которую очень любила.

29-го іюля, только что всѣ легли спать, какъ послышалось въ домѣ движеніе, затѣмъ шумъ и радостный крикъ: «Доша, Доша!» (такъ называли въ семействѣ Діомида). Матушка торопливо встала съ постели, накинула на себя капоть и поспѣшно пошла встрѣчать Діомида; за ней, набросивши на себя платье, побѣжала Оленька, сказавши мнѣ: «одѣвайся скорѣе, Таня». Оставшись одна въ темнотѣ, я встала съ постели, надѣла на босую ногу башмаки, а на себя свою холстинковую блузу и, стоя у кровати, раздумывала, идти ли ко всѣмъ или остаться тутъ, какъ услышала за дверью юный, твердый голосъ Діомида: «гдѣ же Таня? — говорилъ онъ:—представьте меня ей». Съ этими словами дверь въ спальную растворилась, и при свѣтѣ свѣчи, горѣвшей въ другой комнатѣ, я увидала высокаго, стройнаго молодого человѣка, въ голубомъ мериновомъ бешметѣ, съ серебряными шнурами.

Я стояла у кровати, чуть дыша отъ душевной тревоги. «Это невѣста Вадима,—сказалъ Діомида, быстро подходя ко мнѣ и ласково, протяжнымъ голосомъ добавилъ:—какая крошка!» (такъ названье крошки онъ и оставилъ за мной).

Его тихій, кроткій голосъ успокоилъ меня нѣсколько.

— Что же это мы остаемся въ полутьмѣ,—говорилъ

Діомидъ: — пойдѣте на свѣтъ, дайте намъ познакомиться,—и, взявши меня за руку, привелъ въ диванную, гдѣ сестры уже встали, были одѣты, все семейство сошлось и во всѣхъ комнатахъ горѣли свѣчи.

Не опуская моей руки, Діомидъ пристально посмотрѣлъ на меня и, улынувшись, сказалъ:

— Мнѣ кажется, я увидалъ васъ послѣ долгой разлуки, а вамъ?

Взглянувши въ глаза Діомиду, устремленные на меня съ той иѣжностью, съ которой смотрять на симпатичнаго намъ ребенка, отвѣтила тихонько:

— Также.

— Что же это,—весело продолжалъ Діомидъ, крѣпко пожавши мнѣ руки:—мы точно чужіе говоримъ другъ другу вы, вѣдь мы съ тобой свои, друзья, милая крошка, Таня, не такъ ли? да?

— Да,—отвѣчала я и, придумывая, какое бы названіе прибавить къ имени Діомида, взявъ даннаго имъ мнѣ прозванья «крошка», всматриваясь въ него, какъ-то безотчетно, не подумавши, добавила: «прелесть Доша».

И дѣйствительно, Діомидъ былъ очень хорошъ собою. Взоръ его темно-карихъ глазъ былъ полонъ огня и задушевности. Довольно большой ротъ съ полными губами выражалъ сильную волю, энергію и мужество, между тѣмъ какъ въ улыбкѣ и въ немъ во всемъ разлита была та ясность и та дѣтская грація, которая влечетъ, вызываетъ довѣріе. Когда онъ говорилъ, одушевленный какой-нибудь идеей, въ голосѣ его и во взорѣ было столько искренности и обаянія, что многіе покорялись ихъ вліянію. При свѣтломъ умѣ, онъ былъ глубоко религіозенъ. Изъ этого основанія истекалъ весь образъ его жизни. Діомидъ пѣжно любилъ мать и все семейство свое, съ чувствомъ вспоминалъ о своемъ дѣтствѣ, о лишенияхъ, на которыя обрекала себя мать его ради дѣтей своихъ, о жертвахъ, приносимыхъ братьями и сестрами, и всегда говорилъ, что семейству своему онъ обязанъ лучшей частью самого себя. Въ семейныхъ отношеніяхъ онъ видѣлъ основу гражданскаго общества и смотрѣлъ на нихъ съ большимъ уваженіемъ.

Къ недостаткамъ Діомида можно отнести чрезмѣрную вспыльчивость. Всплывши, онъ забывалъ все. Глаза его,

сверкнувши, потухали, становились грозны и темны, огонь сосредоточивался въ груди. Въ спорахъ иногда онъ до того разгорячался, что иногда разрывалъ на части носовой платокъ.

Вадимъ очень желалъ, чтобы Діомидъ сблизился со мною. Въ первыхъ числахъ августа я писала Вадиму, между прочимъ:

«Ты хотѣлъ, чтобы мы съ Діомидомъ полюбили другъ друга, мы и подружались, но не потому только, что тебѣ такъ хотѣлось, а по взаимному влеченью.

«Сегодня утромъ, пока маменька хлопотала по хозяйству, Доша долго ходилъ со мной по двору,—разсказывалъ мнѣ о своемъ дѣтствѣ, о страданіяхъ, вынесенныхъ семействомъ въ Сибири, о минутѣ вашего освобожденія, поѣздкѣ изъ Тобольска въ Москву,—и довѣрилъ свои планы въ настоящемъ».

Небольшую часть разговора со мною Діомидъ помѣстилъ въ двухъ статьяхъ въ «Очеркахъ Россіи» \*). Одна—письмомъ къ редактору подъ названіемъ «Воспоминанія о Сибири и Казани», другая просто «Воспоминанія о Сибири» \*\*).

«Письмо изъ Казани,—писалъ онъ:—пробудило въ душѣ моей, братъ и товарищъ дѣтства моего, воспоминанія первыхъ лѣтъ нашей юности. Вспомнилось мнѣ, какъ мы приближались къ Казани.

«Былъ теплый лѣтній вечеръ, солнце закатывалось, дорога шла молодымъ дубовымъ лѣсомъ. Какъ ждали мы, когда откроется передъ нами городъ. Съ какимъ вниманіемъ всматривались въ полосу зданій, когда направо открылся передъ нами городъ, какъ хотѣлось до-

\*) Діомидъ очень любилъ отечественную литературу и ею занимался. Изъ его сочиненій замѣчательно «Сравненіе Карла XII съ Петромъ Великимъ, какъ полководцевъ». Первая часть этого сочиненія напечатана въ «Очеркахъ Россіи», издаваемыхъ его братомъ Вадимомъ Васильевичемъ Пассекомъ въ 1840 году (часть IV). Онъ принималъ горячіе участіе въ изданіи «Очерки Россіи». И такъ же, какъ и Вадимъ, намѣренъ былъ помѣщать въ этомъ изданіи статьи о жизни ихъ семейства въ Сибири, по ихъ освобожденіи въ Москвѣ, и статьи о военныхъ событіяхъ, но исполнить этого не успѣлъ. По неожиданному, глубоко огорчившему его обстоятельству онъ пожелалъ быть переведеннымъ на Кавказъ.

\*\*) «Очерки Россіи» 1840 года, часть III, смѣсь, стр. 21, письмо къ издателю, по поводу письма изъ Казани.

браться до него до ночи, и съ дѣтскимъ любопытствомъ смотрѣли на громаду зданій. До этихъ поръ мы не видали ни одного города, такого обширнаго, такого великолѣпнаго. Казань удовлетворяла нашимъ мечтамъ о городахъ».

Далѣе Діомидъ дѣлаетъ историческій очеркъ Казани, бросаетъ взглядъ на ея значеніе и, сказавши нѣсколько словъ о ея промышленности, опять обращается къ личнымъ воспоминаніямъ.

«Помнишь ли, другъ мой, какъ мы, бродя по обширнымъ лугамъ Волги и Казанки, измѣряли взоромъ крутизну высоты, на которой стоитъ древній городъ и его низкія стѣны, какъ тонули мыслью въ вѣкахъ минувшихъ. Передъ нами воскресалъ станъ Грознаго, битвы подъ стѣнами и ужасъ паденія столицы царства Казанскаго. И вотъ, я какъ будто стою у памятника, на могильномъ курганѣ русскихъ, приближаюсь къ огромной устѣченной пирамидѣ-памятнику, молюсь въ устроенной внутри его часовнѣ, всматриваюсь со страхомъ въ черты грознаго царя и, проникнутый тяжелымъ, трепетнымъ чувствомъ, спускаюсь по темной, тѣсной лѣстницѣ въ могильный склепъ. Свѣтъ неугасаемой лампы горитъ передъ святой иконой, озаряя полуистлѣвшія кости павшихъ уже почти три вѣка.

«Прекрасно пасть за отчизну на полѣ славы! Діомидъ Пассекъ».

«17-го іюня 1820 года,—говоритъ Діомидъ въ статьѣ «Воспоминанія о Сибири»,—на широкомъ дворѣ нашего тобольскаго дома или, лучше, замка, окруженнаго со всѣхъ сторонъ садами и огородами, стояла бойкая тройка, запряженная въ телѣжку, и мы, трое братьевъ, легко одѣтые и вооруженные отъ недобрыхъ людей, рано по утру, простившись съ отцомъ и матерью, окруженные толпой меньшихъ братьевъ и сестеръ, отправлялись къ Искеру, остаткамъ столицы царства Сибирскаго. Коня мчали насъ легко по гладкой лѣсистой сибирской дорогѣ. Переѣхали оврагъ Ивановскаго монастыря—умѣрили горячность.

«Утро было роскошно. Все дышало миромъ. Душа была радостна—жизни, жизни жаждала. Въ 17 верстахъ отъ города мы свернули съ большой дороги и только что выѣхали изъ лѣса, какъ тройка понесла насъ вдоль де-

ревни къ обрыву въ 33 сажени, прямо надъ Иртышемъ. Еще мгновеніе—и мы полетѣли бы въ бездну: Средній братъ, правившій лошадьми, не по лѣтамъ владѣвшій присутствіемъ духа, заставилъ ихъ сдѣлать крутой поворотъ и укротилъ ихъ бѣшенство.

«Въ сопровожденіи деревенскихъ мальчишекъ, мы отправились къ Кучумову городищу. Подъ этимъ названіемъ извѣстны жителямъ бѣдные остатки царства Сибирскаго.

«Когда мы вступили въ него, намъ открылось пространство саженой въ 50 длины и ширины. Его ограничиваютъ съ трехъ сторонъ прямолинейныя сѣзы, съ четвертой, въ видѣ суженнаго осьмиугольника оно обращено къ Иртышу, при его впаденіи въ рѣку Сибирку—и образуетъ мысъ.

«При спускѣ къ руслу рѣки сохранилось нѣсколько колодцевъ, засоренныхъ и заваленныхъ искателями кладовъ.

«Ближе къ восточной сторонѣ есть признаки жилья: ямы, кирпичи—поросшія кустами крапивы, признакомъ запустѣнія. Три глубокія ямы, по преданію татаръ, служили темницами. За оврагами видны признаки бывшихъ кладбищъ.

«Отъ Искера отвалилось въ Иртышъ около 40 саженой.

«Судя по стремительности Иртыша, вѣроятно, онъ подмоетъ мысъ Чувашскій, затопитъ Подчувашскій лугъ, и покроетъ весь подолъ Тобольска. Несмотря на то, что я со смѣлостью горца привыкъ взбираться на крутизны и спускаться съ обрывовъ, съ чувствомъ опасенія смотрѣлъ, какъ воды Иртыша съ глухимъ шумомъ дробились о нависнувшій обрывъ.

«Горный берегъ, желтый, громадной стѣной, увѣнчанной зеленью, полукругомъ опоясываетъ Иртышъ, съ юга на сѣверъ, до синей дали. На немъ бѣлѣютъ стѣны Абалатской обители съ золотыми крестами; виднѣется село Преображенское, дома котораго показываютъ довольство сельскаго быта Сибири. Вдали синѣется прорѣзъ оврага и монастырская роща Ивановской обители. На противоположномъ берегу Иртыша серебрится на неозримомъ пространствѣ песчаная полоса съ бѣдными татарскими юртами, съ стадами воронъ и грачей, съ кри-



комъ гнѣздящихся въ татарскихъ рощахъ.

«Далеко за полдень мы возвратились въ деревню, отдохнули и быстро перенеслись въ родной домъ».

Въ четвертомъ номерѣ «Очерковъ Россіи» помѣщена большая статья Діомидъ: Карлъ XII.

Во второмъ номерѣ находится его статья подъ названіемъ: Шведская могила подъ Полтавою. Оканчивая ее, Діомидъ говоритъ:

«Эта могила можетъ служить памятникомъ славы величайшаго изъ царей, памятникомъ генія Петра Великаго».

Сдѣлавши очеркъ битвы подъ Полтавою и предшествующихъ ей событій, онъ описываетъ печальное торжество 28-го іюня, въ присутствіи Петра Великаго.

«Во время панихиды Петръ Великій присоединилъ свой голосъ къ голосу клира; пѣніе его прерывалось слезами; видя это, плакали и окружающіе. И кто бы не тронулся этими слезами? плакалъ не слабый мужъ надъ этой могилой, но мужъ желѣзной воли, геній—Преобразователь Россіи.

«По окончаніи панихиды, царь обратился съ прощальнымъ словомъ къ убіеннымъ и первый началъ засыпать ихъ землею.

«Когда насыпали курганъ, царственными руками водрузилъ на немъ крестъ съ надписью:

«Воины благочестивые, за благочестіе кровью вѣнчавшіеся, гѣта отъ воплощенія Бога Слова 1709 іюня 27-го дня» и тогда же издалъ указъ «о поминаеніи убитыхъ вѣрки».

«Теперь на курганѣ стоитъ другой крестъ и другая, слѣдующая надпись: «А о Петрѣ вѣдайте, что жизньъ ему не дорога, была бы жива Россія, вѣра и благоденствіе ваше».

Діомидъ заключаетъ свою статью сравненіемъ Петра I съ современными ему полководцами Карломъ XII, Мальбургомъ, принцемъ Евгениемъ, которыми гордится Европа, открывая такимъ образомъ высоту и превосходство въ военномъ отношеніи преобразователя Россіи надъ своими современниками. «Въ этомъ убѣждаетъ,—добавляетъ онъ,—строгое изученіе военныхъ событій».

Передъ Петромъ Великимъ онъ преклонялся, какъ

передъ величайшимъ и могущественнѣйшимъ изъ геніевъ.

Однимъ утромъ, въ первыхъ числахъ августа, я писала Вадиму:

«Сегодня вечеромъ Доша ѣдетъ къ М—вымъ, у которыхъ, помнишь, бывши студентомъ, давалъ уроки. Онъ сказалъ мнѣ о своей любви къ Катѣ М—ой...

«Я бы хотѣла, чтобъ Доша былъ счастливъ такъ, какъ мы съ тобой счастливы.

«Любовь—путь къ небу. Мнѣ бы хотѣлось указать на него всему свѣту».

«Вообрази, Вадимъ, — приписалъ въ этомъ письмѣ Діомидъ: — я сижу подлѣ твоей невѣсты и пишу тебѣ, чтобы сказать, что ты будешь счастливъ съ твоей прекрасной Таней, такъ счастливъ, какъ только можетъ быть счастливъ человѣкъ съ душой, какая у тебя. Твой Діомидъ».

Въ письмахъ Діомиды и Вадима ко мнѣ не разъ встрѣчаются ласковыя названія, вызываемыя ихъ ко мнѣ чувствами и духомъ времени, идеально восторженное настроеніе котораго проникало все. Я ничего не измѣняю въ ихъ письмахъ и запискахъ, писанныхъ не для печати, а для родныхъ и друзей, — они вѣрнѣе всего очертятъ этихъ дорогихъ мнѣ людей, быстро, но не безслѣдно прошедшихъ по землѣ.

«Діомидъ Васильевичъ Пассекъ, — сказано въ изданіи: «Кавказцы, жизнь и подвиги замѣчательныхъ лицъ, дѣйствовавшихъ на Кавказѣ»: — занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ между лицами, пользующимися громкою извѣстностью по отличіямъ въ кавказской войнѣ въ царствованіе императора Николая Павловича».

Діомидъ Васильевичъ родился въ Tobольскѣ 1807 г., учился вмѣстѣ съ братьями своими въ тобольскомъ уѣздномъ училищѣ, перешелъ въ тобольскую гимназію и кончилъ тамъ курсъ. По возвращеніи изъ Сибири поступилъ въ московскій университетъ, на математическій факультетъ, и кончилъ курсъ кандидатомъ.

Съ малолѣтства Діомидъ отличался тупостью и видимой неспособностью излагать свои мысли. Весь организмъ его былъ какъ бы сосредоточенъ на одномъ физическомъ развитіи. Онъ все время проводилъ въ бѣ-

ганьи, лазаньи по деревьямъ, заборамъ, крышамъ, былъ очень силенъ, ловокъ и весь жилъ въ природѣ и съ природою. Любимой забавою его было доставать съ вершинъ деревьевъ, на которыя онъ взбирался, какъ бѣлка, птичьи гнѣзда, особенно же орлиныя, свитыя иногда на соснахъ, вышиной въ десять сажень; нерѣдко онъ дрался съ орлами и являлся домой въ изорванномъ платьѣ, растрепанный, съ восторженнымъ взоромъ побѣдителя. Купаясь въ Иртышѣ, онъ бросался въ рѣку съ крутыхъ, обрывистыхъ, подмытыхъ водою береговъ— въ нѣсколько сажень высоты и переплывалъ на другой берегъ. Съ четырнадцатилѣтняго возраста способности его стали такъ ярко развиваться, что въ гимназій и университетѣ онъ былъ изъ первыхъ воспитанниковъ. Не имѣя ни книгъ, ни записокъ, повидимому не занимаясь особенно усидчиво, онъ отлично помнилъ все прочитанное на лекціи. Товарищи часто просили его повторить имъ то, что читалось наканунѣ или еще прежде, и онъ повторялъ лекцію почти отъ слова до слова. Несмотря на то, что былъ математикъ, онъ ходилъ на лекціи другихъ профессоровъ и сблизился съ выдающимися товарищами прочихъ факультетовъ. Свободное время занимался литературой. Окончивши курсъ въ университетѣ кандидатомъ, Діомидъ Васильевичъ, любя особенно математическія науки, уѣхалъ въ Петербургъ, чтобы поступить въ институтъ путей сообщенія, гдѣ въ то время читалъ лекціи знаменитый профессоръ Остроградскій. Въ институтѣ онъ выдержалъ экзаменъ съ отличіемъ на прапорщика, съ оставленіемъ при институтѣ въ должности репетитора.

Поприщемъ своей дѣятельности Діомидъ Васильевичъ избралъ военную службу, въ ней видѣлъ арену для удовлетворенія своихъ стремленій и достиженія цѣлей. Войну онъ любилъ не для войны и военную славу не для славы. Девизомъ его было: благо и слава отечества. «Не тотъ славенъ,—говаривалъ онъ:—кто гоняется за славой, а тотъ, за кѣмъ слава сама идетъ».

Тридцати-пять лѣтъ отъ роду, безъ всякой протекціи онъ достигъ славы кавказскаго героя; вѣроятно, достигъ бы еще большаго, если бы безвременная могила не отняла его отъ Россіи и отъ матери: онъ былъ убитъ

въ Ичкеринскомъ лѣсу при взятіи Дарго, 11-го іюля 1845 года, въ несчастную сухарную экспедицію.

Въ 1836 году Діомидъ Васильевичъ, желая поступить въ военную академію, обратился съ просьбою объ этомъ къ графу Толю, но получилъ въ отвѣтъ, что пока онъ управляющимъ корпуса путей сообщенія, то его не выпустить. Только участіе графа Владимира Ѳеодоровича Адлерберга, лично доложившаго о томъ императору, дало ему возможность достичь этого перехода. Онъ одновременно выдержалъ экзаменъ вступительный и переводный въ старшій классъ. Выдержавши экзаменъ, писалъ брату своему Вадиму:

«Другъ мой, Вадимъ! Я тебѣ не отвѣчалъ на два письма, и не мудрено—я былъ чертовски занятъ, приготавлился на страшный экзаменъ, держалъ его ровно 30 дней. Теперь все кончилъ; теперь я свободенъ, теперь я въ усахъ и въ аксельбантѣ. Еще восемь мѣсяцевъ пробуду въ академіи (военной) и прикомандируюсь къ генеральному штабу. Мнѣ досталось въ капитаны, и тѣмъ же чиномъ перейду въ штабъ, если же буду изъ отличныхъ, то въ гвардейскій штабъ. Теперь все зависитъ отъ меня, а что зависитъ отъ меня, то, можно надѣяться, будетъ мое.

«Ты писалъ мнѣ о какомъ-то проектѣ; если онъ пойдетъ по начальству и исполненіе будетъ зависѣть отъ твоихъ средствъ, я берусь, что его утвердятъ. Какъ твои ученые труды? Я, по окончаніи академическаго курса, надѣюсь издать очень важное, серьезное сочиненіе о военныхъ наукахъ и новаго рода географически-статистическія карты. Впрочемъ, если откроется дѣло въ полѣ, я ни строчки не напишу; я думаю, пишутъ тогда или тѣ, когда нельзя или неспособны дѣйствовать. Адресуй мнѣ въ императорскую военную академію. Кстати объ академіи: не говоря о средствахъ и пособіяхъ, которыя доставляютъ въ этомъ заведеніи, оно, по обширности и многосложности предметовъ и по развитію ихъ, занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду высшихъ военныхъ заведеній Европы, а по вниманію, какое на него обращаетъ высшее начальство и самъ императоръ, я увѣренъ, скоро будетъ первымъ заведеніемъ въ Европѣ. Я говорю не пристрастно, нѣтъ, я чуждъ пристрастія и ничто не вынуждаетъ меня воз-

давать похвалы,—послѣдствія оправдаютъ мое мнѣніе. Я горжусь именемъ академика, и когда чѣмъ бы я ни былъ, на всѣхъ ученыхъ трудахъ моихъ буду подписываться воспитанникомъ императорской военной академіи. Твой навсегда Діомидъ».

Кончивши курсъ въ военной академіи, Діомидъ Васильевичъ былъ выпущенъ капитаномъ, съ причисленіемъ къ генеральному штабу и по собственному ходатайству былъ прикомандированъ для узнанія фронтальной службы къ образцовому кавалерійскому полку. Въ 1838 году былъ переведенъ въ генеральный штабъ; въ 1839 г. назначенъ въ штабъ пѣхотнаго корпуса, который находился въ Москвѣ \*).

Въ августѣ того же года онъ участвовалъ въ маневрахъ бородинской годовщины. Послѣ бородинскихъ маневровъ, горя потребностью дѣятельности, онъ просился въ хивинскую экспедицію съ графомъ Перовскимъ, но это не удалось. Въ 1840 г., по его прошенію, опять благодаря участію генералъ-адъютанта графа Владиміра Ѳедоровича Адлерберга, былъ переведенъ на Кавказъ, гдѣ онъ находился въ постоянныхъ экспедиціяхъ и скоро сдѣлался извѣстнымъ своею храбростію, стойкостью, тактическимъ взглядомъ, стратегическими соображеніями и быстрымъ усвоеніемъ характера и свойствъ своеобразной, трудной горной войны.

Боевую школу свою Діомидъ Васильевичъ началъ въ Дагестанѣ, подѣ начальствомъ извѣстнаго своими заслугами и храбростію генерала Клюке-фонъ-Клюгенау. Клюгенау скоро его понялъ, оцѣнилъ какъ его военныя способности, такъ и высокое военное образованіе, относился къ нему, какъ къ другу и совѣтнику и принималъ въ своей семьѣ, какъ родного \*\*).

Числясь при отдѣльномъ кавказскомъ корпусѣ, которымъ командовалъ графъ Головинъ, въ 1841 году Діомидъ Васильевичъ участвовалъ въ пораженіи Шамиля въ Гимринскомъ ущельи, во взятіи штурмомъ заваловъ, укрѣпленій, пещеръ и занятіи съ боя селенія Гимры,

---

\*) Которымъ тогда командовалъ генералъ-адъютантъ Нейдгардтъ.

\*\*) У Богдана Васильевича Пассека хранятся золотые часы съ надписью: «за взятіе Цельмеса», подаренные Діомиду Васильевичу генераломъ Клюгенау.

за что произведенъ былъ въ подполковники. Въ первомъ военномъ собраніи подъ предсѣдательствомъ графа Головина Діомидъ Васильевичъ возбудилъ противъ себя его гнѣвъ за рѣзко высказанное мнѣніе. Это случилось по слѣдующему поводу: графъ Головинъ, самъ командовавшій экспедиціей, углубившись въ горы, разбилъ горцевъ, послѣ чего собралъ совѣтъ, на которомъ было предложено: считать ли экспедицію конченною и идти обратно въ зимнія квартиры, или идти впередъ. Діомидъ Васильевичъ высказалъ мнѣніе, что необходимо обезпечить и укрѣпить за собою пройденныя пространства и по случаю паники горцевъ и благопріятнаго времени, листопада, продолжать походъ немедленно. Головинъ былъ мнѣнія противнаго, основываясь на томъ, что предстоящія при этомъ потери могутъ помѣшать желаемому результату. Тогда Пассекъ, обратясь къ графу, спросилъ его:

— Такъ какая же была цѣль предпринимаемаго вами похода?—и прибавилъ:—разбивши горцевъ,—оставить въ ихъ рукахъ взятые съ боя мѣста и идти назадъ, значитъ явно отступать, это просто было бы безчестіемъ для русскаго оружія.

Головинъ напомнилъ Пассеку, что онъ здѣсь въ числѣ состоящихъ на военномъ положеніи. На это Пассекъ отвѣтилъ:

— Разстрѣлявши меня, вы прибавите только развѣ еще одну незавидную страницу къ исторіи командованія вами на Кавказѣ,—и затѣмъ немедленно пошелъ вонъ; выходя изъ палатки, онъ громко сказалъ слово, выразившее, особенно рѣзко, его мнѣніе о военныхъ способностяхъ Головина.

Вслѣдствіе этого Діомидъ Васильевичъ былъ посланъ, какъ бы въ ссылку, въ Закавказье, въ распоряженіе генерала Шварца, человѣка, чрезвычайно строгаго, которому дано было относительно его особое указаніе. Только случай и тонкій, гуманный тактъ супруги генерала Шварца спасли его отъ приведенія въ исполненіе этого роковаго указанія.

Генералъ Шварцъ лично передалъ подробности, какъ все это случилось, Помпею Васильевичу Пассеку, родному брату Діомиды Васильевича, съ которымъ онъ былъ

особенно дружны, несмотря на довольно значительное разстояніе въ возрастѣ.

Дружеское сближеніе ихъ началось въ 1839 году, когда Помпей Васильевичъ кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ,—гдѣ замѣчательно заявилъ свои математическія способности. По особой рекомендаціи извѣстныхъ профессоровъ, онъ лично получилъ предложеніе отъ попечителя московскаго учебнаго округа графа Сергія Григорьевича Строганова окончить свое образованіе за границею на казенный счетъ и по возвращеніи занять каведру практической механики.

Юность, пылкость характера, здоровье, разстроенное усиленными занятіями и уроками, не позволяли ему принять это предложеніе. Отказываясь отъ каведры механики, Помпей Васильевичъ выразилъ графу готовность занять каведру философіи; но, къ сожалѣнію, каведры философіи въ то время были упразднены во всѣхъ русскихъ университетахъ.

Въ этотъ періодъ времени Діомидъ Васильевичъ жилъ вмѣстѣ съ Помпеемъ Васильевичемъ и былъ влюбленъ въ молодую, прекрасную дѣвушку, хорошей фамиліи, М. А. Г...ву. Какъ дѣлами своими, такъ и чувствами онъ дѣлился съ братомъ, а когда они разстались, находился съ нимъ постоянно въ душевной перепискѣ.

Вотъ рассказъ генерала Шварца, переданный мнѣ братомъ Помпеемъ Васильевичемъ, на сколько онъ удержалъ его въ своей памяти:

«Получаю предписаніе, гдѣ сказано, что ко мнѣ командирется капитанъ генеральнаго штаба Пассекъ, котораго я имѣю отправлять въ экспедиціи, представляющія особую опасность.—Пріѣзжаетъ вашъ братъ;—является;—принялъ въ залѣ, конечно, сурово, сухо, не посадилъ и отпустилъ.

«Во время пріема жена сидѣла въ гостиной, зоветъ меня. «Зачѣмъ ты,—говоритъ мнѣ:—не зная ни чело-вѣка, ни причины его присылки, такъ рѣзко и жестоко обращаешься?»—«А ты, какъ бы думала?»—спросилъ я ее.—«Позови его обѣдать»,—отвѣтила она:—онъ вѣдь прямо съ дороги, поговори съ нимъ, узнай все, тогда увидишь, съ кѣмъ имѣешь дѣло». Послушался; воротилъ его и пригласилъ обѣдать. За столомъ нарочно за-велъ рѣчь о кавказской войнѣ и о начальствующихъ.





его славы», съ которой онъ уже и не разставался до смерти».

Въ 1843 году, находясь въ отрядѣ полковника Ясинскаго противъ возмущившихся аварцевъ, Пассекъ принялъ этотъ отрядъ подъ свою команду, когда полковникъ Ясинскій, въ самую критическую минуту, отказался имъ командовать.

Болѣе мѣсяца Діомидъ Васильевичъ держался въ ущелии Зирианы, безъ всякихъ запасовъ и надежды на выручку. Окруженный со всѣхъ сторонъ горцами, отбиваясь ежедневно, онъ успѣлъ поддержать и духъ отряда и навести ужасъ на окружавшихъ его горцевъ. Такимъ образомъ, своей неустрашимой храбростью и распорядительностью успѣлъ удержать Аварію отъ перехода къ Шамилю. По приближеніи къ Зирианамъ отряда подъ командою Клюке-фонъ-Клюгенау Пассекъ вывелъ свой отрядъ изъ дѣла со славою и этимъ обратилъ на себя особенное вниманіе государя императора Николая Павловича.

Годы 1842, 1843, 1844—были роковыми въ войнѣ съ Кавказомъ, — исполненные потерь и всякаго рода ужасовъ. Величіе Шамиля достигло своей высоты. Непріятель стоялъ еще подъ Темиръ-Ханъ-Шурой; вотъ почему защита Зирянскаго ущелья имѣла такое особенное значеніе.

Въ половинѣ ноября 1842 года Діомидъ Васильевичъ, достигнувши Зирянъ, съ своимъ отрядомъ былъ окруженъ громадными скопищами горцевъ, — все пространство до самой Шуры было залито непріателемъ. Почти шесть недѣль (до 24-го декабря) Пассекъ геройски отбивался отъ горцевъ и часто наводилъ на нихъ ужасъ своими атаками, но оставить Зирианы не могъ. Въ теченіе всего этого времени онъ не получалъ другихъ извѣстій отъ переметчиковъ, какъ только: такой-то нашъ отрядъ уничтоженъ, такое-то наше укрѣпленіе взято и т. д. Грозно и стойко удержался столько времени въ горахъ на такой высотѣ и въ такую пору, безъ провіанта, безъ амуниціи и обуви, безъ всякой надежды на помощь и благопріятный исходъ было поистинѣ дѣломъ геройскимъ. Последнее время отрядъ питался одной кониной, часто сырой, посыпанной вмѣсто соли порошкомъ;

грѣлись движеніями и пѣснями \*), обувались въ куски лошадиныхъ шкуръ; но это не остановило Пассека торжественно сдѣлать парадъ и произвести пушечную пальбу 6-го декабря, въ день тезоименитства государя

\*) Вотъ одна изъ пѣсенъ, пѣтыхъ солдатами о жизни ихъ въ Зирянахъ. Сообщена гвардіи полковникомъ Василіемъ Александровичемъ Потто.

Вспомини, вспомини мы, ребята,  
Какъ стояли въ Зирянахъ,  
И не разъ Хаджи-Мурата  
Мы пугали на горахъ. —

Вотъ тогда случилось дѣло —  
И куда не хорошо, —  
Какъ татарское все племя  
Возмутилось заодно. —

Дружно, дружно налегали  
На аварскій нашъ отрядъ,  
Пули, ядра осыпали,  
А картечи — ровно градъ. —

Вотъ намъ пули всѣ знакомы,  
И картечи ни по чѣмъ;  
Наши храбрые солдаты  
Встрѣтять нехриста штыкомъ. —

Какъ проклятый бусурманинъ  
Хотѣлъ шутку подшутить:  
Въ Зирянахъ стоять заставилъ,  
Вздумалъ голодомъ помирить. —

Мы рогатую скотину  
Всю въ конецъ перевели,  
Стали ѣсть мы лошадину  
И варилъ, и пекли.

Вмѣсто соли мы солили  
Изъ патрона порошокомъ;  
Сѣно въ трубочкахъ курили —  
Распростились съ табачкомъ.

Обносились, оборвались,  
Съ плечъ свалилось все долой —  
Тутъ-то мы хлопотъ набрались,  
Чтобъ управиться съ зимой. —

Мы рогожи одѣвали  
Вмѣсто бурокъ и плащей,  
Ноги въ кожи зашивали  
Послѣ съѣденныхъ коней. —

Такъ кавказскіе солдаты  
Ходятъ объ руку съ нуждой,  
Завсегда горемъ богаты —  
Его носить за спиной. —

императора. Войско не только что безропотно переносило все, но было увѣрено, что дѣло кончится пораженіемъ горцевъ,—такъ онъ умѣлъ поддерживать въ немъ бодрость духа, но самъ посѣдѣлъ въ эти недѣли. Говорять, что когда Шамиль прислалъ къ нему шесть наибовъ съ предложеніемъ сдаться, то онъ отвѣчалъ: «скажите Шамилю, что если онъ еще осмѣлится прислать ко мнѣ своихъ посланцевъ съ подобнымъ предложеніемъ, то я велю ихъ повѣсить».

Въ теченіе мѣсяца Діомидъ Васильевичъ за отличіе по службѣ произведенъ былъ въ полковники, съ назначеніемъ командиромъ ашперонскаго полка, а за защиту Зирянъ награжденъ орденомъ Георгія 4-й степени, вслѣдъ за тѣмъ получилъ чинъ генераль-маіора.

По назначеніи своемъ полковымъ командиромъ—онъ писалъ изъ Темиръ-Ханъ-Шуры Помпею Васильевичу:

«Другъ души моей, получилъ твое письмо 4-го января, жду большого письма, хочу знать всю исторію твоего сердца и твоей души, а до тѣхъ поръ объ этомъ ни слова. Мы за тысячи верстъ другъ отъ друга,—и съ каждымъ изъ насъ совершилось много съ тѣхъ поръ, какъ разстались,—я не вижу дней и лѣтъ, все бѣжить, какъ комета; но сколько пролетитъ эта комета міровъ, сколько сферъ пронзаетъ она, сколько туманныхъ пятенъ, сколько яркихъ звѣздъ встрѣчаетъ, яркимъ свѣтомъ славы блистающихъ, но не грѣющихъ. Свѣта для сердца—хоть бы одинъ лучъ.

«Пишу на лету—дѣла, дѣла полны руки.

«Другъ Леонидъ вѣрно въ Харьковѣ.

«Христосъ воскресъ! другъ друга обнимемъ! обнимаю тебя со всею энергіей друга и брата, со всею пылкостью юноши, со всею чистотой и теплотой христіанина.

Твой Діомидъ Пассекъ».

«Государь императоръ повелѣлъ пожаловать мнѣ Георгія, всему отряду моему аварскому далъ по 5 рублей серебромъ на человѣка, 150 крестовъ и всѣхъ батальонныхъ командировъ произвелъ въ слѣдующіе чины.

«У меня было 5 батальоновъ до 3 т.»

12-го марта,  
Темиръ-Ханъ-Шура.

Въ началѣ 1844 года семейство Діомидъ Васильевича получило нѣсколько писемъ отъ друзей его юности съ изъявленіемъ сочувствія къ его военнымъ успѣхамъ.

Изъ ихъ числа, товарищъ по университету Діомидъ и Вадима Пассекъ, Александръ Алексѣевичъ Уманецъ писалъ отъ 2-го марта 1844 года изъ Петербурга — слѣдующее:

«Съ чувствомъ душевнаго восторга спѣшу передать вамъ, многоуважаемая Катерина Ивановна, неожиданную радостную вѣсть, которую я прочелъ во вчерашнемъ № «Инвалида», т.е. отъ 1-го марта. Мнѣ еще прежде сказано о ней, но я не вѣрилъ, пока не прочелъ собственными глазами: «приказомъ 26 февраля произведенъ, въ главѣ прочихъ за отличіе въ дѣлахъ противъ горцевъ, командиръ апшеронскаго полка полковникъ Пассекъ въ генераль-маіоры съ оставленіемъ въ настоящей должности».

«Вѣсть эта праздникъ для васъ и для насъ, знающихъ Діомидъ. Вамъ это теперь извѣстно раньше, чѣмъ ему самому.

«Милости царскія къ нему велики, но онъ вполнѣ ихъ заслужилъ.

«Тотчасъ по пріѣздѣ моемъ, я слышалъ отъ Василія Васильевича \*), что Діомидъ представленъ былъ къ Георгію, а комитетъ былъ противъ, но государь написалъ на докладѣ «дать» . . . . .

Александръ Уманецъ».

1-го марта того же года Діомидъ писалъ роднымъ въ Харьковъ изъ Темиръ-Ханъ-Шуры:

«Милые, безцѣнные родные! принимаю полкъ, учу, учусь, занимаюсь и заставляю заниматься, хлопочу и хлопочутъ всѣ. Хозяйничаю—и хозяйство пребольшое: швальни, кузницы, столярни, слесарни, славный домъ, кладовыя, огромный погребъ на 600 возовъ льда, огородъ, садъ и даже 70 ульевъ пчель. Знаете ли, дорогая маменька, чего недостаетъ: хорошенькой хозяйки. Пріѣду къ вамъ, и если не у васъ въ Москвѣ, то подь Москвой женюсь, когда благословитъ Богъ. Теперь

---

\*) Изъ меньшихъ братьевъ Діомидъ Васильевича, служилъ тогда въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.

исполняю объѣтъ мой: изъ первыхъ денегъ отправляю 200 рублей и прошу васъ, мои друзья, сдѣлать изъ нихъ образъ Матери Божіей съ младенцемъ и на него ризу серебряную позолоченную и поставить его въ нашу церковь; когда прииму полкъ, вышлю на хоругви и на необходимые поправки въ церкви; остальные сто рублей я посылаю, по давнишнему обѣщанію моему заботиться о вашемъ туалетѣ, маменька, вамъ и каждый мѣсяцъ буду высылать свой долгъ.

«Съ нетерпѣніемъ жду свиданія съ вами, Господь благословляетъ меня не по дѣламъ моимъ, а по неизреченному милосердію; благословить и свиданіемъ съ вами, и да хранитъ васъ на радость мою и другъ друга.

Весь вашъ Діомидъ».

«Прилагаю приказъ, отданный мною по полку, при вступленіи моемъ въ командованіе . . . . .»

Посвящая все свободное время чтенію и изученію Кавказа въ топографическомъ и стратегическомъ отношеніи, Діомидъ уже тогда набрасывалъ *сгоquiza* своего проекта о покореніи Кавказа, занимался хозяйствомъ и не отказывался отъ общества; каждый день къ нему на обѣдъ собиралось много посѣтителей; онъ былъ пріятливъ, владѣлъ рѣчью, говорилъ съ увлеченіемъ. Лицемѣрить не умѣлъ, даже съ высшимъ начальствомъ говорилъ смѣло, прямо, открыто, какъ понималъ дѣло и каждого. Это многихъ вооружало противъ него.

Въ 1844 году возмутились Аварія и Акуша и стремились увлечь за собой Мехтулу и Шехмальство. Въ виду такихъ важныхъ обстоятельствъ составленъ былъ авангардный отрядъ, командованіе которымъ поручено было Діомиду Васильевичу.

Отрядъ этотъ составляли: три батальона ашперонскаго полка; 400 человекъ казаковъ 38-го донскаго казачьяго полка при шести горныхъ единорогахъ.

Выступая въ этотъ походъ, Пассекъ отдалъ отряду слѣдующій приказъ:

«Товарищи, пора собираться въ походъ! осмотрите замки, отточите штыки, поучитесь колоть на-поваль! наблюдайте всегда и вездѣ тишину; наблюдайте порядокъ и строй.—Въ дѣлѣ дружно идти, въ дѣлѣ меньше стрѣ-

лять—пусть стрѣляютъ стрѣлки, а колонны идутъ и молчатъ; по стрѣльбѣ отличу, кто сробѣлъ и кто нѣтъ; робкимъ стыдъ, храбрымъ слава и честь! безъ стрѣльбы грозенъ строй,—пусть стрѣляютъ враги, подходите въ упоръ, и тогда ужъ «ура», отъ «ура» на штыки и колите, губите врага, что возьмете штыкомъ, то вамъ царь на разживу даетъ. Грозны будете вы, страшны будете вы, татарѣ нечестивымъ врагамъ. Осѣнитесь крестомъ, помолитесь Христу и готовьтесь на славу, на бой \*)».

Прибывши въ акушинскія владѣнія, маленькій лагерь занялъ центральную позицію между селеніями: Кака-Шурой, большимъ Дженгутаемъ, Парлауломъ и Гилли. Непріятель занималъ сильную мѣстность—Каадаръ. Вскорѣ замѣтили среди непріятеля особенное одушевленіе и увидали, что къ нему прибываютъ сильныя подкрѣпленія. Мюриды спускались съ лѣсныхъ горъ въ селеніе Кака-Шуру.

Пассекъ донесъ начальнику дагестанскаго отряда, генералъ-адъютанту Медему, что непріятель усилился; ему посланъ былъ въ подкрѣпленіе изъ Темиръ-Ханъ-Шуры 1-й батальонъ житомірскаго полка. Не имѣя положительныхъ свѣдѣній ни о количествѣ, ни о намѣреніяхъ непріятеля, Діомидъ Васильевичъ, чтобы опредѣлить его силы и уяснить намѣренія, отправился съ казаками въ Гилли. Встрѣтившіеся имъ по пути мюриды отступили и заняли какъ тѣ, такъ и другіе, высоты, раздѣленные глубокою ложбиной.

Вслѣдъ затѣмъ Вранкенъ \*\*) получилъ приказъ немедленно выступить изъ лагеря съ полубатальономъ и батальономъ житомірскаго полка, оставивши одну роту при тяжестяхъ тремъ ротамъ слѣпить на соединеніе. По приближеніи пѣхоты, Пассекъ построилъ казаковъ лавами и ударилъ на непріятеля. Казаки вогнали мюридовъ въ Кака-Шуру, тамъ скрыта была у нихъ артиллерія. Горцы открыли по казакамъ огонь, а изъ селенія и изъ лѣса высыпали тысячи стрѣлковъ и показались

---

) Приказъ этотъ сообщенъ гвардіи полковникомъ Василіемъ Александровичемъ Потто. Т. II.

\*\*) Товарищъ Д. В. Пассека по академіи, батальонный командиръ—впослѣдствіи генералъ.

массы пѣхоты. Діомидъ Васильевичъ приказалъ Вранкену принять казаковъ и стать на правомъ флангѣ избранной имъ позиціи, лѣвый заняли житомірцы, центромъ командовалъ извѣстный въ Дагестанѣ своей храбростью штабсъ-капитанъ Павловъ.

Мѣткій картечный огонь не допустилъ горцевъ кинуться въ пашки. Между тѣмъ толпы ихъ пѣхоты все больше и больше густѣли и уже охватывали русскихъ съ трехъ сторонъ, а кавалерія ихъ пошла въ обходъ. Уже значки непріятеля двигались къ нашимъ все ближе и ближе, уже блесѣли пашки и кинжалы, и порывы одушевленія горцевъ едва сдерживались стойкостью нашихъ солдатъ. Въ тридцати шагахъ горцы остановились и открыли убійственный ружейный огонь. Пассекъ приказалъ не выносить раненыхъ, а чтобы собрать людей и дать имъ отдыхъ, велѣлъ всѣмъ, исключая стрѣлковъ и ихъ резервовъ, прилечь.

И вотъ 1.400 человекъ должны были вступить въ битву съ 27.500 чел. непріятеля, которыми командовали шесть извѣстныхъ наибоѣвъ;—но этими 1.400 командовалъ Пассекъ.

Кругомъ прилежащія высоты были покрыты жителями окрестныхъ селеній, готовыми при первой нашей неудачѣ опрокинуться на насъ. Всѣ видѣли, что неизбѣжно умереть, но Діомидъ Васильевичъ весело обѣждалъ ряды, шутилъ съ солдатами и не терялъ надежды. Солдаты въ него вѣрили.

Видя, что противъ лѣваго фланга мюриды многочисленнѣе и отважнѣе, Пассекъ, въ то время, какъ подошли житомірцы, приказалъ артиллеріи штабсъ-капитану Лагодѣ, съ праваго фланга, скрытно перекачать единорогъ черезъ высокую кукурузу на лѣвый флангъ и, когда будетъ поданъ условленный сигналъ, дать сколько возможно больше залповъ. Самъ же, чтобы отвлечь вниманіе непріятеля отъ этого маневра, подскакалъ къ остаткамъ казаковъ и спросилъ, могутъ ли они еще разъ сдѣлать атаку. «Почему нѣтъ, выше превосходительства»,—отвѣчали казаки и ринулись въ бой. Лагода превосходно исполнилъ порученіе. Онъ незамѣтно, подъ дулами непріятельскихъ винтовокъ, перекатилъ орудіе туда, гдѣ сосредоточивались главные силы непріятеля, сдѣлалъ неожиданный залпъ и осыпалъ кар-

тѣчью ряды разноцвѣтныхъ значковъ, развѣвавшихся по гребню хребта. Озадаченные горцы смутились; Діомидъ Васильевичъ, пользуясь этимъ мгновеньемъ, на которое онъ и рассчитывалъ, не давши опомниться горцамъ, крикнулъ: «татарва бѣжитъ!» и скомандовалъ: «кто алшеронецъ, за мной, ура!» Солдаты вскочили и ударили въ штыки. Въ это время Лагода успѣлъ еще разъ пустить картечью.

Передніе ряды горцевъ поколебались, задніе напирали на переднихъ и образовалась одна волнующаяся масса. Казаки, пѣхота, горцы, пики, шашки, штыки, кинжалы, все перемѣшалось. Горцы стали отступать, въ началѣ медленно, но страшный натискъ нашихъ обратилъ ихъ въ бѣгство.

Пораженіе было полное. Горцевъ гнали, топтали коными и втоптали въ Кака-Шуру. Пассекъ велѣлъ ударить отбой. Лицо его сіяло радостью побѣды. Во время битвы онъ всюду леталъ на своемъ извѣстномъ Карабахѣ, зорко слѣдилъ за ходомъ дѣла и наблюдалъ, чтобы все направлялось къ одной цѣли.

Поле битвы было покрыто трупами; горы ковровъ, оружія и больше 20 значковъ были трофеями этого знаменитаго на Кавказѣ дѣла.

Послѣ битвы, объѣзжая поле сраженія, Діомидъ утѣшалъ раненыхъ и облегчалъ ихъ страданія. Въ числѣ раненыхъ лежалъ Вранкенъ. Съ трудомъ приподнявшись отъ земли, онъ обратился къ Пассеку и едва слышнымъ голосомъ сказалъ: «прощай! умираю». По лицу Діомида катились слезы. Онъ склонился къ нему съ лошади и отвѣчалъ: «если уже судилъ такъ Богъ, то мы похоронимъ тебя, нашъ дорогой товарищъ, на полѣ битвы, памятникомъ тебѣ будетъ его слава» \*).

Жители ближайшихъ селеній, наблюдавшіе съ высотъ, поспѣшили поздравить нашихъ съ побѣдою и извинялись, что не пошли на помощь. «Не нуждаемся въ вашей помощи,—сухо отвѣчалъ Пассекъ:—но могу васъ поздравить съ тѣмъ, что не присоединились къ непріятелю».

---

\*) Въ статѣ же самого Вранкена объ этомъ дѣлѣ сказано такъ: «срадуися, другъ мой, мы отмстили за смерть твою, знамя Даргинскаго народа, двадцать значковъ и сотни тѣлъ послужатъ тебѣ надгробнымъ памятникомъ».



За эту экспедицію Діомидъ Васильевичъ сдѣланъ былъ командиромъ 2-й бригады 20-й пѣхотной дивизіи и получилъ Владимира 3-й степени. Онъ сдалъ апшеронскій полкъ и, простясь съ своими любимыми апшеронцами, отправился къ своей бригадѣ. Всѣ жители Темиръ-Ханъ-Шуры прощались съ нимъ съ сожалѣніемъ, дамы поднесли ему бѣлое знамя, на которомъ былъ вышитъ золотой крестъ. Знамя это не оставляло его ни въ одномъ сраженіи. Бригаду его составляли два полка, закаленные въ бояхъ: куринскій и кабардинскій. Первымъ изъ нихъ командовалъ флигель-адъютантъ князь Александръ Ивановичъ Барятинскій, въ настоящее время нашъ знаменитый генералъ-фельдмаршалъ, пріобрѣтшій въ исторіи кавказской войны блестящую славу. Съ именемъ его соединено покореніе Кавказа. По взятіи Гуниба ему лично сдался военно-плѣннымъ грозный врагъ Россіи—Имамъ Шамиль.

Князь Александръ Ивановичъ Барятинскій — одинъ изъ тѣхъ немногихъ, которые, стоя на высотѣ величія, всякому воздаютъ должное и никогда не присваиваютъ себѣ никакой чужой заслуги.

Когда государь императоръ производилъ въ Чугуевѣ смотръ войскамъ, въ то время везли къ нему съ Кавказа Шамиля. Проѣзжая село Рогань, принадлежащее Помѣю Васильевичу Пассекъ, онъ остановился тамъ на почтовой станціи. Помпей Васильевичъ встрѣтилъ Шамиля и черезъ находившагося переводчика объяснилъ ему, что онъ родной братъ Діомида Васильевича и желаетъ представиться славному владыкѣ кавказскихъ племенъ. Шамиль отвѣчалъ: «Очень радъ видѣть брата славнаго наиба Пассека, и хотя онъ былъ мой врагъ, но я не могъ не уважать такого врага, и, быть-можетъ, не скоро бы провезли здѣсь Шамиля, если бы вашъ братъ не положилъ тому начало».

Въ 1845 году былъ назначенъ намѣстникомъ Кавказа графъ Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ. По его прибытіи въ Тифлисъ тотчасъ начались приготовленія къ походу на Дарго—резиденцію Шамиля. Этимъ походомъ думали положить конецъ его обаянію—и могуществу.

1845 года, 31-го мая, армія въ 25 тысячъ человекъ, подъ личнымъ начальствомъ графа, выступила изъ крѣпости Внезапной и Евгеньевскаго укрѣпленія

двумя отрядами, изъ которыхъ однимъ командовалъ генералъ Пассекъ. До Дарго было сдѣлано семь переходовъ. 3-го іюня отряды соединились и послѣ четырехдневной стоянки, 7-го числа, въ четвертомъ переходѣ, армія выступила и того же числа дошла до бывшаго нашего укрѣпленія «Удачное», гдѣ и простояла до десятаго числа, вблизи горы «Анчи-Мееръ».

Гора эта находилась на нашемъ лѣвомъ флангѣ и при дальнѣйшемъ движеніи впередъ могла оставаться у насъ во флангѣ и въ тылу. Она занята была множествомъ горцевъ и представляла непроходимый амфитеатръ природныхъ заваловъ изъ скалъ, гору эту необходимо было взять.

Графъ пригласилъ къ себѣ Діомидъ Васильевича и спросилъ его, можетъ ли онъ взять Анчи-Мееръ и сколько для этого, по его мнѣнію, потребуется войска. «Рота, много двѣ»,—отвѣчалъ Пассекъ.—«Увѣрены ли вы въ этомъ?»

— Совершенно; только мнѣ надобно для этого охотниковъ изъ моихъ полковъ.

На другое утро, при восходѣ солнца, гора была взята, и знамя Пассека развѣвалось на ея вершинѣ. Графъ былъ въ восторгѣ и тотчасъ же донесъ императору о геройскомъ дѣлѣ Діомидъ Васильевича. Монаршая милость за него пришла уже послѣ его смерти \*).

Черезъ разспросы и лазутчиковъ Пассекъ зналъ о положеніи непріятеля и что къ той горѣ, на извѣстную высоту подъема, есть тайная обходная тропа. По этой тропѣ, ночью, онъ повелъ своихъ охотниковъ, а чтобы никакой звукъ не выдалъ ихъ движенія, приказалъ всѣмъ обвязать обувь и оружіе. Расщелины и пропасти они — одна перепрыгивали, другія переходили, перекинувши доски. Выведа отрядъ на сказанную высоту, онъ приказалъ сдѣлать залпъ и ударилъ въ штыки. Горцы, находившіеся выше, пораженные неожиданностью, смѣшались; бывшіе ниже пришли въ ужасъ, видя надъ собою русскихъ—растерялись и думали только о спасеніи.

Занятіе горы Анчи-Мееръ открыло намъ доступъ изъ

---

\*) Станислава 1-й степени.

Салатови въ Гумбетъ, а изъ Гумбета въ Андію черезъ высокій перевалъ Речелъ, по обрывамъ глубокихъ пропастей, дремучимъ Ичкеринскимъ лѣсомъ—въ Дарго. Отсюда армія шла двумя колоннами и 10-го іюня прибыла къ урочищу—Горолъ-Даху. Въ шестомъ переходѣ—14-го взяли и перешли Андійскія ворота, дошли до Гогатль, Анди и далѣе. Все время Діомидъ Васильевичъ командовалъ авангардомъ. Въ Анди князь Александръ Ивановичъ Барятинскій шелъ впереди авангарда, былъ раненъ въ ногу и отвезенъ въ Темиръ-Ханъ-Шуру. Въ Гогатль пробыли до 20-го, оттуда былъ поворотъ въ Ичкеринскій лѣсъ, за которымъ крылось Дарго.

Въ эту экспедицію Діомиду Васильевичу пришлось перенести тяжелое событіе. Идя въ авангардъ по начертанному плану, конечно вѣрно имъ понятому, онъ считалъ необходимымъ обезпечить лѣвый флангъ, а при поворотѣ на Дарго и тылъ арміи отъ горцевъ, сосредоточившихся при Зонакъ-Бакъ въ области Технудаль. Это движеніе сопровождалось значительной потерей нижнихъ чиновъ, виною которой была неожиданно поднявшаяся мятель, выпавшій снѣгъ выше пояса и такой страшный холодъ, что люди замерзали. Этому фланговому движенію, еще до возвращенія Діомидъ Васильевича изъ похода, увѣнчавшагося полнымъ успѣхомъ, въ глазахъ графа придали такой характеръ, какъ будто бы онъ, увлекшись преслѣдованіемъ непріятеля, слишкомъ далеко завелъ свой передовой отрядъ, который, не имѣя при себѣ достаточно продовольствія и внезапно захваченный холодомъ, понесъ большія потери и что это же было причиною замедленія въ доставкѣ провіанта—и т. д. Дѣйствительная же причина обвиненія крылась въ непріязненныхъ отношеніяхъ къ Пассеку одного изъ вліятельныхъ лицъ при графѣ. Выступая и въ эту экспедицію, Пассекъ открыто осуждалъ распоряженія главнаго штаба. Графъ эту нотерію поставилъ въ вину лично Діомиду Васильевичу.

Не желая играть пассивной роли, Пассекъ просилъ графа дать ему отпускъ въ Петербургъ: онъ хотѣлъ исполнить давно желанное намѣреніе, лично представить императору свой законченный планъ—покоренія Кавказа. Графъ отказалъ.

6-го іюля, не дождавшись транспортовъ, вступили въ грозный, памятный Ичкеринскій лѣсъ, бывшій всегда кладбищемъ тысячи русскихъ; при вступленіи въ лѣсъ, возлѣ самаго графа былъ убитъ изъ его свиты генералъ Фуксъ. Лѣсъ прошли, оставивши въ немъ до 2.000 труповъ; а, выходя изъ него, увидали Дарго, объятое пламенемъ — и самого Шамиля съ массами горцевъ на горахъ, высившихся надъ долиною, гдѣ догорало Дарго.

Ичкеринскій лѣсъ, состоящій весь изъ вѣковыхъ чинаръ, поросшихъ густымъ кустарникомъ, представлялъ сплошную массу поперечныхъ горныхъ спусковъ и подъемовъ, съ обѣихъ сторонъ окаймленныхъ пропастями; переходъ черезъ него былъ возможенъ единственно по узкой дорогѣ, доступной для проѣзда одной арбы. Въ лѣсу были наскоро устроены горцами деревянные и каменные завалы. За каждымъ деревомъ, кустомъ, камнемъ, на деревьяхъ крылись враги.

За пропастями съ обѣихъ сторонъ дороги поставлены были орудія, которыми громили нашихъ перекрестнымъ огнемъ, нашимъ же невозможно было держать даже и цѣпи. Горцы, угадывая цѣль экспедиціи и видя, что наши войска идутъ безъ запасовъ и безъ достаточнаго количества артиллеріи, не бывши еще въ полномъ сборѣ, пропустили ихъ черезъ лѣсъ, и не дѣйствовали съ такимъ ожесточеніемъ, какъ въ сухарную экспедицію, хотя и наносили страшныя потери, торжествуя, что армія наша, пройдя лѣсомъ, очутится въ Дарго въ безисходномъ положеніи.

По выходѣ изъ лѣса наши стали лагеремъ. Шамиль съ неприступныхъ высотъ началъ пускать ядра по лагерю. Графъ поручилъ Пассеку сбить съ высотъ еконица Шамиля — и они были сбиты со всѣхъ позцій.

По очищеніи высотъ, въ виду полного недостатка во всемъ и огромной свиты, въ числѣ которой находился и братъ императрицы, графъ Воронцовъ собралъ военный совѣтъ.

Сущность вопроса, предложеннаго графомъ на совѣтъ, состояла въ томъ: что дѣлать, куда идти? Мнѣніе графа было — запастись достаточнымъ количествомъ провіанта и идти на Герзель-ауль. Большею частью согласовались съ графомъ, различествовали только въ избраніи пути.

Діомидъ Васильевичъ высказалъ мнѣніе слѣдующее: «по всѣмъ моимъ соображеніямъ,—говорилъ онъ:—необходимо идти обратно, такъ какъ цѣль достигнута.—Дарго взято, но для того, чтобы отвлечь горцевъ отъ лѣса, необходимо сдѣлать сильную диверсію по направленію къ Герзель-Аулу и, перемѣнивши фронтъ, немедленно пройти лѣсъ обратно, куда къ тому времени, вѣроятно, будетъ доставленъ и провіантъ. Сдѣлавши это, мы не только не потеряемъ всѣ пройденныя и завоеванныя нами мѣста, такъ важныя по своему значенію и своимъ послѣдствіямъ, но можемъ стать на нихъ твердою ногою и навсегда закрѣпить ихъ за собой»...

На это графъ возразилъ, что такое движеніе было бы равносильно отступленію. «Въ исторіи войнъ, веденныхъ великими полководцами,—отвѣчалъ графу Діомидъ Васильевичъ:—не найдется подтвержденія заключенію вышнего сіятельства, напротивъ, идя на Герзель-Аулъ, прямо къ нашей границѣ, и оставляя въ рукахъ горцевъ завоеванныя нами мѣстности, мы дѣйствительно будемъ отступать; новый же походъ черезъ Ичкеринскій лѣсъ за артиллеріей, боевыми снарядами, провіантомъ, вьючными лошадьми и проч., котораго такъ жадно желаютъ горцы, не принесетъ никакой пользы и увѣнчается только гибелью отряда; дальнѣйшій же походъ къ Герзель-Аулу, черезъ дикія пустыни, укрѣпленныя, неприступныя мѣстности, какимъ бы путемъ ни пошли,—безславно и безплодно погубить армию, и кампанія потеряетъ всякій смыслъ. Надобно, графъ, знать врага и горную войну»,—добавилъ Пассекъ. Графъ, видимо недовольный высказаннымъ Діомидомъ Васильевичемъ, остался при своемъ убѣжденіи, и для исполненія своего плана нарядилъ экспедицію, извѣстную подъ печальнымъ названіемъ «Сухарной», и тутъ же объявилъ, что авангарднымъ начальникомъ этого отряда назначаетъ генерала Пассека, на что послѣдній громко добавилъ: «на вѣрную смерть!» Затѣмъ, подойдя къ графу, просилъ позволенія проститься съ войскомъ, и для возможнаго успѣха этой экспедиціи убѣждалъ его составить отрядъ хотя на половину изъ опытныхъ боевыхъ кавказскихъ полковъ. Графъ разрѣшилъ ему исполнить свое желаніе, но назначилъ въ отрядъ всего только двѣ роты кавказцевъ. Колонною командовалъ Клюки-

фонъ-Клюгенау, арьергардомъ—храбрый, достойный генераль Висторовъ.

Надобно замѣтить, что тогда значительную часть силъ кавказской арміи составлялъ недавно прибывшій 5-й корпусъ, подъ начальствомъ генераль-адъютанта Лидерса; весь составъ нижнихъ чиновъ этого корпуса былъ совершенно новъ въ боевой кавказской жизни и трудной горной войнѣ. Изъ этихъ-то войскъ корпуса и былъ составленъ отрядъ. Авангардъ сломилъ бѣшеное сопротивление горцевъ, бралъ заваль за заваломъ и шелъ быстро впередъ, за нимъ двигалась колонна, арьергардъ же, при вступленіи въ лѣсъ, былъ отчаянно, съ страшнымъ гикомъ атакованъ горцами въ шашки, штыки у нашихъ не были примкнуты къ ружьямъ. Висторовъ, незнакомый съ характеромъ горной войны, былъ смертельно раненъ и велѣлъ себя бросить—арьергардъ почти весь на глазахъ нашихъ былъ истребленъ; на мѣсто его былъ посланъ новый.

Когда горцы увидали, что имъ нельзя удержать отряда и выморить въ этотъ разъ армію голодомъ, тогда они, уже безъ особыхъ потерь для насъ, пропустили отрядъ, рассчитывая на гибель его при обратномъ движеніи.

Отрядъ сухарной экспедиціи, предполагая по выходѣ изъ лѣса найти транспортъ на мѣстѣ, рассчитывалъ забрать все необходимое и быстро возвратиться въ Дарго. Расчетъ былъ—не дать времени горцамъ собраться въ лѣсу еще въ бѣльшемъ количествѣ и укрѣпиться въ немъ. Къ несчастію, отрядъ, выйдя изъ лѣса, долженъ былъ ожидать прибытія транспорта. Прибыла только часть его, когда же прибудетъ остальной транспортъ—оставалось въ неизвѣстности.

Горцы какъ нельзя лучше воспользовались этимъ промедленіемъ; они прибывали цѣлыми массами и устраивали въ лѣсу завалы и засѣки. Срубая огромныя чинары, они сваливали ихъ поперекъ дороги и укрывали вѣтками; сносили груды камней, строили каменные завалы и также укрывали вѣтками. Всѣхъ каменныхъ и деревянныхъ заваловъ было двадцать, расположенныхъ вдоль по дорогѣ, на разстояніи двухъ верстъ, въ самой густотѣ лѣса, начиная двѣ съ половиною версты отъ Дарго. Діомидъ Васильевичъ, узнавъ отъ лазутчиковъ о положеніи лѣса и по увеличивавшемуся шуму и гулу

въ лѣсу заключивъ о степени угрожавшей опасности отряду на возвратномъ пути, предложилъ генералу Ключену отправить въ главную квартиру двухъ охотниковъ съ тѣмъ, чтобы просить немедленно выслать имъ на встрѣчу два батальона, какъ только они скинутся и сбѣлаютъ залпъ. Этимъ маневромъ онъ рассчитывалъ отвлечь силы непріятеля отъ отряда и дать имъ возможность ударить въ тылъ заваламъ. Два юнкера взялись это исполнить, и исполнили, но, вѣроятно, опоздали. Высланные изъ Дарго батальоны вступили въ лѣсъ, когда уже не могли принести никакой пользы; вслѣдъ за авангардомъ, остатки колонны и аррьергарда въ безпорядкѣ спасались изъ лѣса.

Вьючныя лошади, особенно гвардейскихъ офицеровъ, часто съ предметами комфорта и роскоши, были для горцевъ лакомыми предметами наживы. Въ эту экспедицію ихъ было особенное обиліе. Діомидъ Васильевичъ настаивалъ ихъ оставить, но Ключену не согласился, ссылаясь на приказаніе графа. «Если такъ»,—сказалъ Пассекъ:—то имѣйте въ виду, что вьюки все-таки достанутся горцамъ, и достанутся, какъ трофей.

— Да мы-то не будемъ виноваты, — отвѣчалъ Ключену.

Осыпавъ лѣсъ картечью, отрядъ 11-го іюля вступилъ въ него. Мѣткія пули горцевъ градомъ посыпались на нашихъ; офицеровъ выбивали на выборъ. Отрядъ, не видя непріятеля, все больше и больше рѣдѣлъ. Русскіе падали массами, слышались только стоны раненыхъ и умирающихъ, и повсюду царствовала смерть. Не бывшіе въ дѣлахъ нижніе чины дрогнули отъ ужаса.

Авангардъ каждый шагъ бралъ съ боя и шелъ впередъ. Напрасно набрасываютъ тѣнь на Діомидъ Васильевича, говоря, что движеніе колонны замедлялось тѣмъ, что онъ не приказывалъ разбрасывать заваловъ. Напротивъ, всякій разъ, какъ только онъ бралъ каменный завалъ, его разбрасывали, но горцы сейчасъ же по проходѣ его сооружали. Вырубать же наваленныя чинары было не тѣмъ. Очевидно, генералу Ключену вмѣсто этой гибельной операціи слѣдовало уничтожить и бросить все, что затрудняло движеніе колонны. Кромѣ того завалы начинались съ половины лѣса, а колонна была разстроена еще до подхода къ нимъ. На колонну на-

легли всей тяжестью главные массы неприятеля. Изъ пропастей и ущелій они бросились въ шашки отбивать въюки, забирали все, что только было можно, и скатывали въ пропасть, офицеровъ не доставало для командованія, унтеръ-офицеры принимали начальство надъ остатками ротъ. Генераль Клюгенау пришелъ въ смущеніе и послалъ за Діомидомъ Васильевичемъ. Пассекъ сдалъ командованіе Беклемишеву и немедленно прискакалъ къ колоннѣ. Она была въ полномъ разстройствѣ. Онъ помогъ генералу Клюгенау возстановить въ ней порядокъ и двинулся съ колонною впередъ. Ему приходилось составлять передовыя шеренги изъ боевыхъ солдатъ, чтобы одушевлять не бывшихъ въ сраженіи. Самъ онъ шелъ сиюной впередъ, обращаясь лицомъ къ солдатамъ и ободряя ихъ словами. Говорятъ, на немъ были прострѣлены во многихъ мѣстахъ полы сюртука и фуражка. Замѣтивши, что силы неприятеля увеличиваются и начинаютъ переходить въ наступленіе, онъ заключилъ, что горы, сопротивлявшіеся авангарду и преслѣдовавшіе его, стягиваются противъ колонны, и немедленно послалъ своего адъютанта задержать авангардъ, слишкомъ опередившій колонну. Адъютантъ былъ убитъ. Онъ послалъ съ тѣмъ же приказаніемъ состоявшаго при немъ юнкера. Юнкеръ упалъ прострѣленный въ ногу. Тогда Діомидъ Васильевичъ, видя, что авангардъ выбирается на гору, надѣясь на свой голосъ, пробѣжалъ нѣсколько шаговъ и, весь подавшись впередъ, сложивъ руку въ трубу, крикнулъ: «авангардъ, стой!» Въ это мгновеніе изъ кустовъ выскочилъ горецъ и выстрѣлилъ ему въ упоръ въ спину—на вылетъ. Пуля выпала съ лѣвой стороны груди, онъ былъ еще живъ, нѣсколько линейныхъ казаковъ бросилось поднять его \*).

Діомидъ Васильевичъ всегда имѣлъ при себѣ линей-

---

\*) О смерти Діомиды Васильевича рассказываютъ различно—этотъ рассказъ сообщенъ Помпею Васильевичу очевидцемъ. Въ «Кавказцахъ» сказано: «Наступалъ вечеръ; колонна еще не могла достигнуть Дарго, но уже слышны были выстрѣлы небольшого отряда, высланнаго княземъ Воронцовымъ навстрѣчу колоннѣ. Пассекъ отправился къ авангарду; прибывъ къ ротѣ, занятой разбрасываніемъ огромнаго завала, мѣшавшаго идти артиллеріи, подъ жесточайшимъ ружейнымъ огнемъ, обнажилъ шашку, крикнулъ: «ура! за мной!», первый перескочилъ черезъ заваль и палъ, прозенный нѣсколькими пулями».



ныхъ казаковъ, — по казакамъ горцы догадались, кто палъ, по всему лѣсу раздался торжествующій крикъ, и пули посыпались на него. Линейцы свернули его тѣло въ лубки, положили на лошадь и привязали къ ней. Горцы бросились въ шашки, отбили тѣло, пронизали кинжалами, стащили въ пропасть, отсѣкли голову и поставили ее Шамилю. Шамиль велѣлъ провезти ее по всѣмъ окрестнымъ ауламъ и объявить, что уже нѣтъ этого страшнаго наба.

Остатки отряда прибыли въ полномъ разстройствѣ въ Дарго, съ ничтожнымъ количествомъ провіанта.

13-го іюля армія снялась и пошла по направленію къ Герзель-аулу. Положеніе арміи было ужасно; чтобы добыть воды или въ огородахъ горцевъ луку, часто посылали цѣлый батальонъ, и въ иной день не досчитывалось людей сотнями. Самъ графъ и его свита питались только мансвой мукой. До Герзель-аула не мѣняли бѣлья, оно было отбито во вьюкахъ. Генераль Бѣлявскій, командовавшій авангардомъ, въ началѣ отчаянно пробивался впередъ; потомъ солдаты, истощенные голодомъ, исполняли его распоряженія механически, самъ графъ подвергался опасности и разъ спасенъ былъ отъ паденія въ пропасть Васильчиковымъ. Наконецъ, однажды Гурко доложилъ графу: «*les troupes ne veulent pas marcher, il faut payer de notre personne*», графъ всталъ и, надѣвая шпагу, отвѣчалъ: «*Eh bien, allons*».

Солдаты, будучи не въ силахъ долѣе переносить свое тяжелое положеніе, просились въ цѣпь, чтобы быть убитыми. Безнадежность и уныніе охватили все войско. Кѣмъ-то предложено было послать охотниковъ съ холоднымъ оружіемъ въ Герзель-аулъ къ генералу Фрейтагу, съ приказаніемъ идти немедленно на выручку. Два кабардинца это исполнили.

Генераль Фрейтагъ пригласилъ все населеніе этого городка къ изготовленію наскоро ночью сухарей, и забравши все, что было, на разсвѣтѣ двинулъ свой отрядъ, а чтобы облегчить солдатъ, приказалъ имъ быть въ одномъ бѣльѣ, перекинувъ черезъ плечи мѣшокъ съ сухарями, и быстро понесся съ своимъ отрядомъ къ арміи Воронцова. Еще далеко не соединившись съ ней, по дорогѣ, съ высоты горъ, далъ пушечный залпъ; этотъ залпъ, — рассказывали оставшіеся въ живыхъ

участники этой экспедиціи, былъ для нихъ трубнымъ гласомъ воскресенія: армія ожила и поспѣшила на соединеніе. Соединившись, вошли въ Герзель-аулъ, гдѣ уже продавались армянами серебряныя вещи изъ отбитыхъ тюковъ.

Такъ кончилась Даргинская экспедиція. Отъ границъ обществъ Буни и Трехнуцалъ, Андія, Гумбетъ, Ичкерія и почти вся Салатавія вновь перешли къ Шамилю.

Помпей Васильевичъ, получивши извѣстіе о смерти брата, написалъ письмо къ Воронцову, въ которомъ, между прочимъ, просилъ его сдѣлать распоряженіе о сохраненіи бумагъ Діоміда Васильевича и выслать ихъ семейству, такъ какъ изъ всего имущества, какое могло бы остаться послѣ его брата, это одно для нихъ драгоцѣнно.

Вотъ отвѣтъ графа:

«Милостивый государь

Помпей Васильевичъ!

«Вполнѣ раздѣляя съ вами и семействомъ вашимъ душевное огорченіе о кончинѣ брата вашего, храбраго генералъ-маіора Пассека, который пріобрѣлъ своими военными достоинствами общее уваженіе на Кавказѣ, слѣшу увѣдомить, что до полученія еще письма вашего, я приказалъ сдѣлать нужное распоряженіе о приведеніи въ извѣстность и сохраненіи оставшагося послѣ покойнаго имущества, для чего наряжена въ Темпръ-Ханъ-Шуръ особая комиссія, предсѣдателю которой, артиллеріи полковнику Годлевскому, бывшему въ дружеской связи съ братомъ вашимъ, вмѣнено въ обязанность не распродавать вещей, принадлежащихъ брату вашему, и обо всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ своевременно поставить васъ въ извѣстность. Что же касается до пенсіона матушкѣ вашей, то я священнымъ долгомъ себя поставлю въ возмездіе славной службы и славной смерти сына ея ходатайствовать у всемилостивѣйшаго государя императора.

«Примите, милостивый государь, увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности.

Князь Воронцовъ».

№ 428.

31 августа 1845 г.

Кисловодскъ.

Ни одной бумаги получено не было и самый проект о покореніи Кавказа исчезъ неизвѣстно куда. Полковникъ К. В. Годлевскій писалъ Богдану Васильевичу слѣдующее:

«Милостивый государь

Богданъ Васильевичъ!

«До васъ, вѣроятно, уже дошла печальная, роковая вѣсть о смерти вашего достойнаго, незабвеннаго брата Діомида Васильевича. Да! Онъ палъ, 11-го іюля, на полѣ битвы, какъ герой.

«Потеря вашего брата здѣсь невознаградима. Кавказъ долго, долго не забудетъ дѣлъ его блестящихъ. Память объ немъ перейдетъ въ отдаленное племя и будетъ имъ его повторяться съ героями прежнихъ лѣтъ Кавказа.

«Я зналъ его почти 5-ть лѣтъ. Съ первыхъ дней моей съ нимъ встрѣчи, въ чеченской экспедиціи 1841 г., я полюбилъ его душевно за прекрасныя, возвышенныя чувства къ нашей родной Россіи, за энергію и силу души и за тѣ достоинства военныя, которыми немногіе въ такой степени, какъ онъ, обладали.

«Онъ былъ весь помысль чести, славы и пользы русскаго народа. Онъ былъ блестящая, первой величины звѣзда между генералами. И этого-то человѣка не стало!

«Не смѣю также говорить вамъ, чтобъ вы утѣшили себя въ потерѣ вашего брата. Нѣтъ! Скорбь ваша и вашихъ родныхъ выше всякаго утѣшенія. То, что было любимо на землѣ—то нельзя забыть.

«Одно, что я вамъ могу сказать: будьте мужественны, идите тою же дорогою, по которой шелъ такъ славно Діомидъ Васильевичъ. Не забывайте того, кто искренно любилъ и уважалъ вашего брата—и вмѣстѣ съ тѣмъ къ вамъ преданнаго слугу Кирилла Годлевскаго».

1845 г.

Ук. Т.-Х.-Шура.

Генераль Клюки-фонъ-Клюгенау въ письмѣ къ Помпею Васильевичу такъ отнесся къ дѣлу, гдѣ погибъ безвременно Діомидъ Васильевичъ Пассекъ.

«Милостивый государь

Помней Васильевичъ!

«Вполнѣ постигаю и раздѣляю скорбь о потерѣ брата вашего, моего храбраго сподвижника; ранняя смерть его огорчаетъ всѣхъ, кто его зналъ: начальники и подчиненные, офицеры и солдаты, всѣ равно объ немъ сожалеютъ; только одна мысль утѣшительна, что онъ палъ, какъ истинный герой.

«Дѣлю 11-го іюля, въ которомъ погибъ братъ вашъ, было одно изъ самыхъ жаркихъ, въ какихъ мнѣ случалось бывать въ продолженіе моей жизни; будучи озабоченъ распоряженіями, я не могъ обращать на него постоянного вниманія и видѣть подробности его смерти, опишу вамъ то, что мнѣ сообщили бывшіе при немъ офицеры; говорятъ, что наканунѣ дня смерти онъ имѣлъ какое-то грустное предчувствіе и противъ обыкновенія своего, неохотно шелъ въ послѣдній бой; командуя авангардомъ, онъ былъ убитъ пулею, тѣло его везли на лошади, въ это время шелъ сильный дождь, дорога была скользка, на одной крутизнѣ лошадь оступилась и свалилась въ пропасть, мѣстность и обстоятельства лишили возможности спасти его тѣло. Вотъ печальная подробность, которая могу сообщить вамъ.

«Получивъ другое назначеніе, я въ настоящее время не могу сдѣлать распоряженія относительно сохраненія принадлежавшихъ покойному вещей и бумагъ; но, отправляясь въ скоромъ времени въ Дагестанъ, постараюсь, если будетъ возможно, исполнить ваше желаніе.

«Съ истиннымъ уваженіемъ имѣю честь быть вашъ, милостивый государь, покорнѣйшій слуга

Францъ фонъ-Клюгенау».

4-го октября 1845 г.

Урочище

Царскіе Колоды.

Въ томъ же 1845 году государь императоръ былъ въ Севастополѣ, куда прибылъ къ его проѣзду больной графъ Воронцовъ и далъ тамъ его величеству отчетъ въ Даргинской экспедиціи. Изъ Севастополя императоръ прибылъ въ Чугуевъ на смотръ войскъ. Въ Чугуевѣ его величеству было подано Пассеками прошеніе о переводѣ ихъ тяжёбнаго дѣла съ князьями Шаковскими

въ общее собраніе сената, на это послѣдовало высочайшее повелѣніе, объявленное Пассекамъ генераль-адъютантомъ Владиміромъ Федоровичемъ Адлербергомъ въ слѣдующемъ письмѣ его къ ихъ почтенной матери:

«Его императорскаго величества военно-походная канцелярія. Въ г. Чутуевѣ. 22-го сентября 1845 года, № 425.

Копія.

Милостивая государыня

Екатерина Ивановна!

«Государь императоръ, по всеподданнѣйшему докладу прошенія вашего, отъ 19-го сего сентября, Высочайше повелѣть соизволилъ: во вниманіе къ отличнымъ заслугамъ и блестящимъ подвигамъ покойнаго сына вашего, генераль-маіора Пассека: 1) производить вамъ пенсію, которая бы слѣдовала покойному сыну вашему, съ тѣмъ, чтобы послѣ смерти вашей пенсія эта обращена была, по жизни, четыремъ дочерямъ вашимъ: Ольгѣ, Зинаидѣ, Людмилѣ и Евгеніи, каждой по равной части; 2) выдать вамъ теперь же въ единовременное пособіе пять тысячъ рублей серебромъ и 3) пересмотрѣть въ общемъ собраніи московскихъ департаментовъ правительствующаго сената всеподданнѣйшее прошеніе сына вашего титулярнаго совѣтника Вячеслава Пассека по дѣлу его съ князьями Шаховскими о наслѣдственномъ имѣніи.

«Съ особеннымъ удовольствіемъ, поздравляя васъ, милостивая государыня, съ этою монаршею милостью, имѣю честь присовокупить, что объ исполненіи такихъ Высочайшихъ повелѣній вмѣстѣ съ симъ сдѣлано мною надлежащее распоряженіе. Примите, милостивая государыня, увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и преданности». Подлинное подписалъ: «В. Адлербергъ».

Императоръ Николай Павловичъ изъявилъ свое сочувствіе къ горю осиротѣвшей матери и осыпалъ ее милостями. Сынъ ея палъ, осыненный лаврами. «Лавры не лѣчатъ сердца матери», сказалъ одинъ изъ нашихъ талантливыхъ писателей, тепло вспоминая Діоміда Васильевича въ своихъ запискахъ.

---

## ГЛАВА XXIII.

### Б р а н ь.

1832 г.

«Для многихъ бракъ — святое отношеніе, для другихъ — любовное насиліе жить вмѣстѣ, когда хочется жить врознь, и совершеннѣйшая роскошь, когда хочется и можно жить вмѣстѣ».

Московскій университетъ, въ началѣ тысяча восемьсотъ тридцатыхъ годовъ еще далеко отстоялъ отъ послѣдующаго развитія своего, когда благодѣтельная мѣра, принятая въ 1828 году \*), стала приносить первые свои плоды.

Впрочемъ, университетъ во всемъ своемъ составѣ, и особенно въ студенческой части, какъ будто предчувствовалъ эпоху обновленія, совершившуюся между 1833—1835 годами, по мысли графовъ Сергѣя Сергѣевича Уварова и Сергѣя Григорьевича Строганова. Съ 1831 года оказываются въ учащихъ признаки пробужденія высшихъ интересовъ и новой жизни. Въ это время находились и нѣкоторые профессора, поддерживавшіе съ честью достоинство своихъ кафедръ. Таковы были: М. Т. Каченовскій, М. П. Погодинъ, С. П. Шевыревъ, М. Г. Павловъ, Н. И. Надеждинъ.

Кромѣ упомянутыхъ профессоровъ, на лекціи которыхъ стекались слушатели всѣхъ отдѣленій, были и другіе достойные преподаватели.

Въ этотъ періодъ времени правительство смотрѣло на высшія учебныя заведенія, не военныя, вообще не совсѣмъ благопріятно; относительно же московскаго университета, считавшагося почему-то, по своему направленію, опаснымъ, несмотря на то, что студенты были исполнены научныхъ интересовъ, приняты были пред-

---

\*) Посылка молодыхъ русскихъ ученыхъ за границу для обра-  
щенія себя къ профессорскому званію.

охранительныя мѣры. Подъ вліяніемъ научнаго направленія, многіе изъ пылкихъ юношей, возмущаясь явнымъ противорѣчіемъ между своими лучшими стремленіями и господствовавшимъ порядкомъ вещей, многое изъ того, что въ другихъ сферахъ признавалось хорошимъ—порипали. Сверхъ того, литература того времени, ученіе Сень-Симона, Анфантена, Фурье, іюльское революціонное движеніе 1830 года, производившее большое впечатлѣніе даже на высшіе слои общества, на молодыхъ людей съ освободительными идеями имѣли сильнѣйшее вліяніе. Они лихорадочно слѣдили за каждымъ словомъ любимыхъ дѣятелей той эпохи и видимыми знаками выражали свое сочувствіе. Иные же изъ нихъ, по пылкости, тѣпили себя вольнолюбивыми фразами, хотя и безъ всякаго приложенія къ дѣлу, но такъ явно, что обращали на себя вниманіе полиціи.

Между тѣмъ, множество живыхъ вопросовъ пробуждали все болѣе и болѣе мысль въ молодомъ поколѣніи. Мысль, требуя исхода, заставляла молодыхъ людей собираться группами. Группы, по сродству стремленій, распадалась на кружки около своихъ центровъ. Такимъ образомъ составилъ кружокъ, по преимуществу съ нравообразовательными цѣлями, къ которому принадлежали: Вадимъ, Александръ, Никъ, Сатинъ, Носковъ, Сазоновъ, Лахтинъ (молодой человѣкъ изъ купечества, женатый), Кетчеръ, Савичъ и другіе. Они встрѣтили въ университетѣ уже готовымъ кружокъ Сягуровскій, съ направленіемъ не столько научнымъ, сколько политическимъ. Рядомъ съ первымъ составилъ кружокъ около Станкевича, юноши, выразившаго собой все, что содержалось идеально-прекраснаго въ этой эпохѣ. Тамъ изучались философскія системы. Кружки эти были юны, страстны и потому—исключительны. Они холодно уважали другъ друга, но сближаться не могли.

Впослѣдствіи нѣкоторыя изъ личностей этихъ двухъ кружковъ заняли блестящія мѣста въ наукѣ и литературѣ того времени. Въ ихъ произведеніяхъ слышалась свѣжая освободительная струя, возбужденіе къ критикѣ, вражда къ застою и общественной несправедливости, что дѣлало ихъ прекраснымъ воспитательнымъ

средствомъ для умовъ, въ которыхъ была потребность живого знанія \*).

Направленіе, начавшее развиваться въ 1830-хъ годахъ, называли тогда западнымъ; въ настоящее время его называютъ «направленіемъ сороковыхъ годовъ», такъ какъ въ сороковыхъ годахъ оно достигло своей зрѣлости.

Противоположности возрѣнія школъ славянофильской и западной въ 1832 году еще не было. Господствующимъ чувствомъ было общее враждебное отношеніе къ міру лжи и лицемерія. Хотѣли порѣшиться съ нимъ, но чѣмъ, какъ? этотъ вопросъ считали второстепеннымъ. Каждый могъ отвѣтить на него по своему личному вкусу. Главная задача была составить оппозицію. Но, несмотря на преобразовательныя стремленія, на Фурье и Сентъ-Симона, на карцеры и педелей, вмѣстѣ съ учеными и дружескими спорами шли шумные, веселые пиры. Пировали недолго. Вскорѣ ясная жизнь молодыхъ людей, свыкшихся съ идеальнымъ міромъ своихъ идей, была неожиданно встревожена.

Уже не разъ случалось, что изъ числа занимавшихся студентовъ, съ свободнымъ образомъ мыслей, иные внезапно исключались изъ университета. Объ этомъ нѣсколько времени шли толки втихомолку, и замолкали. Вдругъ однажды было удалено нѣсколько студентовъ кружка Сунгурова. Въ числѣ удаленныхъ находились: Кольрейфъ, сынъ нѣмецкаго пастора, замѣчательный музыкантъ, Антоновичъ, Костенецкій, Оболенскій и Сунгуровъ, молодой семейный помѣщикъ.

Я помню, что Вадимъ, Александръ и ихъ товарищи были поражены такимъ событіемъ, но, несмотря на это, не только что не перестали сходитья, по обыкновенію; напротивъ, тѣснѣе сблизились другъ съ другомъ, — пополняли чтеніемъ то, что слышалось съ каедръ; высказывали свои возрѣнія на науку и жизнь, результаты, къ которымъ приходили, новые открываемые горизонты, которыхъ считали необходимымъ достигнуть,

---

\*) Этотъ взглядъ высказанъ А. Н. Пыпинымъ въ характеристикѣ литературныхъ мнѣній объ одномъ изъ лицъ упомянутыхъ кружковъ, но его можно отнести къ нѣсколькимъ лицамъ, вышедшимъ изъ нихъ.



и изъ всего этого выводили нравственные обязанности, исполненіе которыхъ должно было, по ихъ мнѣнію, привести общество къ жизни дѣйствительно человеческой.

Теперь, когда это время отстоитъ отъ меня далеко, оно особенно ярко представляется мнѣ; но тогда, когда оно проходило подлѣ меня, цѣплялось за меня, я относилась ко всему этому безотчетно, какъ бы къ невыходящему изъ обыкновеннаго порядка жизни, тѣмъ болѣе въ 1832 году. Въ это время я была помолвленная невѣста и до того отдана своимъ чувствамъ и поности положенія, что внутреннимъ состояніемъ своимъ была почти внѣ наружной обстановки.

Лучшая часть души моеѣ была обращена къ небу иному.

Слыша, что того-то удалили, того арестовали, я на мгновенье содрогался отъ испуга, въ родѣ того, какъ человѣкъ, находящійся подъ чистымъ небомъ, услышавъ ударъ грома, вдругъ содрогается, да и перестаетъ думать о немъ, видя надъ собой ясную лазурь.

Надо мной свѣтило тогда ясное небо любви.

Очарованная его красотою, я не замѣчала занимавшейся на горизонтѣ черной точки, которой предназначено было развернуться грозной тучею; повидимому, не замѣчали ея и окружавшіе меня. Они безпечно отдавались настоящему.

Продолжительная отлучка Вадима изъ Москвы передъ женитьбой, частыя, продолжительныя поѣздки наши послѣ женитьбы, новые интересы внѣ товарищескаго кружка, — спасли его отъ ударовъ, которыми разразилась развернувшаяся черная точка; но, несмотря ни на что, рикошетомъ они попали и въ насъ.

Дѣла семейства задержали Вадима въ Харьковѣ и въ селѣ Спасскомъ около полугода. Онъ изрядка писалъ товарищамъ. Для частой же переписки съ ними не имѣлъ достаточно свободнаго времени, занятый множествомъ дѣлъ по раздѣлу имѣнія и по хозяйству. Кромѣ того, графъ Александръ Никитичъ Панинъ \*) предложилъ ему занять въ харьковскомъ университетѣ кафедру исторіи, и онъ, готовясь къ ней, все свободное

---

\*) Бывшій въ то время попечителемъ харьковскаго университета.

время употреблялъ на чтеніе историческихъ и философскихъ книгъ, да на переписку съ родными и со мной. Черезъ переписку мы больше узнали другъ друга и больше сблизились.

Въ началѣ августа Иванъ Алексѣевичъ собрался ѣхать въ деревню. Матушка просила Луизу Ивановну оставить меня, на время ихъ поѣздки въ Васильевское, у нея. Саша упрашивалъ ѣхать съ ними, представляя, какъ полезно мнѣ будетъ провести нѣсколько времени на чистомъ воздухѣ. Я склонялась на желаніе Саши, но матушка сказала рѣшительно, что меня не отпустить, и я осталась у нихъ.

Александръ страшно скучалъ въ деревнѣ и писалъ мнѣ: «Я считаю дни до отъѣзда въ Москву; такой скуки въ Васильевскомъ я еще никогда не чувствовалъ».

Они возвратились въ Москву въ двадцатыхъ числахъ сентября, и послѣ этого раза Иванъ Алексѣевичъ въ Васильевское больше не ѣздилъ.

Кромѣ пріѣхавшаго въ Москву брата моего Алексѣя, добродушнаго, веселаго, беззаботнаго гусара, чуждаго интересовъ, которые уже вѣяли въ воздухъ, насъ часто посѣщали въ это время тѣ изъ товарищей Вадима, которые оставались на лѣто въ Москвѣ. Всѣ они сблизились съ Діомидомъ; но ближе всѣхъ онъ сошелся со мною и съ Александромъ, день ото дня становился съ нами откровеннѣе и разговоры наши дѣлались серьезнѣе.

Время это было свѣтло и полно теплыхъ, юныхъ вѣрованій и упованій. Но, несмотря ни на какія стремленія и разсужденія, всѣ мы были еще до того молоды душой, что если во время самаго жаркаго разговора случалось разносичку ягодъ прокричать подъ окномъ: «владимірская вишня!» или «крыжовникъ хорошій!»—мы бросались къ окну, всѣ ягоды съ лотка переходили къ намъ на столъ, и предметы разговора становились веселѣе.

Часто утрами, а иногда и передъ вечеромъ, я ходила съ сестрами и Діомидомъ на Прѣсненскіе пруды. Въ одну изъ этихъ прогулокъ мнѣ привелось быть свидѣтельницей вспыльчивости Діомида. Только что мы отошли нѣсколько отъ дома, какъ за нами оказался молодой человекъ, прилично одѣтый. Онъ то ровнялся съ нами, то

опережалъ и обертывался на насъ. Діомидъ мѣнялся въ лицѣ. Вдругъ молодой человѣкъ, поровнявшись съ нами, наклонился и заглянулъ намъ подъ шляпки. Мгновенно раздалась пощечина, и Діомидъ, давши пощечину молодому человѣку, держа его за воротъ, втокнулъ въ будку, противъ которой это произошло, захлопнулъ за нимъ дверь и приказалъ будочнику стеречь его. Пораженный видомъ Діомида, будочникъ залеръ дверь и вытянулся передъ ней съ алебардой. Прекрасные глаза Діомида были темны и грозны. Мы поспѣшили увести его домой.

«...Я радъ, моя Таня, что ты сблизилась съ Діомидомъ,—писалъ ко мнѣ Вадимъ изъ Харькова:—Діомидъ любитъ тебя, и я счастливъ этимъ. Твоя душа должна быть въ дружбѣ со всѣмъ прекраснымъ. Люби его, мой ангелъ.

«Мнѣ предлагаютъ быть корреспондентомъ харьковской бібліотеки, и получилъ письмо отъ графа Александра Никитича Панина; онъ пишетъ, что представилъ меня къ занятію кафедрой исторіи въ здѣшнемъ университетѣ и уже писалъ министру.

«Альфіери простъ, но труденъ по простотѣ своей. Я хотѣлъ перевести его, чтобы показать, какъ онъ представляетъ ужасы вѣлительства римскихъ дещемвировъ. Перевелъ дѣйствіе, но получилъ твое письмо, подумалъ—и сжегъ...

В а д и м ѣ .

Въ августѣ едва не разстроился мой бракъ съ Вадимомъ. Однажды, вечеромъ, Діомидъ позвалъ меня къ себѣ въ комнату, наверхъ. Тамъ, послѣ небольшого предисловія, сказалъ, что онъ былъ сильно противъ женитьбы на мнѣ Вадима и чтобы отвлечь его, напомнилъ о дѣвушкѣ, которая ему нравилась прежде, нежели онъ узналъ меня. Эта дѣвушка была дочь помѣщика Р—ля, у котораго Вадимъ, будучи студентомъ, жилъ одно лѣто на кондичи.

«Когда же я узналъ тебя,—говорилъ Діомидъ:—по ты сама видишь... объяснять нечего... въ доказательство, какъ я не раздѣляю тебя въ моемъ сердцѣ отъ Вадима, покажу тебѣ его письмо, которымъ онъ отвѣчалъ на мое предостереженіе».

Сказавши это, Діомидъ подагъ мнѣ письмо и не спускалъ съ меня глазъ, пока я читала. Вадимъ писалъ:

«Другъ мой, Вадимъ! Ты желаешь мнѣ счастья, вѣрю и знаю. Ты хочешь видѣть ее—перевершившую мои желанія, намѣренія, мечты; хочешь самъ провѣрить, могу ли я быть съ нею счастливъ, могу ли, дѣйствительно, любить ее, истинное ли чувство рѣшило мой выборъ? Взгляни на нее, поговори съ нею,—и ты поймешь мою любовь. Ты напоминаешь мнѣ объ Анастасіи,—зачѣмъ? Она вліяла больше на мое воображеніе, нежели на сердце, и дѣйствовала по интересности событія, играла роль по любопытству шесы; но гдѣ же влеченіе сердца!—иначе она не осталась бы недѣлительною. Чѣмъ не пожертвуетъ человѣкъ, когда любитъ? А по ней даже и не замѣтили нашей привязанности. Любилъ я одинъ. Одинъ я видѣлъ только ее. Сверхъ того, мы лишены важнаго преимущества: у насъ права личныя, они всѣ это знали.

«Таня не дѣлитъ предразсудокъ толпы, посмотри на нее, мой Діомидъ, узнай ее и скажи, буду ли я съ нею счастливъ. Если ты скажешь—нѣтъ, значитъ я не рожденъ для счастья. Нѣтъ, Діомидъ, не повторяй мнѣ безпрестанно имени Анастасіи: зачѣмъ мнѣ вспоминать о ней, когда люблю другую? Иногда мнѣ кажется, что чувства мои дѣлятся между ними, а я и изъ воображенія моего долженъ удалить ее, ты же напоминаешь. Въ Танѣ моей моя любовь и мое счастье»...

Далѣе Вадимъ пишетъ о дѣлахъ и просить Діомида немедленно уничтожить это письмо.

Кончивши читать, я заплакала и взволнованнымъ голосомъ сказала:

— Ну, что-жъ—любить другую, пускай любитъ, онъ свободенъ. Завтра же напишу ему, что счастіемъ его мѣшать не стану.

Діомидъ изумился—и сталъ объяснять, что я не такъ поняла письмо Вадима.

— Нѣтъ, Доша,—возразила я, рыдая:—не трудись объяснять напрасно. Когда любить одну, о другой не вспоминаютъ; и зачѣмъ забывать, я не хочу и не стану никому заступать въ жизнь, вытѣсняя. Между Вадимомъ и мной все кончено.

Діомидъ встревожился, клялся, что Вадимъ, кромѣ

меня никого не любить. Видя, что все напрасно, вышелъ изъ терпѣнія, сталъ упрекать самого себя и въ отчаяніи сказалъ:

— Боже мой! что я надѣлалъ! Неужели буду виною несчастія Вадима! Онъ просилъ уничтожить письмо, а я, увѣренный въ твоёмъ благоразуміи, въ твоей привязанности къ Вадиму, показалъ его тебѣ, для того, чтобы между имъ, тобой и мною не лежало ничего тайнаго. А ты! что ты со мной дѣлаешь?

У него навернулись на глазахъ слезы. Огорченіе, тревога Діомиды сколько тронули, столько же и перепугали меня. Я образумилась, выслушала объясненіе, и все пришло въ прежній порядокъ, только письма мои къ Вадиму нѣсколько времени были холоднѣе. Они вызвали съ его стороны жаркія увѣренія.

Въ переписку нашу съ Вадимомъ входили не только выраженія чувствъ, но и очерки того, что производило особое впечатлѣніе или возбуждало какую-нибудь мысль. Такъ, въ концѣ августа, Вадимъ описалъ мнѣ впечатлѣніе, сдѣланное на него Чугуевомъ.

Село Снаское.—Августа 24-го ч.

«... Изъ Харькова я отправился въ Чугуевъ, потомъ въ Волчанскъ, и только нынче возвратился въ деревню. О Харьковѣ и Волчанскѣ я уже говорилъ тебѣ, теперь о Чугуевѣ. Городъ этотъ лежитъ версты на полторы вдоль и почти столько же поперекъ. Онъ расположенъ на трехъ холмахъ, раздѣленныхъ тремя глубокими рвами. Это не городъ, а солдатъ. Дома построены по одной формѣ, покрыты одной краской и у всѣхъ одно расположеніе и одинаковое количество оконъ и дверей. Между улицами Солдатской и Офицерской почти та же разница, какая между обоими этими чинами. Вотъ и все разнообразіе. Одинъ корпусъ отличается отъ другихъ зданій своей огромностью. Во всемъ городѣ никого не встрѣтилъ, кромѣ мундирныхъ людей. Человѣкъ невоенный здѣсь рѣдкость. Рассказываютъ, что прежде весь городъ былъ въ садахъ. Теперь нѣтъ ни одного. Прежніе казаки переформированы въ улановъ, которые, занимаясь службой, въ то же время помогаютъ такъ-называемымъ хозяевамъ, родственникамъ или чужимъ, у которыхъ живутъ и которые также подлежатъ вѣдом-

ству военному. Хозяева не обязаны фронтовой службой, за то должны, несмотря на урожай и неурожай хлѣба, доставлять известное количество для поселеннаго войска: таково устройство Чугуева и всѣхъ здѣшнихъ поселенныхъ деревень. Въ одной Харьковской губерніи, кажется, 24.000 поселеннаго войска. Силы грозныя. Не стану говорить тебѣ объ ужасахъ, съ какими было введено и принято это преобразование. Теперь все тихо, и вида при настоящемъ устройствѣ обиліе произведеній—молчать. Кажется, довольны.

«По пути изъ Волчанска, я видѣлъ новую для меня картину: ужасный вѣтеръ взволновалъ песчаныя степи и тучами песка заносилъ поля и пажити. Ѣхать было нельзя, человѣкъ не могъ управлять лошадей, а лошадь, ничего не видя, не могла идти.

«Здѣсь вокругъ меня степь всесторонняя. Много людей, но я одинъ, Таня; можетъ-быть, въ этой толпѣ найдется человѣкъ, два, три... Вадимъ».

Въ послѣднихъ числахъ сентября пріѣхалъ въ Москву Евгений Пассекъ и, пробывши нѣсколько дней, вмѣстѣ съ Діомидомъ уѣхалъ въ Петербургъ, откуда Діомидъ тотчасъ писалъ къ роднымъ и ко мнѣ. Изъ писемъ его можно видѣть, съ какимъ пыломъ онъ отдавался даже дружескимъ чувствамъ своимъ.

29-го сентября 1832 г.

«Другъ мой, милая моя Таня! ты передо мною, я тебя вижу. Твой взоръ устремленъ на меня. Въ этомъ взорѣ—небо... По тебѣ я улучшилъ мой идеалъ. Я думаю о твоей будущности — ты будешь счастлива съ Вадимомъ. Онъ высокій, благородный, стоитъ тебя. Объ этомъ въ будущій разъ я буду писать тебѣ пространнѣе...

«Жду, милая Таня, письма отъ тебя.

«Скажи Александру, что въ немъ я нашелъ человѣка цѣльнаго, съ быстрымъ, проникающимъ взглядомъ и умомъ, торжествующимъ надъ всѣмъ, въ себѣ и въ окружающемъ его. Что, наконецъ, я нашелъ вѣгъ нашего семейства могучаго человѣка, и этотъ человѣкъ — Александръ. Твой по гробъ Діомидъ».

Какъ въ Діомидѣ, такъ и въ Вадимѣ была сильная потребность привязанности и раздѣла чувствъ. Вдали отъ людей близкихъ имъ тяжело жилось.

Вадимъ, несмотря на множество дѣлъ въ Харьковѣ и

въ имѣніи, не находя вокругъ себя людей, ему симпатичныхъ, страшно тосковалъ и высказывать это въ своихъ письмахъ.

24-го сентября 1832 года онъ писалъ изъ села Спаскаго:

«Уже пятый мѣсяць я въ разлукѣ съ тобой, душа моя! Продолжительные, ужасные мѣсяцы! Какъ мало въ нихъ свѣтлыхъ минутъ!...

«Но да не омрачить тебя и тѣнюю печали начало моего письма. И въ грусти жизнь; когда душа человѣка полна ею, онъ выше самодовольнаго состоянія, которое толпа называетъ—счастьемъ. Я люблю мою грусть, она—по тебѣ, моя Таня, по тебѣ, мое счастье... Почести гражданскія не мой путь. Я стремлюсь къ жизни чисто человѣческой, къ благу ближнихъ, къ дружбѣ, къ любви, къ осуществленію идеи о человѣкѣ. Это моя жизнь. Гражданская жизнь стремится къ ней, какъ идеалу, и всегда скована настоящимъ—въ человѣкѣ и въ мѣстѣ, гдѣ онъ находится. Отъ того-то въ каждомъ вѣкѣ она имѣетъ свою характеристику. А жизнь человѣческая—эта жизнь неизмѣняема, какъ истина. Она не противорѣчить ничему гражданскому, но вмѣщаетъ его въ себя, и въ то же время выше ея. Идею этой жизни я разовью въ которомъ-нибудь изъ моихъ сочиненій; покажу, что къ ней все стремится, къ ней бѣгутъ наперерывъ всѣ народы, одни—какъ младенцы, другіе—какъ юноши, иные едва влекутся, окованные мѣстностью и обстоятельствами. Покажу, какъ главными ступенями для этой жизни были: 1) жизнь патріархальная, 2) собственно городская, 3) гражданская, 4) политическая. Этимъ обрисую: древнюю Азію, Грецію и отчасти Италію, Европу въ средніе вѣка и Европу новую.

«Гражданская жизнь, стремленіе къ ней, возникла для всей Европы въ средніе вѣка; она возстала противу варварства, возродила разныя партіи и произвела борьбу—тяжелую въ настоящемъ, благотворную въ будущемъ. Оградивши себя необходимымъ на пути этой жизни, сдѣлали шагъ къ жизни политической, т.-е. явилась потребность быть нераздѣльною, живою, дѣятельною частью цѣлаго и участвовать во всѣхъ пе-

револютахъ. И вотъ начали являться хартіи, ограждающія политическое бытіе. Остается еще шагъ важный—жизнь собственно человѣческая. Трудно народамъ достигнуть этой жизни, она требуетъ просвѣщенія и правильнаго развитія чувствованій, такъ какъ состоитъ въ дѣйствіяхъ души, не стѣсненныхъ обстоятельствами, которыя могутъ характеризовать народы и тѣмъ дѣлать людей отъ людей—это идеаль! Если бы было можно, я составилъ бы изъ нея религію народовъ. Она не лишитъ ихъ того, что называется національностью, и арабы, и греки, и осы, одинаково чувствуя, какъ люди, могутъ идти къ идеалу различными путями, какъ граждане, какъ различныя племена.

«Можетъ-быть, я уже наскучилъ тебѣ, душа моя, прости твоему Вадиму. Я долго носилъ въ своей еще юной душѣ эту незрѣлую думу или чувствованіе,—не знаю даже, какъ и назвать,—и незрѣлую передаю тебѣ. Поживу, подумаю и, можетъ, составлю изъ этого что-нибудь доброе.

«Теперь новость: здѣсь былъ царь. Большая часть военныхъ награждены. Университетъ былъ Высочайше одобренъ. Я радъ за университетъ... Вадимъ».

Дѣла по имѣнію нѣсколько устроились, вмѣстѣ съ этимъ поправилось и положеніе семейства. Въ сентябрѣ семейство Пассекъ стало искать квартиру попросторнѣе, и въ октябрѣ наняло довольно большой домъ на Молчановѣ, принадлежавшій Рахманинову; тамъ двѣ комнаты были отдѣлены для меня съ Вадимомъ.

Въ октябрѣ мы всѣ были встревожены продолжительнымъ молчаніемъ Вадима до того, что писали въ Петербургъ Діомиду о своемъ безпокойствѣ и спрашивали его, не знаетъ ли чего о немъ. Діомидъ отвѣчалъ:

«Ужъ и въ меня запало безпокойство о Вадимѣ. Что съ нимъ? Что дорого намъ, за то страшимся всего. Мы, несчастливцы,—стали счастливые, и знаемъ цѣну своего настоящаго: оно такъ хорошо, тяжело бы утратить его. Малость, — рождающая безпокойство, — велика, Таня. Жду—буду ждать дальше, не паду передъ несчастіемъ, но это не возвращаетъ утраты... Но что же это? Я заразился вашимъ опасеніемъ, хотя и вижу его несостоятельность; это потому, что вы близки мнѣ, и я дѣлю ваши чувства».



«Шорой меня волнуетъ, омрачаетъ мысль, что всѣ земныя связи, наслажденія—минуютъ. Девяносто, сто лѣтъ, и—гдѣ кругъ нашъ? Земное невѣчно; невѣчное наводитъ уныніе на душу. А тамъ, что за гробомъ? неизвѣстно. Неизвѣстность мучительна! Ничто! — ничто не удѣлъ человѣка. Всеобъемлющій духъ въ земныхъ узахъ. Нѣтъ—мы не исчезнемъ, мы соединимся съ началомъ нашего бытія — будемъ свободны, будемъ совершенны»...

Однажды, въ двадцатыхъ числахъ октября, мы засидѣлись у Пассековъ до поздняго вечера. Ночь была темная. Снѣгъ валилъ такой, что свѣта Божьяго было не видать. Вдругъ у подъѣзда скрипнуло по снѣгу, въ передней послышалось движеніе, отворилась дверь въ залу, гдѣ мы находились, и вошелъ человѣкъ въ шубѣ, закутанный голубымъ шарфомъ, съ головы до ногъ обсыпанный снѣгомъ. За нимъ выступилъ другой, небольшого роста, въ военной шинели, также въ шарфѣ и въ снѣгу. Вслѣдъ затѣмъ показался еще человѣкъ, высокій, въ дубленкѣ и въ смушковой шапкѣ, съ мѣшками и подушками въ рукахъ. Въ первую минуту всѣ съ недоумѣніемъ смотрѣли на это явленіе, когда же изъ-за шарфовъ узнали Вадима, раздались крики радости, объятія, поцѣлуи. Вадимъ представилъ привезеннаго съ собой уланскаго офицера Бахтурина — блондина, чрезвычайно подвижнаго, и поэта. Высокій человѣкъ былъ молодой малороссы изъ крестьянъ, взятый Вадимомъ для прислуги.

Мы съ Вадимомъ разстались наружно чужими, привыкли другъ къ другу переписываясь, увидались слишкомъ близкими, — и не знали, какъ найтись въ этомъ положеніи.

Радостный, одушевленный разговоръ шелъ между всѣми; я не принимала въ немъ участія и почти не смотрѣла на Вадима, но чувствовала тайную связь между нами, радость и страхъ.

Мало-по-малу я овладѣла собой, и когда Вадимъ, отдѣлившись отъ всѣхъ, сталъ говорить со мной, я отвѣчала ему довольно спокойно, но мы оба чувствовали, что говоримъ не то, что надобно, что сказать намъ необходимо многое, но что это многое еще не ясно опредѣляется въ головѣ.

Вадимъ видѣлъ, что я затрудняюсь, оставаясь съ нимъ одна, и нѣсколько времени не смѣлъ отнестись ко мнѣ, какъ къ своей невѣстѣ. Только исподоволь онъ привлекъ меня къ себѣ, и мы стали другъ для друга тѣмъ, чѣмъ были внутренне и въ письмахъ...

День вѣнчанія назначенъ былъ 11-го ноября 1832 года. Начались хлопоты, толки о приданомъ. Изъ Корчевы, отъ тетушки Елисаветы Петровны, явились сундуки съ прекраснымъ бѣльемъ, перевязаннымъ розовыми ленточками. Въ комнатахъ Луизы Ивановны лежали гроденалли, дымка, ленты и разныя мелочи. Швее Ольга Петровна снимала съ меня мѣрку; справлялись съ моимъ мнѣниемъ о фасонахъ платьевъ, о цвѣтѣ матерій, о мебели, о серебрѣ. Боже мой, на что всего столько, думала и говорила я. Хотя въ сущности приданое мое было небольшое, но мнѣ, имѣвшей всегда менѣе чѣмъ оглащенный туалетъ, казалось—громаднымъ.

Дни летѣли, какъ сны.

Поздравленія, суета; у Вадима съ утра товарищи, шумные, оживленные разговоры, чтеніе стиховъ Бахтуринымъ, его непосѣдливость — наполняли все время до вечера и захватывали Вадима. Это, разъединяя насъ наружно, внутренне влекло сильнѣе другъ къ другу, заставляло нетерпѣливо ждать вечера. Вечера были наши. Вечеромъ мы уходили въ отдѣленные намъ комнаты и оставались тамъ до моего отъѣзда.

Иванъ Алексѣевичъ въ это время былъ нездоровъ и капризенъ больше, чѣмъ когда-нибудь. Чтобы не тревожить его частыми посѣщеніями моего жениха, Луиза Ивановна со мной, Сашей и Егоромъ Ивановичемъ почти каждый день бывала у Пассековъ, гдѣ иногда мы оставались до поздней ночи. Поэтому же рѣшили отпустить меня къ вѣнцу отъ Варвары Марковны Мертваго, квартира которой находилась прямо противъ дома Ивана Алексѣевича. Варвара Марковна была приглашена ко мнѣ въ посаженные матери, а Николай Павловичъ Голохвастовъ въ посаженные отцы.

Я была такъ счастлива, что мнѣ стало казаться, будто всѣ до того сочувствуютъ моему счастью, что и сами стали счастливѣе и чрезвычайно любятъ меня. Даже прислуга, казалось мнѣ — внимательнѣе и радуется, что мнѣ такъ хорошо.

— Вотъ, барышня,—однажды говорила мнѣ Марина, вечеромъ, раздѣвая меня:—не вѣрили гаданію, мостикъ-то вамъ на святкахъ мы подмостили.

— Да вѣдь задумали о Н—я, какъ же это выходить совсѣмъ не такъ?

— Это все равно—вышелъ женихъ.

— Не отъ мостика же женихъ,—говорила я, припоминая видѣнный мною сонъ:—я не видала во снѣ ни мостика, никого, кто бы переводилъ меня черезъ него. Я видѣла церковь, много народа и какого-то молодого человека, одѣтаго въ черное платье, который встрѣтилъ меня, взялъ за руку и повелъ внутрь церкви, гдѣ, вмѣсто службы, нѣсколько паръ вальсировало. Онъ провальсировалъ со мной и посадилъ рядомъ съ собой на кресло противъ какого-то занавѣса, за которымъ раздавался тихій концертъ—пѣли «святый Боже, святый крѣпкій, святый безсмертный...»

— Вотъ это-то они и были.

— Кто они?

— Вашъ женихъ.

Я задумалась и старалась яснѣе припомнить свой сонъ, потомъ сказала Маринѣ:

— Какъ бы хорошо было, если бы теперь и ты выходила замужъ, Марина.

— Да, у вашего дѣдушки выйдешь замужъ!—отвѣчала она съ досадою:—нѣтъ, ужъ видно, намъ издыхать у него въ дѣвичьей.

Я вздохнула; мнѣ стало грустно, что Маринѣ придется издыхать въ дѣвичьей, вмѣсто того, чтобы любить, выходить замужъ и быть счастливой, какъ я.

Въ продолженіе двухъ недѣль я такъ привыкла къ Вадиму, что когда привезли къ нему мое приданое, то мы вмѣстѣ его принимали, помогали уставлять мебель, перебрали и пересмотрѣли всѣ комоды и ларчики, смѣялись, шутили и не могли нарадоваться, видя и чувствуя себя у себя.

Приближался послѣдній день моей дѣвичьей жизни. Во мнѣ стало рождаться тревожное чувство, мысль о предстоящихъ обязанностяхъ, которыя принимала на себя, объ отвѣтственности за счастье человека, ввѣрившаго мнѣ свою жизнь.

Въ день вѣнчанія я съ утра была у Варвары Мар-

ковны, куда заранѣе принесли мой подвѣнечный нарядъ: бѣлое дымковое платье, на бѣломъ атласномъ чехлѣ, кружевной вуаль и другія принадлежности туалета. Все это было разложено на диванѣ въ уборной.

Во всемъ домѣ царствовала тишина, какъ бы въ ожиданіи чего-то выходящаго изъ ряда обыкновенной жизни; въ самомъ воздухѣ вѣяло что-то таинственное.

Я находилась въ состояніи полусознанія. Безсвязныя мысли рождались въ головѣ и, непроясненные, исчезали, не оставляя слѣда.

Въ шесть часовъ вечера весь домъ былъ освѣщенъ. Въ восемь меня позвали одѣваться. Сердце у меня замерло. Въ уборной, передъ большимъ трюмо, меня ждали двѣ меньшія дочери Варвары Марковны и горничная дѣвушка. Въ залу вошли два шафера: Саша и Сатинъ, во фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ. Сатинъ привезъ корзинку съ вѣнкомъ изъ померанцевыхъ цвѣтовъ и букетъ изъ живыхъ померанцевъ и мирта.

Когда я была одѣта наполовину, въ уборную позвали Сашу. Въ качествѣ брата, онъ долженъ былъ надѣть мнѣ на ногу башмакъ. Саша боялся всякаго *mis en scène* и блѣднѣлъ отъ робости. Я сидѣла въ креслѣ. Онъ опустился передо мной на одно колѣно и взялъ мою полуобутую ногу. Руки его дрожали, на глазахъ у него навертывались слезы. Мы взглянули другъ на друга, этимъ взоромъ повторилось наше дѣтство, наша ранняя юность, и мы съ благодарностью простились съ ними...

— Что же вы, Александръ Ивановичъ? Обувайте скорѣе сестрицу, — сказалъ кто-то изъ присутствовавшихъ.

Саша поспѣшно взялъ башмакъ, наклонился, и я почувствовала, какъ горячая слеза капнула мнѣ на ногу и легкій поцѣлуй обжегъ ее.

Александръ вышелъ. Явился парикмахеръ: ему было немного дѣла съ уборкой головы моей. Послѣ бывшей у меня болѣзни осенью, длинныя косы мои были обрѣзаны больше половины, и ихъ завивали: оставалось только распустить локоны, надѣть вѣнокъ и прикрѣпить къ нему длинный вуаль.

Туалетъ мой завершился золотымъ крестикомъ, повѣшеннымъ на шею на розовой ленточкѣ, и брильянтовыми сережками, которыя должна была вдѣть въ уши

невѣстѣ счастливая въ замужествѣ женщина. Серги мнѣ вдѣла Катерина Дмитріевна Загоскина.

Я едва узнавала себя въ подвѣнчномъ нарядѣ, мнѣ казалось, что это я не я, и снова меня обняло безотчетное чувство, похожее на оцѣпенѣніе.

Подъ вліяніемъ такого нравственнаго гнета я вошла въ гостиную. Тамъ уже находились всѣ. На диванѣ сидѣла Варвара Марковна рядомъ съ Николаемъ Павловичемъ, за столомъ, накрытымъ бѣлой скатертью, на которомъ блестяли два образа. Шафера объявили, что женихъ въ церкви, кареты готовы. Всѣ поднялись съ мѣстъ. Въ комнатѣ было жарко, а я дрожала отъ нервной лихорадки. Меня стали благословлять.

Перекрестившись и наклонясь въ землю, я залилась слезами. Въ залѣ на меня надѣли шаль и шубу. Я сѣла въ карету съ Варварой Марковной, противъ насъ Александръ съ образомъ.

Въ томъ же полусознательномъ состояніи я поднялась по церковному крыльцу. Въ дверяхъ церкви стоялъ Бахтуринъ въ полной уланской формѣ, оберегая ихъ отъ напора лишнихъ зрителей. Онъ торжественно растворилъ намъ двери настежь. Церковь пылала свѣчами. Въ глубинѣ храма слышался трогательный гимнъ, привѣтствующій невѣсту. Вадимъ, серьезный, весь въ черномъ, встрѣтилъ меня, взялъ за руку и повелъ обручаться.

Передо мной осуществилась часть видѣннаго на святкахъ сна. Многочисленные взоры съ любопытствомъ устремились на меня. Я слышала, какъ въ толпѣ говорили: «что это, невѣста-то—ребенокъ, ей лѣтъ четырнадцать-пятнадцать».

Невысокая ростомъ, тоненькая, съ дѣтской прической, несмотря на длинный вуаль, покрывавшій мои обнаженные плечи и руки, я дѣйствительно казалась моложе моихъ лѣтъ и походила больше на дѣвочку, чѣмъ на дѣвушку.

Когда, обручившись, я стала съ Вадимомъ передъ алтаремъ, на меня повѣяло святостью религіи и я пришла въ себя. Точно туманъ упалъ съ души моей и съ моихъ взоровъ,—я увидала сестеръ, братьевъ, товарищей Вадима, Луизу Ивановну, Егора Ивановича, всѣ они стояли около насъ полукругомъ. Помню, я улыбнулась имъ,—мнѣ отвѣтили ласковой, ободряющей улыб-

кой. Между молодыми людьми я замѣтила нѣсколько знакомыхъ мнѣ лицъ, послѣ узнала, что это были Антоновичъ \*) съ товарищами, тайно отпущенные изъ-подъ ареста—присутствовать при нашемъ вѣнчаніи.

Вадимъ и я хотѣли обвѣнчаться тихо и просто. Товарищи его, мимо насъ, на свой счетъ, освѣтили церковь, взяли лучшихъ пѣвчихъ и сами явились *en grande tenue*.

Вѣнецъ держали надо мной попеременно: Саша, Н. М. Сатинъ и А. Н. Савичъ; послѣдній—рукой въ теплой мехнатой перчаткѣ; когда послѣ, шутя, замѣтили ему это, онъ наивно отвѣчалъ: «что же—это ничего, къ богатству, а мы долго терпѣли бѣдность». Надъ Вадимомъ—Н. Х. Кетчеръ, Никъ и Бахтуринъ.

Мы поклялись передъ Богомъ и людьми въ любви, вѣрности и—сдержали клятву.

Обрядъ бракосочетанія кончился.

«Что такое бракъ?»—говоритъ докторъ Крушовъ, и отвѣчаетъ:—«не знаю, но догадываюсь: для многихъ бракъ святое отношеніе, для другихъ полюбовное насиліе жить вмѣстѣ, когда хочется жить врознь, и совершеннѣйшая роскошь, когда хочется и можно жить вмѣстѣ».

На нашу долю выпало послѣднее.

Отслуживши молебенъ Богоматери, мы съ Вадимомъ сѣли вдвоемъ въ карету и поѣхали домой. Мнѣ казалось—какое-то величественное сновидѣніе пронеслось надо мною, коснулось дѣйствительности и что-то измѣнило въ ней, несмотря на то, что все оставалось по-прежнему.

Дома насъ встрѣтила матушка Вадима съ образомъ, обняла обоихъ вмѣстѣ, и я вступила въ домъ уже не чужою, но любимою дочерью и любимою женой.

Вслѣдъ за нами пріѣхала къ намъ Луиза Ивановна, Саша, Егоръ Ивановичъ и, посидѣвши немного, уѣхали. Послѣ ужина матушка насъ благословила.

И вотъ мы одни, въ нашей комнатѣ. Передъ диваномъ, на небольшомъ столикѣ, горятъ двѣ восковыя свѣчи, лежитъ книга, карандашъ, почтовая бумага, оставленные Вадимомъ передъ отъѣздомъ его въ церковь.

---

\*) Нынѣ попечитель кіевскаго учебнаго округа. Примѣч. 1876 г.

Передъ образами тихо теплится лампадка и лежатъ двѣ вѣнчальныя свѣчи, обвитыя розовыми лентами.

На душѣ у насъ—хорошо и ясно.

Помѣстившись рядомъ на диванѣ, мы долго разговаривали. Было далеко за полночь. Вадимъ облокотился рукой на столикъ, взялъ карандашъ и на листочкѣ почтовой бумаги сталъ писать. Склонившись надъ столикомъ, я слѣдила за карандашомъ и читала:

Какъ долго бѣднымъ секретомъ  
Я въ мѣрѣ жила,  
И сердце, полное тоскою,  
Въ груди носила.

Въ борьбѣ страстей, борьбѣ желаній,  
Я изнывала  
И безъ любви очарованій  
Ужъ увядала.

Но лучъ надежды еще свѣтился  
Въ туманной мглѣ,  
И новый рай найти стремились  
Я на землѣ.

Искала, нашла—сбылись желанья,  
Сбылись мечты,  
И на душевные призыванья  
Явилась ты.

---

## ГЛАВА XXIV.

### Товарищескій кругъ.

1832—1833.

Всѣхъ тамъ влечетъ незримое вліянье.  
Отъ смѣха рѣзвато къ возвышеннымъ мечтамъ.

Для черезъ три послѣ нашего вѣнчанія, Вадимъ, со-обща съ товарищами, устроилъ вечеръ. Кромѣ молодыхъ людей нашего круга, были на этомъ вечерѣ: Луиза Ивановна съ Егоромъ Ивановичемъ и его сослуживцемъ О. Т. Водо, жена Лахтина, двѣ коротко знакомыя ма-тушкѣ дамы съ дочерьми и тайно отпущенные изъ-подъ ареста Антоновичъ съ Оболенскимъ.

Бахтуринъ распоряжался освѣщеніемъ, музыкой и танцами. Никъ явился съ ящикомъ шампанскаго и корзиною бокаловъ; Сатинъ и Александръ съ конфетами. Вечеръ вышелъ блестящъ и оригиналенъ. На всемъ лежала печать свѣжести, юности и свободы. Всѣ были какъ бы сами у себя.

Когда вечеръ окончился, молодые люди отправились въ отдаленную комнату допраздновать. Спустя полчаса, Вадимъ вызвалъ меня изъ гостиной и, взявши за руку, ввелъ въ кругъ своихъ товарищей. Меня встрѣтили громомъ поздравленій, съ бокалами шампанскаго въ рукахъ. Мгновенно пустые бокалы рассыпались у моихъ ногъ—вдребезги.

Вадимъ наполнилъ бокалъ шампанскаго и подалъ мнѣ.

— За дружбу,—сказала я въ какомъ-то восторженномъ настроеніи, выпила вино до дна и также бросила рюмку на полъ.

Взрывъ восторга и ура покрыли легкій звонъ рассыпавшагося хрустала.

И пошли тосты.

Сабля Бахтурина сверкала, осылая головки бутылокъ, шампанское, шипя и пѣнясь, лилось въ бокалы. Взоры разгорались, рѣчи становились живѣе и живѣе. Вадимъ увелъ меня въ наши комнаты, а самъ вернулся къ товарищамъ. Къ утру иныхъ развезли по домамъ, Антоновича съ Оболенскимъ подъ арестъ. Человѣка три ночевали у насъ, кто на диванѣ, кто на столѣ; Бахтуринъ, помнится, подъ столомъ, позабывши, что у него есть отдѣльная комната.

Въ этотъ годъ зима наступила ранняя; съ начала ноября стояли жестокіе морозы; посѣщая родныхъ и знакомыхъ въ качествѣ новобрачныхъ, я простудилась такъ жестоко, что слегла въ постель, ни медицинскія пособія, ни народныя средства не помогали; къ Рождеству болѣзнь стала ослабѣвать, но еще не совсѣмъ оставила.

Въ февралѣ Вадиму было необходимо ѣхать въ Харьковъ для окончательнаго раздѣла имѣній, онъ и уѣхалъ, какъ ни тяжело было оставлять меня больную.

Москва.—26-го февраля 1833 г.—Ночь.

«Неужели ты точно уѣхалъ? или я видѣла это во



снѣ. Прошедшее, настоящее—все перепуталось въ моей головѣ...

«Вечеромъ приходилъ ко мнѣ въ комнату Саша, говорилъ, что ты поручилъ ему пересмотрѣть и исправить всѣ статьи для вашего «Альманаха». Я ихъ передала ему и все плакала. Саша бранилъ меня, а, прощаясь, обнявъ и тронутымъ голосомъ сказалъ: «Ну, полно, не плачь—Вадимъ скоро пріѣдетъ»... Таня».

Съ дороги.—28-го февраля 1833 г.

«... Дороги ужасныя! все ухабы. Василий три раза падалъ изъ саней. Пользуясь аристократическими правами, я оттѣснилъ его на край. Видъ полей похожъ на сибирскій. Они раскинуты въ безмѣрную площадь, бѣлѣютъ снѣгомъ и радужно переливаются росинками льда. Кой-гдѣ видны опаловыя рамки отдаленнаго лѣса... Вадимъ».

Москва.—2-го марта 1833 г.

«... Сегодня въ 10 часовъ утра пріѣхалъ къ намъ Алексѣй Николаевичъ Савичъ—мы ему обрадовались безконечно. Онъ говоритъ, что Петербургъ заморозилъ его, что онъ хочетъ въ Москвѣ отогрѣться, и если въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ найдетъ здѣсь мѣсто по уценной части, то и совсѣмъ останется.

«Вчера весь день, вмѣстѣ съ Сашей и Сатинымъ, была занята «Альманахомъ». Статья Саши «Гофманъ» и статья Погодина отыскались. Стихи Тепловой и повѣсть Н. Ф. Павлова даны. Алексѣй Николаевичъ пишетъ статью агрономическую, пишутъ еще и другіе. Всѣ готовыя статьи переписаны, кромѣ Сашинной и Погодина. Въ понедѣльникъ рукопись отдается въ цензуру... Таня».

Спасское.—5-го марта 1833 г.

«Какъ бѣденъ, какъ жалокъ языкъ нашъ! я не могу на немъ высказывать всей души моей, всей любви моей къ тебѣ, мой ангелъ, и если отъ силы своей слова какъ бы замрутъ, не считай этого состоянія охлажденіемъ, это только такое сильное влеченіе къ тебѣ, которое не умѣетъ даже и высказаться.

«Кажется, намъ ничего не досталось на земную долю, кромѣ любви и дружбы; отдадимся же имъ беззаветно. Пусть міръ отниметъ у насъ все, даже возможность

жить для его счастья; но любви, но дружбы отнять никто не можетъ. Это наше достояніе... Вадимъ».

Волчанскъ.—15-го марта 1833 г.

«Пишу тебѣ изъ Волчанска, третій день какъ началъ дѣло...»

16-го марта

«11 часовъ вечера. Сейчасъ пріѣхалъ отъ секретаря. Молодой мѣсяцъ свѣтитъ, лазурь заткана звѣздами. Я искалъ сѣвера. Вотъ онъ: \* \* \* \* \* это созвѣздіе Большой Медвѣдицы; \*—вотъ и полярная звѣзда. Вотъ онъ, мой родной сѣверъ, вотъ въ этой сторонѣ Москва.

«Какъ роскошна здѣсь природа и какъ хороша весна. А тамъ—вокругъ тебя, быть-можетъ, снѣгъ, холодъ и птички не поютъ про весну. Но тамъ ты—вѣчная весна души моей, тамъ моя родина, и весь я влекусь въ эти снѣга, въ эти непогоды... Вадимъ».

Москва.—25-го марта 1833 г.

«... жизнь безъ любви не жизнь,—говорилъ Алексѣй Николаевичъ, читая твое письмо отъ 16-го марта, когда же дошелъ до Большой Медвѣдицы и полярной звѣзды, тутъ и остановился, о любви ни слова, а сталъ рисовать окружающія ихъ звѣзды, созвѣздія,—объяснять млечный путь и забрались мы въ небеса. Онъ спрашиваетъ, что твои записки о Малороссіи.

«Получила письмо отъ Діоміда, онъ возмущенъ—пишетъ: «для людей нѣтъ святого, для нихъ Богъ, вѣра, любовь, благость, дружба, права—вымысль, предразсудокъ. Порой подавленная душа просыпается, какъ огонь, вспыхнувшій въ удушливой мглѣ полярныхъ льдовъ, и освѣтитъ картину безжизненности. Знатенъ, случаенъ—принимаютъ изъ видовъ, бѣденъ, ничтоженъ—для мебели. То же и относительно молодежи: богатъ, силенъ—изъ расчета; безъ голоса—можно развлечься. Нѣтъ взаимнаго уваженія, нѣтъ и не можетъ быть взаимной любви. Женщины кокетки до разврата, сладострастны до азіатства, до болѣзненности. У толпы молодыхъ людей душа спитъ, но низкія страсти не дремлютъ. Онѣ увлекаютъ и доставляютъ средства усовершенствоваться уже потерянными».

«Стремленіе къ дружбѣ безотвѣтно. Семья не связана любовью. Рѣдко встрѣтишь достойныхъ. Убийствен-

ная пустота, безмолвіе. Избѣжать полуживыхъ невозможно. Встрѣча съ ними сродняетъ душу съ пренебреженіемъ къ людямъ и рождаетъ эгоизмъ...».

«Вотъ отрывокъ изъ письма Доши, — грустно читать; въ концѣ онъ смягчается, тронуть. Я отвѣчала. Пиши ему и ты, укажи на многихъ достойныхъ уваженія, а въ смыслѣ любви—укажи, міо саго, хоть на насъ съ тобой... Таня».

1833 года, марта 17-го. — 9 часовъ вечера.

«Ахъ, усталъ! спать, спать! мой ангелъ! три дня почти не спалъ, зато кончилъ раздѣлъ. Теперь Евгений и Леонидъ владѣльцы всего харьковскаго имѣнія.

«Со вчерашняго дня привезъ почти весь земскій судъ. Цѣлую ночь пили, пили, пили. Сейчасъ только разѣхались и ложусь спать. Но смотри, не брани меня, что я тоже пилъ; ей-Богу, только стаканъ шампанскаго, да чашку глинтвейна своего руководѣнья во всѣ три дня и три ночи выпилъ. Ложусь, авось увижу тебя во снѣ, а недѣли черезъ двѣ и наяву. Улыбнись мнѣ, моя радость... Вадимъ».

Москва, апрѣля 20-го, вечеръ.

«Такъ тепло, такъ тепло, что я пишу тебѣ у раскрытаго окна, и такъ тихо, что огонь на свѣчѣ не шелокнется. Въ окно мнѣ свѣтитъ наша маленькая звѣздочка, помнишь, какъ мы давали другъ другу слово смотрѣть на нее въ одно и то же время, чтобы взоры наши встрѣтились на ней... Таня».

Вадимъ отвѣчалъ мнѣ:

Спасское, 1-го мая.

«Ты свѣтишь мнѣ въ дали туманной  
Моей прекрасною звѣздой,  
Ты озаряешь путь желанный,  
Къ моей надеждѣ роковой.

\* \*

«Ты здѣсь мнѣ все, ты мнѣ мигло  
Всѣхъ звѣздъ на небѣ голубомъ,  
Твоя любовь горитъ свѣтило  
Во взорѣ ангельскомъ твоёмъ.

«Вчера поздно вечеромъ выѣхалъ изъ Харькова, искалъ на небѣ нашей звѣздочки, чтобы встрѣтиться съ твоимъ милымъ взоромъ, и не могъ найти ее среди облаковъ, покрывавшихъ небо. Я взялъ карандашъ и на

полѣ Шиллера началъ это письмо. Скоро воздухъ украинской весны навѣялъ на меня сонъ, и среди сна ты не оставила меня. Ты часто отраднымъ видѣньемъ являешься передо мной,—я вижу тебя, говорю съ тобой въ душѣ моей... Вадимъ».

Москва.—1833 г. 21-го апрѣля.—Понедѣльникъ.

«... Сатинъ больше всѣхъ хлопочетъ объ «Альманахѣ». Вчера весь день провелъ у насъ. Сабуровъ помѣщаетъ статью изъ своего путешествія по Голландіи, подъ названіемъ «А н т в е р п е н ъ»—отрывокъ живописный. Стиховъ Ника и Сатина много, прелестные. Подавали рукопись въ цензуру—не приняли; велѣли переписать, говорить: слишкомъ дурно переписано. Алексѣй Николаевичъ и Максимовичъ совѣтуютъ ничего не дѣлать до твоего возвращенія. Твоя статья — «Періоды жизни»—хуже всѣхъ статей переписана, съ ошибками, и до того неразборчиво, что въ иныхъ мѣстахъ мы не могли добиться смысла. Приѣдешь—просмотришь—самъ перепиши.

«...Читаю романъ «Послѣдній Новикъ» Лажечникова, что за прелесть. Это талантъ... Таня».

Вадимъ кончилъ раздѣлъ и въ двадцатыхъ числахъ мая возвратился въ Москву.

«Альманахъ» былъ составленъ хорошо, хорошо переписанъ, — но цензура такъ много измѣнила, что онъ остался неизданнымъ.

Въ маѣ пріѣхали въ Москву Евгений и Діомидъ. Въ семействѣ стали часто говорить о предполагаемомъ процессѣ по кантеміровскому имѣнью, оставшемуся послѣ Софьи Богдановны Кантеміръ, законными наслѣдниками которой были Пассеки. Права свои они основывали на слѣдующей родословной:

«У Богдана Пассека было четыре сына: Петръ, Федоръ, Николай, Василій, и четыре дочери: Софья, Марья, Настасья, Анна.

Послѣ сыновей остались дѣти только у Василя Богдановича, дочери да сынъ Василій, бывший впослѣдствіи на поселеніе въ Сибири.

Дочь Марья Богдановна вышла замужъ за Полтева, имѣла одного сына, кончившаго жизнь въ монастырѣ.

Анна Богдановна, бывшая за Тапинымъ—имѣла только дочь Варвару.

Настасья Богдановна была въ замужествѣ за барономъ фонъ-Веделемъ. У нихъ родились двѣ дочери: Анна и Марья. Анна вышла за графа Чернышева и умерла бездѣтно; Марья—за графа Петра Ивановича Панина, имѣла сына и дочь, вышедшую за Тутолмина.

Софья Богдановна, бывшая замужемъ за княземъ Константиномъ Антиоховичемъ Кантеміромъ, оставила только одного сына Дмитрія.

По смерти князя Дмитрія Кантеміра оказалось духовное завѣщаніе, которымъ онъ оставлялъ все свое недвижимое имѣніе, полученное имъ по наслѣдству отъ отца и матери и имъ самимъ пріобрѣтенное, своей троюродной племянницѣ графинѣ Булгари.

На имѣніе, оставшееся отъ матери князя Дмитрія Кантеміра—Софьи, урожденной Пассекъ, заявили свои права князя Шаховскіе, доказывая производившимися въ судебныхъ мѣстахъ дѣлами, что мать ихъ, княгиня Настасья Шаховская, была родная дочь Ѳедора Богдановича Пассека—и у нихъ возникъ процессъ съ графинею Булгари.

Между тѣмъ, прежде, нежели это дѣло было разсмотрѣно государственнымъ совѣтомъ, графъ Булгари, по довѣренности жены своей, при просьбѣ представить въ слободско-украинскую палату письмо графини Анны Родіоновны Чернышевой, рожденной отъ родной сестры Ѳедора Богдановича Пассека и Софьи Богдановны Кантеміръ, писанное къ бывшему оберъ-прокурору 7-го департамента сената Пещурову. Въ этомъ письмѣ графиня Чернышева заявила, что князя Шаховскіе не имѣютъ права на имѣнія изъ фамиліи Пассекъ, такъ какъ мать ихъ—Настасья Ѳедоровна—родилась до брака, и когда Ѳедоръ Богдановичъ женился на ея матери, Настасья Ѳедоровнѣ было уже семь лѣтъ.

Процессъ князей Шаховскихъ съ графинею Булгари продолжался около двадцати лѣтъ, и былъ ими выигранъ. Въ это самое время заявили свои права на кантеміровское имѣніе Пассеки. На имѣніе наложено было запрещеніе и возникъ новый процессъ—между Пассеками и Шаховскими. (Процессъ этотъ продолжался около десяти лѣтъ, а такъ какъ права князей Шахов-

скихъ разъ были утверждены сенатомъ и государствен-  
нымъ совѣтомъ, то онъ кончился тѣмъ, что права обѣихъ  
сторонъ были признаны и кантемировское имѣнье раз-  
дѣлено между обѣими сторонами пополамъ).

Со времени моего замужества, Саша сталъ бывать  
у насъ почти каждый день и такъ сблизился со всѣми,  
что матушка смотрѣла на него, какъ на сына, а братья  
и сестры—какъ на брата. Холодное вы—замѣнилось  
задушевнымъ ты.

Между тѣмъ, несмотря на дружескія отношенія, на  
ученія и учебныя занятія, несмотря на юношескія  
мечты, товарищество, вакханаліи и оргіи, у Саши оста-  
валась еще неопредѣленная масса силъ и чувствъ, не-  
занятая, искавшая опредѣлиться, выступить наружу,—  
такъ великъ избытокъ силъ въ юности. Эти неопредѣлен-  
ная масса могла сплавиться только въ чистый кристаллъ.  
Развилась потребность любви, ждала дѣву—Теклу, Беа-  
трису Шиллера, и приготовляла ей въ даръ мечты  
юности, пламень двадцатилѣтняго сердца. Онъ ужъ лю-  
билъ ее невѣдомую. Трудно ли было послѣ того въ са-  
момъ дѣлѣ влюбиться?

Правда, мало Ундинъ и Сильфидъ залетали въ за-  
творничество ихъ дома, мало Саша и выѣзжалъ—сна-  
чала по приказанію отца, потомъ по собственному жела-  
нію. Увлеченный наукой и мечтами въ замкнутый кругъ  
университетскаго товарищества, онъ послѣ моего заму-  
жества сдѣлался совсѣмъ чужой въ женскомъ обществѣ.  
Ежели онъ не приносилъ въ него грязныхъ сапогъ, ла-  
тинскихъ словъ, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что онъ  
тамъ былъ дома. Дома онъ былъ въ студенческомъ  
кругу, предсѣдатель литературно-фантастическо-поли-  
тическихъ преній, за полуизломанными столами, зава-  
женными книгами, фуражками, табачной золой. Тутъ  
кровь кипѣла, фантазія искрилась, бросала огонь на всѣ  
стороны; поэзія, дружба, вино—все пѣнилось, все ли-  
лось черезъ край. «Въ женскомъ обществѣ,—говорилъ  
Саша:—я чувствую себя не на мѣстѣ. Мой юморъ и  
мои восторги—испугали бы своимъ карбонаризмомъ.  
Сверхъ всего, голова у него была набита чистой мате-  
матикой и математикой прикладной, зоологіей и геогно-  
зіей, да вереница студенческихъ анекдотовъ летала и  
протѣснялась между всѣмъ этимъ. Въ свѣтскомъ же

обществѣ онъ видѣлъ всегда оскорбляющую его аристократію, и стѣснительныя формы той жизни заставляли его бѣситься, какъ бѣшеную молодую лошадь, которая чувствуетъ на спинѣ своей сѣдло безъ сѣдока. Была и еще причина, по которой онъ терпѣть не могъ свѣтскаго общества: это были гоненія Ивана Алексѣевича за малѣйшее неисполненіе какихъ-нибудь принятыхъ обычаевъ. Ясно, что избранная его, вслѣдствіе всѣхъ этихъ условий, должна была явиться на другомъ театрѣ,—путь къ его сердцу лежалъ черезъ либеральныя идеи и черезъ аудиторію. Такъ и случилось.

Около половины университетскаго курса онъ познакомился съ семействомъ одного изъ своихъ товарищей. Большая рѣдкость: весь этотъ кругъ съ семействами друзей своихъ никогда не знакомился. Они приходили куда-нибудь на антресоли, валялись безъ куртокъ по диванамъ, между книгъ, тетрадей и пыли. Но въ этомъ семействѣ было все то, что могло тогда привлечь его.

Семейство это охраняло несчастье...

Въ этой семьѣ онъ встрѣтилъ ту, которой принесъ юную любовь свою, обложенную въ студенческія мечты... тутъ не было ни аристократическихъ формъ жизни, ни богатства, а была восторженность, вѣра въ себя,—тутъ была дѣвушка бѣлокурая, прелестная, какъ весенній ландышъ—сговоренная невѣста. Женихъ былъ въ отсутствіи—она грустила. Александръ находилъ ея грусть безпредѣльно милою, поэтической, но такой грустью, которая можетъ утѣшиться слезою и стихомъ, исчезнуть отъ искренняго привѣта, и его-то она нашла въ немъ. Она долго удерживала слабое чувство къ жениху изъ сердечнаго *point d'honneur*, — онъ это видѣлъ и тихо-тихо вынималъ знамя изъ ея рукъ, а когда она перестала его удерживать, онъ былъ влюбленъ. Чтобы развлечь ее, онъ приносилъ ей новыя книги, новые стихи, читалъ съ ней вмѣстѣ повѣсти. Страшное дѣло—читать повѣсти молоденькой, бѣлокурой дѣвушкѣ и быть студентомъ, быть полувлюбленнымъ. Какъ это опасно, всего лучше знаетъ Дантъ. *Francesca de Rimini* рассказывала ему на томъ свѣтѣ, какъ отъ книги перешли къ поцѣлу, а отъ поцѣлуя къ кинжалному удару. До второго Саша не доходилъ, но въ послѣдствіи говорилъ намъ, какъ ему хотѣлось оставить книгу, сказать слово любви и про-

должать повѣсть въ дѣйствіи; но что страхъ, ужасный страхъ держалъ въ уздѣ. Наконецъ, читая романъ Сантина «Изувѣченный» и кончивъ его, увлеченный, онъ спросилъ ее: «хочешь быть моею Газтаной?»—«Не Газтаной—а Марією»,—отвѣчала она. Онъ былъ въ восторгѣ. «Мнѣ смертельно хотѣлось,—сказывалъ Сапа:—чтобы у меня вырвали языкъ, отрубили руки, чтобы, подобно изувѣченному, спрятаться въ лѣса, мучиться поэмами, и знаками передавать ихъ Маріи.

Я сжалъ ей руку съ словами:

«*Quel giorno più nonvi legemmo avanti*».

— Да,—добавлялъ онъ грустно:—я былъ влюбленъ отъ роду въ первый разъ, *si toute fois* не замѣшивалась любовь въ дружбу къ Танѣ. Дружбѣ не было бы никакого дѣла до прически, но я поступаю по строгому смыслу X-го тома свода законовъ, опредѣляющихъ совершеннолѣтіе въ двадцать одинъ годъ. Сверхъ того, вскорѣ я получилъ на это право, какъ окончившій курсъ въ одномъ изъ главныхъ учебныхъ заведеній.

Они вѣрили въ свою любовь.

Прежде нежели Сапа дошелъ до объясненія съ Маріей, онъ, разъ, войдя въ нашу комнату, гдѣ я была одна, долго въ раздумьи ходилъ по ней взадъ и впередъ.

Я спросила его, что съ нимъ.

Онъ отвѣчалъ, что съ нѣкотораго времени на него нападаетъ тоска.

— Я это давно вижу—и, кажется, понимаю отъ чего.

— Отъ чего же?—спросилъ живо Сапа.

— Тебѣ нравится Марія, а она сговоренная невѣста.

— Ну такъ что же, чему это мѣшаетъ?

— Ты можешь помѣшать. Жениха Марія здѣсь нѣтъ, а ты за ней ухаживаешь. Чувство несправедливаго посягательства тебя тревожить.

— Не понимаю, что тебѣ вздумалось придавать столько значенія тому, что я хорошенькую нахожу хорошею, и, *comme de raison*, она нравится.

— Нравится се *n'est pas le mot*, ты ею увлекаешься и стараешься ее увлечь. Есть отношенія, которыя порядочнаго человѣка обязываютъ. Пополнить ли она твои душевныя требованія настолько, чтобы ты не разлюбилъ ее? Я думаю нѣтъ. Зачѣмъ портить чужое счастье.



— Вопросъ, дѣйствительно ли счастье готовится ей, я — сомнѣваюсь. Она любитъ жениха своего не настолько, насколько способна любить.

— Быть-можетъ. Тѣмъ опаснѣе. Марія натура глубокая, если она полюбитъ такъ, какъ способна любить — то на всю жизнь. За тебя не поручусь.

— И не зачѣмъ. Я ничего не ищу, никому не мѣшаю, а думаю, что съ нимъ она счастлива не будетъ.

— Почему же?

— Да потому, что не то ей надобно.

— Тебя недостаетъ. Пока есть время, лучше оставь ихъ въ покоѣ. Подумай.

— О чемъ мнѣ думать, — отвѣчалъ Саша, мѣняясь въ лицѣ: — ничего нѣтъ. Ты все преувеличиваешь.

— Тебя, Саша, мучить потребность любви больше самой любви.

— Все это тебѣ привидѣлось, — возразилъ Саша съ неудовольствіемъ.

— Ты недоволенъ собой и раздражаешься. Если она полюбитъ тебя, а твоя любовь окажется кратковременнымъ увлеченіемъ — ея молодая жизнь будетъ разбита навсегда. Въ семейство же, гдѣ тебя любятъ, гдѣ тебѣ вѣрятъ — внесешь горе и раскаяніе, зачѣмъ тебя любили, зачѣмъ вѣрили. Я не говорю уже о женихѣ.

Саша нетерпѣливо толкнулъ рукою стулъ, говоря:

— Ахъ, Таня, прошу тебя, перестанемъ объ этомъ толковать.

— Перестанемъ. Я вижу, ты рѣшилъ пустить это дѣло въ ходъ, какъ лодку по теченію воды, дай Богъ, чтобы ее прибило къ свѣтлой пристани.

Разговоръ этотъ и мои опасенія я передала Вадиму. Положимъ, — добавила я, — Саша скоро кончитъ курсъ въ университетѣ, тогда могъ бы жениться, да Иванъ Алексѣевичъ не допустить, врядъ ли онъ и самъ рѣшится связать себя семейною жизнью въ двадцать два года, особенно когда утихнетъ первый порывъ страсти. Онъ и теперь чувствуетъ, что между имъ и ею недостаетъ того, что сливается двѣ жизни въ одинъ аккордъ.

— Это правда, — отвѣчалъ Вадимъ. — Характеръ Александра нѣженъ, но слабъ и отчасти эгоистиченъ. Она тверда, благородна до самоотверженія, но бываетъ

рѣзка, когда взволнована; рѣзкость эта иногда переходитъ въ жестокость. Несмотря на ея умъ, она не можетъ вполне дѣлать его умственные интересы, по недостаточности образованія. Онъ станетъ искать поволенія и раздѣла имъ въ средѣ товарищей. Ее это будетъ огорчать, начнетъ ревность, упреки,—его не будутъ вязать и охлаждать. Вотъ что я предвижу. Но тутъ никто ничего не подѣлаетъ и вмѣшиваться опасно. Можно нажить только непріятности безъ пользы. Ты сдѣлала все, что дружба и совѣсть обязывали сдѣлать. Если Александръ будетъ откровененъ со мною, попробую предупредить то, что предвижу.

Саша долго скрывалъ отъ меня и отъ Вадима свои чувства и отношенія къ Маріи.

Пока любовь Саши не приняла еще широкихъ размѣровъ, то и не мѣшала ему съ обычнымъ жаромъ отдаваться наукѣ и товариществу. Нѣкоторыя строгости въ университетѣ (относительно кружка Сунгурова съ товарищами) не были сторожевымъ крикомъ; напротивъ, какъ бы подзадорили ихъ. Они еще чаще стали собираться то у того изъ нихъ, то у другого и чертили планы своей дѣятельности, а такъ какъ при сходствѣ понятій не могло не быть различія въ способностяхъ и наклонностяхъ, то, соответственно призванію, избирались поприща, на которыхъ трудясь могли бы достигать такого общественнаго положенія, занимая которое имѣли бы возможность благотворно вліять на нравственное и умственное положеніе Россіи.

Науку они соединяли съ жизненными интересами, но не какъ средство для выгодъ и блеска жизни,—все, что читалось, слышалось, говорилось, возбуждало въ нихъ чувство нравственнаго достоинства. Изъ экзальтаціи этихъ чувствъ рождались ихъ убѣжденія и поступки, конечно, слишкомъ юные, пылкіе и неопытные, но которые становились исходной точкой будущности каждаго.

Никъ, поэтъ по призванію, писалъ Сашѣ изъ деревни:

17-го іюня 1893 г.

«Я рѣшительно такъ полонъ, можно сказать, давленъ ощущеніями и мыслями, что мнѣ кажется, мало того—кажется, мнѣ врѣзалось въ мысль, что мое призваніе быть поэтомъ, стихотворцемъ, музыкантомъ».

Онъ сталъ пробовать свою лиру, и вотъ какъ въ 1841 году вспоминаетъ о минутѣ, въ которую пробудилось въ немъ вдохновеніе.

Каминъ погасъ, въ окно луна  
Мнѣ смотреть блѣдно. Въ отдаленнѣ  
Собака лаетъ—тишина,  
Потомъ забытыя видѣнья  
Встаютъ въ душѣ—она полна  
Давно угасшаго стремленья,  
И тихо возникаютъ въ ней  
Всѣ ощущенья прежнихъ дней.  
Въ такую-жъ ночь я при лунѣ  
Впервые жизнь узналъ душою,  
И пробудилась мысль во мнѣ,  
Прознулось чувство молодое,  
И робкій стихъ я въ тишинѣ  
Чертилъ тревожною рукою.  
О Боже! въ этотъ чудный мигъ  
Что есть святого—я постигъ.

Вадимъ избралъ литературу и кафедру. Онъ сталъ изучать исторію вообще, отечественную по преимуществу, писалъ диссертацию на кафедру исторіи и «Путевыя записки». Въ «Путевыхъ запискахъ» видно, что это плодъ юноши-писателя, которымъ онъ хотѣлъ высказать всего себя, свое направленіе, свои чувства, свои мысли, знанія, мечты. Въ нихъ уже просвѣчивалъ будущій издатель «Очерковъ Россіи».

Впослѣдствіи часть молодыхъ людей этого кружка и присоединившихся къ нимъ изъ кружка Станкевича примкнули къ Бѣлинскому. Нѣкоторые изъ нихъ имѣли большое вліяніе на развитіе и дѣятельность самого Бѣлинскаго. Такимъ образомъ выдвинулся цѣлый рядъ дѣятелей. Вліяніе ихъ проявлялось во всѣхъ слояхъ общества, образовало въ немъ какъ бы одну семью, члены которой дѣлили между собой, какъ они выражались, «дѣло обновленія отживающихъ формъ жизни». Новый духъ сталъ воплощаться вездѣ: въ литературѣ, въ наукѣ, въ семейной жизни, въ служебной дѣятельности и на все клалъ печать свою.

«Исторія молодого кружка, въ которомъ развивался Бѣлинскій и много другихъ товарищей его дѣятельности, чрезвычайно любопытна,—говоритъ Александръ Николаевичъ Пыпинъ \*):—какъ нѣчто единственное въ

\*) «Вѣстникъ Европы», 1873 годъ. май, стр. 228—229.

своемъ родѣ и небывалое въ исторіи нашей образованности. Этотъ кружокъ, составившійся не вдругъ и имѣвшій различныя комбинаціи, вообще состоялъ изъ молодыхъ людей, большей частью очень даровитыхъ; съ первыхъ шаговъ въ литературѣ, онъ обнаружилъ оригинальную, горячую дѣятельность и уже вскорѣ приобрѣлъ господствующее положеніе. Въ средѣ кружка совершался цѣлый актъ литературнаго развитія чрезвычайно интереснаго по обстоятельствамъ времени и внутреннему смыслу. Это соединеніе цѣлаго ряда замѣчательныхъ дарованій, раздѣлившееся потомъ на школы «западную и славянофильскую», какъ будто вознаграждало потерю силъ, понесенную обществомъ въ двадцатыхъ годахъ, и процессъ развитія, тогда порванный, возобновился съ новой энергіей, хотя дѣятельность новаго поколѣнія почти не имѣла никакой прямой связи съ прошедшимъ движеніемъ и руководилась другими побужденіями. Первое время она была поглощена чисто отвлеченными предметами и совершенно чужда всякихъ политическихъ интересовъ; но въ концѣ приходила къ тому же общественному вопросу, который съ другой точки зрѣнія и подъ другими побужденіями поставленъ былъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ».

Сверхъ всего на серьезныхъ молодыхъ людей того времени электрически дѣйствовалъ авторъ фантастическихъ сказокъ Гофманъ, необыкновенно художественнымъ пониманіемъ цѣли и задачи искусства. Это имѣло благотворное вліяніе на развитіе нашей критики и было источникомъ обилія идей, которыми она высказалась.

Одинъ изъ талантливыхъ молодыхъ людей этого кружка въ 1833 году сдѣлалъ первый опытъ своихъ литературныхъ способностей очеркомъ характеристики Гофмана \*).

«Великій художникъ,—говоритъ онъ о Гофманѣ,—съ душой сильной, глубокой, покоренный необузданной фантазіи, не знаетъ предѣловъ. Онъ пишетъ въ горячкѣ, блѣдный отъ страха, трепещущій передъ своими вымыслами. Онъ самъ вѣрить во все и этой вѣрой подчиняетъ читателя своему авторитету, поражаетъ воображеніе его и надолго оставляетъ слѣды.

---

\*) Напечатана въ 1836 году въ «Телескопѣ».

«Въ повѣстяхъ Гофмана вы уже разстаетесь съ обыкновенными людьми, которые въ-время ѣдятъ, въ-время спятъ, въ-время умираютъ, проведя жизнь въ добромъ здоровьи. Тутъ являются люди съ душой сильной, обманомъ заключенной въ эту темницу, съ ея сырымъ воздухомъ, маленькимъ свѣтомъ, съ ея цѣпями. Такая душа въ тѣлѣ не дома, она безпрестанно ломаетъ его и кончаетъ тѣмъ, что сломаетъ самого себя. Она-то дѣлается необыкновеннымъ человѣкомъ, великимъ мужемъ, великимъ злодѣемъ, сумасшедшимъ—это все равно.

«Въ шалостяхъ воображенія—уже играетъ юморъ Гофмана. Это «сны наяву», одинъ другого безсвязнѣе, но занимательность ужасная. Тутъ вы познакомитесь съ принцемъ, который сдѣлался изъ пивки, и когда задумается, вспомнить былую жизнь и вытянется до потолка, и съежится въ кулакъ. Тутъ увидите принцессу, которая спитъ въ вѣнчикѣ цвѣтка, мила до крайности, вотъ ее увеличиваютъ въ микроскопъ и дѣлаютъ изъ нее препорядочную барышню. Циноберъ купается въ рукомойникѣ и тонетъ. У чернокожника Алоизія страусъ швейцаромъ, лягушка дворникомъ, жукъ ѣздитъ за каретой. Аксельмъ женатъ на зеленой змѣѣ съ голубыми глазами, тѣсть его въ юности былъ саламандромъ, что-то напроказилъ нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, и за что въ наказаніе присланъ былъ архивариусомъ въ Дрезденъ. Гофманъ самъ былъ у него въ гостяхъ, онъ далъ Гофману санскритскую грамоту и стаканъ ямайскаго рома, да вдругъ снялъ сапоги, раздѣлся и давай купаться въ стаканѣ.

«Еще къ вамъ просьба,—кончаетъ шутливо авторъ этотъ очеркъ:—забылъ-было совсѣмъ,—сходите поклониться праху Кота-Мура. Во-первыхъ, онъ былъ человѣкъ ученый, несмотря на то, что никогда не былъ человѣкомъ. Далѣе этотъ котъ самъ Гофманъ. Сходите же къ нему на могилу, какъ будете въ той сторонѣ».

~~~~~

ГЛАВА XXV.

Послѣдній праздникъ дружбы.

1833.

Просторъ и воля, и оргія,
Вино струится — тайны вѣтъ,
И торжествуетъ симпатія...

Юношескій крутъ товарищей Вадима продолжалъ собираться то у него, то у Ника. Наружно какъ будто ничто не измѣнилось въ нихъ; но подчасъ голосъ сомнѣній начиналъ проникать въ ихъ прежнія вѣрованія. Они достигали до важнаго переворота. Рождалось отрицаніе прежнихъ убѣжденій, новыя еще не являлись съ прежнею силой. Вновь почерпнутыя религіозныя мысли и идеи сенъ-симонизма, не прояснившись, увеличивали безпорядокъ въ головѣ; хотѣлось достигнуть истины, все отнести къ одному знаменателю, и вывести изъ него *profession de foi*: какой-то страхъ сжималъ душу. Доля павшихъ убѣжденій показывала возможность паденія остальныхъ, а въ нихъ-то и бился пульсъ жизни. Прежде бывшія сомнѣнія подстрекали къ работѣ, настоящія мучили, заставляли бросать работу. Они проникали въ самыя веселыя минуты ихъ жизни, но это не мѣшало имъ временами увлекаться юношескими ортіями и съ шумнымъ весельемъ оканчивать этотъ періодъ жизни.

Въ эту-то эпоху они бѣшено веселились, какъ будто чувствуя скорую перемѣну, какъ бы зная, что не возвратится больше этотъ праздникъ дружбы, и, — несмотря на возникавшія сомнѣнія, — были счастливы.

Въ послѣднихъ числахъ мая 1833 года, одинъ товарищескій вечеръ завершилъ этотъ отдѣлъ ихъ юности. Быть-можетъ, онъ продлился бы еще нѣсколько времени — такъ они были еще молоды — но судьба взяла на себя его закончить, и закончила рукою тяжелой.

Изъ замѣтокъ, найденныхъ мной въ бумагахъ Вадима и одного изъ его товарищей, вотъ что сказано объ этомъ вечерѣ:

«Разъ, въ послѣднихъ числахъ мая 1833 года, въ нижнемъ этажѣ большого дома на Никитской сильно бушевала молодежь. Оргія была въ полномъ разгарѣ, во всемъ блескѣ. Вино, какъ паяльная трубка, раздувало въ длинную струю пламени воображеніе. Идеи, анекдоты, лирическіе восторги, карикатуры крутились, вертѣлись въ быстромъ вальсѣ, неслись сумасшедшимъ галопомъ. Всѣ стояли на демаркаціонной линіи, отдѣляющей трезваго человѣка отъ пьянаго; никто не переступалъ ее. Всѣ шумѣли, разговаривали, смѣялись, курили, пили, всѣ безотчетно отозвались настоящему, всѣ истинно веселились. Лучшій стенографъ не записалъ бы ни единого слова.

Среди вакханаліи бываетъ торжественная минута усталости и тишины; она умолкаетъ для того, чтобы бурей и ураганомъ явиться по ту сторону демаркаціонной линіи. Вотъ эта-то минута и настала.

Огромная чаша пылала блѣдно-лазоревымъ огнемъ, придавая юношамъ видъ заклинателей. Клико придавало силу въ жженку и кровь въ щеки молодыхъ людей. Шумная масса разбилась на части и расположилась на бивакахъ.

Вотъ высокій молодой человѣкъ, съ лицомъ послѣдняго могикана; онъ сѣлъ на маленькій столъ (Парки тотчасъ же поддомили ножки жизни этого стола); стенторскій голосъ его, какъ Нилъ при втеченіи въ Средиземное море, далеко вдается въ общій гулъ, не потерявъ своей самобытности. Это уфальскій баронъ *), онъ живетъ въ двухъ шагахъ отъ природы, въ Преображенскомъ. Тамъ у него есть садъ и домикъ, у котораго дверь не имѣетъ замка.

Въ этомъ домѣ баронъ прячется и вдругъ, какъ минотавръ или татары, набѣгаетъ на Москву неотразимый и неожиданный, обираетъ книги и тетради и исчезаетъ. Онъ похожъ и на *bon homme patience* Жоржъ Санда, и на самаго Карла Санда, ежели хотите, а всего болѣе на террориста. Онъ какъ-то гильотинно умѣетъ двигать бровями. Баронъ началъ свою жизнь переводами Шиллера и кончилъ переводомъ на жизнь одного изъ лицъ, которыя Шиллеръ такъ любилъ набрасывать, въ

*) Николай Христофоровичъ Кетчеръ.

которыхъ нѣтъ ни одного эгоистическаго желанія, ни одной черной мысли, но которыхъ сердце бьется для всего человѣчества и для всего благороднаго, и которыхъ никогда не выйдутъ изъ своей односторонности, какъ *exemples gratia* Менцеля. Онъ съ четвероногой трибуны что-то повѣствуетъ, съ наивной мимикой обѣихъ рукъ, и, по очереди, одной ноги. Два неустрашимые человѣка подвергаютъ жизнь свою опасности, слушая барона въ атмосферѣ его декламаци, непрерывно разсѣкаемой рукою и ногою и молніей зажженной сигары. У васъ, можетъ, слабы нервы — отвернитесь отъ этой картины.

Видите ли у камина худощаваго молодого человѣка *) бѣлокурого, нѣсколько блѣднаго, въ вицмундирной формѣ, съ неумолнимою рѣчью—это магистръ математическаго отдѣленія, представитель матеріализма XVIII вѣка, столько же неподвижный на своемъ конькѣ, какъ и баронъ на своемъ. Онъ держитъ за пуговицу молодого человѣка **) съ опухшими глазами и выразительнымъ лицомъ. Магистръ въ короткихъ словахъ продолжаетъ споръ, начавшійся у нихъ года за два о Бэконѣ и эмпириі. Молодой человѣкъ, прикованный къ этому Кавказу, испещренному зодіаками, одно изъ тѣхъ эксцентрическихъ существованій, которыя были бы исполнены вѣры, если бы ихъ вѣкъ имѣлъ вѣрованія; неспокойный демонъ, обитающій въ ихъ душѣ, ломаетъ ихъ и сильно клеймитъ печатью оригинальности. Онъ больше образами, яркими сравненіями отражалъ магистра.

— Направленіе, которое начинаетъ проявляться, — говорилъ онъ:—вспять не пойдетъ, матеріализмъ сдѣлалъ свое и умеръ. Вандомская колонна — его надгробный памятникъ. Германскія идеи, проникающія во Францію...

Магистръ не слушалъ студента, даже закрывалъ глаза, чтобы и не видать его, и продолжалъ со вѣтмъ хладнокровіемъ математика, читающаго лекцію о мнимыхъ корняхъ, и со всею ясностью геометрическаго анализа, употребляя однѣ, закономъ опредѣленные, формы

*) Алексѣй Николаевичъ Савицъ.

**) Н. Сазоновъ.

доказательства а *contratio per inductionem a principio causo sufficitatis*.

— Итакъ, принявъ это положеніе, слѣдуетъ вопросъ, которое состояніе наукъ выше, которое дало болѣе приложений и принесло положительнѣе пользу? Разрѣшивъ его, мы естественно перейдемъ къ главному вопросу, отъ котораго зависитъ окончательное рѣшеніе всего спора...

Съ тѣхъ поръ магистръ окончилъ нивеллированіе Каспійскаго моря; студентъ объѣхалъ полъ-Европы, а споръ еще не кончился, и сами видите, остался только одинъ вопросъ.

Вотъ два молодыхъ человѣка, обнявшись, прогуливаются по комнатѣ. Одинъ *), съ длинными волосами и прелестнымъ лицомъ *à la Schiller* и прихрамывающій *à la Bayron*; другой **), съ прекрасными, задумчивыми глазами, съ нѣсколько театральными манерами *à la Мочаловъ* и съ очками *à la Каченовскій*; это — *Ritter aus Tambow*, и кандидатъ этико-политическій, очерчивающій Россію. *Ritter*, юный страдалецъ, принесъ въ жизнь нѣжную, чувствительную душу, но не принесъ ни твердой воли, которая защищаеъ отъ грубыхъ рукъ толпы, ни твердаго тѣла. Болѣзненный, блѣдный—онъ похожъ на оранжерейное растеніе, воспитанное въ комнатахъ и забытое небрежнымъ садовникомъ на стужѣ московскихъ лѣтнихъ ночей. Онъ можетъ чище всѣхъ своихъ товарищей служить изящнымъ типомъ юноши. Съ какой любовью, съ какой симпатіей онъ пріютился къ нимъ дичкомъ. Его фантазія была направлена на ложную мысль бѣгства отъ земли. Резигнація составляла его поэзію. Такое направленіе развивается именно въ больномъ, слабомъ тѣлѣ, конечно, ложное, но имѣющее свою безпредѣльно-увлекательную сторону.

Кандидатъ этико-политическій жаждетъ общепользующей дѣятельности и славы. Онъ готовъ на самопожертвованія безъ границъ и грустно говоритъ юношѣ, что ему надобна кафедра въ университетѣ и слава въ мірѣ. Юноша ему вѣритъ, сочувствуетъ и готовъ плакать.

*) Николай Михайловичъ Сатинъ.

**) Вадимъ Васильевичъ Пассекъ.

Вотъ они остановились передъ черпаломъ, полюбоваться пылающей жженкой.

Въ самомъ фокусѣ ортіи, т.-е. у пылающей жженки, также интересная группа. Молодой человекъ *), въ сѣромъ халатѣ, на диванѣ, задумчиво мѣшаетъ горящее море и задумчиво всматривается въ фантастическіе узоры огня, сливающіеся съ ложки. Противъ него за столомъ, безъ сюртука, безъ галстука, съ обнаженною грудью, сложивши руки à la Napoléon, съ сигарою въ зубахъ, сидитъ худощавый юноша **), съ выразительнымъ, умнымъ взоромъ.

— Помнишь ли, — говоритъ молодой человекъ въ халатѣ: — какъ мы дѣтьми встрѣчали новый годъ тайкомъ, украдкой; какъ тогда мечтали о будущемъ: ну, вотъ оно и пришло, и пустота въ груди не наполняется, и не принесло оно той жизни, которой требовала душа. На Воробьевыхъ горахъ она ничего не требовала и была довольна.

Они взглянули другъ на друга.

— Пора окончить этотъ фазисъ жизни, шумъ начинается надобдатель; меня манитъ другая жизнь, жизнь болѣе поэтическая.

— Пора, согласенъ и я; но забудемъ еще сегодня, забудемъ — прочь мрачныя мысли.

Юноша въ халатѣ нагѣнилъ стаканъ и, улыбаясь, сказалъ:

— За здоровье заходящаго солнца на Воробьевыхъ горахъ!

— Которое было восходящимъ солнцемъ нашей жизни, — добавилъ юноша безъ сюртука.

Оба замолчали, что-то хорошее пробѣжало по ихъ лицамъ.

Вдругъ юноша безъ сюртука вскочилъ на стулъ и звонкимъ голосомъ закричалъ:

— Messieurs et milords! je demande la parole, je demande la cloture de vos discussions; une grande motion... silence aux interrupteurs, monsieur le président, couvrez-vous.

*) Никъ.

**) Сама.

И нахлобучилъ какую-то шапку на голову своему сосѣду. Нѣсколько голосовъ обратилось къ оратору.

— Mylords et lords! le punsch cardinal, tel que le cardinal Mezzofanté, qui connait toutes les langues existantes, et qui n'ont jamais existées, n'a jamais goûté; le punsch cardinal est à vos ordres. Hommes illustres par vos lumières, connaissez que Schiller, decreté citoyen de la république une et indivisible... a dit, il me semble, en parlant des prisonniers, lors du siège d'Anony par les troupes du roi citoyen Louis Philippe...

Eh'es verdüftet
Schöpfet es schnell
Nur wenn er glüheth
Labet der Quell.

Je propose donc de nous mettre à l'instant même dans la possibilité de vérifier les proverbes du citoyen Schiller, — à vos verres, citoyens!

Всѣ съ хохотомъ подходили къ столу. Ораторъ спокойно разливалъ въ стаканы пуншъ.

— Магистръ, скажи пожалуйста, — кричалъ онъ: — не изобрѣлъ ли Деви новыхъ металлическихъ стѣнокъ для того, чтобы не жглись губы?

— Гумфри Деви умеръ, — отвѣчалъ магистръ, весь занятый своимъ споромъ.

— И, я думаю, радъ отъ души, — продолжалъ ораторъ: — что, наконецъ, химически разложился и на себѣ можетъ испытывать соединеніе и разложеніе.

— Господа, господа, разойдитесь, баронъ идетъ со стаканомъ, а это страшнѣе, чѣмъ встрѣтиться съ локомотивомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, благоразумные люди отодвигались. Ораторъ продолжалъ шумѣть, никто его не слушалъ... Стаканы еще разъ наполнились.

Демаркационная линія была пройдена. Господа хотѣли продолжать свои разговоры: суетное желаніе удалось одному юношѣ безъ сюртука, потому что онъ разомъ говорилъ со всѣми и обо всемъ. Баронъ чистилъ трубку кому-то въ шляпу и говорилъ ты магистру. На магистра жженка сдѣлала ужасное дѣйствіе, въ головѣ у него все завертѣлось и перекувыркнулось, онъ не забывалъ свой споръ и продолжалъ, держа на этотъ разъ за пуговицу барона:

— Следовательно, ежели въ тотъ вѣкъ въ одно время дифференціальныя исчисленія изобрѣли Лейбница и Ньютона...—Онъ, какъ бы самъ чувствуя нелѣпость, потеръ себѣ лобъ.

— Да, да, именно, когда Коперникъ изобрѣлъ движеніе земли, а Уатъ—паровыя машины и Сиръ Флуни—машины чинить перья,—кричалъ ораторъ.

— Помню, помню Флуни,—повторилъ магистръ и хотѣлъ-было произнести еще какую-то букву, но не могъ ни повернуть языка, ни упросить это слово, чтобы оно вышло.

— О чемъ же споръ?—спрашивалъ тутъ же бывшій водевиллистъ.

— Магистръ,—шепталъ ему ораторъ:—доказываетъ, что Каратыгинъ гораздо лучше игралъ роль Отелло, нежели Мочаловъ;—а водевиллистъ, бѣшенный поклонникъ Мочалова, бросился, какъ лютый звѣрь, на магистра и кричалъ ему на ухо:

— У Мочалова есть душа, а у Каратыгина все поддѣлка, да просто взгляните на его лицо, какая натянутость, неестественность.

— Правда, правда,—кричалъ ораторъ:—у живого Каратыгина видъ не натуральный, то ли дѣло статуи Торвальдсена, вотъ какія лица должны быть въ XIX вѣкѣ, и самъ водевиллистъ захохоталъ.

Въ это время баронъ, желая подвинуться къ столу, выломалъ ручку у креселъ и ножку у стола; двѣ тарелки и стаканъ легли костью при этомъ членовредительствѣ: «мертвіи сраму не имутъ». Баронъ не потерялся, началъ доказывать, что это не его вина, а вина непрочности мебели, для объясненія чего изломалъ еще кресло и этажерку и былъ очень доволенъ, что оправдался.

Подали сыру, единственный съѣстной припасъ, который важивался у Ника. Сыръ великая вещь на оргіи: отъ него дѣлается жажда. Въ одно мгновеніе ока плачущее, рябое дитя Швейцаріи исчезло.

— Прежде, нежели мы совѣмъ пьяны, вотъ вамъ предложеніе,—сказалъ Никъ:—кто хочетъ на цѣлый день *villegiare*, подышать чистымъ воздухомъ, побыть не въ Москвѣ, а на волѣ хоть день?

— Превосходная мысль,—подхватилъ Ritter.

— Въ Архангельское,—прибавилъ студентъ:—у меня тамъ есть квартира.

— Все же это не имѣть основанія,—сказалъ магистръ, услышавши голосъ студента.

— Въ Архангельское, — повторило нѣсколько голосовъ.

— Давай шампанскаго, — кричалъ ораторъ, у котораго вино, казалось, испаряется съ словами.—Надобно выпить за здоровье прекрасной мысли и прекраснаго опредѣленія ея.

Пробки хлопали, шампанское лилось вонъ изъ бутылки и исчезало. Дымъ табачный стужался.

Кто-то запѣлъ:

Ah! vers une rive
Où sans peine on vive
Qui m'aime me suive!
Voyageons gaiement.
Ivre de champagne
Je bas la campagne
Et vois de Cocagne
Le pays charmant.

Всѣ подхватили:

Terre chérie
Sois ma patrie
Quand je ris
Du sort inconstant.

— За здоровье друзей!—провозгласилъ ораторъ, пуская отчаянной параболой по воздуху пробку, и въ одно мгновеніе выпитые стаканы разсыпались черепками по полу. Все вскочило, перемѣшалось, сбилось, зашумѣло вдвое. Кто цѣлуется, кто вздыхаетъ, кто подымаетъ съ полу кусочекъ сыру. Всѣмъ кажется чрезвычайно весело. Баронъ уродуетъ въ своихъ объятіяхъ всѣхъ встрѣчающихся и подмѣщается къ этико-политическому кандидату, который сидитъ у раскрытаго окна, рыдаетъ и, какъ донъ Карлосъ и Юлій Цезарь, приговариваетъ: «24 года и ничего не совершилъ для чело-вѣчества, для вѣчности!» Въ отчаяніи, сильной рукою онъ ударилъ по стоящему передъ нимъ стакану и раздробилъ его. Стекла врѣзались въ руку, кровь полилась. Баронъ какъ бы протрезвился, схватилъ руку кандидата, сталъ вынимать стекла, мочить водою и завязывать платкомъ.

— Что рука, — говорить кандидатъ, заливаясь сле-

зами:—прахъ, тлѣнъ! духъ, вотъ жизнь! Хочешь, выброшусь за окно?

— Лучше выйдемъ въ дверь и влѣземъ въ окно,—предлагаетъ баронъ.

Магистръ сердится, что заперта дверь, пробуя открыть зеркало въ каминѣ, а дверь—съ противоположной стороны.

— Магистръ правъ, надобно освѣжиться, выйдемъ на воздухъ, голова кружится. Видно, и я выпилъ лишнее.

Bon!
La farira dondaine
Gai!
La farira dondé.

На другой день рано утромъ, т.-е. часа три послѣ того, какъ ораторъ съ магистромъ вышли на чистый воздухъ, la bande joyeuse уже хлопотала и распоряжалась объ отъѣздѣ. Ораторъ всталъ раньше прочихъ, будиль всѣхъ и каждого. Спальня представляла удивительное зрѣлище. Длинный турецкій диванъ былъ заваленъ людьми, многие уснули въ той позѣ, въ какой допили послѣднюю каплю. Баронъ, завернувшись въ непромокаемую шинель, съ сигарою во рту, грозно и величественно видѣлъ что-то во снѣ. Сонъ его былъ безпокоенъ, и время отъ времени онъ пихалъ ногою въ голову водевилиста, который на другой день удивлялся странному сну: ему казалось, что онъ былъ въ театрѣ и что какъ только выходитъ Мочаловъ, сводъ Петра и Павла падаетъ ему на голову. Ritter прижalsя къ уголку, скатавши въ шарикъ тоненькое тѣло свое, въ томъ родѣ, какъ спать комнатныя собачки. Юноша въ халатѣ, который былъ дома, замѣтѣе, положилъ себѣ подъ голову латинскій лексиконъ и покойно лежалъ, накрывшись ковромъ со стола.

Солнце свѣтило ясно, день готовился чудесный, голова была свѣжа: «благородное шампанское не оставляетъ горькихъ упрековъ на утро», говорили они потомъ. Всѣ необходимыя распоряженія были тотчасъ взяты. Послали за виномъ, послали за лошадьми, послали за паштетомъ и за сигарами. Двѣ коляски находились въ наличности. Никъ, студентъ, водевилистъ etc. отправились впередъ. Ораторъ съ Ritter'омъ послѣ. Они выѣхали часовъ въ 9 изъ Москвы. Великолѣпно

свѣтило солнце, природа на каждой точкѣ дышала жизнью и нѣгою; на душѣ не была забота. Юпоши мечтали, поэтизировали всю дорогу; душа Ritter'a немного эгегическая, испарялась въ заунывныхъ звукахъ и дѣтскихъ фантазіяхъ. Они были какъ-то на мѣстѣ съ летавшими бабочками, съ зеленѣвшей травой, между которою подымались звѣздочки Иванова цвѣтка и фанарики цикорія. Ritter'у было 18 лѣтъ. Часа черезъ два коляска остановилась передъ прекраснымъ домомъ князя Юсупова. Я до сихъ поръ люблю Архангельское. Посмотрите, какъ миль этотъ маленькій клочокъ земли отъ Москвы-рѣки до дороги. Здѣсь челоѣкъ встрѣтился съ природой подъ другимъ условіемъ, нежели обыкновенно. Онъ отъ нея потребовалъ одного удовольствія, одной красоты и забылъ пользу; онъ потребовалъ отъ нея одной перемѣны декораціи, для того чтобы отпечатать духъ свой, придать естественной красотѣ красоту художественную, очеловѣчить ее на ея пространныхъ страницахъ: словомъ, изъ лѣса сдѣлать паркъ, изъ рощицы—садъ. Еще больше—гордый аристократъ собралъ тутъ растенія со всѣхъ частей свѣта и заставилъ ихъ утѣшать себя на сѣверѣ; собралъ изящнѣйшія произведенія живописи и ваянія и поставилъ ихъ рядомъ съ природою, какъ вопросъ: кто изъ нихъ лучше? Но здѣсь уже самая природа не соперничаетъ съ ними, измѣнилась, расчистилась въ арену для духа челоѣческаго, который, какъ прежніе германскіе императоры, признаетъ только тѣ власти неприкосновенными, которыя уничтожались въ немъ и имъ уже возстановлены, какъ вассалы.

Бывали ли вы въ Архангельскомъ? ежели нѣтъ—поѣзжайте, а то оно, пожалуй, превратится или въ фильтурную фабрику, или не знаю во что, но превратится изъ прекраснаго цвѣтка въ огородное растеніе.

Они тотчасъ отыскиали Ника съ товарищами и отправились сначала въ домъ.

Террористъ Давидъ привѣтствовалъ ихъ атлетическими формами, которыя онъ думалъ возродить въ республикѣ единой и нераздѣльной 93-го года вмѣстѣ съ спартанскими нравами, о привитіи которыхъ хлопоталъ Сень-Жюсть; а за ними открылся длинный рядъ изящныхъ произведеній.

Глаза разбѣжались, изящные образы окружали со всѣхъ сторонъ. Уныніе смѣнялось смѣхомъ, Святое семейство—Нидерландской таверной, Дѣва радости—Вернитовскимъ видомъ моря. Пышный Гвидо Рени,—князь Юсуповъ въ живописи,—роскошно бросаетъ и краски, и формы, и украшенія, чтобы прикрыть подчасъ бѣдность мысли, и суровые фанъ-Дейка портреты, глубоко оживленные внутреннимъ огнемъ, съ заклеянной думой на челѣ, и дивная группа Амура и Психеи Кановы,—все это вмѣстѣ оставило имъ воспоминаніе смутное, въ которомъ едва вырѣзываются отдѣльныя картины, оставшіяся, Богъ знаетъ почему, также въ памяти. Помнился, напримѣръ, портретъ молодого князя: князь верхомъ, въ татарскомъ платьѣ; помнился портретъ дочери m-me Lebrun. Она стыдливо закрываетъ полуребячью грудь и смотритъ тѣмъ розовымъ взглядомъ дѣвушки, которой уже немного поцѣлуй, который уже волнуетъ ея душу, чистую, какъ капля росы на розовомъ листкѣ, и огненную, какъ золотое аи. Не разъ, быть-можетъ, старый князь останавливался передъ ней, желая отодрать ее отъ полотна, возстановить растянутую въ одну плоскость формы, согрѣть ихъ, оживить и прижать къ своему сердцу татарина.

Имъ некогда было разбирать все отдѣльно, да вѣроятно, это и невозможно: всякую галерею надобно изучить въ одиночествѣ и притомъ разсматриваніе ея распространить на много и много дней. Довольные восторженностью, чистотою, въ какое ихъ привело созерцаніе изящнаго, они высыпали въ садъ, мимо мощныхъ воиновъ изъ желтаго мрамора, мимо гладіаторовъ, въ тѣнь аллей. День былъ южно-паліящій жаромъ, все ликовало, жужжа летали пчелы, тонко перетянутыя, молча и съ величайшей граціей танцевали по воздуху пестрыя бабочки съ широкими рукавами, какъ барышни. Солнце, *faisait les honneurs de la maison*, отогрѣвало сырую землю, эмалью покрывало листики цвѣтковъ, радостью наполняло все живущее и копошащееся въ травѣ, на воздухѣ, закуривало сигары и гордо не позволяло себѣ смотрѣть въ глаза. Имъ все нравилось, даже на этотъ разъ романтизмъ ихъ не возмущался прогнвъ подстриженныхъ деревьевъ, которые важно и чопорно, какъ офиціанты прошлаго вѣка, въ парикѣ и французскихъ

перчаткахъ, стояли по обѣимъ сторонамъ дороги. Бѣлые мраморные бюсты выглядывали изъ-подъ нихъ.

Испеченные солнцемъ и утомленные ходьбой, молодые люди отправились въ комнаты студента. Небольшая зала, въ которой былъ приготовленъ обѣдъ, примыкала къ оранжереѣ, одна стеклянная дверь отдѣляла ихъ отъ нея; они открыли дверь, ихъ обдало благоуханіемъ юга. Дыханіе дѣтей пламенной природы располагало къ нѣгѣ и къ чувственно-огненнымъ страстямъ, къ *dolce far niente*. Зачѣмъ изъ вѣнчиковъ этихъ цвѣтковъ не вышли вѣчно юныя гуріи восточнаго рая! Зачѣмъ не принесли холоднаго шербета, зачѣмъ стройныя одалиски не вѣяли нестрыми опахалами, опуская длинныя рѣсницы своихъ черныхъ глазъ и бросая свѣжіе, розовые листки въ вино. «Зачѣмъ этотъ глупый нарядъ запада,— простора, нѣги, и еще цвѣтовъ благоухающихъ, съ яркими вѣнчиками»,—говорили юноши.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохлادило ихъ, но, отлившая отъ сердца и головы, кровь возвратилась зажженнымъ спиртомъ, страсти расколыхались; имъ было непомѣстительно въ горницѣ—они вышли опять въ садъ и отправились въ бесѣдку на гору, у ногъ которой—Москва-рѣка.

Рѣка тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своимъ аристократическимъ именемъ; поля, лѣса, синяя даль,—природа именно этою далью, этою безграничностью приводитъ въ восторгъ, въ ея наружности отпечатлѣнъ тотъ характеръ безконечности, который заключенъ въ душѣ нашей, и они переплетаются, встрѣтившись; но молодые люди не долго поэтизировали, вскорѣ разговоръ превратился въ шалость, въ хохотъ. Нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ рѣдко могутъ восхищаться природой или изящнымъ произведеніемъ: благоговѣйный восторгъ рѣдко посѣщаетъ разомъ цѣлое общество, и ежели хоть одинъ сказалъ холодное слово, острогу, кристальная мечта рассыпалась, фальшивая нота разнесется громче прочихъ и роняетъ дѣйствіе всей пьесы. Продурачившись до поздняго вечера, всѣ поѣхали домой. Приѣхали къ Нику часу во второмъ ночи и расположились отдыхать. Было полнолуніе, мѣсячный свѣтъ ясно свѣтилъ въ окна; днемъ душа молча впитывала изящное, теперь, когда водворилась тишина и вмѣсто яркаго свѣта

дня разлился кроткій полусвѣтъ мѣсячной ночи, она начала испарять свои чувства, какъ ночныя фіолі свое благоуханіе.

— Никѣ, пойдемъ гулять,—сказалъ Сапа:—хочется еще ощущеній, движенія, хочется, чтобы не было толка.

И они отправились. Длинные полосы луннаго свѣта стлались по улицамъ, ярко смѣняемая густою тѣнью. Городъ уже уснулъ или еще не просыпался; такъ тихо было, что шаги, далеко слышныя, вызывали глухой лай собакъ.

Они вышли на Арбатскую площадь; величественнѣе и колюсальнѣе обыкновеннаго казались зданія. Они шли, шли и остановились на Каменномъ мосту. Святой Кремль въ своемъ византійскомъ нарядѣ, окруженный башнями, стѣнами, думалъ царскую думу о пропавшихъ и новыхъ вѣкахъ; часовой, поставленный Годуновымъ, въ бѣлой одеждѣ, какъ рында, въ золотой шлѣмѣ, какъ князь, сторожить покой Кремля, неподвижный и высокій; а рѣка шумѣла и неслась изъ-подъ арки, и всасывала въ себя мѣсяцъ, и сносила его свѣтъ на середину, и играла имъ, и пускала длинной полосой плыть въ вращенной рамкѣ.

Вода не останавливалась ни на мгновеніе, шумѣла, разбивалась о камень, пѣнилась и утекала; волна, сейчасть блеснувшая, какъ рыбка, терялась въ толгѣ другихъ, исчезала, какъ волна, но неслась, какъ рѣка, въ даль, въ море.

Они стояли молча,—о чемъ тутъ было говорить,—и не думали, и не молились,—а высоко было сочувствіе ихъ въ ту минуту съ Творцомъ, съ природою, съ человечествомъ... Предтеча солнца, Гесперь, заблесталъ словно алмазъ на рукѣ Творца, отворяющаго врата утра, и красная полоса, какъ брошенная на землю порфира, сказала о приближеніи царственнаго свѣтила. Алыи отливъ пробѣжалъ по бѣлымъ стѣнамъ Кремля и заигралъ огнями на крестахъ, главахъ и окнахъ. Разсвѣтало. Съ одной стороны спало темное Замоскворѣчье, покрытое поднимающимся утреннимъ туманомъ, съ другой стороны спала часть города, облитая тѣмъ же мѣсяцемъ. Обѣ не знали о началѣ дня, а Кремль его уже встрѣтилъ, ему уже радовался и ночь съ днемъ встрѣтились на

рѣкѣ, серебро и золото перемѣшалось на волнахъ. Чудное, удивительное зрѣлище, и оно повторяется каждый день, и люди занятые, «пекущіеся о мнозѣ», не хотятъ смотрѣть на него. Барабанъ и дудка возвѣщали земнымъ языкомъ «зорию». Они отправились къ Нигу, въ садъ, физически и морально утомленные.

Этотъ длинный праздникъ, эта особая, блеснувшая волна жизни, не могутъ исчезнуть въ толпѣ дней, ночей, недѣль, мѣсяцевъ, лѣтъ, которые, какъ дюжинныя волны, бѣгутъ, шумятъ, имѣютъ смыслъ въ совокупности, но не врѣзываются въ память. Эта шумная ортія, эта прелестная прогулка внѣ города и въ городѣ на мѣстѣ,—они на границѣ учебныхъ лѣтъ, это прощанье съ ними—и потому въ нихъ собралось все хорошее и дурное того времени, идеализированное, проникнутое поэзіей. Прогулка на Каменный мостъ окончила прогулку на Воробьевы горы. Мѣсяцъ мечтаній, односторонней жизни, закатывался, солнце жизни выступало съ своею огненною, всепоглощающею любовью, но и черныя тучи поднимались грозно и мрачно...

На другой день послѣ описаннаго вечера, проснувшись рано утромъ, я встревожилась, узнавши, что Вадимъ еще не возвращался, — и пошла въ комнату къ матушкѣ.

Матушка старалась успокоить меня; она говорила, что эти товарищескія сходы почти всегда продолжаются до утра.

Я расслакалась.

Въ десятомъ часу утра пришелъ Вадимъ. Внѣ себя отъ радости, я бросилась къ нему на шею, но, взглянувъ въ него, обомлѣла. На немъ не было лица. Онъ былъ страшно блѣденъ, правая рука его была обвязана окровавленнымъ платкомъ.

— Что съ тобой, Вадимъ?—спросила я дрожащимъ голосомъ.

— Чего ты встревожилась,—отвѣчалъ онъ тихо, улыбаясь.—Ночь не спалъ, усталъ, руку обрѣзалъ объ разбитый стаканъ. Вотъ и все.

— Покажи, что съ рукой?

— Послѣ, дай отдохну,—бездѣлица.

Матушка позвала Вадима въ свою комнату. Черезъ нѣсколько минутъ туда явилась я и ахнула отъ ужаса:

рука Вадима была изрѣзана, а около большого пальца виднѣлась продолговатая, глубокая рана.

Матушка, съ большимъ присутствіемъ духа, обмыла ему руку холодной водой, обвязала полотнянымъ бинтомъ, намоченнымъ свинцовой водой.

Увидя мой испугъ, Вадимъ, какъ-то болѣзненно улыбаясь, сказалъ:

— Что за ребячество, Таня.

Онъ видимо страдалъ; рука у него долго болѣла. Широкий шрамъ около большого пальца остался навсегда, какъ памятникъ послѣдняго праздника дружбы.

Когда мы пришли въ нашу комнату, Вадимъ легъ на диванъ, закурилъ сигару и сталъ рассказывать мнѣ, какую сумасшедшую ночь они провели, какъ онъ измученъ, и грустно добавилъ, что этотъ вечеръ оставилъ чувство чего-то неудовлетвореннаго.

Послѣ обѣда Вадимъ уснулъ и проспалъ до вечера. Вечеръ наступилъ прекрасный; только что прошелъ сильный дождь; воздухъ былъ свѣжъ, на чистомъ небѣ всходилъ полный мѣсяцъ.

Вадимъ позвалъ меня пройтись. Мы дошли до Прѣсенскихъ прудовъ; тамъ насъ встрѣтила тишина и ни одной живой души, только мѣсяцъ смотрѣлся въ неподвижныя воды пруда, пронзая золотистыми лучами майскую зелень кустарниковъ и деревьевъ, ярко отбрасывая тѣни на усыпанный желтымъ пескомъ дорожки, да мѣстами дождевыя капли сверкали въ цвѣтахъ и въ травѣ.

Сядься на зеленую скамейку подъ распутившійся кустъ бѣлой сирени, мы нечаянно тронули цвѣты—насъ окатило душистымъ дождемъ.

— Нѣтъ,—говорилъ Вадимъ:—нѣтъ, наши товарищескія сходки не удовлетворяютъ больше души. Безотчетная тоска прокрадывается въ самый разгаръ ихъ. Душа рвется къ иному, къ высшей формѣ жизни. Прошедшей ночью мы завершили этотъ отдѣлъ молодости. Заря новаго занимается для насъ...

Несмотря на шумныя оргіи, гражданская экзальтація, развитые научные и художественные интересы спасали молодыхъ людей этого кружка отъ грязныхъ увлеченій и возбуждали къ полезной дѣятельности.

Дѣтскій либерализмъ и застольная революція въ этотъ періодъ времени стали терять для нихъ свою чарующую силу. Всѣ искали чего-то. Попавшіяся имъ въ руки проповѣди и брошюры сенъ-симонистовъ раскинули передъ ними цѣлый міръ новыхъ идей и новыхъ отношеній. Въ первомъ броженіи умовъ не было возможности опредѣлить различія направленій, которыя, подъ вліяніемъ новыхъ ученій, приняли молодые люди этого круга. Впослѣдствіи же они ярко выразились. Одни, въ томъ числѣ и Вадимъ, бросились на изученіе Россіи и ея исторіи; другіе отдались нѣмецкой философіи; въ основу жизни иныхъ легъ сенъ-симонизмъ,—но, не взирая на различіе сферъ дѣятельности, всѣ они дѣйствовали въ одномъ духѣ, стремились работать для просвѣщенія и счастья ближнихъ настолько, насколько условія того времени и способности каждого это допускали.



рука Вадима была
виднѣлась продол

Матушка, съ
ему руку холоди
томъ, намоченны

Увидя мой ис
баясь, сказа

— Что за ре

Онъ видимо
Широкий шра
всегда, какъ

Когда мы п
диванъ, заку
какую сумас
чень, и грус
чувство чегс

Послѣ об
Вечеръ на
сильный до
всходилъ г

Вадимъ
ненскихъ
одной жи
движныя
скую зе
вая тѣн
мѣстами
травъ.

Садя
кусть
окатил

щескі
отчет
Душ
шеди
Зар

Е
раз
мо
и



THE UNIVERSITY OF CHICAGO